



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG

3321

C6Z664

v.1

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНИЯХЪ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.

Съ портретомъ, біографическимъ очеркомъ и примѣчаніями Н. Денисюкъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ первый.

Въ первый выпускъ вошли статьи:

Д. И. Писарева, М. Протопопова, Евг. Соловьева, Г. Плеханова, Е. Эдельсона, Ив. Иванова, Иванова-Разумника, А. Скабичевского, А. Фомина, Н. Русанова, проф. А. Скворцова и др.

МОСКВА.

ИЗДАНИЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.

Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.

1908.





Denisiuk, N.F.

№ 20

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКАГО.

Съ портретомъ, біографическимъ очеркомъ и примѣчаніями Н. Денисюкъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ первый.

Въ первый выпускъ вошли статьи:

Д. И. Писарева, М. Протопопова, Евг. Соловьева, Г. Плеханова, Е. Эдельсона, Ив. Иванова, Иванова-Разумника, А. Скабичевского, А. Фомина, Н. Русанова, проф. А. Скворцова и др.

Цена 1 р. 25 к.

МОСКВА.
ИЗДАНИЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1908.

65

PG3321
CGZ664
v.1



Н. Герасимович

ОГЛАВЛЕНИЕ

перваго выпуска.

	Стр.
Николай Гаврилович Чернышевскій. (Биографическій очеркъ). Н. Денисюкъ.	1
Разрушеніе эстетики. Д. Писаревъ. (Собраніе сочиненій, изд. Павленкова, томъ IV-й)	26
Н. Г. Чернышевскій. А. Скабичевскій. (Сочиненія, томъ I-й)	49
Этика и эстетика [„Эстетика и поэзія“ („Современникъ“ 1854—1861 гг.) Изданіе М. Н. Чернышевскаго. Спб., 1893 г.] М. Протопоповъ. („Русская Мысль“ 1893 г., № 4)	54
60-е годы. Андреевичъ (Е. Соловьевъ). („Опытъ философіи русской литературы“. 1905 г.)	80
Чернышевскій и Писаревъ. Бельтовъ (Г. Плехановъ). („За двадцать лѣтъ“. 1905 г.)	93
Н. Г. Чернышевскій и его значеніе въ исторіи русской общественной мысли. А. Фоминъ. („Историческій Вѣстникъ“ 1907 г., № 6).	106
О значеніи искусства въ цивилизаціи. Е. Эдельсонъ. Спб., 1867 г.	120
Н. Г. Чернышевскій и Россія 60-хъ годовъ. Н. С. Русановъ. („Русское Богатство“ 1905 г., № 3)	132
Романъ „Что дѣлать?“ П. П. Цитовичъ. („Что дѣлали въ романъ „Что дѣлать?““. Одесса, 1879 г.)	149
Герценъ и Чернышевскій. Ивановъ-Разумникъ. („Исторія русской общественной мысли“. Спб. 1906 г.)	158
Философія матеріализма. Ив. Ивановъ. („Исторія русской критики“. 1900 г.)	186
Эстетика Чернышевскаго. Ив. Ивановъ („Исторія русской критики“. 1900 г.)	205
60-е годы и Н. Г. Чернышевскій. Ивановъ-Разумникъ. („Исторія русской общественной мысли“. Томъ II-й)	222
Чернышевскій и Мальтусъ. Проф. А. Скворцовъ. („Основанія политической экономіи“. 1898 г.)	236
Философскіе взгляды Чернышевскаго. Бельтовъ. (Г. Плехановъ). („За двадцать лѣтъ“. 1905 г.)	252
Н. Г. Чернышевскій. Л. С. З. (Энциклопедическій словарь Брокгауза и Эфрона, т. XXXVIII.)	283
Чернышевскій и Мальтусъ. Бельтовъ (Г. Плехановъ). („За двадцать лѣтъ“. 1905 г.)	303
„О Лессингѣ“, Чернышевскаго („Спб. Вѣд.“ 1857 г. № 142)	334

ОГЛАВЛЕНИЕ

перваго выпуска.

	Стр.
Николай Гаврилович Чернышевскій. (Биографическій очеркъ). Н. Денисюкъ.	1
Разрушеніе эстетики. Д. Писаревъ. (Собраніе сочиненій, изд. Павленкова, томъ IV-й)	26
Н. Г. Чернышевскій. А. Скабичевскій. (Сочиненія, томъ I-й)	49
Этика и эстетика [„Эстетика и поэзія“ („Современникъ“ 1854—1861 гг.) Изданіе М. Н. Чернышевскаго. Спб., 1893 г.] М. Протопоповъ. („Русская Мысль“ 1893 г., № 4)	54
60-е годы. Андреевичъ (Е. Соловьевъ). („Опытъ философіи русской литературы“. 1905 г.)	80
Чернышевскій и Писаревъ. Бельтовъ (Г. Плехановъ). („За двадцать лѣтъ“. 1905 г.)	93
Н. Г. Чернышевскій и его значеніе въ исторіи русской общественной мысли. А. Фомиинъ. („Историческій Вѣстникъ“ 1907 г., № 6).	106
О значеніи искусства въ цивилизаціи. Е. Эдельсонъ. Спб., 1867 г.	120
Н. Г. Чернышевскій и Россія 60-хъ годовъ. Н. С. Русановъ. („Русское Божество“ 1905 г., № 3)	132
Романъ „Что дѣлать?“ П. П. Цитовичъ. („Что дѣлали въ романѣ „Что дѣлать?““. Одесса, 1879 г.)	149
Герценъ и Чернышевскій. Ивановъ-Разумникъ. („Исторія русской общественной мысли“. Спб. 1906 г.)	158
Философія матеріализма. Ив. Ивановъ. („Исторія русской критики“. 1900 г.)	186
Эстетика Чернышевскаго. Ив. Ивановъ („Исторія русской критики“. 1900 г.)	205
60-е годы и Н. Г. Чернышевскій. Ивановъ-Разумникъ. („Исторія русской общественной мысли“. Томъ II-й)	222
Чернышевскій и Мальтусъ. Проф. А. Скворцовъ. („Основанія политической экономіи“. 1898 г.)	236
Философскіе взгляды Чернышевскаго. Бельтовъ (Г. Плехановъ). („За двадцать лѣтъ“. 1905 г.)	252
Н. Г. Чернышевскій. Л. С. З. (Энциклопедическій словарь Брокгауза и Эфрона, т. XXXVIII.)	283
Чернышевскій и Мальтусъ. Бельтовъ (Г. Плехановъ). („За двадцать лѣтъ“. 1905 г.)	303
„О Лессянгъ“, Чернышевскаго („Спб. Вѣд.“ 1857 г. № 142)	334

О Г Л А В Л Е Н І Е

статей перваго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

„Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности“. Статьи:

	Стр.
Д. И. Писарева	28
М. Протопопова	61
Андреевича	83
Бельтова	93, 254
Е. Эдельсона	123
Ив. Иванова	205
Иванова-Разумника	232
Л. С. З.	283

„Очерки гоголевскаго періода“. Статьи:

А. М. Скабичевского	49
Иванова-Разумника	162, 174, 222, 227, 234
Ив. Иванова	213
Л. С. З.	287

„О Лессингѣ“. Статьи:

А. М. Скабичевского	51
„Спб. Вѣдомостей“.	334

„Что дѣлать?“ Статьи:

Андреевича	86, 88
А. Фомина	107
Н. Русанова	132
П. Цитовича	149
Иванова-Разумника	161, 225
Ив. Иванова	203
Л. С. З.	291

„Основанія политической экономіи Д.-С. Милля“. Статьи:

Н. Русанова	133, 144
Иванова-Разумника	164, 176, 179
Ив. Иванова	214
А. Скворцова	240
Л. С. З.	292
Бельтова	303

„Прологъ пролога“. Статьи:

Н. Русанова	136, 146
-----------------------	----------

„Борьба партій во Франціи“. Статьи:

Н. Русанова	143
Иванова-Разумника	169

„Экономическая дѣятельность и законодательство“. Статьи:

Н. Русанова	144
Иванова-Разумника	169, 183, 225

	Стр.
„О поземельной собственности“. Статьи:	
Иванова-Разумника	162, 174
„О причинахъ паденія Рима“. Статьи:	
Иванова-Разумника	179
„Взглядъ на русскую сельскую общину“. Статьи:	
Иванова-Разумника	172
„Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія“. Статьи:	
Иванова-Разумника	177
„Антропологическій принципъ въ философiи“. Статьи:	
Иванова-Разумника	179, 222, 224
Ив. Иванова	193
Бельтова	254
Л. С. З.	289, 290
„Русскій человекъ на rendez-vous“. Статьи:	
Иванова-Разумника	227, 230
Л. С. З.	286
„Полемическія красоты“. Статьи:	
Бельтова	252
Л. С. З.	287, 289
„Капиталь и трудъ“. Статьи:	
Л. С. З.	299

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ данной работѣ я преслѣдовалъ ту же цѣль, что и въ предыдущихъ сборникахъ (*Критическая литература о произведеніяхъ* Салтыкова-Щедрина, Островскаго и гр. А. Толстого). Мнѣ въ этомъ сборникѣ хотѣлось бы дать читателю все лучшее, что написано у насъ о произведеніяхъ Н. Г. Чернышевскаго.

Писать о Чернышевскомъ до сихъ поръ было невозможно по цензурнымъ условіямъ и не безопасно по полицейскимъ. Вотъ почему критическая литература о немъ численно бѣдна. Только въ самое послѣднее время печать получила юридическую и фактическую возможность дать оцѣнку литературныхъ заслугъ и выяснить хотя отчасти общественное значеніе Николая Гавриловича. Всѣ эти статьи въ одинъ голосъ ставятъ высоко общественныя заслуги Чернышевскаго и отводятъ ему одно изъ первыхъ мѣстъ въ нашей литературѣ.

Чернышевскій былъ вожакомъ и лучшимъ выразителемъ идей и стремленій людей 60-хъ годовъ. Все, что писалось въ нашей литературѣ въ этотъ періодъ послѣ Чернышевскаго есть простое развитіе, а иногда и искаженіе его идей. Въ смыслѣ идейно-литературномъ имъ начинаются 60-е годы, имъ же они и оканчиваются.

Говорить о Чернышевскомъ — значитъ говорить о 60-хъ годахъ и наоборотъ: говорить о 60-хъ годахъ — значитъ говорить о Чернышевскомъ. Они связаны неразрывными идейными узами. 60-е годы родили

Чернышевскаго, а Чернышевскій былъ крестнымъ отцомъ 60-хъ годовъ.

Вотъ почему для насъ, въ данное время, изученіе Чернышевскаго есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и изученіе литературныхъ теченій и стремленій славной эпохи русской общественной жизни, эпохи широкаго освободительнаго движенія, эпохи, вызвавшей великія реформы, давшей дѣйствительный толчокъ прогрессивнымъ общественнымъ началамъ и начавшей серьезную борьбу разрушенія стараго заплѣсневѣлаго зданія нашей государственности.

Съ большимъ умомъ, разносторонними знаніями и необычайной у насъ работоспособностью, Чернышевскій по праву занялъ центральное мѣсто въ литературѣ своего времени, оказывая огромное вліяніе на умы современниковъ, въ то же время давая тонъ русской передовой литературѣ. Трудно, послѣ Герцена, указать на писателя, который захватилъ бы такъ вниманіе современнаго ему общества и оказалъ бы на умы и идеи своего вѣка такое огромное вліяніе.

Прошли десятки лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ статьи Чернышевскаго перестали появляться на страницахъ также исчезнувшаго «Современника», но онѣ не утратили своего литературнаго значенія и для насъ. И въ наше время сочиненія покойнаго писателя къ счастью не представляютъ собою только рядъ почетныхъ литературныхъ архивныхъ документовъ. Произведенія Николая Гавриловича могутъ и въ XX вѣкѣ также «глаголомъ жечь сердца людей», какъ жгли въ половинѣ XIX-го.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, тѣ соображенія, по которымъ я принялъ на себя трудъ соединить въ этомъ сборникѣ все, что было написано о нашемъ выдающемся писателѣ и «отцѣ русскаго социализма».

Въ первыхъ своихъ сборникахъ, при размѣщеніи критическаго матеріала, я придерживался опредѣленной системы, а въ этомъ сборникѣ принужденъ былъ отказаться отъ нея. Съ одной стороны, какъ я уже сказалъ, матеріаль о Чернышевскомъ такъ численно малъ, что располагать его въ хронологическомъ порядкѣ не стоитъ труда, а съ другой стороны—онъ появился въ свѣтъ, главнымъ образомъ, въ два момента: до опалы Чернышевскаго и черезъ сорокъ лѣтъ съ момента ссылки нашего писателя въ каторжные работы, т.-е. уже въ наше время. Такой большой перерывъ тоже съ своей стороны мѣшаетъ мнѣ въ этой работѣ придерживаться того распорядка, который былъ осуществленъ въ предыдущихъ.

Можетъ-быть, будетъ не лишнимъ добавить, что къ моему сборнику я даю малоизвѣстный портретъ Николая Гавриловича.

Н. Денисюкъ.



Николай Гаврилович Чернышевскій.

I.

Царствованіе императора Николая I-го закончилось неудачною Крымской войной. Она воочію показала русскому обществу негодность того общественнаго режима, который съ такой безапелляціонностью проводилъ въ свое царствованіе покойный государь.

Система государственнаго вмѣшательства была доведена до полного подавленія личности; отстраненіе общества отъ участія въ дѣлахъ управленія отдало страну въ безконтрольную власть чиновниковъ, развило казнокрадство, карьеризмъ, взяточничество и беззаконіе. Протекція и взятка дѣлали все.

Опираясь въ своей политикѣ на дворянское сословіе, ища его поддержки, правительство интересы дворянъ соблюдало за счетъ остальнаго населенія страны. Народъ былъ закрѣпощенъ и отданъ въ полную власть дворянамъ-помѣщикамъ.

Никакая реформа не была возможна безъ того, чтобъ она не задѣла рабовладѣльческіе интересы помѣщика, а потому, естественно, что всѣ попытки улучшить управленіе государствомъ встрѣчали противоудѣйствіе въ средѣ дворянства и оставались на бумагѣ, а въ большинствѣ случаевъ дѣло не доходило даже и до этого.

Безправіе, безгласіе и закрѣпощеніе народныхъ массъ было выгодно и правящему сословію чиновниковъ и владѣющему сословію дворянъ. Первые безконтрольно распоряжались государственными средствами и карманами обывателя, вторые—даровымъ трудомъ мужика.

Но среди русскаго общества медленно, изъ-года-въ-годъ, растетъ протестъ противъ «существующаго порядка вещей». Протестующими сперва являются отдѣльныя лица среди дворянъ, сознавшихъ гибельность для страны крѣпостнаго строя, а затѣмъ на общественную сцену выступаетъ «разночинецъ».

Въ XVIII вѣкѣ мы видимъ одинокія фигуры Радищева и Новикова, въ XIX—декабристовъ и, наконецъ, интеллигенцію,

состоящую из людей разных классовъ, состояній и сословій. Эта группа лицъ выдѣлилась изъ разнообразныхъ группъ русскаго народа, отрѣшилась отъ сословныхъ и классовыхъ предразсудковъ и привилегій, взяла крестъ свой и пошла на Голгофу.

Единственный легальный путь борьбы, возможный при тѣхъ условіяхъ, о которыхъ идетъ рѣчь, была литературная пропаганда. Вотъ почему исторія русскаго освободительнаго движенія есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и исторія русской литературы.

Русская литература боролась, насколько могла, съ крѣпостнымъ правомъ и крѣпостническими нравами, но протестъ ея былъ слабъ. Невѣжественный народъ; своекорыстная толпа помѣщиковъ, живущая на счетъ темнаго мужика; алчное чиновничество, держащее въ своихъ рукахъ всѣ «корни и нити»; духовенство, распространяющее суевѣріе и каждодневно продающее Христа своего; армія, являющаяся плотью отъ плоти крѣпостныхъ отношеній барина и мужика,—вотъ тогдашняя Россія.

Но протестъ кучки убѣжденныхъ, талантливыхъ людей не пропадаетъ даромъ: въ умы проникаетъ сознаніе вредности существующаго строя; въ сердцахъ вспыхиваетъ стыдъ за себя, за челоуѣчность, за правду, за культуру, за страну.

Протестующіе голоса растутъ, смѣлѣютъ, множатся, крѣпнутъ. Литература и литераторы становятся духовными вождями. Правительство ихъ преслѣдуетъ, сочиненія ихъ подвергаются истребленію и цензурному запрету, но отъ этого ихъ вліяніе только растетъ, ихъ мысли овладѣваютъ умами, ихъ идеи принимаются, какъ откровеніе.

Наконецъ, внѣшній врагъ приходитъ на помощь русскому освободительному движенію. На Крымскомъ полуостровѣ разлетается призракъ могущества Россіи императора Николая.

То, для чего принесено столько жертвъ, для чего страна превращена въ рабовъ, а чиновничеству дана «великая хартія бюрократическихъ вольностей», науки изгнаны и водворена безпердышная шагистика, оказывается воочію ложнымъ и вреднымъ. Феодально-патріархально-бюрократическимъ строемъ Россія была заведена въ трясины. Для всѣхъ стало ясно, что отечество въ опасности.

На престолъ вступилъ государь, не чуждый желаніямъ реформировать Россію. Онъ заявляетъ объ этомъ открыто и приглашаетъ дворянство взять на себя инициативу возрожденія страны, начавъ его освобожденіемъ крестьянъ.

Дворянство безмолвствуетъ...

Государь рѣшаетъ вопросъ освобожденія крестьянъ помимо желанія помѣщиковъ. Открыто противиться волѣ самодержавнаго государя нельзя, но у дворянъ есть старый, хорошо испытанный способъ: при помощи бюрократіи свести реформы на-нѣтъ, и изъ смѣлыхъ, рѣшительныхъ плановъ сдѣлать перетасовку ярлычковъ. Законодательная и административная власть въ ихъ рукахъ, слѣдовательно и реформы пройдутъ черезъ горнило ихъ усмотрѣнія и выльются въ тѣ формы, которыя не будутъ противорѣчить ихъ интересамъ.

Такимъ образомъ, новое вино государевыхъ желаній попало въ старые мѣхи чиновно-помѣщичьихъ вождедѣній.

Начался походъ противъ освобожденія крестьянъ вообще. Когда это не удалось, то были приняты мѣры къ тому, чтобы ихъ освободили съ наименьшимъ ущербомъ для помѣщиковъ; чтобы и освобожденные, они продолжали служить на потребу привилегированнаго сословія. Имъ хотѣли устроить такую свободу, которая заставила бы пожалѣть о крѣпостной зависимости.

И здѣсь литература поспѣшила на помощь народу. Относительная свобода печати позволила поставить крестьянскій вопросъ во всю его громадную величину и потребовать, чтобы освобожденіе не превратилось въ новое закрѣпощеніе въ другой формѣ.

Паденіе главнаго государственнаго столпа дореформенной Россіи—крѣпостнаго права—вызывало необходимость реформированія всего строя. При новыхъ юридическихъ и экономическихъ отношеніяхъ, вызванныхъ уничтоженіемъ крѣпостнаго состоянія крестьянъ, нужны были и новые суды, и новая администрація, и новая финансовая система, и новый законодательный аппаратъ.

Наиболѣе сильнымъ врагомъ стараго строя и рѣшительнымъ сторонникомъ радикальныхъ реформъ оказался Чернышевскій.

Хорошо освѣдомленный, широко образованный, онъ явился вожакomъ передового, мыслящаго элемента молодой Россіи. Къ его голосу съ огромнымъ вниманіемъ прислушивалась не только молодежь и сознательные члены общества, но и правительство. Его статьями руководились въ своихъ дѣйствіяхъ люди высоко стоящіе, приближенные къ трону молодого свободомыслящаго монарха.

Но побѣда оказалась на сторонѣ исконныхъ, дѣйствительныхъ правителей Россіи.

Чернышевскій былъ арестованъ и безъ всякой вины и юридическихъ основаній сосланъ въ глухой Сибирскій край. Его заставили замолчать и полнаго силъ писателя крупнаго масштаба пре-

вратили въ живого мертвеца: Ему насильно зажали ротъ, связали руки, превратили въ преступника и навсегда оторвали отъ любимого дѣла, семьи, науки и русскаго общества.

II.

У саратовскаго протоіерея, Гавріила Ивановича Чернышевскаго, 12-го іюля 1828 года родился сынъ Николай, будущій знаменитый писатель и «государственный преступникъ».

Отъ отца къ сыну перешла необыкновенная душевная доброта и то, что называютъ «ангельскимъ характеромъ».

Отецъ Чернышевскаго, умный и образованный человѣкъ, хорошо воспиталъ и сына. Сначала онъ готовился дома подъ руководствомъ отца и учителей мѣстной гимназіи, а затѣмъ поступилъ въ высшій классъ семинаріи. Товарищи по семинаріи были поражены обширными разносторонними познаніями новаго товарища. И дѣйствительно, Чернышевскій самостоятельно успѣлъ пріобрѣсти такую массу разнообразныхъ свѣдѣній по различнымъ научнымъ вопросамъ, что поражалъ своихъ учителей.

Разумѣется, школьники не замедлили воспользоваться преимуществами Чернышевскаго. Онъ сталъ всеобщимъ поставщикомъ классныхъ сочиненій. Во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ школьной учёбы товарищи также обращались къ испытанной помощи Николая Гавриловича. Онъ постоянно либо строчилъ кому-нибудь сочиненіе, либо штудировалъ съ кѣмъ-нибудь роковыя мѣста урока.

Платой за помощь и вниманіе къ товарищамъ была всеобщая любовь класса къ Чернышевскому.

Пробывъ два года въ семинаріи, Чернышевскій вышелъ изъ нея, и знакомые отца Гавріила были убѣждены, что его сынъ поступитъ въ академію, и церковь въ его лицѣ найдетъ выдающагося дѣятеля.

Проработавъ нѣкоторое время дома, юный Чернышевскій ѣдетъ въ Петербургъ и поступаетъ въ университетъ на историко-филологическій факультетъ.

И здѣсь, какъ въ семинаріи, Чернышевскій выдѣляется среди товарищей своимъ прилежаніемъ, начитанностью и работоспособностью.

Петербургскій университетъ не блисталъ учеными именами, но среди его профессоровъ пользовался симпатіями молодежи Срезневскій. Чернышевскій сдѣлался лучшимъ его ученикомъ и сошелся съ нимъ лично.

Чернышевскій попалъ въ университетъ въ 1846 году; это значитъ, что первые годы его студенчества совпали съ бурнымъ періодомъ европейской исторіи.

Очагъ революціонныхъ идей—Франція—не погасъ. Толчки и перевороты слѣдовали другъ за другомъ. Приведенная въ движеніе великой революціей, страна Робеспьера не могла прійти къ спокойной нормальной жизни. Обломки старого строя кое-какъ еще держались, мѣшая новымъ побѣгамъ окрѣпнуть и вырасти.

Сильному экономически классу—буржуазіи—препятствовали занять вліятельное положеніе въ дѣлахъ государства и законодательства; рабочему классу не дали того измѣненія и улучшенія его экономического положенія, котораго онъ ждалъ послѣ революціи отъ правительства. Эти двѣ общественныя силы, соединившись вмѣстѣ, произвели во Франціи революціонный переворотъ 1848 года.

Революція 48-го года вызвала во всей Европѣ аналогичное движеніе. У каждого народа были свои счеты съ правительствомъ, по которымъ оно осталось должнымъ ему болѣе или менѣе крупныя суммы.

Въ Баденѣ требовали республику и превращенія рабочаго класса въ господствующій; во Франкфуртѣ обратились къ нѣмецкому правительству съ требованіемъ созыва учредительнаго собранія, избраннаго всеобщей подачей голосовъ, для обсужденія и установленія новаго государственнаго строя Германіи. Какъ извѣстно, правительство подчинилось требованію народа, и май 1848 года для нѣмцевъ дѣйствительно былъ «веселымъ». Подъ сводами церкви св. Павла во Франкфуртѣ собрался цвѣтъ нѣмецкаго бюргерства, выдающіеся профессора, общественные дѣятели и юристы.

Въ Австріи также закипѣли народныя страсти; вѣнское правительство пало съ головокружительной быстротой; законодатель Европы и пивоя тогдашнихъ вѣнценосцевъ, князь Меттернихъ, принужденъ былъ бѣжать въ давнишній пріютъ всѣхъ правителей, оставшихся внезапно не у дѣлъ,—въ Англію. Императоръ Фердинандъ созвалъ учредительное собраніе для выработки обща-австрійской конституціи; Вѣна была въ рукахъ студентовъ и бюргеровъ; Пештъ былъ во власти мадьярскихъ патріотовъ, съ Кошутомъ во главѣ, и рѣшилъ отколотъ отъ Австріи, объединивъ въ отдѣльное государство земли короны Св. Стефана; наконецъ, Прагу взяли чехи.

Итальянцы не могли остаться спокойными въ такое время. Иго Австріи въ достаточной мѣрѣ подготовило въ этой странѣ революціонное настроеніе и развило организацію тайныхъ обществъ. Во главѣ движенія сталъ генуэзецъ Маццини; онъ потребовалъ введенія въ Италіи республиканскаго правленія.

Въ Пруссіи также протестъ поднялъ голову. Когда до Берлина дошли слухи о происшествіяхъ въ Парижѣ, берлинское населеніе потребовало, взамѣнъ только что учрежденнаго «собранія земскихъ чиновъ», настоящаго представительнаго правленія и либеральную конституцію. Городъ покрылся баррикадами; завязался ожесточенный бой между войскомъ и гражданами. Побѣда оказалась на сторонѣ народа.

Разумѣется, вѣсти о всеобщемъ вооруженномъ возстаніи народовъ противъ своихъ правительствъ не могли не отразиться на настроеніи умовъ и у насъ. Крестьянскія волненія усилились; въ обществѣ заговорили о печальномъ положеніи русской политической свободы и управленія въ Россіи; стали возникать «кружки», изучавшіе вопросы политики и соціальной экономіи.

Среди такихъ кружковъ въ Петербургѣ занималъ не послѣднее мѣсто кружокъ Введенскаго. Съ Введенскимъ былъ хорошъ Срезневскій, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что туда же онъ ввелъ и любимаго своего ученика. Кстати, Введенскій былъ землякъ Чернышевскому.

Николай Гавриловичъ, такимъ образомъ, попалъ въ среду людей, хорошо образованныхъ, интересовавшихся общественными вопросами и при этомъ прогрессивно настроенныхъ. Есть всѣ основанія предполагать, что кружокъ Введенскаго сыгралъ не послѣднюю роль въ дѣлѣ умственнаго развитія Николая Гавриловича. На собраніяхъ Введенскаго юный пытливый умъ молодого студента получилъ толчокъ въ извѣстномъ направленіи, въ него было брошено зерно, давшее впослѣдствіи хорошій урожай.

Въ 1850 году Чернышевскій былъ выпущенъ изъ университета одиннадцатымъ кандидатомъ и оставленъ при университетѣ. Видимо, тоска по родному Саратову и любовь къ родителямъ не дали возможности Николаю Гавриловичу долго оставаться въ столицѣ. Черезъ годъ послѣ окончанія университета онъ уже ѣдетъ на берега Волги и поступаетъ учителемъ въ Саратовскую гимназію.

Въ Саратовѣ онъ не мѣняетъ своего образа жизни. Онъ все также среди книгъ, за книгами и съ книгами проводитъ свой день. *Знакомствъ онъ попрежнему избѣгаетъ, и единственнымъ гостемъ*

и собесѣдникомъ за это время является нашъ историкъ Костомаровъ.

Костомаровъ, послѣ ареста въ 1847 году и обвиненія въ государственномъ преступленіи, отсидѣвъ годъ въ Петропавловской крѣпости, долженъ былъ переѣхать на жительство въ Саратовъ, гдѣ и прожилъ около девяти лѣтъ, занимаясь этнографіей, собираніемъ народныхъ пѣсенъ и работой надъ исторіей Богдана Хмельницкаго. Вполнѣ понятно, что даровитый молодой ученый и Чернышевскій должны были сойтись и дѣлать вмѣстѣ досуги.

Въ Саратовѣ Чернышевскій прожилъ три года. Въ этотъ періодъ умерла горячо любимая имъ мать, а самъ Николай Гавриловичъ женился на дочери мѣстнаго врача, Ольгѣ Сократовнѣ Васильевой. Благодаря помощи Введенскаго, игравшаго нѣкоторую роль въ учебномъ вѣдомствѣ, Чернышевскій получаетъ мѣсто учителя во второмъ петербургскомъ кадетскомъ корпусѣ. Въ январѣ 1854 года онъ вступаетъ туда, а черезъ нѣсколько лѣтъ совершенно бросаетъ педагогику и вполнѣ отдается литературѣ.

Литературныя связи онъ завязалъ тоже черезъ Введенскаго, посѣщая его «среды». Уже съ 1853 года статьи Николая Гавриловича начинаютъ появляться сначала въ *Отечественныхъ Запискахъ*, а потомъ въ *Современникѣ*.

Литературныя занятія не мѣшали Чернышевскому готовиться къ магистерскому экзамену и писать диссертацию. Темой для своей диссертации онъ выбираетъ *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*. Въ 1855 году Чернышевскій успѣшно сдаетъ магистерскій экзаменъ и защищаетъ свою диссертацию.

Диссертация Чернышевскаго вызвала огромный интересъ въ интеллигентныхъ кружкахъ и среди учащейся молодежи. Это и понятно. Въ ней молодой диссертантъ говорилъ со своей аудиторіей новымъ языкомъ, языкомъ свободной, или, вѣрнѣе, освобождавшейся Россіи. Вмѣсто эстетизма и исключительнаго поклоненія красотѣ 40-хъ годовъ, вмѣсто христіанско-византійскаго аскетизма старой Россіи, Чернышевскій провозгласилъ уваженіе къ реальной жизни, красоту живой дѣйствительности, право человѣка на наслажденіе жизнью по собственному, личному вкусу и пониманію. Аудиторія Чернышевскаго услышала впервые страстный призывъ къ духовному освобожденію, энергичный протестъ противъ «авторитетовъ». Намъ теперь трудно понять чувства современниковъ диссертации, но, судя по воспоминаніямъ очевидцевъ этого дня, они приближались къ тѣмъ восторгамъ и радостнымъ надеждамъ, которые мы еще такъ недавно пережили снова.

«Задолго до публичной защиты,—пишет въ своихъ воспоминаніяхъ Шелгуновъ,—о ней было уже извѣстно въ кружкахъ, болѣе близкихъ къ автору... Небольшая аудиторія, отведенная для диспута, была биткомъ набита слушателями. Тутъ были и студенты, но, кажется, было больше постороннихъ, офицеровъ и статской молодежи. Тѣсно было очень, такъ что слушатели стояли на окнахъ. Я тоже былъ въ числѣ этихъ... Чернышевскій защищалъ диссертацию съ своей обычной скромностью, но съ твердой непоколебимостью убѣжденія. Послѣ диспута Плетневъ (предсѣдательствовавшій) обратился къ Чернышевскому съ такимъ замѣчаніемъ: «Кажется, я на лекціяхъ читалъ вамъ совсѣмъ не это!» И дѣйствительно, Плетневъ читалъ не то, а то, что онъ читалъ, было бы не въ состояніи привести публику въ тотъ восторгъ, въ который ее привела диссертация. Въ ней было все ново и все заманчиво: и новыя мысли, и аргументація, и простота, и ясность изложенія»...

Послѣднія слова Шелгунова о «новыхъ мысляхъ» и прочемъ объясняютъ, почему диссертация имѣла успѣхъ только у публики и не имѣла въ официальныхъ сферахъ. Такъ, напримѣръ, диссертация произвела невыгодное впечатлѣніе на тогдашняго министра народнаго просвѣщенія и поэтому не была утверждена имъ, а удачно защитившій ее диссертантъ не удостоился «искомой степени магистра».

Отношенія власти и учебнаго вѣдомства къ наукѣ были хорошо извѣстны русскому обществу, а потому все, что вызывало неодобреніе учебнаго начальства, получало патентъ въ глазахъ росіянъ. Эпизодъ съ диссертацией Чернышевскаго вызвалъ къ ней интересъ помимо ея научныхъ достоинствъ и сблизилъ его съ редакціей *Современника*. Съ этого момента онъ становится постояннымъ сотрудникомъ журнала и занимаетъ въ немъ положеніе руководящаго члена.

До 1858 года Чернышевскій завѣдываетъ въ *Современникѣ* критическимъ отдѣломъ, ведетъ журнальныя замѣтки и самъ пишетъ цѣлый рядъ критическихъ статей. Изъ нихъ наиболѣе крупными по размѣрамъ и достоинству являются: *Очерки гоголевскаго періода* и *Лессингъ и его время*. Въ первой группѣ статей Чернышевскій занятъ характеристикой таланта Бѣлинскаго, а во второй — знаменитаго германскаго писателя. Лессингъ является для Германіи первымъ литературнымъ критикомъ, и это даетъ мысль Чернышевскому сравнить его значеніе для родины со значеніемъ *перваго русскаго критика*—Бѣлинскаго.

Въ 1855 году Чернышевскаго, какъ завѣдующаго критическимъ отдѣломъ въ лучшемъ тогдашнемъ журналѣ, посѣтилъ юноша съ просьбой прочесть и, если можно, напечатать его повѣсть. Чернышевскій прочелъ. Повѣсть оказалась сильно тенденціозною. Въ ней изображался изнѣженный барченочъ и закаленный невзгодами бѣднякъ. Разумѣется, всѣ симпатіи автора были на сторонѣ бѣдняка. Когда юноша явился за отвѣтомъ, то услышалъ строгій смертельный приговоръ своему беллетристическому таланту. Чернышевскій категорически запретилъ ему соваться въ беллетристику, но указалъ на критику, какъ на подходящую къ его способностямъ дѣятельность.

Черезъ годъ юноша снова явился, но уже со статьей критическаго содержанія; статья на этотъ разъ была напечатана въ *Современникѣ*. Работа начинающаго писателя обратила на себя общее вниманіе. Авторъ, видимо, обладалъ огромной начитанностью, замѣтнымъ талантомъ и той сдержанной, холодной ироніей, которая предполагаетъ зрѣлость мысли и жизненный опытъ. Но имя автора редація скрывала, потому что онъ былъ еще воспитанникомъ *Педагогическаго института* и оглашеніе имени могло повредить ему.

Наконецъ, Добролюбовъ оканчиваетъ *институтъ* и въ половинѣ 1857 года вступаетъ въ ряды сотрудниковъ *Современника*. Чернышевскій любовно слѣдитъ за успѣхами новаго собрата по перу и дѣлится съ нимъ своими познаніями. Добролюбовъ подпадаетъ подъ вліяніе Николая Гавриловича и остается вѣрнымъ его идеямъ до гробовой доски.

Въ концѣ 1858 г. Чернышевскій передаетъ Добролюбову завѣдываніе критическимъ отдѣломъ и библіографію, а самъ отдается публицистикѣ. Наступаетъ «эпоха великихъ реформъ», и Чернышевскій, не покладая пера, пишетъ о крестьянскомъ вопросѣ и разумныхъ экономическихъ формахъ освобожденія. Онъ сторонникъ общины, какъ артельной, коллективной экономической единицы, какъ зародыша будущаго социалистическаго общества. Онъ требуетъ достаточнаго и льготнаго надѣленія крестьянъ землей и т. д.

Въ 1858 году въ *Современникѣ* имъ были напечатаны *Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія* и, кромѣ того, *О необходимости держаться умѣренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа*. Эти статьи не только были замѣчены, но и вызвали страстную полемику. Въ 1859 году онъ печатаетъ статьи: *Экономическая дѣятельность и государство* и *По поводу «Очерковъ Англіи и Франціи» Чичерина*. Въ 1860 году

появляется *Капиталь и Трудъ*, а вслѣдъ за этой статьей слѣдуютъ знаменитыя примѣчанія и переводъ *Основаній политической экономіи Милля*. Въ этихъ своихъ примѣчаніяхъ Чернышевскій разрушаетъ принципы, на которыхъ строили экономическую науку ученые той школы, къ которой принадлежалъ и самъ Милль. Здѣсь Чернышевскій вполнѣ самостоятельно приходитъ къ выводамъ и закладываетъ новыя основанія тѣмъ принципамъ, которые нынѣ вошли въ науку и увѣковѣчили имена экономистовъ-соціалистовъ.

Литературная дѣятельность и направленіе идей Чернышевскаго звучали слишкомъ рѣзко и казались опасными. Кромѣ того, онъ пріобрѣлъ большую популярность среди молодежи и передовой части общества, чтó у насъ связывалось съ представленіемъ о демагогическихъ наклонностяхъ писателя. Наконецъ, онъ былъ яркимъ представителемъ новаго ученія, которое уничтожаетъ собственность, процентъ на капиталъ и барышъ. Оно говоритъ, что рабочаго обираютъ въ пользу капиталиста, и требуетъ, чтобы получали только тѣ, кто работаютъ, а не заставляютъ работать другихъ на себя.

III.

5-го марта 1855 года былъ погребенъ императоръ Николай, а 6-го декабря былъ уничтоженъ «негласный» комитетъ Бутурлина, представлявшій собою верховный трибуналъ, охранявшій интересы литературной россійской безгласности, цензировавшій цензуру и оберегавшій нашего читателя отъ книгъ. Но только лишь смежилъ очи императоръ, не допуская критики распоряженій и дѣйствій администраціи, какъ бутурлинскій комитетъ былъ упраздненъ, ибо онъ «въ настоящее время не только пересталъ быть полезнымъ, но и сдѣлался вреднымъ».

29-го февраля 1856 года на домашнемъ спектаклѣ у великой княгини Маріи Николаевны давали пьесу гр. Соллогуба «Чиновникъ». Въ пьесѣ чиновникъ былъ выведенъ съ присущими этому сословію недостатками, заставившими Бисмарка назвать нашихъ правительственныхъ агентовъ гнойною язвой на народномъ организмѣ.

Государю пьеса понравилась и онъ сказалъ Плетневу:

— Не правда ли, пьеса хороша?

— Она не только хороша, Ваше Величество,—отвѣчалъ Плетневъ,—но составляетъ эру въ нашей литературѣ. Въ ней говорится о состояніи нашихъ общественныхъ нравовъ то, чего

прежде нельзя было и подумать, не только сказать во всеуслышаніе.

— Давно бы пора говорить это,—замѣтилъ государь.

Въ государствѣ слово самодержца является закономъ,—эти слова означали начало свободы печати. И дѣйствительно, какъ мы знаемъ, съ этого момента «обличительная» литература хлынула потокомъ изъ всѣхъ литературныхъ крановъ. Чины всѣхъ величинъ и ранговъ очутились въ положеніи, къ которому они не привыкли и къ которому и привыкать были не намѣрены.

Цензурная власть находилась тогда въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, и Никитенко въ своемъ дневникѣ рисуетъ настроеніе этого вѣдомства и самого министра Норова въ такомъ видѣ, что у сторонниковъ свободы слова не можетъ явиться никакихъ надеждъ на осуществленіе ихъ желаній. Всѣ персоны чиновнаго міра, коихъ могло коснуться «обличеніе», были недовольны «разнузданностью» печати. Когда главноуправляющій путями сообщенія К. В. Чевкинъ сказалъ въ январѣ 1858 года литератору Панаеву, что «нынѣшнее направленіе литературы, заключающееся въ преслѣдованіи всякихъ крадствъ, вредно», онъ выражалъ мнѣніе всего административнаго міра тогдашней Россіи.

«Вообще, —говоритъ Никитенко,—многимъ изъ нынѣшнихъ главныхъ начальствъ не нравится литературное бечеваніе мерзостей, совершающихся въ ихъ вѣдомствахъ. Они находятъ, что это поселяетъ неуваженіе къ правительству. Гласность и усиленіе общественнаго мнѣнія въ дѣлахъ общественныхъ они находятъ вреднымъ, особенно гр. Панинъ».

Какъ извѣстно, гр. Панинъ, бывшій при Николаѣ I министромъ юстиціи, при Александрѣ II сталъ предсѣдателемъ редакціонной комиссіи по крестьянской реформѣ. Разумѣется, онъ сдѣлалъ все, что могъ, для разрушенія реформы. Могла ли такому государственному дѣятелю нравиться печать, не та печать, которая почти-тельно повторяла: «Ваша рѣчь есть истина святая и ничего умнѣй я не слыхалъ», а печать со статьями Чернышевскаго, гдѣ раскрываются скрытыя пружины дѣйствій «освободителей» и ихъ корыстные расчеты и грабительскіе инстинкты.

Не трудно догадаться, что разъ бюрократіи что-либо не нравится или не отвѣчаетъ ея интересамъ, то, несмотря на высочайшую волю, она сумѣетъ оставить все по-старому. Такъ случилось и со «свободой печати» въ эпоху великихъ реформъ.

Всѣ историки говорятъ, что революція является слѣдствіемъ дурнаго управленія страной; чиновники съ этимъ, разумѣется,

согласиться не могут. Не соглашалось съ этимъ выводомъ науки и правительство Александра II-го.

«Панинъ, Брокъ и Чевкинъ,—пишетъ въ дневникъ Никитенко,—кажется, помѣшались на томъ, что всѣ революціи на свѣтѣ бываютъ отъ литературы».

Эту же мысль они исподволь внушали и государю, и успѣли въ своихъ планахъ. Когда 6-го февраля 1858 года была составлена и прочитана въ комитетѣ, учрежденномъ для пересмотра стараго и составленія новаго цензурнаго устава, записка князя П. А. Вяземскаго, то государь одобрилъ нѣкоторыя мѣста записки, но далеко не всѣ. Его замѣчанія относительно мѣстъ, съ которыми онъ не соглашался, свидѣлствуютъ о томъ, что со времени спектакля у великой княгини онъ измѣнилъ мнѣніе о правахъ и достоинствѣ печати. Въ его замѣчаніяхъ на записку князя «проглядывало какъ бы нерасположеніе къ литературѣ и сомнѣніе въ ея благонамѣренности».

Панинъ, Брокъ и Чевкинъ дѣйствовали все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе и, какъ и слѣдовало ожидать, одержали верхъ. Опять возстановленъ былъ «негласный» комитетъ, и наивные писатели, цензора и вѣдомства, серіозно повѣрившіе въ наступленіе «свободы» слова, были рассмотрѣны въ своихъ дѣйствіяхъ и подвергнуты соотвѣтственной карѣ за излишнюю довѣрчивость и отсутствіе «сердца-вѣщуна», которое имъ должно было подсказать, что «своевременно», а что кажется только таковымъ, въ сущности есть только «попустительство».

Переходныя эпохи—самыя ужасныя эпохи. Въ такіе моменты правительство желаетъ исправить ошибки своихъ предшественниковъ и сознается и кается во грѣхахъ, допущенныхъ въ прошломъ. Оно принуждено допустить свободу критики своихъ дѣйствій, и общество, насильственно приведенное до этого момента къ полнѣйшему молчанію, старается сторицею вознаградить себя «за долгіе годы борьбы и несчастія». Подымается невообразимый шумъ; все, что до сихъ поръ сдерживалось, выплываетъ наружу и спѣшитъ заявить о себѣ. Непротестующій и негнѣвающійся чловѣкъ именуется отсталымъ, ретроградомъ и приверженцемъ ненавистнаго порядка вещей.

При всеобщемъ оппозиціонномъ настроеніи съ такой кличкой шутить нельзя. Всѣ тѣ, кто еще вчера обивали пороги канцелярій, ища благосклонности хозяевъ положенія, превращаются въ ярыхъ демократовъ и конституціоналистовъ. Но, «прикомандировавшись» къ *новому порядку вещей*, они не мѣняють, конечно, своей сущ-

ности и удѣльнаго вѣса души. Въ потокъ освободительнаго движенія они вносятъ лакейскіе приемы, хамскую преданность, узость и нетерпимость невѣжды и тупой головы.

И въ эпоху 60-хъ годовъ въ людяхъ этого жанра недостатка не было. Никитенко, конечно, имѣлъ въ виду эту разновидность либерала, когда писалъ: «И юношество пѣнится, но, къ сожалѣнію, не всегда какъ шампанское, а подчасъ какъ настоящій откупной сиволдай». Наличность этого элемента дискредитировало освободительное движеніе въ общественномъ мнѣніи и развязывало руки врагамъ его. Въ такихъ людяхъ не было недостатка и въ литературѣ. Панинъ и К^о выдавали ихъ за продуктъ дарованной свободы печати и толкали государя въ сторону прежняго отношенія къ представителямъ печатнаго слова. Сторонники гласности вели борьбу съ представителями «бараньяго рога», но, видимо, безуспѣшно.

Когда государь спросилъ попечителя Н. В. Исакова, что онъ думаетъ о цензурѣ, тотъ сказалъ: «Я убѣжденъ, что гласность необходима». «И я тоже,—отвѣчалъ государь,—только у насъ дурное направленіе».

Это было 29-го января 1859 года. Съ тѣхъ поръ никто не скажетъ, что «дурное направленіе» пользовалось снисхожденіемъ цензурнаго вѣдомства...

Подъ вліяніемъ «шептуновъ» государь все болѣе и болѣе настраивался недружелюбно въ отношеніи печати и, наконецъ, отдалъ ее подъ болѣе строгій надзоръ, чѣмъ надзоръ министерства народнаго просвѣщенія. Она попала въ вѣдомство истребленія крамолы — въ министерство внутреннихъ дѣлъ.

«Министръ объяснилъ мнѣ,—пишетъ 27-го ноября 1859 года Никитенко,—какъ произошло отдѣленіе цензуры отъ министерства народнаго просвѣщенія. Это—иниціатива самого государя, а внушеніе гр. С. Г. Строганова».

Наконецъ, 7-го февраля 1860 года, Никитенко пишетъ: «Для литературы настала эпоха весьма непріятная. Главное, государь сильно противъ нея вооружень».

Такимъ образомъ, консервативная партія восторжествовала, и для печати и ея работниковъ насталъ черный годъ. Начались запрещенія, предупрежденія, заключенія, аресты и высылки въ предназначенныя мѣста имперіи. Доносы опять расцвѣли, судейскія перья заработали, Петропавловская крѣпость наполнилась.

Въ такую годину было бы страннымъ, если бы Чернышевскій не подвергся общей участи «революціонеровъ» и «крамольниковъ».

По мѣрѣ того какъ росла правительственная реакція, росъ и общественный протестъ противъ возврата къ старому прошлому, приведшій Россію на край гибели, нищеты и позора. Начались усиленные студенческіе беспорядки; усилилось броженіе въ Польшѣ; печатный станокъ спрятался въ подполье и сталъ оттуда выбрасывать прокламаціи, призывающія къ бунту и вооруженному возстанію; по всей странѣ начались страшные пожары.

Государю внушали, что все это результаты его либеральныхъ начинаній, свободы печати, вообще, и вліянія идей Чернышевскаго—въ частности. Онъ былъ самый вліятельный изъ писателей этого момента—«стало, Васька и тать, стало, Васькѣ и дать таску».

Въ маѣ 1862 года *Современникъ* былъ закрытъ на 8 мѣсяцевъ, а 12-го іюня 1862 года арестованъ и руководитель журнала.

IV.

Вечеромъ 12-го іюня на квартиру Чернышевскаго явился полицейскій чинъ, пожелавшій «переговорить» наединѣ съ Николаемъ Гавриловичемъ. Переговоры тянулись недолго: карета у подъѣзда ждала уже новаго жильца Петропавловской крѣпости...

Посадивъ сначала «преступника» въ крѣпость, слѣдователи Чернышевскаго стали искать формальныя, юридическія причины его виновности. Пока-что у нихъ было только желаніе избавиться отъ опаснаго человѣка, сѣющаго смуту въ умахъ общества съ разрѣшенія цензуры.

Чернышевскій былъ вполне спокоенъ за свою участь. Онъ не зналъ за собой ни одного поступка, который могъ бы влечь за собой ту или другую статью нашихъ уголовныхъ законовъ. Своихъ убѣжденій онъ не скрывалъ, хотя бы потому, что всѣ они были напечатаны въ *Современникѣ*; къ вооруженному возстанію не готовился ни самъ, ни готовилъ другихъ; террористическаго акта не замышлялъ и въ тайныхъ обществахъ не участвовалъ.

Это, конечно, великолѣпно знала и администрація. Она преслѣдовала не человѣка, склоннаго насильственнымъ путемъ ниспровергнуть общественный строй, а прогрессивнаго писателя, имѣющаго огромное вліяніе на умы современниковъ. Администрація боролась не за поддержаніе порядка, закономъ установленнаго, а за увѣковѣченіе стараго строя. Вдохнови-

тели правительства не хотѣли допустить естественной эволюціи общественной жизни. Для этого они преслѣдовали идеи, которыя всегда являются авангардомъ новаго строя. Они полагали, что смогутъ остановить теченіе исторіи. Они поставили себѣ задачей борьбу съ новыми идеями, т.-е. съ культурой. Съ исторіей человѣчества они не считались, да и врядъ ли они знали ее. Для нихъ было выгодно, чтобы Россія, не въ примѣръ прочимъ державамъ, всегда осталась на той ступени развитія, на которой она была во времена крѣпостного права, помѣщичьей власти и неограниченнаго чиновничьяго управленія. Не Чернышевскаго-революціонера преслѣдовали они, а Чернышевскаго—проповѣдника новой морали, на сторонѣ которой было будущее. Они не боялись Чернышевскаго, какъ боятся человѣка, способнаго дѣйствовать проповѣдью насилія, а какъ человѣка, на сторонѣ котораго огромная нравственная сила и мысль, способная превратиться въ могучій двигатель человѣческаго духа. На сторонѣ Чернышевскаго была справедливость и нравственность, а что было на сторонѣ стараго строя? Грубая сила, низменные, своекорыстные, узкіе инстинкты и явная, открытая несправедливость! Правящій классъ инстинктивно чувствовалъ, что зная, поднятое честными руками сторонниковъ новой морали, соберетъ вокругъ себя многочисленныхъ приверженцевъ и, что, въ концѣ-концовъ, побѣда останется за ними.

Что же касается самого Чернышевскаго, то ему казалось, что правительство, арестовавъ его, сдѣлавъ ложный шагъ, не знаетъ теперь, какъ выйти съ честью изъ этого положенія. Арестъ уважаемаго популярнаго писателя, конечно, надѣлалъ шума, и теперь всѣ ждали, чѣмъ окончится все дѣло. Чернышевскій ждалъ вмѣстѣ съ русскимъ обществомъ, питая скорѣе любопытство, чѣмъ боязнь за свою судьбу.

Но русское общество и самъ заключенный плохо знали, къ чему способны люди, рѣшившіеся не стѣсняться въ преслѣдованіи своей цѣли, заключавшейся въ сохраненіи стараго дореформеннаго строя. Исторія міра показала намъ, что въ такихъ случаяхъ съ правомъ никогда и нигдѣ не стѣснялись.

Взятая бумага Чернышевскаго тщательно пересмотрѣны; его дневникъ, показавшійся написаннымъ шифромъ, отправленъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ; всѣ письма, приходящія на его имя, распечатываются и прочитываются. Но, увы, ничто не даетъ въ руки уликъ. Между тѣмъ, Чернышевскій требуетъ освобожденія или предъявленія къ нему опредѣленнаго обвиненія

Онъ взымаетъ къ законности, правосудію, говоритъ о своихъ правахъ, издѣвается надъ своими сыщиками и слѣдователями, грубо оскорбляетъ ихъ, обращается къ петербургскому генералъ-губернатору и, наконецъ, къ самому государю. Письма идутъ по одному и тому же адресу—въ руки слѣдственной комиссіи.

Члены комиссіи молча выносятъ злыя насмѣшки и иронію Чернышевскаго и готовятъ ему «бенефисъ».

У нашего историка Костомарова былъ племянникъ, Всеволодъ Дмитріевичъ Костомаровъ. Онъ занимался литературой, какъ поэтъ и переводчикъ. Его переводы Лонгфелло, Гуда, Мура, Байрона, Гюго, Гейне и др. часто появлялись въ *Современникъ*, *Русскомъ Словѣ*, *Свѣточѣ*, *Времени* и т. д. Сначала Костомаровъ служилъ въ уланахъ, а затѣмъ шпоры и саблю переимѣнилъ на перо. Очевидно, это былъ человѣкъ, не лишенный дарованія, но лишенный моральныхъ основъ и твердости убѣжденій, человѣкъ легкомысленный, недостоверный, шаткій и увлекающійся. Онъ шелъ туда, гдѣ безъ затраты силъ могъ ждать успѣха. Революціонное настроеніе въ 60-хъ годахъ становится всеобщимъ и моднымъ, и Костомаровъ примыкаетъ къ нему, убѣжденный, вѣроятно, что старому правительству пришелъ рѣшительный конецъ, и тѣ «дѣятели», которые желаютъ попасть на страницы исторіи и добиться въ измѣнившемся грядущемъ виднаго общественнаго положенія, должны заручиться революціоннымъ дипломомъ. Бывшій гусаръ начинаетъ печатать прокламаціи, попадаетъ въ этомъ дѣлѣ и, вмѣсто губернаторства въ республиканской Россіи, разжалованъ въ солдаты. Перспектива неожиданная и, видимо, не входившая въ расчеты экс-гусара. Но Костомаровъ пускаетъ въ ходъ нѣкоторыя свойства своей низменной натуры и однимъ взмахомъ поправляетъ свою ошибку и отношенія къ правительству.

Разжалованнаго Костомарова конвоируетъ на мѣсто служенія жандармскій ротмистръ Чулковъ. На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ такой почетъ, но дѣло быстро разъясняется.

Костомаровъ и Чулковъ останавливаются въ Москвѣ. Костомаровъ пишетъ знакомому письму, въ которомъ откровенно рассказываетъ о своемъ революціонномъ прошломъ и выдаетъ Чернышевскаго, какъ своего сообщника. Они, по словамъ письма, вмѣстѣ писали прокламаціи и хлопотали объ ихъ напечатаніи. Письмо вышло объемистое, съ подробностями, нужными для обвиненія Чернышевскаго, и нелишенное занимательности для сыщиковъ и слѣдователей Николая Гавриловича. Разумѣется, Чулковъ *письмо «перехватилъ»* и доставилъ куда слѣдуетъ.

Путешественниковъ тотчасъ же вернули обратно въ Петербургъ, до «минованія въ нихъ надобности». Надобность оказалась большая, и работа предстояла имъ несложная, но выгодная. Письма Костомарова все же было недостаточно: голословно строить обвиненіе только на немъ было рискованно, а потому у того же Костомарова въ чемоданѣ «нашлась» еще записка, «писанная рукою Чернышевскаго». Она также говорила о прокламаціи. Съ экспертизой почерка не стѣснялись, призвали подвѣдомственныхъ чиновниковъ, и тѣ, разумѣется, признали все, что нужно было комиссіи.

Съ однимъ Костомаровымъ, какъ свидѣтелемъ, оперировать было не совсѣмъ удобно, а потому наши путешественники въ Москвѣ запаслись другимъ. Нѣкій мѣщанинъ Яковлевъ долженъ былъ свидѣтельствовать, что онъ собственными ушами слышалъ разговоръ Чернышевскаго съ Костомаровымъ о прокламаціи. Однако, на этотъ разъ инстинктъ жандармскаго ротмистра не оказался на высотѣ призванія. Яковлевъ по дорогѣ въ Петербургъ на радостяхъ напился пьянъ, произвелъ дебошъ, попалъ въ кутузку, а оттуда въ исправительное заведеніе. Тамъ онъ въ припадкѣ откровенности и страха за свою роль лжесвидѣтеля разсказалъ все заключеннымъ интеллигентамъ, а тѣ написали коллективное письмо Некрасову. Некрасовъ тотчасъ же показалъ письмо слѣдователямъ Чернышевскаго и, волей-неволей, пришлось отказать отъ услугъ Яковлева.

Такимъ образомъ, надъ поисками обвиненій противъ Чернышевскаго, комиссія проработала два года, а онъ все сидѣлъ въ крѣпости и ждалъ, пока его «разъяснятъ».

Когда комиссія запаслась нѣсколькими подложными записками и составила сама, при помощи, кажется, извѣстнаго литератора Ильи Арсеньева, докладъ о характерѣ и направленіи литературной дѣятельности Чернышевскаго, дѣло было передано въ сенатъ.

Дореформенный сенатъ находился всецѣло въ рукахъ министра юстиціи и представлялъ собою, въ сущности, одно изъ отдѣленій его канцеляріи. Сенату предложили рѣшить задачу со многими неизвѣстными, но въ строго опредѣленномъ направленіи Чернышевскаго участь была предрѣшена, и сенату оставалось только подвести юридическія основанія обвиненію, не стѣняясь, конечно, правовыми тонкостями.

Чернышевскій былъ приговоренъ къ 14 годамъ каторжныхъ работъ...

Государь подтверждалъ приговоръ, но уменьшилъ срокъ наказанія до 7 лѣтъ. 13-го мая 1864 г. приговоръ былъ публично объявленъ на Мытнинской площади, и русская публика распрощалась со своимъ любимымъ писателемъ, увезеннымъ съ площади въ самый глухой, холодный и угрюмый край Сибири. Чернышевскій съ этихъ поръ вычеркивается изъ списка живыхъ, и его имя употребляется описательно, какъ нѣкоего автора *Что дѣлать*, *Очерковъ гоголевскаго періода* и т. д.

Сначала Чернышевскій былъ отправленъ на монгольскую границу въ рудники Кадая, затѣмъ переведенъ въ Нерчинскій округъ на Александровскій заводъ.

Разумѣется, жизнь на каторгѣ была связана для Чернышевскаго со многими лишеніями, наконецъ, съ важнѣйшимъ—невозможностью литературной дѣятельности, но тяжелою назвать ее нельзя. Въ то время политическіе преступники каторжныхъ работъ не несли. Кромѣ того, Чернышевскій не былъ стѣсненъ въ своихъ сношеніяхъ съ другими каторжанами-политическими. Въ это время тамъ находился извѣстный беллетристъ, поэтъ и публицистъ М. Л. Михайловъ. Сосланный въ 1861 году по политическому процессу, онъ дѣлилъ вмѣстѣ съ Чернышевскимъ участь каторжанина. Тамъ же оказались и поляки, сосланные за польское повстаніе.

Въ каторгѣ Чернышевскій много читалъ, выписывая для себя книги, газеты и журналы. Въ немъ, конечно, не угасла потребность излагать свои мысли на бумагѣ, но, боясь обыска, онъ все написанное уничтожалъ. Единственныя вещи, увидѣвшія если не литературный свѣтъ, то свѣтъ арестантской рампы, были его пьесы, специально написанныя для арестантскаго театра.

Арестанты Александровскаго завода устраивали иногда спектакли, и Чернышевскій писалъ для нихъ небольшія пьесы. Впрочемъ, онъ мало нравились арестантской публикѣ.

По нашимъ законамъ каторжанинъ, отбывшій свой срокъ каторги, переводится въ разрядъ поселенцевъ, выбирая по своему усмотрѣнію мѣсто жительства, конечно, въ предѣлахъ Сибири. Чернышевскій былъ лишенъ этого послѣдняго права. Когда срокъ его каторги окончился, то шефъ жандармовъ гр. П. А. Шуваловъ вошелъ съ представленіемъ о поселеніи Чернышевскаго въ Вилюйскъ, откуда ему бѣжать будетъ гораздо труднѣе, чѣмъ изъ другихъ мѣстъ Сибири. Вилюйскъ стоитъ въ самомъ суровомъ углу Сибири. Страшные морозы, какихъ не знаетъ ни одно обитаемое мѣсто земного шара, хмурое свинцовое небо, необычайно

короткое лѣто, продолжительныя зимы и кругомъ пустынная, необозримая, мертвая тайга.

Чернышевскій помѣщенъ былъ въ Вилуйской тюрьмѣ. Такимъ образомъ, дѣйствительная каторга для него началась съ послѣдняго момента. Климатическія условія Александровска были неизмѣримо лучше Вилуйска. Да и кромѣ того, на Александровскомъ заводѣ Чернышевскій жилъ съ интеллигентными людьми, а въ Вилуйскѣ было въ то время не болѣе сорока построекъ, принадлежавшихъ полудикимъ инородцамъ и казакамъ.

По разсказу В. Н. Шаганова, жившаго на поселеніи въ Якутскомъ округѣ и очень часто издавашаго Чернышевскаго, ему жилось тамъ плохо. Въ первое время Николая Гавриловича донимали (увы, неизбѣжная участь всѣхъ знаменитостей,) пріѣзжіе господа, по преимуществу купцы изъ Якутска. Разумѣется, ихъ паломничество было вызвано простымъ любопытствомъ и желаніемъ внести разнообразіе въ свою небогатую впечатлѣніями жизнь. Наконецъ, Чернышевскій принужденъ былъ просить свою стражу избавить его отъ назойливыхъ посѣтителей. «Книгъ для чтенія у него было мало,—говоритъ Шагановъ;—ихъ не присылали, потому что въ то время путныя книги, въ томъ числѣ и переводы, перестали выходить, наступило царство Лонгинова *) въ Управленіи по дѣламъ печати». Время Чернышевскій заполнялъ работой надъ разсказами, которые онъ назвалъ *Разсказами изъ Бѣлаго Зала*, но и здѣсь приходилось считаться съ положеніемъ поднадзорнаго. «Ему было очень противно,—говоритъ Шагановъ,—что какой-нибудь налетѣвшій чиновникъ увезетъ всѣ его рукописи и въ нихъ начнутъ рыться». Это обстоятельство заставляло Чернышевскаго часто уничтожать то, что было написано. Шагановъ, напримѣръ, говоритъ, что Чернышевскій хотѣлъ написать повѣсть для дѣтей и частью выполнилъ свое желаніе, но принужденъ былъ уничтожить написанное, потому что въ разсказѣ рѣчь шла о «священной любви коринѣянъ къ своимъ республиканскимъ учрежденіямъ». Попади въ руки жандармовъ разсказъ Чернышевскаго о томъ, какъ коринѣскіе граждане собирались на площадяхъ безъ разрѣшенія начальства, вели вольные разговоры объ общественныхъ дѣлахъ, говорили зажигатель-

*) Мих. Никол. Лонгиновъ съ 1871 года состоялъ въ должности начальника Главнаго Управленія по дѣламъ печати. Въ эти годы, болѣе чѣмъ когда-либо, должность главы цензурнаго вѣдомства не допускала снисхожденій и послабленій литературѣ.

няя рѣчи и съ увѣренностью можно сказать, что не только дѣти никогда не увидѣли бы предназначенный для нихъ рассказъ, но и авторъ былъ бы лишень... Трудно, конечно, указать, чего бы еще можно было лишить Чернышевскаго, но жандармы такъ изобрѣтательны... Напримѣръ, послѣ неудачной попытки со стороны Мышкина освободить Чернышевскаго при посредствѣ подложной бумаги отъ сибирскаго начальства, въ острогъ явился военный караулъ, и Чернышевскаго полгода не выпускали за ворота тюрьмы, а потомъ выпускали, но за нимъ долженъ былъ по пятамъ слѣдовать казакъ или жандармъ, не оставляя ни на минуту. Однажды Чернышевскій познакомился съ какимъ-то священникомъ и сталъ у него бывать. Священника тотчасъ же за это перевели изъ города, если можно назвать такимъ громкимъ именемъ Вилуйскъ, въ какую-то непролазную глушь. Съ каждымъ новымъ исправникомъ судьба Чернышевскаго мѣнялась. Одинъ запрещалъ то, что разрѣшалъ другой. Иногда исправникъ, почитая себя интеллигентомъ, склоненъ былъ вступить съ писателемъ въ болѣе близкое знакомство, но, встрѣчая со стороны Чернышевскаго рѣшительное нерасположеніе къ альянсу, начиналъ придиратся и вымещать на невинномъ человѣкѣ свою неудачу.

Жилъ Чернышевскій въ ссылкѣ на средства, которыя посылалъ ему Некрасовъ и родственники. Въ Вилуйской тюрьмѣ онъ много работалъ надъ различными переводами и оригинальными сочиненіями.

Пока Чернышевскій отбывалъ наказаніе за распространеніе демократическихъ идей, онѣ проникли въ сознаніе и совѣсть лучшихъ людей, а гоненіе на нихъ, со стороны правительства Александра II-го, вызвало революціонное настроеніе, перешедшее затѣмъ въ терроръ.

Восторги и надежды на рѣшительный переходъ Россіи къ правовому строю не оправдались. Польское возстаніе было подавлено съ тою жестокостью, которая знаменовала переходъ къ реакціонной попитикѣ... Восторженные россияне, отправившіеся въ «народъ» съ мирной пропагандой идей социализма, не вернулись ни со щитомъ ни на щитѣ, потому что попали въ тюрьмы.

Передъ русской интеллигенціей всталъ снова вопросъ: или отказаться отъ мысли о свободѣ и возрожденіи родины, или бросить всѣ расчеты на мирную легальную борьбу со старымъ строемъ. Какой путь выбрали борцы, намъ хорошо извѣстно. Тайныя общества покрыли Россію и, наконецъ, раздался первый выстрѣлъ *Каракозова*. Отвѣтомъ со стороны правительства была самая бѣ-

шенная реакція и уничтоженіе всего, что носило какіе-либо признаки либерализма.

Революціонное движеніе росло и крѣпло, питаясь, съ одной стороны, національной внутренней политикой, а съ другой—демократическимъ движеніемъ на Западѣ. Послѣ коммуны у насъ сразу выросли тайныя общества во всѣхъ главныхъ городахъ Россіи. Вслѣдъ за коммуной возникаетъ Интернаціональ и вызываетъ усиленіе революціонной дѣятельности и у насъ. Сочиненія Чернышевскаго, Добролюбова, Герцена и Писарева замѣняются Марксомъ, Бакунинымъ, Прудономъ, Лавровымъ. Молодежь толпами устремилась въ Цюрихъ, и засѣданія Интернаціонала становятся теоретической школой для русскихъ революціонеровъ.

Въ 1873 году правительство издало указъ, повелѣвавшій всѣмъ русскимъ, подъ угрозой объявленія ихъ внѣ закона, немедленно покинуть этотъ городъ.

Молодежь вернулась, но только не изъ повиновенія распоряженіямъ начальства, а съ опредѣленнымъ планомъ: распространять среди народа идеи Интернаціонала...

«Чась разрушенія стараго, буржуазнаго міра пробилъ,—проповѣдывали вернушіеся по распоряженію властей ученики Интернаціонала.—Новый міръ, основанный на братствѣ всѣхъ людей, міръ, въ которомъ не будетъ больше ни слезъ ни нищеты, готовъ уже возникнуть на его развалинахъ. Къ дѣлу же! Да здравствуетъ революція, единственное средство осуществленія этого золотого идеала!»

Возможность соглашенія съ правительствомъ была окончательно оставлена, и началось революціонное движеніе 1873—1874 годовъ. Люди, принадлежавшіе къ богатымъ аристократическимъ семействамъ, шли на фабрики, въ избы крестьянъ, въ поле, въ мастерскія.

Это не было теоретическое увлеченіе пылкой молодежи. Среди русскихъ социалистическихъ крестonosцевъ этой эпохи было не мало людей зрѣлыхъ, съ опредѣленнымъ общественнымъ положеніемъ.

Участь, постигшая революціонеровъ-соціалистовъ, была та же, что и просвѣтителей-эмансипаторовъ и апостоловъ Чернышевскаго.

Они были разсажены по острогамъ и сосланы въ соотвѣтственные мѣста.

Результаты попки правительства вскорѣ сказались. Движеніе и широкая пропаганда затихли... Казалось, наступилъ конецъ борьбы, но это только казалось. Надежда поднять крестьянъ

на открытое вооруженное возстаніе не удалась, и революція измѣнила свою тактику.

Революціонеръ превратился въ мстителя, борьба въ злобу, революціонное настроеніе въ желчную ненависть, пропаганда въ убійства. Народъ не оправдалъ надеждъ революціонера, и онъ рѣшилъ дѣйствовать самъ, безъ его помощи...

На арену политической борьбы выступилъ террористъ...

Начались убійства шпионовъ, жандармовъ, Мезенцева, раздался выстрѣлъ Вѣры Засуличъ, послѣдовало покушеніе Соловьева, Гартмана, попытка взрыва Зимняго дворца и, наконецъ, 1-е марта...

На престолъ вступилъ новый государь. Выступилъ вопросъ о благополучной коронаціи. Придворныя сферы боялись возможности покушенія на государя со стороны террористовъ. Министръ Двора рѣшилъ войти въ переговоры съ русскими революціонными организаціями по этому вопросу. При посредствѣ лицъ, близко стоящихъ къ террористамъ, удалось заручиться согласіемъ партіи. Дано было обѣщаніе не производить покушенія во время коронаціи, но взамѣнъ этого, съ своей стороны, правительство обязывалось освободить Чернышевскаго изъ ссылки и вернуть въ Россію.

Коронація, какъ извѣстно, прошла благополучно, и было отдано распоряженіе сибирскимъ властямъ объ отправкѣ Николая Гавриловича въ предѣлы Европейской Россіи. Здѣсь онъ былъ поселенъ въ Астрахани.

Въ Астрахани Чернышевскій продолжаетъ вести ту же жизнь, что и въ ссылкѣ. Онъ съ утра до ночи занятъ литературной работой. Работоспособность его не уменьшилась, но это не былъ уже Чернышевскій 60-хъ годовъ. Ссылка сдѣлала свое дѣло.

Пріѣхавъ въ Астрахань, Чернышевскій принялся за свои литературные переводы и занятія съ такимъ видомъ, какъ-будто онъ переѣхалъ съ квартиры на квартиру и какъ-будто не онъ перенесъ 20-тилѣтнюю ссылку. Этотъ человѣкъ совершенно, видимо, не замѣчалъ условій окружающей его матеріальной обстановки и, поглощенный перерабатываніемъ идей, съ истиннымъ философскимъ спокойствіемъ относился къ жизненнымъ неудобствамъ и лишеніямъ.

К. М. Оедоровъ въ своихъ воспоминаніяхъ рассказываетъ сценку изъ астраханской жизни Чернышевскаго, рисующую его *отношеніе къ непривлекательнымъ условіямъ ссылки и то рѣдкое*

отсутствіе позы, которое было въ полной мѣрѣ присуще Николаю Гавриловичу.

«Помню, какъ-то въ Астрахани мѣстныя великосвѣтскія дамы пожелали познакомиться съ Чернышевскимъ и поэтому упросили бывшаго въ то время тамъ астраханскимъ губернаторомъ князя Вяземскаго пригласить его къ себѣ. Чернышевскій пришелъ, и его, между прочимъ, стали спрашивать о житьѣ на каторгѣ.

— А что, Н. Г., тяжело вамъ было? Воздухъ въ тюрьмѣ дурной?

—Нѣтъ, ничего. Воздухъ, какъ воздухъ, если въ комнатѣ нѣтъ скученности.

—Ну, а пища,—спросила одна дама,—вѣроятно, ужасно скверная?

—Да я и прежде ѣлъ часто черный хлѣбъ. Семья моя жила хорошо, а мнѣ некогда было и пообѣдать всякій день, какъ слѣдуетъ.

—Но, наконецъ, ваше помѣщеніе? Простору нѣтъ въ казематѣ?

—Да видите ли, у меня и прежде былъ маленькій кабинетъ, въ который, бывало, кромѣ наборщиковъ и Некрасова, по цѣлымъ недѣлямъ никто не заглядывалъ.

—А принудительныя работы?

—Да принудительной работы гораздо больше въ журналистикѣ, чѣмъ на каторгѣ...»

Словомъ, что бы ни спросили у Чернышевскаго о неудобствахъ жизни въ Сибири, онъ на всякій вопросъ отвѣчалъ все въ томъ же духѣ философа, неспособнаго ощущать страданія отъ матеріальныхъ лишеній и злого чувства противъ своихъ гонителей.

Въ іюнѣ 1889 года, по ходатайству бывшаго тогда астраханскимъ губернаторомъ кн. Л. Д. Вяземскаго, Чернышевскому разрѣшили поселиться въ Саратовѣ. Въ Саратовѣ Николай Гавриловичъ заканчиваетъ переводъ 12-го тома 15-томной исторіи Вебера и мечтаетъ приняться за переводъ 16-томнаго энциклопедическаго словаря Брокгауза.

Его секретарь, г. Ѳедоровъ, говоритъ, что эта работа была завѣтною мечтой Николая Гавриловича, и когда онъ узналъ изъ газетъ, что Брокгаузъ самъ предпринимаетъ изданіе словаря на русскомъ языкѣ, онъ былъ очень опечаленъ.

«Все это хорошо,—говорилъ Чернышевскій,—пускай издають; одно только скверно: напихають они туда, съ позволенія сказать, всякой дряни въ родѣ, напримѣръ, мелкихъ нѣмецкихъ художниковъ, скульпторовъ и т. д. Ну, а для чего это? Развѣ это нужно? ...»

Дурное питаніе въ ссылкѣ истощило организмъ нашего писателя и развило катаръ желудка.

Съ годами эта болѣзнь все больше и больше развивалась и приняла тяжелыя формы. Чернышевскій принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые вообще мало заботятся о своемъ здоровьѣ. Поглощенный всецѣло научными и литературными занятіями, онъ просто забывалъ, что состоитъ не только изъ духа, но что у него есть тѣло, требующее къ себѣ вниманія и извѣстнаго ухода. Равнодушное отношеніе къ гигиенѣ связывалось у Чернышевскаго съ недоувѣріемъ къ медицинѣ и, въ особенности, къ познаніямъ врачей. Въ минуты сильныхъ недуговъ онъ предпочиталъ самолѣченіе, не шедшее дальше «собственныхъ средствъ». Вообще осторожный въ своихъ выводахъ относительно другихъ научныхъ дисциплинъ, въ отношеніи медицины Чернышевскій былъ неумолимъ. Онъ категорически заявлялъ, что не вѣритъ въ нее и, въ особенности, въ ея жрецовъ. Какъ ни настаивали близкіе къ Николаю Гавриловичу люди, онъ отказывался принять врача и дать себя осмотрѣть.

Лѣтомъ 1889 года Чернышевскій переѣхалъ въ родной Саратовъ, а уже въ августъ заболѣлъ. Сначала болѣзнь посѣщала его приступами, затѣмъ все чаще и чаще и, наконецъ, 14-го октября не могъ уже работать. Отъ времени до времени бредилъ, появился сильный поносъ и рвота. 15-го октября, въ воскресенье, впалъ въ безсознательное состояніе и все время бредилъ. Въ бредовомъ состояніи мозгъ работалъ все въ томъ же направленіи, что и въ нормальномъ состояніи. Онъ какъ бы не хотѣлъ прерывать своихъ обычныхъ занятій, несмотря на то, что тѣло уже отказывалось служить. Чернышевскій и въ бреду продолжалъ диктовать Вебера: «...Съ новой строки... Если послать въ Шлезвигъ-Гольштейнъ тысячь тридцать шведскаго войска, оно легко разобьетъ всѣ силы датчанъ и овладѣетъ всею Ютландіею и всѣми островами, кромѣ, развѣ, Копенгагена...» и т. д.

Въ ночь съ 16-го на 17-е октября, въ 12 часовъ 37 минутъ Чернышевскаго не стало; онъ скончался отъ кровоизліянія въ мозговую область.

Хоронили умершаго на четвертый день послѣ смерти, въ присутствіи многочисленной публики; отпѣвали въ Сергіевской церкви и похоронили на томъ же кладбищѣ, на которомъ былъ похороненъ и отецъ Николая Гавриловича. Въ день похоронъ на могилу была возложена масса вѣнковъ, по преимуществу отъ молодежи. На нихъ, конечно, надписи гласили о томъ, чѣмъ былъ Чер-

нышевскій для своихъ многочисленныхъ учениковъ, и какая доля постигла его, какъ общественнаго дѣятеля. «Миръ праху твоему, страдалецъ!»—гласилъ одинъ вѣнокъ; другой говорилъ то же, но болѣе лаконично: «Страдальцу», «Страдальцу отъ студентовъ Казанскаго университета» и т. д.

Однажды, въ бесѣдѣ съ М. Н. Пыпинымъ, Николай Гавриловичъ, говоря о Добролюбовѣ, котораго онъ такъ любилъ и по заслугамъ высоко цѣнилъ, сказалъ съ сожалѣніемъ и грустью: «Не въ Россіи ему надо было жить...»

Не будетъ ли вполне уместнымъ и правильнымъ закончить этотъ очеркъ жизни и дѣятельности Николая Гавриловича Чернышевскаго этими же словами, но только обращенными по его адресу?..

Неистовый Роландъ политической экономіи, строгій до безпощадности и безпощадный до желчности, Карлъ Марксъ называетъ Чернышевскаго «великимъ русскимъ ученымъ и критикомъ». Никто, конечно, не предлагаетъ благоговѣть предъ каждой строкъ знаменитаго экономиста, но отказать ему въ исключительномъ, обширнѣйшемъ знаніи, огромномъ умѣ и критическихъ способностяхъ никто не въ правѣ, а потому его мнѣніе о Николаѣ Гавриловичѣ пріобрѣтаетъ для насъ, не избалованныхъ похвалами иностранцевъ, особый интересъ и значеніе. Приговоръ такого компетентнаго судьи въ большей или меньшей степени обязателенъ и для читателей Чернышевскаго и для исторіи.

Судьба Чернышевскаго повторила еще разъ судьбу всего, что имѣетъ несчастіе родиться въ Россіи и выдѣляться либо умомъ, либо характеромъ, талантомъ, смѣлостью и независимостью мысли, либо знаніемъ и гражданскимъ мужествомъ...

Н. Денисюкъ.

Разрушеніе эстетики *).

I.

Когда какая-нибудь новая мысль только что начинается прокладывать себѣ дорогу въ умы людей, тогда неизбѣжная борьба старыхъ и новыхъ понятій начинается обыкновенно съ того, что представители новой мысли подводятъ итоги всему запасу убѣжденій, выработанныхъ прежними дѣятелями, превратившихся въ общее достояніе и господствующихъ надъ умами образованной массы. Это подведеніе итоговъ необходимо для того, чтобы строгій приговоръ, долженствующій поразить всю отжившую систему понятій, не показался обществу голословнымъ и бездоказательнымъ наборомъ смѣлыхъ парадоксовъ. Подводя итоги, представитель новой идеи принужденъ становиться на точку зрѣнія своихъ противниковъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что эта точка зрѣнія никуда не годится. Онъ принужденъ поражать своихъ противниковъ ихъ собственнымъ оружіемъ, хотя онъ знаетъ очень хорошо, что тотчасъ послѣ своей побѣды онъ изломаеть

*) Эта статья принадлежитъ Дм. Ив. Писареву и написана имъ въ 1865 г. Если принять въ соображеніе, что Дм. Ив. родился въ 1841 году, то станетъ понятнымъ, что въ этой статьѣ мы имѣемъ дѣло съ очень молодымъ, еще не сложившимся писателемъ.

Являясь правовѣрнымъ ученикомъ и апостоломъ идей Чернышевскаго, Писаревъ довелъ ихъ до абсурда и въ концѣ своей недолгой литературной дѣятельности, заведенный втупикъ своими теоріями, беспомощно остановился передъ непроходимыми противорѣчіями. По натурѣ «человѣкъ впечатлительный и сильно увлекающійся»,—какъ онъ пишетъ самъ о себѣ,—Писаревъ часто хваталъ черезъ край, доводилъ мысль до того момента, когда она становится уже однобокою и прямолинейною.

Въ этой статьѣ случилось то же. Мысли Чернышевскаго доведены до такихъ крайнихъ точекъ, до такой узости и жажды разрушенія, о которыхъ Чернышевскій не помышлялъ. Еще годъ назадъ, до «Разрушенія эстетики», Писаревъ смотрѣлъ на искусство не только терпимо, но считалъ его въ числѣ *непремѣнныхъ* условій культурнаго существованія. Онъ только тре-

и бросить навсегда это старое и заржавленное оружіе. Если бы представитель новой идеи поступилъ иначе, если бы онъ, не обращая вниманія на старыя нелѣпости, прямо началъ проповѣдывать свою теорію, то защитники нелѣпости заговорили бы громко и смѣло, что онъ ничего не знаетъ и не понимаетъ. Этотъ говоръ былъ бы очень неоснователенъ, но такъ какъ численный перевѣсъ былъ бы на сторонѣ защитниковъ нелѣпости, то общество повѣрило бы неосновательному говору, и успѣхъ новой мысли былъ бы въ значительной степени ослабленъ или замедленъ этимъ обстоятельствомъ. Значить, на первыхъ порахъ надо говорить съ филистерами на филистерскомъ языкѣ и надо подходить къ нимъ съ нѣкоторыми предосторожностями, потому что филистеры—народъ пугливый и всегда готовый поднять безтолковый и оглушительный гвалтъ, очень вредный для общества и для всякихъ новыхъ идей. Но когда филистеры поражены и доведены до молчанія, когда новая идея уже пустила корень въ обществѣ и начала развиваться, тогда всѣ предварительныя работы, произведенныя для посрамленія филистеровъ, уходятъ въ тихую область исторіи вмѣстѣ съ той старой системой, которую эти работы подкопали и разрушили. Случается иногда, что на эти предварительныя и

бывалъ, чтобы искусство, на ряду съ наукой, было доступно массамъ, а не однимъ только привилегированнымъ лицамъ, ибо «не люди существуютъ для науки и искусства», а наука и искусство для людей. Въ своей статьѣ «Схоластики XIX вѣка» онъ утверждаетъ, что можно наслаждаться... Фетомъ и Полонскимъ, а, спустя годъ, наслажденія, доставляемыя искусствомъ, считаетъ «въ сущности ничѣмъ не отличающимися отъ приаписическихъ улыбокъ и чувственныхъ поползновеній». Въ 1861 году онъ говоритъ по поводу Базарова, что тотъ «завирается», отрицая поэзію, музыку, и дѣлаетъ онъ это потому, что «крайне необразованъ» и привыкъ прямолинейно рѣшать всѣ вопросы, а въ статьѣ, лежащей передъ нами, Писаревъ самъ разрушаетъ эстетику, хотя и увѣряетъ насъ, что ее разрушилъ Чернышевскій, коварно прикинувшись другомъ искусства.

Когда Чернышевскимъ были поставлены вопросы о матеріальномъ положеніи трудящихся массъ, о необходимости распредѣлять болѣе справедливо жизненные блага, о правѣ работающаго на сытость, Писаревъ подхватываетъ эти идеи и во имя ихъ предастъ анафемѣ искусство. Въ то время, когда народъ голодаетъ, не время и не мѣсто искусству занимать наше вниманіе и время: они принадлежать, по мнѣнію Писарева, болѣе существеннымъ задачамъ. Только пошлякъ и эстетикъ говорятъ: «Пускай бѣднота голодаетъ и зябнетъ; моя готребность наслаждаться искусствомъ нормальна и законна». Писаревъ не находитъ достаточно сильныхъ словъ, чтобы заклеить такихъ людей и эстетику. Прежде онъ читалъ наставленія Базарову по поводу его нетерпимости въ вопросахъ искусства и говорилъ, что

неизбѣжно-эфемерныя работы уходить цѣлая жизнь очень замѣчательныхъ дѣятелей. Книга *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*, написанная десять лѣтъ тому назадъ, совершенно устарѣла не потому, что ея авторъ былъ въ то время неспособенъ написать что-нибудь болѣе долговѣчное, а именно потому, что автору надо было вначалѣ опровергать филистеровъ доводами, заимствованными изъ филистерскихъ арсеналовъ. Авторъ видѣлъ, что эстетика, порожденная умственной неподвижностью нашего общества, въ свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться съ мѣста, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ и серьезныхъ гражданскихъ обязанностей, надо было совершенно уничтожить эстетику, надо было отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія. Но, чтобы дѣйствительно опрокинуть вредную систему старыхъ заблужденій, надо приниматься за дѣло осторожно и расчетливо. Если сказать обществу прямо: «Бросьте вы эти глупости; у васъ есть дѣла гораздо поважнѣе и поинтереснѣе»,—то общество изумится, испугается вашей дерзости, не повѣритъ вамъ и приметъ вашъ разумный совѣтъ за гаерскую выходку. Поэтому надо говорить

она свидѣлствуетъ только о его деспотической натурѣ, ибо «выкраивать людей на одну мѣрку съ собой, значить впадать въ узкій умственный деспотизмъ», теперь онъ не находитъ словъ для тѣхъ, кто способны слушать Бетховена, смотрѣть картины Рафаэля и читать Пушкина и Лермонтова.

Увлеченный подъемомъ общества 60-хъ годовъ, заговорившаго о необходимости принятія, наконецъ, за дѣло, Писаревъ воодушевляется идеей пользы и только одной пользы и уже съ этого момента не способенъ замѣчать и признавать что-либо другое. Онъ теперь врагъ всему, что не можетъ назвать себя общественно-полезнымъ дѣломъ, всему, что не производитъ продуктовъ питанія и не несетъ съ собой осязаемую матеріальную выгоду. Въ своей статьѣ «Посмотримъ» Писаревъ ясно формулируетъ обязанности людей, какъ онъ ему представлялись въ тотъ моментъ. Онъ требуетъ, чтобы руководители общественнаго мнѣнія «всѣми силами искали теоретическаго рѣшенія» экономическихъ вопросовъ «и всѣми силами побуждали другихъ людей къ тому же исканію»; для этого они должны «изображать яркими красками страданія голоднаго большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе и общественные вопросы и систематически отрицать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственные силы образованныхъ людей отъ главной задачи».

Теперь становится понятнымъ, почему въ «Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности» Писаревъ увидѣлъ «разрушеніе эстетики». Ему самому надо было въ этотъ моментъ «систематически отрицать и осмѣи-

съ обществомъ въ томъ тонѣ, къ которому оно привыкло. Надо говорить такъ: «Вы, господа, уважаете эстетику. Ахъ, и я тоже уважаю эстетику. Займитесь же вмѣстѣ съ вами эстетическими изслѣдованіями».—Привлекши къ себѣ, такимъ образомъ, сердце довѣрчиваго читателя, лукавый послѣдователь новой идеи, конечно, займется своими эстетическими изслѣдованіями такъ успѣшно, что разобьетъ всю эстетику на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти мелкіе кусочки превратитъ поодионокѣ въ мельчайшій порошокъ и, наконецъ, развѣетъ этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны. «Куда жъ ты, озорникъ, дѣваль мою эстетику, которую ты уважаешь?»—спроситъ огорченный читатель, наказанный за свою довѣрчивость.—«Улетѣла твоя эстетика,—отвѣтитъ писатель,—и давно пора тебѣ забыть о ней, потому что не мало у тебя всякихъ другихъ заботъ». И вздохнетъ читатель и поневолѣ примется за социальную экономію, потому что эстетика дѣйствительно разлетѣлась на всѣ четыре стороны, благодаря эстетическимъ изслѣдованіямъ коварнаго писателя. Когда читатель будетъ, такимъ образомъ, обузданъ и посаженъ за работу, тогда, разумѣется, эстетическія изслѣдованія, погубившія эстетику, потеряютъ всякій современный интересъ и останутся только любопытнымъ историческимъ памятникомъ авторскаго коварства.

вать все, что отвлекаетъ» отъ тѣхъ идей, которыя онъ считалъ въ моментъ написанія статьи полезными и справедливыми. Въ 1865 году эти идеи не совпадали съ идеями сторонниковъ эстетики.

«Эстетика,—говоритъ Писаревъ,—есть самый прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумаго прогресса».

Само-по-себѣ такое мнѣніе нелѣпо и кажется непонятнымъ въ устахъ образованнаго, мыслящаго человѣка, но если представить ту историческую обстановку, среди которой жило русское общество, начиная съ 1862 года, то станетъ понятнымъ, почему среди него имѣли успѣхъ только крайнія мнѣнія «нигилистовъ». Среди правительства въ это время перевѣсъ достался крайнимъ консервативнымъ членамъ; гоненія на печать и свободу достигли степени террора, а это усилило протестъ противъ гнета, среди общества, и довело этотъ протестъ до той остроты и нетерпимости, при которой все, что бы ни исходило отъ врага, уже по тому самому ненавистно. Достаточно было правительству оказать чему-либо вниманіе, отнестись терпимо или покровительственно, и этотъ предметъ не могъ уже разсчитывать на симпатіи общества. Эстетическая литература и чистое искусство, далекія отъ политическаго и социальнаго протеста, пользовались снисходительнымъ отношеніемъ со стороны правящихъ сферъ, и этого было достаточно, чтобы возстановить противъ себя крайніе оппозиціонные элементы.

Въ 1865 году, по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ, была издана секретная книга, въ которой наша тогдашняя литература раздѣлялась на рубрики, по степени своей общественно-политической роли. Въ

II.

Авторъ *Эстетическихъ отношеній* уже на III страницъ своего введенія показываетъ издали догадливому читателю тотъ результатъ, къ которому онъ желаетъ прійти. «Уваженіе къ дѣйствительной жизни,—говоритъ онъ,—недовѣрчивость къ апіорическимъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазіи гипотезамъ,—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ». *Если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ*—оговорка очень замѣчательная! Всякій немедленно пойметъ изъ этой оговорки, что вопросъ объ эстетикѣ былъ уже давно рѣшенъ въ умѣ этого писателя, когда онъ принимался за свою магистерскую диссертацию. Авторъ давно понимаетъ, что говорить объ эстетикѣ стоитъ только для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тѣхъ людей, которыхъ морочить философствующее и тунеядствующее филистерство. Поэтому авторъ, разумѣется, имѣлъ въ виду не основаніе новой, а только истребленіе старой и вообще всякой эстетической теоріи.

этой книгѣ говорится, что «въ минувшее время наша литература развивалась самостоятельно и согласно высшимъ законамъ эстетики», а затѣмъ со- вратилась, подъ вліяніемъ кружка неблагонамѣренныхъ писателей, съ пути истиннаго, оставила «путь свободнаго развитія» и стала служить «временнымъ политическимъ, гражданскимъ и общественнымъ вопросамъ». Такое «уклоненіе литературы имѣло—по соображеніямъ officialнаго діагноста—самое вредное вліяніе на вкусъ читающей публики и даже на общественную нравственность». Казенный эстетикъ находитъ, что истинныя дарованія, каковыми онъ признаетъ только писателей, преслѣдующихъ интересы «звуконъ сладкихъ и молитвъ», не опасны для существующаго порядка вещей, тогда какъ остальные уклоняются въ сторону «соціализма, матеріализма и разныхъ утопій, разлагающихъ семейный союзъ и нравственность».

Никитенко утверждаетъ, что всякое распоряженіе по цензурѣ, даже наисекретнѣйшее, мгновенно становилось извѣстно во всѣхъ редакціяхъ. Надо полагать, что «секретное» изслѣдованіе министерства, о которомъ мы говоримъ, стало также всеобщимъ достояніемъ, утверждая представителей молодой литературы въ той мысли, что реакція и консерватизмъ не только могутъ спокойно уживаться рядомъ съ «свободнымъ» искусствомъ, но и оказывать другъ-другу поддержку. Отсюда недалеко и до гоненія на эстетику.

Вотъ, надо полагать, еще одна изъ причинъ, заставившая Писарева съ такой яростью и непримиримостью приняться за разрушеніе искусства во всѣхъ его видахъ и формахъ.

Н. Денисюкъ.

Эстетика, или наука о прекрасномъ, имѣть разумное право существовать только въ томъ случаѣ, если *прекрасное* имѣть какое-нибудь самостоятельное значеніе, независимо отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Если же прекрасно только то, что нравится намъ, и если вслѣдствіе этого всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ оказываются одинаково законными, тогда эстетика разсыпается въ прахъ. У каждаго отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика, и слѣдовательно общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможною. Авторъ *Эстетическихъ отношеній* ведетъ своихъ читателей именно къ этому выводу, хотя и не высказываетъ его совершенно открыто. «Здоровый человѣкъ,—говоритъ авторъ,—встрѣчаетъ въ дѣйствительности очень много такихъ предметовъ и явленій, смотря на которые не приходится ему въ голову желать, чтобъ они были не такъ, какъ есть, или были лучше. Мнѣніе, будто человѣку непремѣнно нужно «совершенство»,—мнѣніе фантастическое, если подъ «совершенствомъ» понимать такой видъ предмета, который бы совмѣщалъ всевозможныя достоинства и былъ чуждъ всѣхъ недостатковъ, какіе, отъ нечего дѣлать, можетъ отыскать въ предметѣ фантазія человѣка съ холоднымъ или пресыщеннымъ сердцемъ. «Совершенство для меня то, что для меня вполнѣ удовлетворительно въ своемъ родѣ». Такимъ образомъ, «совершенство» для меня одно, для васъ—другое, для Ивана—третье, для Марьи—четвертое и такъ далѣе до безконечности, потому что каждая отдѣльная личность является единственнымъ и верховнымъ судьей въ вопросѣ о томъ, что для нея удовлетворительно. Развивать свой вкусъ для того, чтобы сдѣлать себя взыскательнымъ и разборчивымъ,—авторъ считаетъ дѣломъ совершенно излишнимъ. Онъ называетъ «здоровымъ» того человѣка, который удовлетворяется легко; въ прихотливой строгости требованій онъ видитъ только вредныя послѣдствія праздности, холодности и пресыщенности.

Само собой разумѣется, что всѣ эти мнѣнія автора относятся къ области прекраснаго,—къ той области, въ которой недовольство дѣйствительностью не можетъ повести за собой ничего, кромѣ безплоднаго страданія. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что созерцаніе Рафаэлевскихъ картинъ и древнихъ статуй до такой степени воспламенило ваше воображеніе, что всѣ живыя женщины, съ которыми вы встрѣчаетесь, кажутся вамъ некрасивыми. Какая же польза получится изъ вашего недовольства для васъ самихъ или для другихъ людей? Русскія женщины, дѣйствительно,

не такъ красивы, какъ тѣ итальянки, которыхъ видѣлъ Рафаэль, или какъ тѣ гречанки, которыхъ знали древніе скульпторы; но какъ бы ни было велико ваше недовольство, русскія женщины отъ него нисколько не похорошѣютъ, и вы со всѣмъ вашимъ недовольствомъ все-таки до скончанія вѣка не придумаете ничего такого, что могло бы увеличить ихъ красоту. Значить, вы же сами останетесь въ чистомъ проигрышѣ, потому что будете совершенно бесполезно хмуриться и тосковать тамъ, гдѣ другіе будутъ любоваться, влюбляться и наслаждаться. Недовольство дѣйствительностью, совершенно бесплодное и нелѣпое, когда оно обращено на красоту, становится, напротивъ того, очень полезнымъ и уважительнымъ чувствомъ, когда оно направлено противъ житейскихъ неудобствъ, устроенныхъ руками и умами людей. Тутъ недовольство ведетъ за собой преобразовательную дѣятельность и, слѣдовательно, приносить очень реальные и осязательные результаты. Всякая эстетика, старая или новая или новѣйшая, строится непремѣнно на томъ основномъ предположеніи, что люди должны усиливать, очищать и совершенствовать въ себѣ свое врожденное стремленіе къ красотѣ. Кто отвергаетъ это основное предположеніе, тотъ отвергаетъ не какія-нибудь частныя ошибки той или другой эстетики, а самый принципъ, самый фундаментъ всякой эстетики вообще. Авторъ *Эстетическихъ отношеній* поступаетъ именно такимъ образомъ. Видя, что здоровый человѣкъ удовлетворяется такими предметами и явленіями, въ которыхъ можно замѣтить и неправильности очертаній, и недостаточное богатство красокъ, и разныя другія шероховатости, авторъ становится безусловно на сторону этого здороваго человѣка и вовсе не требуетъ, чтобы этотъ здоровый человѣкъ отвернулся, во имя высшей красоты, отъ того, что доставляетъ ему безвредное и освѣжительное наслажденіе. Этотъ здоровый человѣкъ доволенъ тѣмъ, что онъ видитъ передъ собой; и прекрасно, больше ничего не нужно; не зачѣмъ мудрить надъ этимъ человѣкомъ; не зачѣмъ отравлять ему его естественное и законное наслажденіе; чѣмъ скромнѣе его требованія, тѣмъ лучше для него и для всѣхъ, потому что тѣмъ больше у него будетъ шансовъ наслаждаться часто, не причиняя никому ни хлопотъ ни непріятностей.

Вотъ процессъ мысли, скрытый въ тѣхъ словахъ автора, которыя я выписалъ выше; такъ какъ, по естественному развитію этихъ мыслей, каждый здоровый человѣкъ признается высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ эстетики, то очевидно эстетика, какъ

наука, становится такой же нелѣпостью, какой была бы, напри-
мѣръ, наука о любви. Каждый любить по-своему, не справляясь
ни съ какими учеными книжками. И каждый наслаждается всѣми
впечатлѣніями жизни также по-своему, также не справляясь ни
съ какими учеными книжками. Слѣдовательно, наука о томъ,
какъ и чѣмъ должно наслаждаться, превращается въ безсмы-
слицу.

III.

«Прекрасное—говорить авторъ,—есть жизнь; прекрасно то
существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна
быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, кото-
рый выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни».

Это опредѣленіе до такой степени широко, что въ немъ совер-
шенно тонетъ и исчезаетъ то, что называется красотой въ обыкно-
венномъ разговорномъ языкѣ. Это опредѣленіе показываетъ ясно,
что авторъ, какъ мыслящій человѣкъ, относится совершенно
равнодушно къ прекрасному, въ узкомъ и общепринятомъ смыслѣ
этого слова. По этому опредѣленію всякій вполне здоровый и нор-
мально развившійся человѣкъ прекрасенъ; все, что не изуродо-
вано въ большей или меньшей степени, то прекрасно. Это мо-
жетъ показаться парадоксомъ, а между тѣмъ это совершенно вѣрно.
Когда дѣло идетъ, напримѣръ, о человѣческой фізіономіи, то,
разумѣется, вопросы о томъ, великъ или малъ ротъ, толстъ
или тонокъ носъ, густы или жидки волосы, словомъ, всѣ
вопросы, касающіеся собственно до такъ-называемой писа-
ной красоты, могутъ быть интересны только для гоголев-
ской Агаѣи Тихоновны и для людей обоего пола, стоя-
щихъ на одномъ уровнѣ развитія съ этой прекрасной дѣви-
цей. Съ тѣхъ поръ какъ солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ, ни
толстый носъ, ни большой ротъ, ни жидкіе или рыжіе волосы не
помѣшали никому сдѣлаться полезнымъ и великимъ человѣкомъ;
кромѣ того, они даже никому не помѣшали пользоваться всѣми
наслажденіями взаимной любви. Чѣмъ дольше человѣчество жи-
ветъ на свѣтѣ и чѣмъ умнѣе оно становится, тѣмъ равнодушнѣе
оно относится къ чистой красотѣ и тѣмъ сильнѣе оно дорожить
тѣми атрибутами человѣческой личности, которые сами-по-себѣ
составляютъ дѣятельную силу и реальное благо. Цвѣтущее здо-
ровье и сильный умъ кладутъ свою печать на человѣческую
фізіономію; жизнь мысли, чувства и страстей оставляетъ на ней

свои слѣды; эта печать и эти слѣды заставляютъ каждого умнаго человѣка совершенно забыть о томъ, великъ ли ротъ, толстъ ли носъ и жидки ли волосы. Но здоровье и умъ существуютъ не для того, чтобы класть свою печать на фізіономію; человѣкъ живетъ, мыслить, чувствуетъ и волнуется также не для того, чтобы пріобрѣтать себѣ то или другое выраженіе лица: печать здоровья и ума и слѣды пережитыхъ впечатлѣній ложатся на лицо безъ нашего вѣдома и помимо нашего желанія; здоровье, умъ и впечатлѣнія жизни имѣютъ для насъ свое самостоятельное значеніе, совершенно независимое отъ того выраженія, которое они придаютъ нашимъ фізіономіямъ, и гораздо болѣе важное, чѣмъ это выраженіе. Когда мы видимъ по лицу человѣка, что онъ здоровъ, уменъ и много пережилъ на своемъ вѣку, то его лицо нравится намъ, не какъ красивая картинка, а какъ программа нашихъ будущихъ отношеній къ этому человѣку. Мы, судя по лицу, расположены сблизиться съ этимъ человѣкомъ, потому что его лицо говоритъ намъ то, чего не могъ бы намъ сказать самый безукоризненный греческій профиль. Глядя на это лицо, мы невольно угадываемъ и предчувствуемъ въ его обладателѣ энергическаго, твердаго, вѣрнаго, умнаго и полезнаго друга. Когда лицо нравится намъ, такимъ образомъ, какъ намекъ на умъ, характеръ и біографію даннаго субъекта, тогда, очевидно, эстетика остается не при чемъ. Мы смотримъ на лицо человѣка такъ, какъ при покупкѣ серебряной или золотой вещи мы смотримъ на пробу. Проба не придаетъ вещи никакой красоты; она только ручается за ея цѣнность. При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ, эстетика, къ нашему величайшему удовольствію, исчезаетъ въ фізіологіи и въ гігіенѣ.

Я не буду слѣдить за борьбой нашего автора съ нѣмецкимъ эстетикомъ Фишеромъ по вопросу о прекрасномъ въ дѣйствительности. Намъ нѣтъ дѣла до этой борьбы, потому что для насъ въ настоящую минуту не имѣютъ рѣшительно никакого значенія всѣ глубокомысленныя умозрѣнія Фишера и другихъ нѣмецкихъ идеалистовъ. Результатъ борьбы состоитъ въ томъ, что, по мнѣнію нашего автора, «прекрасное въ объективной дѣйствительности вполнѣ прекрасно и совершенно удовлетворяетъ человѣка». А если это такъ, то, разумѣется, «искусство рождается вовсе не отъ потребности человѣка восполнить недостатки прекраснаго въ дѣйствительности». Выражаясь другими словами, цѣль искусства состоитъ не въ томъ, чтобы создать такое чудо красоты, котораго нѣтъ и не можетъ быть въ природѣ. Въ чемъ же состоитъ

цѣль искусства? Чтобы отвѣчать на этотъ вопросъ, авторъ перебираетъ всѣ различныя отрасли искусства, и на этомъ анализѣ я считаю нелишнимъ остановиться.

IV.

Авторъ начинаетъ свой анализъ съ архитектуры и съ перваго же шага ставитъ господамъ-эстетикамъ убійственную дилемму. По его мнѣнію, надо или выключить архитектуру изъ числа искусствъ, или причислить къ искусствамъ садоводство, мебельное, модное, ювелирное, лѣпное мастерства и вообще «всѣ отрасли промышленности, всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству». Если какой-нибудь портикъ или палаццо есть произведеніе искусства на томъ основаніи, что онъ построенъ красиво и радуетъ глазъ правильностью своихъ формъ, то на такомъ же точно основаніи надо будетъ назвать произведеніями искусства—аллею съ подстриженными деревьями и кресло съ рѣзной или точеной спинкой, и фарфоровый чайникъ съ закорюченной ручкой, и штуку обоевъ, расписанныхъ яркими красками, и дамскую шляпку, украшенную цвѣтами, перьями и блондой, и дамскую прическу, придуманную и исполненную какимъ-нибудь знаменитымъ *artiste en cheveux*. Мало того, даже клюквенный кисель, вылитый въ кухонную форму, оказывается также произведеніемъ искусства. Въ самомъ дѣлѣ, кисель можно было бы подать на столъ, въ видѣ сплошной, безформенной массы, лежащей на блюдѣ,—онъ былъ бы точно такъ же вкусенъ и удобоваримъ,—но его подаютъ въ видѣ башни съ зубчиками и фестончиками, и это дѣлается именно потому, что человѣкъ не есть грубый скотъ; ему мало того, чтобы отправить кисель въ желудокъ; ему хочется, кромѣ того, погрузиться въ созерцаніе зубчиковъ и фестончиковъ и, уничтожая эти фестончики и зубчики, умиляться душой надъ непрочностью земной красоты. Такимъ образомъ, кисель, вылитый въ форму, не только удовлетворяетъ эстетическому чувству обѣдающаго человѣка, но даже пробуждаетъ въ его отзывчивой душѣ высокія размышленія, точно такія же размышленія, какія обыкновенно булбурютъ впечатлительнаго путешественника, созерцающаго какой-нибудь обвалившійся портикъ временъ Септимія Севера или какой-нибудь опустѣлый палаццо венеціанскаго патриція. Значитъ, ясно, что архитектура не имѣетъ ни малѣйшаго права обитать въ такихъ хоромахъ, въ которыя, по распоряженію непослѣдова-

тельныхъ эстетиковъ, не допускаются ея родныя сестры и ближайшія родственницы. Французы давно это поняли, и поэтому парикмахеры называются у нихъ *artistes en cheveux*, и нашъ знаменитый мебельный мастеръ, Туръ, навѣрное посмотрѣлъ бы на васъ съ глубокимъ презрѣніемъ, если бы вы вздумали оспаривать у него право на титулъ художника. Такъ оно дѣйствительно и должно быть, если сущность, цѣль и оправданіе искусства заключаются въ его стремленіи къ красотѣ. Тогда и старуха, которая бѣлится и румянится передъ зеркаломъ, окажется художникомъ, превращающимъ свою собственную особу въ художественное произведеніе. Всѣ отрасли промышленности,—говоритъ нашъ авторъ,—всѣ ремесла, имѣющія цѣлью удовлетворять вкусу или эстетическому чувству, мы признаемъ искусствами въ такой же степени, какъ архитектуру, когда ихъ произведенія замышляются и исполняются подъ преобладающимъ вліяніемъ стремленія къ прекрасному и когда другія цѣли (которыя всегда имѣетъ архитектура) подчиняются этой главной цѣли.

Совершенно другой вопросъ о томъ, до какой степени достойны уваженія произведенія практической дѣятельности, задуманныя и исполненные подъ преобладающимъ стремленіемъ произвести не столько что-нибудь дѣйствительно нужное или полезное, сколько произвести прекрасное. Какъ рѣшить этотъ вопросъ, — не входитъ въ сферу нашего разсужденія; но какъ рѣшенъ будетъ онъ, точно такъ же долженъ быть рѣшенъ вопросъ и о степени уваженія, которой заслуживаютъ созданія архитектуры въ значеніи чистаго искусства, а не практической дѣятельности. Какими глазами смотритъ мыслитель на кашемировую шаль, стоящую 10,000 франковъ, на столовые часы, стоящіе 10,000 франковъ, такими же глазами долженъ смотрѣть онъ и на изящный кіоскъ, стоящій 10,000 франковъ. Быть-можетъ, онъ скажетъ, что всѣ эти вещи—произведенія не столько искусства, сколько роскоши; быть-можетъ, онъ скажетъ, что истинное искусство чуждается роскоши, потому что существеннѣйшій характеръ прекраснаго—простота.

Мыслитель будетъ совершенно правъ, если посмотреть съ презрѣніемъ на шаль, на часы и на кіоскъ, но онъ будетъ совершенно неправъ, когда начнетъ утверждать, что *истинное искусство чуждается роскоши*. Истинному искусству нѣтъ рѣшительно никакого дѣла до экономическихъ соображеній. Истинное искусство есть чуждаемое растеніе, которое постоянно питается соками *человѣческой роскоши*. Являясь всегда и вездѣ неразлучнымъ

спутникомъ роскоши, оно никакъ не можетъ ея чуждаться. И Микель Анджело и Рафаэль расписывали своими фресками потолки и простѣнки папскаго дворца, подобно тому, какъ различные московскіе художники украшаютъ «пукетами и амурами» стѣны тѣхъ апартаментовъ, въ которыхъ Лазарь Елизарычъ Подхалюзинъ наслаждается радостями семейной жизни съ своей супругой, Олимпіадой Сампсоновой, урожденной Большой. Фрески Рафаэля, по мнѣнію такого чистокровнаго и даровитаго эстетика, какъ Анри Тэнъ, не имѣютъ почти никакого самостоятельнаго значенія. Онѣ составляютъ просто дополненіе архитектуры. «Въ самомъ дѣлѣ,—разсуждаетъ Тэнъ,—отчего же фрескамъ и не быть дополненіемъ архитектуры? Не ошибочно ли разсматривать ихъ отдѣльно? Чтобы понимать идеи живописца, надо становиться на его точку зрѣнія. А Рафаэль, разумѣется, смотрѣлъ на всю задачу именно такимъ образомъ. *Пожаръ въ Борго* составляетъ украшеніе арки, которую ему поручено было чѣмъ-нибудь наполнить. *Парнасъ* и *Освобожденіе Св. Петра* украшаютъ простѣнки надъ дверью и надъ окномъ, и ихъ мѣсто обязываетъ ихъ принять извѣстную форму. Эти картины не приставлены къ стѣнамъ зданія; онѣ сами составляютъ часть зданія; онѣ облачаютъ зданіе такъ, какъ кожа облачаетъ тѣло. Если онѣ принадлежать къ архитектурѣ, то какъ же имъ не подчиняться архитектурнымъ требованіямъ?».. «Вотъ,—объясняетъ онъ далѣе,—арка окна выгибается величественно и просто; линія этой арки благородна (noble!) и бордюръ изъ лѣпныхъ украшеній сопровождаетъ ея прекрасную округлость, но мѣста по бокамъ и наверху остаются пустыми; надо ихъ наполнить, а для этого годятся только фигуры, не уступающія архитектурѣ въ полнотѣ и серьезности; лица, пресдающіяся увлеченію страсти, составили бы диссонансъ; здѣсь не можетъ быть мѣста безпорядку естественныхъ группъ. Надо, чтобы дѣйствующія лица выравнивались сообразно съ высотой простѣнка; наверху арки должны стоять маленькія дѣти или согнувшіяся фигуры, а по бокамъ—большія, вытянутыя во весь ростъ»*)).

А вѣдь, мы, право, не умѣемъ цѣнить достоинствъ нашей отечественной литературы; вѣдь, у насъ даже въ эстетической *Эпохѣ* или въ столь же эстетическомъ *Атенѣ* были немыслимы словозверженія о томъ, что «la ligne est noble» и что «les personnages

*) «L'Italie et la vie italienne». («Revue des deux Mondes», 1865, 1 janvier.)

s'étagent selon la hauteur du panneau». А у французъ это—сплошь и рядомъ, такъ что даже самый ревностный реалистъ начинаетъ конфузиться за автора только тогда, когда ему по какому-нибудь странному случаю приводится переводить эти деликатесы на русскій языкъ.

Какъ бы то ни было, а изъ словъ Тэна все-таки видно очень ясно, что истинное искусство съ величайшей готовностью превращало себя въ лакея роскоши. Художникъ подчинялся всѣмъ требованіямъ роскоши такъ раболопно, что соглашался уродовать въ угоду имъ свои картины, соглашался разставлять группы по ранжиру,—словомъ, весьма охотно протестировалъ свою творческую мысль. Можетъ ли мыслитель сказать послѣ этого, что *истинное искусство чуждается роскоши*? Если же мыслитель рѣшится выгнать изъ храма *истиннаго искусства* Рафаэля Санціо, то, спрашивается, кто же останется въ этомъ храмѣ послѣ изгнанія главнаго жреца? И, спрашивается еще, не превратится ли тогда этотъ храмъ *истиннаго искусства* въ мастерскую человѣческой мысли, въ которой изслѣдователи, писатели и рисовальщики, каждый по-своему, будутъ стремиться къ одной великой цѣли—къ искорененію бѣдности и невѣжества?

Въ умѣ автора *Эстетическихъ отношеній* это превращеніе совершилось давнымъ-давно; но въ 1855 году наше общество было еще совершенно не приготовлено къ пониманію такихъ плодотворныхъ идей; поэтому автору и приходится до поры до времени оставлять въ неприкосновенности какой-то призракъ *истиннаго искусства*, въ существованіе котораго онъ, человѣкъ, осмѣлившійся заговорить въ эстетическомъ трактатѣ о 10,000 франкахъ, уже нисколько не вѣрить.

V.

Выбрасывая архитектуру изъ храма *истиннаго искусства*, авторъ *Эстетическихъ отношеній* не считаетъ нужнымъ даже упомянуть мимоходомъ о томъ безбрежномъ морѣ фразъ, которое изливаютъ насчетъ архитектурныхъ памятниковъ разные туристы и дилетанты, считающіе себя любителями и цѣнителями изящнаго во всѣхъ его проявленіяхъ. Авторъ совершенно правъ въ своемъ спокойномъ презрѣніи къ этимъ фразамъ; возражать противъ нихъ серьезно нѣтъ никакой возможности, а смѣяться надъ ними очень неудобно въ такомъ трудѣ, который долженъ былъ подвергнуться суду ученаго ареопага. Но такъ какъ литератур-

ные враги автора могут прикинуться, будто они принимаютъ его презрительное молчаніе за доказательство его невѣдѣнія или его неумѣнія опровергнуть фразерство диллетантовъ,—то я брошу здѣсь бѣглый взглядъ на несостоятельность этого фразерства.

Каждому читателю случалось, конечно, не разъ слышать и читать возгласы о томъ, что архитектура такого-то вѣка и такого-то народа воплотила въ себѣ всю жизнь, все міросозерцаніе, всѣ духовныя стремленія этого вѣка и этого народа. Французскіе историки и туристы особенно бойко и самоувѣренно умѣютъ читать исторію и мысли отжившихъ народовъ въ каменныхъ сводахъ, колоннахъ, портикахъ, капителяхъ, фронтонахъ и разныхъ другихъ архитектурныхъ украшеніяхъ. У этихъ господъ на каждомъ шагу встрѣчаются выраженія: «гранитная поэма», «эпопея изъ мрамора»; эти выраженія прикладываются ими къ очень большимъ зданіямъ, въ родѣ Колизея, Ватикана или собора св. Петра; если бы они были послѣдовательны, то маленькія строенія, съ претензіями на элегантность, должны были бы называться на ихъ фигурномъ языкѣ мадригалами изъ кирпича или сонетами изъ дуба.

Если повѣрить этимъ господамъ на-слово, то окажется, что имъ для основательнаго изученія прошедшаго совсѣмъ не нужны письменные документы; они берутся угадать и рассказать вамъ всю подноготную на основаніи мраморныхъ поэмъ и гранитныхъ эпоей. Приведите такого господина въ древній греческій храмъ и предупредите его заранѣе, что это—точно греческій храмъ, вашъ господинъ сію минуту начнетъ вамъ объяснять, что во всемъ характерѣ и во всѣхъ отдѣльныхъ подробностяхъ архитектуры отразилась свѣтлая и гармоническая полнота греческаго духа. И стоить усладительно начнетъ онъ вамъ повѣствовать о греческомъ духѣ и такую элегическую грусть онъ на себя напуститъ по тому случаю, что древніе греки всѣ померли, и такую онъ передъ вами развернетъ картину Олимпійскихъ игръ или Элевзинскихъ таинствъ, что вы совсѣмъ растаете и припишете все его краснорѣчіе чудотворному вліянію греческаго духа, замурованнаго въ стѣны, въ колонны и въ своды древняго храма. Приведите этого господина въ Альгамбру и скажите ему, что она была построена въ такомъ-то вѣкѣ такимъ-то калифомъ,—сію минуту польются увлекательныя рѣчи о пылкости арабской фантазіи. А въ готическій соборъ лучше ужъ совсѣмъ не водите вашего словоохотливаго туриста,—тутъ ужъ конца не будетъ чтенію гранитныхъ поэмъ; въ каждомъ стрѣльчатомъ окошкѣ онъ будетъ усматривать выраженіе средневѣковаго идеализма, стре-

мившагося оторваться отъ земли и улетѣть въ пространство ээира. Словомъ, туристъ всегда будетъ угадывать вѣрно по той простой причинѣ, что онъ, какъ человѣкъ довольно начитанный, будетъ всегда знать заранѣе, что именно въ данномъ случаѣ должно быть угадано. Если мы знаемъ заранѣе, что такое-то зданіе было построено тогда-то, такимъ-то человѣкомъ, для такого-то употребленія, то, разумѣется, входя въ это зданіе, мы невольно вспоминаемъ о томъ, какъ жилъ этотъ человѣкъ, что онъ дѣлалъ, что онъ думалъ. А такъ какъ большинство людей не умѣетъ анализировать свои собственныя впечатлѣнія, то этимъ людямъ и кажется, что ихъ воспоминанія расшевеливаются въ нихъ именно самой *формой* зданія, и что, слѣдовательно, эта форма находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей того человѣка, о которомъ приходится вспоминать.

Несостоятельность этого мнѣнія можетъ быть доказана совершенно очевидно и осязательно посредствомъ анализа нѣкоторыхъ другихъ, совершенно аналогичныхъ процессовъ нашей мысли. Показываютъ вамъ, напримѣръ, картину, на которой нарисовано нѣсколько мужчинъ и нѣсколько женщинъ; фізіономіи у нихъ очень молодыя, но волосы—бѣлые, какъ снѣгъ; вы, конечно, тотчасъ соображаете, что они напудрены, и мысль ваша немедленно переносится въ XVIII столѣтіе. Пудра и XVIII столѣтіе—два представленія, неразрывно связанныя между собой въ нашемъ умѣ; мы знаемъ, что мода эта существовала именно тогда; мы знаемъ, что она не существовала ни въ какое другое время; мы видѣли множество картинъ и портретовъ, на которыхъ люди XVIII вѣка представлены съ напудренными головами, и, такимъ образомъ, мы совершенно незамѣтно и нечувствительно привыкли къ той мысли, что пудра дѣйствительно характеризуетъ собой XVIII столѣтіе. Но кто же, въ самомъ дѣлѣ, рѣшится утверждать, что эта странная мода находится въ необходимой внутренней связи съ жизнью, съ дѣятельностью и съ образомъ мыслей тогдашнихъ людей? Въ этой модѣ есть, конечно, одна черта, характеризующая собой тогдашнее общество; но эту черту мы находимъ во многихъ другихъ модахъ; эта черта заключается въ искусственности и вычурности этой моды; эта искусственность и вычурность показываютъ намъ, что преобладающимъ значеніемъ пользовалось въ тогдашней Европѣ сословіе совершенно праздное, которое отъ нечего дѣлать принимало съ восторгомъ самыя нелѣпыя *выдумки парикмахеровъ* и другихъ законодателей моды. Но почему

искусственность и вычурность проявились при Людовикѣ XV въ посыпаніи головы бѣлымъ порошкомъ, а при Людовикѣ XIV—въ ношеніи огромныхъ париковъ,—этого ни одинъ мыслитель въ мірѣ не объяснить намъ общими причинами, заключавшимися въ духѣ времени и народа. Конечно, и пудра и парики имѣютъ свою причину, но причину такую мелкую, частную и случайную, которая можетъ быть интересною только для собирателя историческихъ анекдотовъ.

То же самое можно сказать и объ архитектурныхъ памятникахъ. То обстоятельство, что въ данное время строилось въ данной странѣ значительное количество бесполезныхъ и великолѣпныхъ зданій, доказываетъ, конечно, что въ данной странѣ были въ данное время такіе люди, которые сосредоточивали въ своихъ рукахъ огромные капиталы или по какимъ-нибудь другимъ причинамъ могли располагать по своему благоусмотрѣнію громадными массами дешеваго труда. А по этой канвѣ политической и социальной безалаберщины пылкая фантазія архитекторовъ и декораторовъ, подогреваемая хорошимъ жалованьемъ или страхомъ наказанія, конечно, должна была вышивать самые величественные и самые пестрые узоры; но видѣть въ этихъ узорахъ проявленіе народнаго міросозерцанія, а не индивидуальной фантазіи,—позволительно только тѣмъ туристамъ, которые серьезно разсуждаютъ о благородствѣ круглой арки или о возвышенности стрѣльчатого окна.

VI.

Бросивъ бѣглый взглядъ на скульптуру и на живопись, авторъ *Эстетическихъ отношеній* приходитъ къ тому выводу, что «произведенія того и другого искусства, по многимъ и существеннѣйшимъ элементамъ (по красотѣ очертаній, по абсолютному совершенству исполненія, по выразительности и т. д.), неизмѣримо ниже природы и жизни». Доказательства въ пользу этого положенія авторъ беретъ отчасти изъ личныхъ впечатлѣній, отчасти изъ анализа тѣхъ необходимыхъ отношеній, которыя существуютъ между идеаломъ художника и живой дѣйствительностью. «Мы должны сказать,—говоритъ авторъ,—что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ. Въ этомъ согла-

сится большая часть тѣхъ, которые привыкли думать самостоятельно».

Такъ какъ авторъ сказалъ уже въ самомъ началѣ своего сужденія, что «прекрасное есть жизнь», и такъ какъ красота статуи заключается не въ жизни, то-есть не въ выраженіи лица, а въ строгой правильности очертаній и въ совершенной соразмѣрности частей, то, разумѣется, каждое неизуродованное и умное лицо живого человѣка оказывается гораздо красивѣе всевозможныхъ мраморныхъ или мѣдныхъ лицъ. Только въ этомъ смыслѣ и могутъ быть поняты слова автора, потому что иначе трудно было бы себѣ представить, какимъ образомъ въ Петербургѣ, который, какъ извѣстно, вовсе не славится красотой своихъ обитателей, могутъ встрѣчаться на каждой многолюдной улицѣ по нѣскольку лицъ, болѣе прекрасныхъ, чѣмъ лица статуй Кановы. Мое предположеніе подтверждается тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ говорить о *«красотѣ очертаній»*, а не о *«правильности»*. Очевидно, что *правильность* не имѣетъ въ его глазахъ почти никакого значенія. Объ идеалѣ скульптора авторъ говорить, что онъ «никакъ не можетъ быть по красотѣ выше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ имѣлъ случай видѣть художникъ. Силы творческой фантазіи очень ограничены: она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученные изъ опыта».

Противъ этой очевидной истины могутъ спорить только неисправимые идеалисты, способные до сихъ поръ принимать за чистую монету рассказы о томъ, что «художники, какъ боги, входятъ въ Зевсовы чертоги и, читая мысль его, видятъ въ вѣчныхъ идеалахъ то, что смертнымъ въ доляхъ малыхъ открываетъ божество». Кто не вѣритъ въ прогулки художниковъ по чертогамъ Зевса и кто не признаетъ существованія врожденныхъ идей, тотъ, конечно, долженъ согласиться, что художникъ, подобно всѣмъ остальнымъ смертнымъ, почерпаетъ изъ опыта все свое внутреннее содержаніе и, слѣдовательно, всѣ мотивы своихъ художественныхъ произведеній.

Говоря о живописи, авторъ обращаетъ вниманіе на несовершенство ея техническихъ средствъ. «Краски ея,—говоритъ онъ,—въ сравненіи съ цвѣтомъ тѣла и лица,—грубое, жалкое подражаніе; вмѣсто нѣжнаго тѣла, она рисуетъ что-то зеленоватое или красноватое». «Руки человѣческія грубы,—говоритъ онъ далѣе,—и въ состояніи удовлетворительно сдѣлать только то, для чего не требуется слишкомъ удовлетворительной отдѣлки; «топорная работа»—вотъ настоящее имя всѣхъ пластическихъ искусствъ,

какъ скоро сравнимъ ихъ съ природой». Къ ландшафтной живописи авторъ также относится безъ малѣйшаго благоговѣннѣя. Онъ сомнѣвается въ томъ, чтобы живопись могла лучше самой природы сгруппировать пейзажъ, и говоритъ, что «человѣкъ съ неиспорченнымъ эстетическимъ чувствомъ наслаждается природой вполне, не находитъ недостатковъ въ ея красотѣ».

Говоря о музыкѣ, авторъ прежде всего отдѣляетъ вокальную музыку отъ инструментальной. Потомъ, рассматривая вокальную музыку или пѣннѣе, онъ отдѣляетъ естественное пѣннѣе отъ искусственнаго. Естественнымъ онъ называетъ то пѣннѣе, которое возникаетъ у человѣка само собой, въ минуту радости или грусти, изъ потребности излить накопившееся чувство, а вовсе не изъ стремленнѣя къ прекрасному. Это естественное пѣннѣе авторъ считаетъ произведеннѣемъ практической жизни, а не произведеннѣемъ искусства. Искусственное пѣннѣе, по мнѣннѣю автора, прекрасно въ той мѣрѣ, въ какой оно приближается къ естественному. А инструментальная музыка, въ свою очередь, прекрасна настолько, насколько она приближается къ вокальной. «Послѣ того,—говоритъ авторъ,—мы имѣемъ право сказать, что въ музыкѣ искусство есть только слабое воспроизведеннѣе явленнѣя жизни, независимыхъ отъ стремленнѣя нашего къ искусству».

Въ поэзѣии авторъ находитъ тотъ неизбѣжный недостатокъ, что ея образы всегда оказываются блѣдными и неопредѣленными, когда мы начинаемъ ихъ сравнивать съ живыми явленнѣями. «Образъ въ поэтическомъ произведеннѣи,—говоритъ авторъ,—точно такъ же относится къ дѣйствительному, живому образу, какъ слово относится къ дѣйствительному предмету, имъ обозначаемому,—это не болѣе, какъ блѣдный и общѣй, неопредѣленный намекъ на дѣйствительность».

Кто усомнится въ вѣрности этой мысли, тому я могу предложить слѣдующее доказательство. Извѣстно, что высшѣй родъ поэзѣии — драма; извѣстно, что лучшѣя драмы въ мѣрѣ написаны Шекспиромъ; выше шекспировскихъ драмъ въ поэзѣии нѣтъ ничего; стало-быть, если образы шекспировскихъ драмъ окажутся блѣдными и неопредѣленными намеками на дѣйствительность, то о всѣхъ остальныхъ поэтическихъ произведеннѣяхъ нечего будетъ и говорить. Но всякѣй знаетъ, что всѣ драмы, въ томъ числѣ и драмы Шекспира, достигаютъ нѣкоторой опредѣленности, приближающей ихъ къ дѣйствительности, только тогда, когда онѣ играютъ на сценѣ; всякѣй знаетъ далѣе, что играть удовлетворительнымъ образомъ шекспировскѣя роли могутъ только замѣ-

чательные актеры; значить, необходима цѣлая новая отрасль искусства для того, чтобы придать поэтическимъ образамъ нѣкоторую опредѣленность; значить, необходимы умъ, талантъ и образование для того, чтобы понимать, комментировать *блѣдныя и неопредѣленные намеки на дѣйствительность*. Это пониманіе и комментированіе составляютъ всю задачу талантливаго актера, и удовлетворительнымъ рѣшеніемъ этой задачи актеръ пріобрѣтаетъ себѣ всемірную извѣстность. Стало-быть, задача дѣйствительно очень трудна и *намеки дѣйствительно блѣдны и неопредѣленны*. Но это еще не все. Всякому извѣстно, что одна и та же роль играется различными актерами совершенно различно и между тѣмъ одинаково удовлетворительно. Одинъ понимаетъ характеръ дѣйствующаго лица такъ, другой — иначе, третій — опять по-своему, и если всѣ они одинаково талантливы, то самый внимательный и требовательный зритель останется совершенно доволенъ; значить, всѣ понимаютъ вѣрно и, значить, поэтическій образъ уподобляется неопредѣленному уравнию, которое, какъ извѣстно, допускаетъ множество различныхъ рѣшеній. Послѣ этого, мнѣ кажется, трудно сомнѣваться въ томъ, что поэзія по самой сущности своей можетъ давать только блѣдныя и неопредѣленные намеки на дѣйствительность.

Перебравъ, такимъ образомъ, всѣ искусства, авторъ приходитъ къ тому общему заключенію, что прекрасное въ живой дѣйствительности всегда стоитъ выше прекраснаго въ искусствѣ. Если, слѣдовательно, искусство не можетъ создавать такихъ чудесъ красоты, какихъ не бываетъ въ дѣйствительности, то, спрашивается, что же оно должно дѣлать? Оно должно, по мѣрѣ своихъ силъ, воспроизводить дѣйствительность. — Что именно оно должно воспроизводить? — Все, что есть *интереснаго* для человѣка въ жизни. — Для чего нужно это воспроизведеніе? — На этотъ послѣдній вопросъ авторъ отвѣчаетъ такъ: «Потребность, рождающая искусство, въ эстетическомъ смыслѣ слова (изящныя искусства), есть та же самая, которая очень ясно высказывается въ портретной живописи. Портретъ пишется не потому, чтобы черты живого человѣка не удовлетворяли насъ, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанію о живомъ человѣкѣ, когда его нѣтъ передъ нашими глазами, и дать о немъ нѣкоторое понятіе тѣмъ людямъ, которые не имѣли случая его видѣть. Искусство только напоминаетъ намъ своими воспроизведеніями о томъ, что интересно для насъ въ жизни, и старается до нѣкоторой степени познать насъ съ тѣми интересными сторонами жизни, которыхъ

не имѣли мы случая испытать или наблюдать въ дѣйствительности».

Если художникъ долженъ знакомить насъ съ *интересными* сторонами жизни, то, очевидно, онъ самъ долженъ быть настолько мыслящимъ и развитымъ человѣкомъ, чтобъ умѣть отдѣлить интересное отъ неинтереснаго. Въ противномъ случаѣ, онъ потратитъ весь свой талантъ на рисованіе такихъ мелочей, въ которыхъ нѣтъ никакого живого смысла, и всѣ мыслящіе люди отнесутся къ его произведенію съ улыбкой состраданія, хотя бы даже мелочи, выбранныя художникомъ, были воспроизведены превосходно. «Содержаніе,—говоритъ авторъ,—достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто оно—пустая забава, чѣмъ оно и дѣйствительно бываетъ чрезвычайно часто: художественная форма не спасетъ отъ презрѣнія или сострадательной улыбки произведеніе искусства, если оно важностью своей идеи не въ состояніи дать отвѣта на вопросъ: да стоило ли трудиться надъ подобными пустяками? Безполезное не имѣетъ права на уваженіе. Человѣкъ—самъ себѣ цѣль; но дѣла человѣка должны имѣть цѣль въ потребностяхъ человѣка, а не въ самихъ себѣ». Напирая на ту мысль, что искусство воспроизводить и должно воспроизводить не только прекрасное, но вообще интересное, авторъ со справедливымъ негодованіемъ отзывается о томъ ложномъ розовомъ освѣщеніи, въ которомъ является дѣйствительная жизнь у поэтовъ, подчиняющихся предписаніямъ старой эстетики и усердно наполняющихъ свои произведенія разными *прекрасными* картинами, то-есть описаніями природы и сценами любви. «Привычка изображать любовь, любовь и вѣчно любовь,—говоритъ авторъ,—заставляетъ поэтовъ забывать, что жизнь имѣетъ другія стороны, гораздо болѣе интересующія человѣка; вообще вся поэзія и вся изображаемая въ ней жизнь принимаютъ какой-то сентиментальный розовый колоритъ; вмѣсто серьезнаго изображенія человѣческой жизни, произведенія искусства представляютъ какой-то слишкомъ юный (чтобы удержаться отъ болѣе точныхъ эпитетовъ) взглядъ на жизнь, и поэтъ является обыкновенно молодымъ, очень молодымъ юношей, котораго рассказы интересны только для людей того же нравственнаго или фізіологическаго возраста».

Весь смыслъ и вся тенденція *Эстетическихъ отношеній* концентрируются въ слѣдующихъ превосходныхъ словахъ автора: «Наука не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея. Искусство также не должно думать быть выше дѣйствитель-

ности, это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потомъ примѣнить къ пользѣ чловѣка свои объясненія; пусть искусство не стыдится признаться, что цѣль его—для вознагражденія чловѣка, въ случаѣ отсутствія полнѣйшаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью,—воспроизвести, по мѣрѣ силъ, эту драгоцѣнную дѣйствительность и ко благу чловѣка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности—быть нѣкоторой замѣной ея и быть для чловѣка учебникомъ жизни».

VII.

Познакомившись съ содержаніемъ *Эстетическихъ отношеній*, мы посмотримъ теперь, какое направленіе должна была принять критика, построенная на тѣхъ теоретическихъ основаніяхъ, которыя заключаетъ въ себѣ эта книга. *Эстетическія отношенія* говорятъ, что искусство ни въ какомъ случаѣ не можетъ создавать свой собственный міръ, и что оно всегда принуждено ограничиваться воспроизведеніемъ того міра, который существуетъ въ дѣйствительности. Это основное положеніе обязываетъ критика разсматривать каждое художественное произведеніе непосредственно въ связи съ той жизнью, среди которой и для которой оно возникло. Налагая на критика эту обязанность, *Эстетическія отношенія* ограждаютъ его отъ опасности забрести въ пустыню стариннаго идеализма. Затѣмъ *Эстетическія отношенія* предоставляютъ критику полнѣйшую свободу. Роль критика, проникнутаго мыслями *Эстетическихъ отношеній*, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы прикладывать къ художественнымъ произведеніямъ различныя статьи готоваго эстетическаго кодекса. Въмѣсто того, чтобы исправлять должность безличнаго и безпристрастнаго блюстителя неподвижнаго закона, критикъ превращается въ живого чловѣка, который вноситъ и обязанъ вносить въ свою дѣятельность все свое личное міросозерцаніе, весь свой индивидуальный характеръ, весь свой образъ мыслей, всю совокупность своихъ чловѣческихъ и гражданскихъ убѣжденій, надеждъ и желаній. «Искусство,—говоритъ авторъ,—воспроизводитъ все, что есть интереснаго для чловѣка въ жизни». Но что именно интересно и что не интересно? Этотъ вопросъ не рѣшенъ въ *Эстетическихъ отношеніяхъ*, и онъ ни подъ какимъ

видомъ не можетъ быть рѣшенъ разъ навсегда; каждый критикъ долженъ рѣшать его по-своему, и будетъ рѣшать его такъ или иначе, смотря потому, чего онъ требуетъ отъ жизни и какимъ образомъ онъ понимаетъ характеръ и потребности своего времени. «Содержаніе,—говоритъ авторъ, — достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи ~~избавитъ~~ искусство отъ упрека, будто бы оно—пустая забава».—Что такое мыслящій человѣкъ? Что именно достойно вниманія мыслящаго человѣка? Эти вопросы опять-таки должны рѣшаться каждымъ отдѣльнымъ критикомъ. А между тѣмъ, отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ приговоръ критика надъ художественнымъ произведеніемъ. Рѣшивъ, что содержаніе *неинтересно* или, другими словами, *недостойно вниманія мыслящаго человѣка*, критикъ, основываясь на подлинныхъ словахъ автора *Эстетическихъ отношеній*, имѣетъ полное право посмотрѣть на данное произведеніе искусства съ презрѣніемъ или съ *сострада-тельной улыбкой*. Положимъ теперь, что одинъ критикъ посмотритъ на художественное произведеніе съ презрѣніемъ, а другой—съ восхищеніемъ. Столкнувшись, такимъ образомъ, въ своихъ сужденіяхъ, они затѣваютъ между собою споръ. Одинъ говоритъ: содержаніе неинтересно и недостойно вниманія мыслящаго человѣка. Другой говоритъ: интересно и достойно. Само собой разумѣется, что споръ между этими двумя критиками съ самаго начала будетъ происходить совсѣмъ не на эстетической почвѣ. Они будутъ спорить между собой о томъ, что такое—мыслящій человѣкъ; что долженъ этотъ человѣкъ находить достойнымъ своего вниманія; какъ долженъ онъ смотрѣть на природу и на общественную жизнь; какъ долженъ онъ думать и дѣйствовать. Въ этомъ спорѣ они принуждены будутъ развернуть все свое міросозерцаніе; имъ придется заглянуть и въ естествознаніе, и въ исторію, и въ социальную науку, и въ политику, и въ нравственную философію, но объ искусствѣ между ними не будетъ сказано ни одного слова, потому что смыслъ всего спора будетъ заключаться въ *содержаніи*, а не въ *формѣ* художественнаго произведенія. Именно потому, что оба критика будутъ спорить между собой не о формѣ, а о содержаніи, именно потому, что они, такимъ образомъ, будутъ оба признавать, что содержаніе важнѣе формы, —именно поэтому они оба окажутся адептами того ученія, которое изложено въ *Эстетическихъ отношеніяхъ*. И ни одинъ изъ обоихъ критиковъ не будетъ имѣть права упрекать своего противника въ отступничествѣ отъ основныхъ истинъ этого ученія,

оба они будутъ стоять одинаково твердо на почвѣ общей доктрины и будутъ расходиться между собой въ тѣхъ именно вопросахъ, которые эта доктрина сознательно и систематически представляетъ въ полное распоряженіе каждой отдѣльной личности.

Доктрина *Эстетическихъ отношеній* именно тѣмъ и замѣчательна, что, разбивая оковы старыхъ эстетическихъ теорій, она совсѣмъ не замѣняетъ ихъ новыми оковами. Эта доктрина говоритъ прямо и рѣшительно, что право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикѣ, который можетъ судить только о формѣ, а мыслящему человѣку, который судитъ о содержаніи, то-есть о явленіяхъ жизни. О томъ, каковъ долженъ быть мыслящій человѣкъ, *Эстетическія отношенія*, разумѣется, не говорятъ и не могутъ сказать ни одного слова, потому что этотъ вопросъ совершенно выходитъ изъ предѣловъ той задачи, которую они рѣшаютъ. Стало-быть, расходясь между собой въ вопросѣ о мыслящемъ человѣкѣ, критики не имѣютъ ни малѣйшаго основанія ссылаться на *Эстетическія отношенія*. Это было бы такъ же остроумно, какъ если бы кто-нибудь въ спорѣ о косвенныхъ налогахъ сталъ ссылаться на учебникъ математической географіи. Математическая географія—наука очень почтенная, но въ рѣшеніи социальныхъ вопросовъ она совершенно некомпетентна.

Д. Писаревъ.

Н. Г. Чернышевскій *).

Когда люди двадцатых годов сошли съ своего поприща, отъ нихъ остались одни темныя преданія, и поколѣніе тридцатыхъ годовъ начало путь умственного развитія почти снова, не имѣя за собой никакихъ наставниковъ сзади и получивъ отъ своихъ предшественниковъ самое скудное наслѣдство. Между тѣмъ, отъ сороковыхъ годовъ осталась богатая литература, въ которой отразилось все философское движеніе этой эпохи. Литература эта была почти вабыта во время пятидесятихъ годовъ. Но все-таки она оставалась; были и люди, которые помнили о ней, держали ее въ головѣ или развивались по ней. И замѣчательно при этомъ, что, подобно тому, какъ въ тридцатые годы философское движеніе началось по преимуществу въ кружкахъ московскаго университета, такъ теперь исходомъ движенія послужилъ петербургскій университетъ. Въ тѣсныхъ кружкахъ его идеи сороковыхъ годовъ сохранились во всѣхъ тѣхъ результатахъ, до какихъ дошла мысль младшаго поколѣнія сороковыхъ годовъ, и, мало того, получили дальнѣйшее развитіе, болѣе глубокое и основательное.

Въ журналистикѣ воскресителемъ и распространителемъ идей сороковыхъ годовъ явился *Современникъ*, который въ половинѣ пятидесятихъ годовъ обновился новыми и молодыми силами и всталъ сразу на ту высоту, на которой была журналистика въ исходѣ сороковыхъ годовъ. Такъ, журналъ этотъ явился приверженцемъ реальной эстетики, отвергавшей ученіе метафизиковъ о преимуществѣ образовъ искусства передъ образами дѣйствительности, и въ то же время врагомъ чистаго искусства и чистой науки. Въ концѣ 1855 года, въ *Современникѣ* начался рядъ статей, извѣстныхъ подъ заглавіемъ *Очерки гоголевскаго періода*, имѣвшихъ спеціальную цѣль познакомить публику съ

*) А. М. Скабичевскій. Сочиненія, т. I.

литературно-философскимъ движеніемъ сороковыхъ годовъ и показать значеніе двухъ главныхъ представителей этого движенія—Гоголя и Бѣлинскаго.

Хотя реакція миновала уже въ концѣ 1855 года, а тѣмъ болѣе въ 1856 году, но какъ сильно было ея обаяніе и не успѣвшее еще разсѣяться впечатлѣніе, это мы можемъ судить по содержанію *Очерковъ*. Хотя авторъ ихъ, очевидно, понималъ всю сущность и значеніе движенія сороковыхъ годовъ и отлично зналъ, что движеніе это заключалось не въ одной смѣнѣ литературныхъ школъ и критическихъ принциповъ, а было движеніемъ въ то же время философско-нравственнымъ, приведшимъ передовыхъ людей къ вопросамъ социальнымъ, пробудившимъ въ нихъ общественные интересы, тѣмъ не менѣе, мы видимъ, что авторъ былъ принужденъ вдвинуть свое обозрѣніе въ тѣсную рамку вопросовъ литературно-эстетическихъ. Онъ не могъ даже рѣшиться назвать свое обозрѣніе прямымъ именемъ—въ родѣ «философское движеніе идей въ сороковыхъ годахъ» или «о значеніи Бѣлинскаго и его вѣка», а назвалъ вѣкъ этотъ—вѣкомъ Гоголя и придалъ своему обозрѣнію такой видъ, какъ-будто оно имѣло въ виду ничего болѣе, какъ показать эстетическое значеніе литературной школы Гоголя и отношеніе къ этой школѣ различныхъ критиковъ. Довольно сказать, что въ обозрѣніи, имѣвшемъ спеціальной своей цѣлью показать публикѣ значеніе Бѣлинскаго и познакомить публику съ его идеями, авторъ долго не могъ рѣшиться назвать по имени то самое историческое лицо, съ которымъ онъ взялся познакомить публику. Такъ, въ первой статьѣ, упоминая о Бѣлинскомъ, онъ называетъ его не иначе, какъ авторомъ статей о Пушкинѣ; критику его называетъ глухо критикой гоголевскаго періода, центромъ которой были *Отечественныя Записки*, а въ другомъ мѣстѣ говоритъ, что только что высказанное мнѣніе о Гоголѣ извлечено имъ изъ статьи *О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя*, напечатанной ровно двадцать лѣтъ тому назадъ въ *Телескопѣ*, 1835 г., часть XXVI, и принадлежащей автору «статей о Пушкинѣ». И только въ шестой уже статьѣ (напечатанной въ іюльской книжкѣ 1856 года) авторъ рѣшается впервые упомянуть имя Бѣлинскаго, сказать прямо, что главнымъ дѣятелемъ критики гоголевскаго періода былъ Бѣлинскій. Но и этого еще всего мало: говоря о критикѣ Бѣлинскаго, о его идеяхъ, дѣлая множество выписокъ и извлеченій изъ его статей, авторъ не рѣшается въ то же время высказать прямо главной и основной своей мысли, которая должна бы была проникать собой

все обозрѣніе, именно той мысли, что вѣкъ Бѣлинскаго имѣетъ много общаго съ вѣкомъ философскаго движенія въ Германіи въ XVIII столѣтіи и что роль Бѣлинскаго въ этомъ вѣкѣ напминаетъ собой роль Лессинга. Для того чтобы выразить эту мысль, авторъ принужденъ былъ параллельно съ *Очерками гоголевскаго періода* печатать *трактатъ о Лессингѣ*, и въ этомъ уже трактатѣ, въ предисловіи, онъ дѣлаетъ темные намеки на сходство эпохи Бѣлинскаго съ эпохой Лессинга. Такъ, онъ говоритъ, что по большей части доля литературы въ историческомъ процессѣ, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не такъ значительна, чтобы заслуживать особеннаго вниманія, что литература почти всегда имѣла для развитія человѣческой жизни только второстепенное значеніе. Но далѣе, онъ замѣчаетъ, что бывали и свои исключенія изъ этого порядка, хотя ихъ и очень немного, бывали случаи, когда литература являлась дѣйствительно главною двигательною историческаго развитія. Нѣмецкая литература послѣдней половины прошедшаго и первыхъ годовъ нынѣшняго вѣка, по мнѣнію автора, есть одна изъ самыхъ важныхъ между этими рѣдкими явленіями. Отъ начала дѣятельности Лессинга до смерти Шиллера (до завоеванія Западной Германіи Наполеономъ, законодательства Штейна въ Пруссіи и до распространенія философіи,—явленій, которыя овладѣваютъ послѣдующимъ развитіемъ нѣмецкаго народа), въ теченіе пятидесяти лѣтъ, развитіе одной изъ величайшихъ между европейскими націями, будущность странъ отъ Балтійскаго до Средиземнаго моря, отъ Рейна до Одера опредѣлялась литературнымъ движеніемъ. Участіе всѣхъ остальныхъ общественныхъ силъ и событій въ національномъ развитіи должно назвать незначительнымъ сравнительно съ вліяніемъ литературы. Ничто не помогало въ то время ея благотворному дѣйствию на судьбу нѣмецкой націи; напротивъ, почти всѣ другія отношенія и условія, отъ которыхъ зависитъ жизнь, не благопріятствовали развитію народа. Литература одна вела его впередъ, борясь съ безчисленными препятствіями...

Представляя въ такомъ видѣ значеніе нѣмецкой литературы прошлаго столѣтія, авторъ далѣе высказываетъ рядъ намековъ, что и у насъ былъ періодъ, въ который литература имѣла такое же значеніе. Но до какой степени темны и уклончивы эти намеки—объ этомъ можно судить потому, что авторъ не рѣшается не только назвать прямо, о какомъ періодѣ русской литературы онъ говоритъ, но старается, по возможности, замаскировать даже

тотъ фактъ, что онъ дѣлаетъ какія бы то ни было сближенія. Такъ, по его мнѣнію, если бы не вышелъ изъ моды старый и, въ сущности, вовсе не безполезный обычай объяснять въ предисловіяхъ къ сочиненіямъ, трактующимъ объ ученыхъ предметахъ, какую пользу приносить вообще знаніе, какую пользу въ частности приносить знаніе того предмета, о которомъ трактуется въ этомъ сочиненіи, и какую пользу въ особенности принесетъ знаніе этого предмета тѣмъ читателямъ, для которыхъ назначается это сочиненіе,—если бы не вышелъ изъ моды этотъ старый обычай, тогда авторъ долженъ былъ бы сказать что-нибудь о той особенной пользѣ, какую можемъ извлечь мы, русскіе, изъ знакомства съ судьбами нѣмецкой литературы временъ Лессинга, Шиллера и Гете. Если бы не вышелъ также изъ моды другой старый добрый обычай—проводить параллели между сходными явленіями въ исторіи различныхъ народовъ, то авторъ могъ бы также отыскать нѣкоторыя занимательныя аналогіи между положеніемъ нѣмецкой литературы того времени и *положеніемъ нѣкоторыхъ другихъ литературъ въ другія времена*. Наконецъ, если бы не вышли изъ моды «Разговоры въ царствѣ мертвыхъ», то авторъ могъ бы выставить Лессинга, разговаривающаго, напримѣръ, съ Пушкинымъ и Гоголемъ въ Елисейскихъ поляхъ: Лессингъ разспрашивалъ бы Пушкина и Гоголя о русской литературѣ, и въ свою очередь, сообщалъ бы имъ различныя замѣчанія о литературѣ вообще.

Все это наглядно показываетъ, что движеніе сороковыхъ годовъ даже въ 1856 году представлялось еще чѣмъ-то такимъ, о чемъ въ печати нельзя было говорить прямо и открыто, не прибѣгая къ темнымъ и уклончивымъ намекамъ. Но, тѣмъ не менѣе, вышеозначенныя статьи—*Очерки гоголевскаго періода* и *Лессингъ*—произвели сильное вліяніе на общество, особенно на молодое поколѣніе. И прежде статьи Бѣлинскаго, особенно о Пушкинѣ, кое-къмъ перечитывались, теперь же старые журналы сороковыхъ годовъ рѣшительно вошли въ моду. Статьи передовыхъ дѣятелей сороковыхъ годовъ выдирались изъ нихъ, переплетались въ отдѣльные сборники, перечитывались, переписывались. Снова началось сильное философское броженіе, заключающееся въ ломкѣ всѣхъ старыхъ допотопныхъ, средневѣковыхъ идей, преданій, предразсудковъ. Процессъ этого броженія совершался тѣмъ быстрѣе, что, съ одной стороны, онъ овладѣлъ по большей части молодыми, свѣжими умами, не окрѣпшими еще въ привычкахъ къ старымъ и отжившимъ идеямъ. Съ другой стороны, эти

молодые и свѣжіе умы, находя въ предшествовавшей литературѣ сороковых годовъ готовое разрѣшеніе многихъ философскихъ вопросовъ, были избавлены отъ необходимости и трудности доходить своимъ собственнымъ умомъ до этого рѣшенія. Наконецъ, въ третьихъ, съ этой эпохи началось знакомство русской публики съ послѣдними результатами западной мысли уже не въ видѣ однихъ туманныхъ изложеній этихъ результатовъ русскими писателями, а въ видѣ переводовъ на русскій языкъ трактатовъ западныхъ мыслителей, такъ что русская публика могла, наконецъ, почерпать новыя идеи изъ самыхъ ихъ источниковъ. Сначала эти переводы были рѣдки и распространялись по преимуществу въ рукописномъ видѣ; потомъ они мало-по-малу составили громадную отрасль печатной литературы, далеко превзошедшую бѣдную отрасль отечественной литературы какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношеніяхъ.

А. Скавичевскій.

Этика и эстетика *).

(«Эстетика и поэзія» (*Современникъ* 1854—1861 гг.). Изданіе М. Н. Чернышевскаго. Спб., 1893 г.)

I.

25. Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внѣшность чаши и блюда, между тѣмъ какъ внутри онѣ полны хищенія и неправды.

26. Фарисей слѣпой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внѣшность ихъ.

27. Горе вамъ, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашеннымъ гробамъ, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвыхъ и всякой нечистоты.

(Отъ Матѳея, гл. 23.)

Русская литература обладаетъ тремя первостепенными поэтами, составляющими одну изъ ея лучшихъ гордостей. Нѣтъ грамотнаго русскаго человѣка, который бы не зналъ и, въ той или другой мѣрѣ, не чтилъ ихъ имена. Двумъ изъ нихъ благодарное отечество воздвигло на трудовыя копейки памятники, а третій ждетъ и дождется своей очереди. Въ чемъ же заключается ихъ подвигъ? Какими заслугами они завоевали себѣ столь высокое положеніе въ литературѣ? Какъ они смотрѣли на свое призваніе и въ чемъ, главнымъ образомъ, полагали свое достоинство? Предоставимъ каждому изъ нихъ отвѣтить за самого себя.

*) «Русская Мысль» 1893 г., № 4.

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой
 И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ.
 И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
 Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
 Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
 И милость къ падшимъ призывалъ.

Имѣлъ ли Пушкинъ право говорить такимъ образомъ? Жизнь и исторія уже дали непререкаемый отвѣтъ на этотъ вопросъ. Мы, съ точки зрѣнія современныхъ, болѣе широкихъ требованій, можемъ находить, что огромный талантъ поэта давалъ ему возможность къ болѣе энергичному пробужденію *добрыхъ чувствъ*, что его *призывы къ милости* были довольно рѣдки и почти случайны, что его *возславленія свободы* значительно парализовались возславленіями совсѣмъ другого рода и проч. Все такъ, но для *жестокато* (великолѣпный эпитетъ!) времени Пушкина,—времени крѣпостного права и военныхъ поселеній,—заслуга Пушкина была настоящимъ подвигомъ, которымъ поэтъ былъ въ правѣ гордиться. Но если бы даже—чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ,—притязанія Пушкина были преувеличены, для насъ важно отмѣтить, какіе именно мотивы и стороны своей дѣятельности признавалъ наиболѣе важными самъ поэтъ. Это, какъ мы видѣли, чисто общественно-нравственные мотивы: возбужденіе добрыхъ чувствъ, призывъ къ милости, возславленіе свободы.

Выслушаемъ второго поэта. *Жестокое* время не остановило развитія жизни, прогресса идей, и прямой преемникъ Пушкина—Лермонтовъ—выразилъ взглядъ на призваніе поэта въ еще болѣе рѣзкихъ и опредѣленныхъ образахъ. Онъ съ укоризненною ироніей сравниваетъ современнаго поэта съ кинжаломъ, который когда-то «не одну прорвалъ кольчугу» и «звенѣлъ въ отвѣтъ рѣчамъ обиднымъ», а теперь «игрушкой золотою блещетъ на стѣнѣ—безславный и безвредный».

Въ нашъ вѣкъ изнѣженный не такъ ли ты, поэтъ,
 Свое утратилъ назначенье,
 На злато промѣнявъ ту власть, которой свѣтъ
 Внималъ въ нѣмѣмъ благоговѣннѣ?
 Бывало, мѣрный звукъ твоихъ могучихъ словъ
 Воспламенялъ бойца для битвы;
 Онъ нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ,
 Какъ ѳиміамъ въ часы молитвы.
 Твой стихъ, какъ Божій духъ, носился надъ толпой,
 И отзывъ мыслей благородныхъ
 Звучалъ, какъ колоколъ на башнѣ вѣчевой
 Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ.

Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ,
 Насъ тѣшатъ блески и обманы;
 Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ
 Морщины прятать подъ румяны...

Вотъ взглядъ другого поэта нашего на свою миссію. Велико ли отличіе этого взгляда отъ взгляда Пушкина? Это та же самая формула, но болѣе отчетливо высказанная, подробнѣе развитая, какъ этого и слѣдовало ожидать отъ поэта позднѣйшаго поколѣнія. Поэтъ Пушкина призываетъ милость къ падшимъ, поэтъ Лермонтова воспламеняетъ бойца для битвы, но и тотъ и другой—дѣятельные участники въ великой битвѣ жизни, и тотъ и другой смотрятъ на борьбу, какъ на свой долгъ, и тотъ и другой видятъ въ поэтѣ не соловья-пѣвца, а дѣятеля-борца. Лермонтовъ, съ прямою и рѣзкостью, не допускающими никакихъ произвольныхъ перетолкованій, выражаетъ пренебреженіе къ «блесткамъ и обманамъ», т.-е. безцѣльнымъ и по тому самому безвкуснымъ эстетическимъ прикрасамъ.

Что говоритъ нашъ третій великій поэтъ? Какъ опредѣляетъ онъ себя и свою поэзію? А вотъ какъ:

Нѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
 Мой суровый, неуклюжій стихъ!
 Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства,
 Но кипитъ въ тебѣ живая кровь,
 Торжествуетъ мстительное чувство,
 Догорая теплится любовь,—
 Та любовь, что добрыхъ прославляетъ,
 Что клеймитъ злодѣя и глупца...

Сопоставьте эти три формулы въ ихъ хронологической послѣдовательности: «чувства добрыя я лирой пробуждалъ» (1836 годъ), «воспламенялъ бойца для битвы, и отзывъ мыслей благородныхъ звучалъ какъ колоколъ» (1839 годъ), «торжествуетъ мстительное чувство, догораетъ любовь, что добрыхъ прославляетъ и клеймитъ злодѣя и глупца» (1855 годъ): хронологической послѣдовательности точнѣйшимъ образомъ соотвѣтствуетъ логическая послѣдовательность этихъ формулъ. Основное начало, заложенное въ нихъ, начало не только дѣятельнаго, но и боевого участія поэта въ дѣлахъ общественной жизни и въ вопросахъ высшей морали, развивается и усиливается съ постепенною, но неуклонною логичностью. Мы видимъ тутъ болѣе чѣмъ отвлеченную разсудочную логичность,—тутъ видна органическая связь, нравственная преемственность. Пушкинъ стоялъ на почвѣ общей морали, почти не выходя изъ спокойнаго нейтралитета; Лермонтовъ уже властно

и рѣшительно призываетъ къ борьбѣ; въ Некрасовѣ торжествуетъ мстительное чувство и онъ не просто борется, а *клеимтъ* злодѣя и глупца. Пушкина подвигало чувство гуманнаго состраданія къ павшимъ, и онъ взывалъ только къ милосердію; въ Лермонтовѣ кипѣло негодованіе, и онъ говорилъ во имя общечеловѣческаго права. во имя свободной воли и свободной мысли; Некрасовъ успѣлъ найти живой предметъ для своей любви и защиты, реальную почву для своего общественнаго и нравственнаго идеала:

Я призванъ былъ воспѣтъ твои страданья,
Терпѣнъ емъ изумляющій народъ!
И бросить хотѣ единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ.

Пушкинъ—глава и родоначальникъ нашей поэзіи, совершенно такъ же, какъ Бѣлинскій—глава и родоначальникъ нашей литературной критики. И у того и у другого, конечно, были предшественники: у Пушкина—въ лицѣ Державина и Жуковского, у Бѣлинскаго—въ лицѣ Надеждина и Полевого, какъ бываютъ предшественники рѣшительно у всѣхъ религіозныхъ, общественныхъ и научныхъ реформаторовъ и новаторовъ. Не столько въ положительномъ содержаніи поэтическихъ произведеній Пушкина и критическихъ воззрѣній Бѣлинскаго, сколько, именно, въ ихъ инициативѣ заключается ихъ великая заслуга.

Положительное содержаніе всякихъ новыхъ теченій мысли по необходимости бываетъ вначалѣ и неопредѣленно и противорѣчиво. Такъ было у Пушкина, нашего перваго истиннаго поэта, и такъ было у Бѣлинскаго, нашего перваго истиннаго критика. Обратимся сначала къ Пушкину. Мы только что видѣли въ немъ поэта, который въ основную свою заслугу вмѣнялъ свое участіе въ борьбѣ за общественные и нравственные идеалы. Но тотъ же Пушкинъ съ неменьшею силой и рѣшительностью сказалъ о поэтахъ:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Въ этихъ двухъ стихотвореніяхъ Пушкина *Чернь* и *Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный*, раздѣленныхъ между собою восьмилѣтнимъ промежуткомъ (1828—1836 гг.), выражены символы вѣры двухъ враждебныхъ и до сихъ поръ враждующихъ исповѣданій. Не можетъ быть и сомнѣнія въ томъ, что лично Пушкинъ былъ одинаково искрененъ и тогда, когда выражалъ горделивое

отвращеніе къ *черни*, къ житейскимъ волненіямъ и битвамъ, и тогда, когда выражалъ увѣренность надолго остаться любезнымъ *народу*, т.-е. этой самой черни, именно за свое участіе въ волненіяхъ и битвахъ. Тѣмъ не менѣе, духъ, внутренній смыслъ, коренная психологическая основа этихъ двухъ формуль-стихотвореній не имѣютъ между собой ничего общаго и указываютъ совершенно различные пути. Первый путь ведетъ въ храмъ Аполлона и Венеры, въ царство Великаго Пана, въ область чувственного наслажденія и физической красоты,—въ область, резюмируя краткою формулою современной терминологіи, *эстетическаго эгоизма*. Второй путь ведетъ къ подножію того Креста, который двѣ тысячи лѣтъ назадъ былъ водруженъ на Голгоѣ, въ царство высшаго нравственнаго идеала, въ юдоль труждающихся и обремененныхъ, въ область *этическаго альтруизма*. Красота и наслажденіе—вотъ цѣль, которая стоитъ въ концѣ перваго пути; справедливость и долгъ—вотъ цѣль, которая стоитъ въ концѣ второго пути.

Ни на одну минуту не прекращающаяся борьба между этими началами составляетъ главное содержаніе исторіи новаго христіанскаго періода развитія человѣчества и, «какъ солнце въ малой каплѣ водѣ», отражается въ искусствѣ и въ литературѣ. Геніальный основатель нашей поэзіи стоялъ на распутьѣ, на перекресткѣ этихъ двухъ путей, выразивъ въ своей личности и грубую физическую жизнерадостность языческаго эллинизма («звуки сладкіе») и любвеобильную благодѣтельность христіанской морали («милость къ падшимъ»). Отсюда, отъ личности Пушкина, какъ отъ исходящаго пункта, начинаются два главныхъ и глубокихъ русла, по которымъ направились живые ключи и источники нашей поэзіи. Обрисуемъ эти школы въ лицѣ ихъ дѣятелей.

Школа эстетическая: Пушкинъ 20-хъ годовъ, Майковъ, Полонскій, Фетъ, Мей, гр. А. Толстой и др.

Школа этическая: Пушкинъ 30-хъ годовъ, Лермонтовъ, Полежаевъ, Огаревъ, Некрасовъ, Плещеевъ, Жемчужниковъ и др.

Точно такой же процессъ *дифференцированія*, какъ сказалъ бы эволюционистъ, параллельно развивался и въ нашей литературной критикѣ, при чемъ отправнымъ пунктомъ явилась личность и дѣятельность Бѣлинскаго,—Пушкина нашей критики. Бѣлинскій московскаго періода своей дѣятельности былъ провозвѣстникомъ принципа искусства для искусства, защитникомъ самоувлѣвающей эстетики. Бѣлинскій петербургскаго, послѣдняго періода своей дѣятельности былъ столь же рѣшительнымъ провозвѣстникомъ принципа искусства для жизни и безъ негодованія не

могъ вспомнить о своихъ прежнихъ статьяxъ. *Московскій* Бѣлинскій начинаетъ собою рядъ слѣдующихъ критиковъ: В. Боткинъ, Анненковъ, Дружининъ, Аполлонъ Григорьевъ, Дудышкинъ, Эдельсонъ, Николай Соловьевъ, Евг. Марковъ, Страховъ и др. Это—школа эстетическая. *Петербургскій* Бѣлинскій стоитъ во главѣ другого ряда критиковъ: авторъ статей *Очерки литературы гоголевскаго періода*, Добролюбовъ, Антоновичъ, Писаревъ, Шелгуновъ, Зайцевъ, Ткачевъ и др. Это—школа этическая или утилитарная.

Такова общая схема развитія нашей литературы въ произведеніяхъ поэзіи и критики. Мы обошли тѣ явленія, которыя стоятъ особнякомъ, внѣ этихъ главныхъ, общихъ путей, какъ въ поэзіи Крыловъ, Кольцовъ, Шевченко, или какъ въ критикѣ Валерьянъ Майковъ и вообще эклектики, нерѣшительно колебавшіеся между противоположными ученіями и враждующими лагерями. Эта схема могла бы быть обоснована историкомъ литературы документальнымъ образомъ, подкрѣплена безчисленными фактами, и она же могла бы найти почти полное примѣненіе и къ нашей беллетристикѣ, къ роману и повѣсти, въ области которыхъ Гоголь сыгралъ приблизительно такую же роль, какъ Пушкинъ въ поэзіи и Бѣлинскій въ критикѣ. Чѣмъ глубже вдумываешься въ исторію развитія нашей литературы, тѣмъ сильнѣе поражаешься стройностью, цѣлесообразностью и, вмѣстѣ, необходимостью всѣхъ фазисовъ этого процесса. Оптимистическое убѣжденіе—«все къ лучшему»—безпрестанно находитъ себѣ новое подтвержденіе и въ общемъ характерѣ и въ частныхъ фактахъ этого процесса. Это очень естественная иллюзія: здоровый и жизнеспособный организмъ такъ хорошо умѣетъ приспособляться даже къ неблагоприятнымъ условіямъ и извлекать даже изъ нездоровой среды нужные для себя элементы, что, кажется, будто *благодаря* этимъ условіямъ его ростъ и совершается такъ успѣшно, тогда какъ, конечно, онъ растетъ, *несмотря* на нихъ, исключительно въ силу своихъ внутреннихъ богатыхъ ресурсовъ.

Если бѣ историки нашей литературы поменьше озабочивались изученіемъ біографій и формулярныхъ о службѣ списковъ нашихъ писателей, если бѣ они умѣли обобщать и мыслить отвлеченіями, они безъ большого труда уловили бы основную идею нашей литературы, метаморфозы которой и составляютъ сущность не литературнаго только, но и общественнаго развитія нашего. Перевѣсь того или другого изъ указанныхъ основныхъ литературныхъ теченій нашихъ, эстетическаго и этическаго, служить вѣрнѣйшимъ

показателем состоянія атмосферы нашей общественности. *Разсѣянное бряцаніе на лирахъ вдохновенныхъ* безчисленнаго множества праздныхъ рукъ всегда знаменовало и знаменуетъ регресъ дѣйствительной жизни. Страстный призывъ *милости къ падшимъ*, раздававшійся въ литературѣ, всегда знаменовалъ и знаменуетъ успѣхи въ жизни справедливости, упорядоченіе тѣхъ формъ и нормъ, которыми мы живемъ, избавленіе людей отъ разнаго рода *бременъ неудобноносимыхъ*. Если съ этимъ критеріемъ въ рукахъ мы подойдемъ къ современной дѣйствительности, что увидимъ мы? Нѣчто, въ одно и то же время, и глубоко прискорбное и глубоко утѣшительное. Прежде всего, мы увидимъ опять обостряющую борьбу между противоположными теченіями, и уже это обстоятельство само-по-себѣ утѣшительно, потому что свидѣтельствуется если не о концѣ, то о приближеніи конца современной летаргіи нашей. Далѣе, мы увидимъ молодое литературное поколѣніе, на которомъ, какъ на евангельской смоковницѣ, нѣтъ плодовъ, а только одни листья, и которое уже достаточно выразилось, чтобы положить конецъ всякимъ возлагавшимся на него надеждамъ. Кто оказался неспособенъ возвыситься до альтруистическихъ стремленій даже въ молодости, когда человѣкъ естественно отзывчивъ и впечатлительнъ по отношенію къ чужому горю, тотъ проклятъ Богомъ, и ему, какъ той смоковницѣ, остается только окончательно засохнуть. Но тутъ же, рядомъ, мы находимъ и утѣшеніе: единственный *поэтъ* изъ всей густой толпы современныхъ молодыхъ *стихотворцевъ*, — поэтъ, съ задатками небольшого, но живого таланта, не о Венериной красотѣ вздыхалъ, а тосковалъ о нравственномъ идеалѣ и за то былъ почтенъ такимъ привѣтомъ со стороны общества, малой доли котораго не дождался и не дождутся всѣ его сверстники, вмѣстѣ взятые. Это значить, что въ обществѣ не изсякли нравственные источники, что въ немъ легко находятъ отголосокъ благородныя и гуманныя чувства, — тѣ чувства, которыя Пушкинъ называлъ *добрыми*. Не жрецомъ Венеры, а «псомъ сторожевымъ» своей родины мечталъ быть Надсонъ. Въ типичнѣйшемъ и популярнѣйшемъ своемъ стихотвореніи онъ прямо выражаетъ надежду на грядущую побѣду христіанства надъ язычествомъ:

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ,
Кто бы ты ни былъ, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царятъ
Надъ омытой слезами землей,
Пусть разбить и поруганъ святой идеаль

И струится невинная кровь:
 Вѣрь, настанетъ пора, и погибнетъ Вааль,
 И вернется на землю любовь!
 Не въ терновомъ вѣнцѣ, не подъ гнетомъ цѣпей,
 Не съ крестомъ на согбенныхъ плечахъ,—
 Въ мѣръ придетъ она въ силѣ и славѣ своей,
 Съ яркимъ свѣточемъ славы въ рукахъ.
 И не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,
 Ни безкrestныхъ могилъ, ни рабовъ,
 Ни нужды безпросвѣтной, мертвящей нужды,
 Ни меча, ни позорныхъ столбовъ.
 О, мой другъ! Не мечта этотъ свѣтлый приходъ...
 и проч.

Это довольно неопредѣленно, молодо и почти наивно; это послѣ поэзіи Лермонтова и Некрасова все-равно что молоко послѣ шампанскаго, но это, все-таки, идетъ къ сердцу, потому что отъ искренняго сердца сказано. А замѣчательный успѣхъ произведеній г. Жемчужникова? Престарѣлый поэтъ напомнилъ обществу «забытыя спова», нравственные идеалы,—и общество вострепнулось, потому что почувствовало дуновение настоящей любви, не той, которая ищетъ наслажденія, а той, которая расковываетъ мечи на орала. Не за обществомъ, стало-быть, дѣло,—оно готово слушать,—а за литературой, въ которой некого слушать. И если не напрасна надежда, что для всякаго времени является *мужъ потребенъ*, то недалекъ моментъ, когда мы будемъ привѣтствовать поэта, который для стараго вина найдетъ новые мѣхи, расцвѣтитъ «забытыя слова» новыми, яркими красками. Его ждутъ, онъ нуженъ и онъ явится.

Какое отношеніе имѣетъ все это, вся эта глава къ содержанію книги, обозначенной въ заголовкѣ статьи? Самое непосредственное отношеніе. Авторъ этой книги отлично исполнилъ отрицательную сторону задачи, съ большою проникающею опредѣлительностью опредѣлилъ «эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности». Но положительная и важнѣйшая сторона—опредѣленіе *этическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности*—оставлена имъ совершенно въ тѣни. Съ установленной выше точки зрѣнія не трудно оцѣнить всю важность этого упущенія.

II.

Это упущеніе не было случайнымъ. Такой логическій недосмотръ былъ бы болѣе чѣмъ непростителенъ,—онъ былъ бы необходимъ, въ особенности со стороны человѣка такого рѣдкаго ума.

какъ нашъ авторъ. Это упущеніе произошло отъ того недовѣрія къ этикѣ, къ морали, къ ея верховному значенію, которое составляетъ вообще отличительную черту всѣхъ рационалистовъ, поклонниковъ разума и анализа. Вооружиться на этику такъ, какъ вооружился авторъ на эстетику, было нельзя, потому что это значило бы вооружиться противъ самого себя, противъ лучшихъ силъ человѣческой природы. Можно было доказывать, что искусство, какъ выраженіе чисто-эстетическихъ потребностей и стремленій, остается далеко ниже природы, являясь только ея удачнымъ или неудачнымъ воспроизведеніемъ. Но нельзя было даже приступить къ доказательствамъ, что искусство, какъ выраженіе нравственного идеала, тоже остается позади природы, ниже дѣйствительности. Эстетическими красотами природа неизмѣримо богаче человѣка,—это такъ, и это авторъ превосходно доказалъ,—но нравственный идеалъ, составляющій содержаніе истиннаго искусства, стоитъ внѣ и выше неодушевленной природы. Это—явленія несоизмѣримыя, находящіяся совершенно въ различныхъ категоріяхъ. Эстетическія красоты разсѣяны въ природѣ въ безконечномъ изобиліи и въ безконечномъ разнообразіи формъ и ихъ комбинацій, но *природа равнодушна*, по пушкинскому выраженію, природа не знаетъ ни добра ни зла и никакихъ вообще нравственныхъ мотивовъ: это—достояніе человѣка. Въ природѣ и грандіозное море, и Ніагарскій водопадъ, и Женевское озеро, и вечерняя заря, и прекрасная степь, и величественный лѣсъ, но въ природѣ нѣтъ подвиговъ любви и самоотверженія, есть сила и насиліе, но нѣтъ справедливости, есть, однимъ словомъ, сколько-угодно красоты и эстетики, но нѣтъ добра и этики. Христіанская цивилизація еще не сдѣлала десятой части своего великаго дѣла, но, все-таки, нравственныя силы уже перевѣшиваютъ въ человѣкѣ его животную сторону. Не будемъ вдаваться въ утрировку, будемъ справедливы даже по отношенію къ эстетикамъ, какъ это ни трудно въ виду ихъ безумныхъ притязаній. Корова стоитъ и пережевываетъ жвачку передъ прелестнымъ пейзажемъ съ такимъ же равнодушіемъ, какъ и передъ любымъ заборомъ, но этотъ пейзажъ приведетъ «въ восторгъ и умиленіе» художника, и въ этомъ восторгѣ не будетъ ничего дурного, какъ, впрочемъ, не будетъ и ничего хорошаго: онъ безразличенъ и имѣетъ значеніе только для самого умиляющагося субъекта, значеніе чисто-личной, пріятной эмоціи. Но этотъ эстетическій восторгъ настолько же выше коровьяго равнодушія, насколько ниже любого чисто-этического мотива, и мы, *повторяемъ*, обязаны этимъ больше всего христіанству. Будете

ли вы восхищаться пейзажемъ или хладнокровно отворотитесь отъ него,—этотъ фактъ ровно ничего не скажетъ ни за ни противъ вашего человѣческаго достоинства, вашего нравственнаго развитія. Но если вы отворотитесь отъ зрѣлища истязуемаго ребенка, если вы не обнаружите ни малѣйшаго волненія при видѣ умирающаго съ голода человѣка,—вы опозорите себя и васъ покараетъ презрѣніе всѣхъ истинно (т.-е. не внѣшне, а внутренно) порядочныхъ людей.

Признавая эстетическія эмоціи только безразличными, безвредными, мы, въ сущности, оказываемъ имъ незаслуженную честь. Онѣ безвредны только подъ контролемъ этики. При этомъ условіи онѣ въ извѣстномъ смыслѣ даже полезны и благотворны: не только подвигъ, но и заурядный трудъ невозможенъ безъ отдыха, безъ перемерекъ, безъ нѣкоторой смѣны впечатлѣній, и въ ряду такихъ вспомогательныхъ впечатлѣній эстетическія впечатлѣнія стоятъ во главѣ другихъ—чисто-зрительныхъ или чисто-слуховыхъ или вкусовыхъ и т. п. Здѣсь открывается полный просторъ для всевозможныхъ личныхъ вкусовъ, которые всѣ имѣютъ одинаковое право существованія. Я отдыхаю за сигарой, вы—за шахматною игрой, онъ—за просмотромъ гравюръ, и никому изъ насъ это не дѣлаетъ ни чести ни безчестія, и вступать намъ другъ съ другомъ въ споръ насчетъ нашего отдохновительнаго времяпровожденія было бы странно. Но возводить свое бездѣлье на степень миссіи, создавать изъ ученія о вкусахъ цѣлую систему и т. п.—это именно значитъ *очищать внѣшность чаши и блюда*, оставляя въ неприкосновенности *хищенія и неправду*. Чистый эстетикъ погрѣшаетъ именно тѣмъ, что подмѣняетъ этику эстетикой, не красоту считаетъ атрибутомъ морали, а, наоборотъ, мораль считаетъ атрибутомъ красоты. Страшная путаница всякихъ эстетическихъ системъ, опредѣленій и споровъ происходитъ отъ неумѣнія или нежеланія разграничить строго области этики и эстетики, отъ грубаго смѣшенія понятія *прекраснаго* съ понятіемъ *красиваго*. Прекрасное далеко не всегда красиво; красивое далеко не всегда прекрасно. Христосъ ослѣпительно прекрасенъ; Юпитеръ поразительно красивъ. А величайшимъ, послѣдовательнѣйшимъ эстетикомъ всѣхъ временъ былъ, безспорно, Неронъ.

Объ этой сторонѣ дѣла пока довольно,—возвратимся къ основной темѣ. Наши рacionalesсты шестидесятихъ годовъ подчиняли мораль не эстетикѣ, а разуму и его высшему выраженію—наукѣ. Они обосновывали мораль чисто-разсудочнымъ образомъ, аль-

труизмъ выводили изъ *эгоизма*. *) Вотъ какъ разсуждали они, напримѣръ:

«Кто когда-нибудь могъ освободиться отъ дѣйствія эгоизма, и какое наше дѣйствіе не имѣетъ эгоизмъ своимъ главнымъ источникомъ? Мы вѣщемъ себѣ лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастья. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это счастье. Есть, конечно, грубые эгоисты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое счастье въ грубыхъ наслажденіяхъ чувственности, въ уничиженіи передъ собою другихъ и т. п. Но, вѣдь, есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся успѣхамъ своихъ дѣтей,—тоже эгоистъ; гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ,—тоже эгоистъ: вѣдь, все-таки, *онъ*, именно *онъ* самъ чувствуетъ удовольствіе при этомъ, вѣдь, *онъ* не отрекся отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже если человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгоизмъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги, приготовленныя на прихоть: это значить, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему большее удовольствіе, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что слѣдуетъ предписанію долга? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что тутъ уже дѣйствіе—не свободное, а принужденное; но и здѣсь, все-таки, есть эгоизмъ. Почему-нибудь человѣкъ предпочитаетъ же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушеніе долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя послѣдствія; за исполненіе же онъ надѣется награды, доброй славы и т. п. При внимательномъ разсмотрѣніи и окажется, что побужденіемъ дѣйствія формально-добродѣтельнаго человѣка служить эгоизмъ очень мелкій, называемый проще тщеславіемъ, малодушіемъ и т. п.»

*) Считаю нелишнимъ внести сюда нѣкоторыя поясненія. Въ 40-хъ годахъ, какъ въ нашемъ обществѣ, такъ и въ наукѣ, господствовалъ духъ сенсуализма, т.-е. философскаго ученія, считающаго чувство единственнымъ источникомъ познанія. Отсюда разумъ и точныя знанія были въ загонѣ. Отдавшись разрушенію столповъ, на которыхъ покоилось міропониманіе «отцовъ», Чернышевскій попытался отвести почетное мѣсто находившемуся въ пренебреженіи разуму и критически мыслящей личности. Такимъ образомъ, сенсуализму былъ противопоставленъ раціонализмъ, т.-е. ученіе Декарта и Канта, по которому «чистый разумъ» является единственнымъ источникомъ познанія, могущимъ замѣнить какъ чувства, такъ и опытъ. «*Cogito, ergo sum*»—говоритъ Декартъ,—т.-е. «я мыслю, слѣдовательно существую».

По мнѣнію раціоналистовъ результаты чувственного опыта подвержены ошибкамъ, какъ это мы можемъ наблюдать ежедневно: глазъ сплосъ и рядомъ видитъ то, чего не существуетъ, ухо слышитъ звуки, не раздававшіеся, и т. д. «Можно—говоритъ Декартъ—сомнѣваться во всемъ, но только не въ томъ, что мы сомнѣваемся, т.-е. мыслимъ, ибо сомнѣніе есть мышленіе». Декартъ требуетъ отъ философіи, чтобы она отказалась отъ всякаго *существующаго познанія* и всѣхъ сдѣланныхъ предположеній и перестроила

Мы взяли это изъ сочиненій Добролюбова, не болѣе характернаго, но болѣе яснаго представителя нашего раціонализма. Какъ видите, альтруизмъ не противопоставляется эгоизму, а отождествляется съ нимъ: всѣ люди—эгоисты, всѣ наши дѣйствія имѣютъ источникомъ стремленіе къ личному счастью, и все дѣло въ томъ, кто какъ понимаетъ свое счастье. Вы всѣми правдами и неправдами сколачиваете копейку, онъ работаетъ для блага своихъ согражданъ, а я занимаюсь лежаніемъ на диванѣ: въ нравственномъ смыслѣ мы всѣ одинаково правы, одинаково эгоистичны, поступая по собственному личному влеченію. Между нами есть разница, но это разница въ степеняхъ умственного развитія: одинъ глупъ, другой уменъ, третій ни то ни се. Нравственнаго критерія не существуетъ, потому что нѣтъ, собственно говоря, и никакой нравственности. Коротко и ясно: «Честность есть ощущеніе», какъ сказалъ Базаровъ.

Это мое резюме совершенно точно. Однако, предметъ такъ важенъ, что необходимо привести хоть еще одинъ подлинный документъ, который на этотъ разъ мы возьмемъ у Писарева, при чемъ отрывки изъ двухъ различныхъ статей соединимъ въ одну цитату:

всѣ понятія и весь міръ съ помощью только одного мышленія; она ничего не должна принимать за истину, кромѣ того, что установлено будетъ разумомъ. Такимъ образомъ, раціонализмъ сталъ въ противорѣчіе съ теологическимъ міросозерцаніемъ и метафизикой. Онъ явился опаснѣйшимъ врагомъ сенсуализма, церкви, церковной догматики.

«Стремясь къ мудрости,—говоритъ раціоналистъ Вольфъ,—человѣкъ долженъ въ особенности стараться пріобрѣсти господство надъ своими внѣшними чувствами, надъ воображеніемъ и страстями, которыя нерѣдко затмѣваютъ разумъ, представляя намъ призракное добро, вмѣсто истиннаго, и отвлекая наше вниманіе отъ естественнаго закона. Владычество чувствъ, воображенія и страстей составляетъ рабство человѣка, величайшее препятствіе къ исполненію естественнаго закона, а потому и къ достиженію счастья. Напротивъ, въ господствѣ разума выражается свобода человѣка, ибо тогда онъ властенъ надъ собою».

Авторъ предлагаемой здѣсь статьи указываетъ на несостоятельность раціонализма, какъ единственнаго мѣрила добра и зла. Онъ говоритъ о теоретическомъ увлеченіи этой догмой со стороны нашего писателя М. Протопоповъ указываетъ на то обстоятельство, что слово и дѣло у самого же Чернышевскаго-раціоналиста противорѣчили другъ-другу и противорѣчили именно потому, что иначе и быть не могло. Протопоповъ утверждаетъ, что природа наша гораздо сложнѣе и многограннѣе, чѣмъ она казалась раціоналистамъ, что образованіе моральнаго поведенія происходитъ не при одномъ только свѣтѣ разума.

Н. Денисюкъ.

«Эгоизмъ, т.-е. любовь къ собственной личности, ставитъ цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, что мнѣ пріятно, а что пріятно—это уже подсказываютъ каждому его наклонность, его личный вкусъ. Стало-быть, внутри понятія эгоистъ открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошіе и дурные люди; эгоистъ—человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова: онъ дѣлаетъ только то, что ему пріятно; ему пріятно то, чего ему хочется, или, другими словами, остается самимъ-собою во всякую данную минуту и не насиуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Что ему пріятно, въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое разнообразіе подъ какую-нибудь придуманную имъ или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствие нравственнаго принужденія—вотъ единственный существенный признакъ эгоизма... Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ. Имъ управляетъ только личная прихоть или личные расчеты. Ни надъ собой ни внѣ себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ силы огромныя».

На все это мы скажемъ, какъ говорить у Достоевскаго лакей Смердяковъ: съ умнымъ человѣкомъ и поговорить пріятно. Но ужъ говорить, такъ говорить на чистоту, и мы приглашаемъ нашихъ умныхъ людей къ послѣдовательности. Мы идемъ къ нимъ навстрѣчу, становимся на ихъ почву и во имя прославленнаго Разума просимъ не измѣнять его родной дочери—Логикѣ. Вы—люди науки, вы уважаете, точнѣе сказать, признаете только объективную истину, только реальные *ощутительные* факты. Что вы скажете о *совѣсти*? Случайный ли она фактъ, или просто фикція, или мимолетное ощущеніе, или, напротивъ, это—всеобщее, непреложное и неподкупное свидѣтельство нравственнаго сознанія нашего? Если совѣсть не болѣе какъ ощущеніе, одно изъ безчисленныхъ нашихъ ощущеній и поэтому отнюдь не можетъ претендовать на роль регулятора нашихъ дѣйствій, то я попрошу васъ прибѣгнуть къ справедливо уважаемому вами экспериментальному методу. Николай Александровичъ! Пожалуйста, постарайтесь украсть что-нибудь. Дмитрій Ивановичъ! Прошу васъ оклеветать погрязнѣ кого-нибудь. Николай Гавриловичъ! Потрудитесь какъ-нибудь пообиднѣ оскорбить свою обожаемую жену *).

«Но мы не чувствуемъ къ этому никакого влеченія, это противно

*) Здѣсь названы имена Добролюбова, Писарева и Чернышевскаго.

нашему разуму и нашему разсудку!» Ну, это не препятствіе къ удовлетворенію моей серьезнѣйшей и настоятельнѣйшей просьбы. Мы ежедневно поступаемъ противъ справедливейшихъ разсудочныхъ требованій, наприм., противъ гигиеническихъ; ежедневно поступаемъ противъ собственнаго влеченія, уступая чужому желанію: идемъ, наприм., прогуливаться съ пріятелемъ, когда бы хотѣли лучше остаться дома, и т. п. Такъ сдѣлайте же и мнѣ, вашему старинному и вѣрному пріятелю, эту незначительную услугу: украдите, оклеветайте, оскорбите. «Мы лучше умремъ, чѣмъ сдѣлаемъ это!» Да, конечно, вы скорѣе умрете, чѣмъ сдѣлаете это, я это давно и хорошо знаю, и вотъ то признаніе, котораго я добивался, вотъ тотъ опытъ, который я имѣлъ въ виду произвести съ вами. А теперь разсудимъ вмѣстѣ о смыслѣ и значеніи этого эксперимента.

Васъ трое, господа; вы—три различныхъ *организма*, конституированные каждый на свой ладъ. Всѣ вы принадлежите къ породѣ людей, къ кавказской расѣ, къ славянскому племени, но у каждого изъ васъ есть своя индивидуальность, свои особенности, вкусы, наклонности. Одинъ изъ васъ преисполненъ жизнерадостнаго веселья, другой—суровый ригористъ, третій—настоящій аскетъ. Правда, вы всѣ трое—писатели, но и писательскіе темпераменты ваши различны: одинъ—холодный аналитикъ и ѣдко-саркастическій полемистъ, другой — страстный протестантъ, пожираемый огнемъ сдержаннаго негодованія, третій—бурный лирикъ. Это различіе нисколько не мѣшаетъ вамъ уважать и любить другъ-друга. Болѣе того: даже извѣстное, иногда очень существенное различіе въ воззрѣніяхъ не вредитъ вашей связи между собою. Чѣмъ же она обусловлена? Въ чемъ заключается то единое, общее вамъ всѣмъ начало, которое скрѣпляетъ вашу солидарность? Пояснимъ дѣло примѣромъ. Представьте, что, вмѣсто тѣхъ безнравственныхъ требованій, которыя я предъявилъ къ вамъ выше, вамъ была высказана какая-нибудь отвлеченная ошибочная *мысль*. Вы всѣ—поклонники мысли, какъ единственнаго свѣточа и руководителя людей, но вы отнеслись бы къ заблужденію моего разума совершенно спокойно, объективно, безъ малѣйшей тѣни негодованія. Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ логически ошибается: онъ сдѣлалъ неправильный шахматный ходъ, недостаточно изучилъ вопросъ,—что тутъ возмутительнаго? Различными аргументами, но съ одинаковымъ безстрастіемъ вы постарались бы показать мнѣ, въ чемъ именно заключаются прорухи моей логики, и мы разстались бы совершенно мирно. Между тѣмъ, при моихъ безнравственныхъ

предложеніяхъ, я увидѣлъ въ васъ именно оскорбленныхъ и возмущенныхъ людей. Ваше чувство во внѣшнемъ смыслѣ выразилось очень различно: аналитикъ покраснѣлъ отъ стыда за меня; протестантъ поблѣднѣлъ отъ негодованія; лирикъ затопалъ ногами и обозвалъ меня нехорошимъ словомъ, но во всѣхъ трехъ случаяхъ я одинаково хорошо понялъ, что не туда попалъ и что мнѣ остается только убираться поскорѣе. Въ чемъ тутъ тайна? Наличие тайны очевидна: когда я оскорблялъ своею нелогичностью хваленый разумъ, который, по вашему мнѣнію, единственный руководитель чловѣка,—вы остались невозмутимы; а когда я преступилъ мораль, которая, по вашему мнѣнію, не болѣе какъ отжившая свой вѣкъ старушка,—вы безъ церемоніи указали мнѣ на дверь. Своему идолу, разуму, когда я его топилъ, вы преспокойно говорили: «Выдѣбай, боже», а когда я на минуту забылъ Христа, вы загорѣлись огнемъ страстнаго негодованія. Что же это такое?

А это вотъ что такое. Подобно мольеровскому герою, искренно удивившемуся при открытіи, что онъ весь свой вѣкъ говорилъ *прозой*, мои собесѣдники были бы удивлены, узнавъ, что они весь свой вѣкъ прожили подъ властью того *внутренняго регулятора*, надобность и самое существованіе котораго они отрицали по *разуму*. Власть и силу разума они испытывали постоянно, учась, размышляя, развиваясь, дѣлая ошибки и исправляя ихъ. Жизнь была въ ихъ дѣятельности, а эта дѣятельность была дѣятельностью аналитическаго ума, который, естественно, и былъ посаженъ въ передній уголъ. Нравственному чувству не было причинъ заявлять о себѣ, потому что оно было удовлетворено: его отрицали въ теоріи, но изъ его власти ни на минуту не выходили на практикѣ. Вся жизнь этихъ людей была подвигомъ труда и той любви, больше которой никто не можетъ имѣть,—любви, полагающей душу свою за други своя. И удовлетворенная совѣсть безмолвствовала. А такъ какъ, въ то же время, только что освободившійся разумъ наполнялъ собою жизнь и съ молодою самоувѣренностью брался разрѣшить всѣ вопросы,—отъ вопроса о происхожденіи космоса до вопроса о размѣрѣ крестьянскихъ надѣловъ,—то понятно, что ему предоставили роль верховнаго наставника. Это была та самая иллюзія, которая отличала Собакевича: онъ презиралъ гигиену и медицину потому, что у него до пятидесяти лѣтъ даже чирья не вскочило ни разу. Такъ было и съ нашими рационалистами: они были душевно здоровы, нравственно чисты, безъ всякихъ усилій съ своей стороны, и *потому*

не цѣнили своего здоровья и отрицали надобность какой-нибудь нравственной гигиены.

Однако, даже Собакевичъ говорилъ, что его идеальное здоровье «не къ добру». Въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшительно было бы полезно хоть разъ и хоть немного поболѣть для того, чтобы побольше цѣнить великое благо здоровья. Узнавъ, что такое болѣзнь, онъ на будущее время сталъ бы поосторожнѣе: не съѣдалъ бы за закуской по цѣлому осетру, а за обѣдомъ по четверти барана, и его здоровье черезъ это было бы обезпечено и въ будущемъ. Читатель понимаетъ нашу метафору. Какъ велика опасность для человѣка въ исключительномъ довѣріи къ своему уму, это удобнѣе всего показать на примѣрѣ тургеневскаго Базарова, который, какъ отвлеченіе, какъ литературный типъ, болѣе удобенъ для нашего анализа. Разумъ убѣдилъ Базарова, что нѣтъ въ человѣкѣ ничего, кромѣ «ощущеній», что для человѣка не можетъ быть иного критерія, какъ его личный вкусъ. «Дальше этого люди никогда не проникнуть», поучаетъ онъ Аркадія Кирсанова. Замѣтимъ мимоходомъ, что горделивый разумъ, все порѣшившій и все уразумѣвшій, тѣмъ не менѣе беретъ на себя роль лакея въ дѣйствительной жизни. Человѣку хочется въ молодости одного, въ зрѣломъ возрастѣ другого, въ старости—третьяго, и разумъ обязанъ прислуживать во всѣхъ случаяхъ съ одинаковымъ усердіемъ: вѣдь, ощущеніе есть альфа и омега человѣческой личности. Но ощущенія могутъ переходить въ простыя настроенія; наши хотѣнія могутъ измѣняться даже не съ возрастами, не съ годами, а съ недѣлями и днями, и разумъ обязанъ мыкаться, пріискивая намъ пути и способы для удовлетворенія нашихъ хотѣній и даже похотей. Базаровъ, котораго не напрасно такъ любилъ безстрашно-логическій Писаревъ, прямо это выражаетъ въ своемъ извѣстномъ золотомъ изреченіи: «Нравится тебѣ женщина,—старайся добиться толку», и Базаровъ на практикѣ показалъ, своимъ насильственнымъ поцѣлуемъ чужой жены, какъ надо *добиваться толку*. Но гораздо важнѣе другое принципиальное изреченіе того же Базарова: «Ты вотъ сказалъ (обращается онъ къ Аркадію Кирсанову), что придетъ время, когда у каждого мужика будетъ такая же славная бѣлая изба, какъ у Ивана Сидорова, а я и возненавидѣлъ этого Ивана: ну у него будетъ бѣлая изба, а изъ меня попухъ будетъ расти, ну а дальше?» *Возненавидѣлъ... Ненависть* очень сильное *ощущеніе* и, давъ ему достаточный просторъ, пріискавъ для нея отвлеченную, разумную санкцію, можно уйти очень далеко—до уничтоженія всякой *возможности* общественности. Теперь,

на разстояніи тридцати лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ того времени, когда передъ нашими глазами разыгралась хищническая, дѣлцкая оргія семидесятыхъ годовъ, параллельно съ судорожными проявленіями идеалистическаго реализма, теперь мы можемъ судить о результатахъ. Теоріи, подставлявшія вмѣсто альтруизма эгоизмъ, развязали руки эгоистамъ. Достоевскій съ вдохновеніемъ истиннаго таланта, еще въ шестьдесятъ шестомъ году, въ романѣ *Преступленіе и наказаніе* изобразилъ проходимца-дѣльца Лужина, который излагаетъ такой символъ вѣры: «Если мнѣ, напримѣръ, до сихъ поръ говорили: «Возлюби», и я возлюблялъ, то что изъ того выходило? Выходило то, что я рвалъ кафтанъ пополамъ, дѣлился съ ближнимъ, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословицѣ: «Пойдешь за нѣсколькими зайцами разомъ и ни одного не достигнешь». Наука же говоритъ: возлюби, прежде всѣхъ, одного себя, ибо все на свѣтѣ на личномъ интересѣ основано. Возлюбишь одного себя, то и дѣла свои обдѣлаешь, какъ слѣдуетъ, и кафтанъ твой останется цѣль. Экономическая же правда прибавляетъ, что чѣмъ болѣе въ обществѣ устроенныхъ частныхъ дѣлъ и, такъ-сказать, цѣлыхъ кафтановъ, тѣмъ болѣе для него твердыхъ основаній и тѣмъ болѣе устраивается въ немъ и общее дѣло. Стало-быть, пріобрѣтая единственно и исключительно себя, я именно тѣмъ самымъ пріобрѣтаю какъ бы и всѣмъ, и веду къ тому, чтобы ближній получилъ нѣсколько болѣе рванаго кафтана, уже не отъ частныхъ, единичныхъ щедротъ, а вслѣдствіе всеобщаго преуспѣянія. Мысль простая, но, къ несчастію, слишкомъ долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью».

Господа раціоналисты, сенсуалисты и эгоисты, какъ вамъ нравится такой единомышленникъ и послѣдователь? Не говорите, что Достоевскій наклеветалъ: нѣтъ, на этотъ разъ онъ сказалъ чистую правду. Раскольниковъ, дошедшій до своего преступленія путемъ чисто-логическихъ заключеній, но при встрѣчѣ съ Лужинымъ уже просвѣтленный нравственно тѣмъ наказаніемъ, которое наложила на него возмущившаяся совѣсть, Раскольниковъ прямо говоритъ Лужину: «Доведите до послѣдствій, что вы проповѣдывали, и выйdetъ, что людей можно рѣзать...» Никто больше Раскольникова не имѣлъ права сказать это, потому что онъ уже *довелъ до послѣдствій* свои разсудочныя хитросплетенія и цѣною страданія понялъ свое заблужденіе.

III.

Основную мысль и цѣль своей диссертациі авторъ очень отчетливо резюмируетъ въ ея заключительныхъ словахъ, которыя поэтому мы и должны привести.

«Апология дѣйствительности, сравнительно съ фантазією, стремленіе доказать, что произведенія искусства рѣшительно не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью,—вотъ сущность этого разсужденія. Говорить объ искусствѣ такъ, какъ говоритъ авторъ, не значитъ ли унижать искусство? Да, если показывать, что искусство ниже дѣйствительной жизни по художественному совершенству своихъ произведеній, значитъ унижать искусство; но возставать противъ панегириковъ—не значитъ еще быть хулителемъ. Наука не стыдится говорить, что цѣль ея—понять и объяснить дѣйствительность, потому примѣнить къ благу человѣка свои объясненія; пусть и искусство не стыдится признаться, что цѣль его—для вознагражденія человѣка, въ случаѣ отсутствія полнѣйшаго эстетическаго наслажденія, доставляемаго дѣйствительностью, воспроизвести, по мѣрѣ силъ, эту драгоценную дѣйствительность и ко благу человѣка объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности, быть нѣкоторою замѣной ея и быть для человѣка учебникомъ жизни».

Извѣстныя слова Базарова: «Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ», такъ и напрашиваются въ видѣ послѣдней формулы всей этой тирады. *Мастерская*—пусть такъ, но не фабрика же, смѣемъ надѣяться? *Работникъ*—согласимся и съ этимъ, но вѣдь, не кустарь-мастеровой, все-таки? Стремленіе къ идеальному, вложенное въ человѣка, есть такой же фактъ дѣйствительности, какъ и любое явленіе природы, и въ этомъ качествѣ подлежить и объективному изученію со стороны науки, и субъективному удовлетворенію со стороны искусства. Эстетики унижаютъ искусство, поставляя его главною функціей—удовлетвореніе одной и, притомъ, совершенно второстепенной подробности нашего духа, но рекомендовать искусству задачу объективнаго воспроизведенія дѣйствительности и научнаго объясненія этой дѣйствительности точно такъ же не значитъ исчерпать его ресурсы и его цѣли. Потребность познаванія, конечно, и шире, и глубже, и общѣ чисто-эстетической потребности, но развѣ она удовлетворяется успѣхами разума? Моя любовь, моя скорбь, мое негодованіе, моя жалость, вся эта чудная и пестрая ткань моей внутренней нравственной жизни, въ которой заключается вся прелесть моего бытія,—все это изучается разумомъ, но совсѣмъ не удовлетворяется разумомъ. Утѣшить ли меня наука тѣмъ, что

расскажетъ мнѣ о химическомъ составѣ моихъ слезъ, а искусство тѣмъ, что съ полнѣйшей точностью изобразить меня плачущимъ? Мою жажду идеала успокоятъ ли ваши *учебники*? Природа красива, но моя душа тоскуетъ не о красотѣ, а о справедливости, которой нѣтъ въ природѣ, очень мало въ человѣкѣ.

Наука, научное объясненіе, объективное пониманіе, разумъ! Мы уважаемъ ихъ великія заслуги; мы жадно воспринимаемъ тѣ холодныя и строгія истины, которыя добываются ими, но своего вдохновенія, своей надежды мы не отдадимъ имъ въ рабство. Мы не такъ робки, чтобы сознательно предпочитать возвышающій обманъ низкимъ истинамъ, мы не хотимъ иллюзій, но развѣ ваше могущество не иллюзія? Въ подражаніе нашему автору, большому любителю метафоръ, позволимъ и себѣ сдѣлать сравненіе. Вотъ доска, раздѣленная на шестьдесятъ четыре равныхъ квадрата. На доскѣ разставляются въ извѣстномъ порядкѣ тридцать двѣ шахматныя фигуры, имѣющія опредѣленное, условное значеніе. Деревянные или костяные фигурки эти не имѣютъ ни желаній, ни страстей, ни воли, ни разума, и съ идеальнымъ послушаніемъ повинуются игрокамъ, рассчитывающимъ ихъ движенія: какъ поставятъ на клѣтку какого-нибудь слона или пѣшку, такъ они и стоятъ, хотъ до скончанія вѣка. Казалось бы, ужъ тутъ ли, въ этой игрѣ, всецѣло основанной на холодномъ расчетѣ, не найти рациональныхъ математическихъ основъ, ведущихъ къ цѣли, т.-е. къ выигрышу партій? Однако, шахматная игра сотни, если не тысячи, лѣтъ существуетъ на свѣтѣ; въ изслѣдованіе ея законовъ углублялись люди специальныхъ способностей, шахматные «таланты» и даже «геніи»; существуетъ довольно обширная шахматная литература; растетъ и процвѣтаетъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ шахматная журналистика; безпрестанно появляются новые анализы разныхъ шахматныхъ положеній и дебютовъ (начальныхъ ходовъ); выходятъ новые учебники—и что же за всѣмъ тѣмъ? Дальше первыхъ десяти ходовъ шахматный анализъ не проникъ: раскрывающееся разнообразіе комбинацій подавляетъ всю его силу, и шахматная игра продолжаетъ оставаться дѣломъ субъективнаго вдохновенія, какого-то страннаго инстинкта, который сопровождаетъ чистый расчетъ и даже руководитъ имъ. А, вѣдь, и все-то поле дѣйствія—четыре квадратныхъ фута, и всѣ манипуляціи производятся всего съ тридцатью двумя безстрастными и безотвѣтными матеріальными фигурками!

А вотъ другая *шахматная доска*, площадь которой измѣряется не единицами футовъ, а милліонами квадратныхъ миль, и на по-

верхности которой находятся не тридцать двѣ, а полтора миллиарда фигуръ, отмѣченныхъ каждая своею индивидуальностью, одаренныхъ разумомъ и волею, волнуемыхъ страстями. «Моря житейскаго шумныя волны» бьютъ неустаннымъ прибоемъ; каждое поколѣніе и даже каждая личность вносить въ общую жизнь нѣчто свое; идеи, интересы, вѣрованія переплетаются въ какой-то непостижимо-сложный узоръ; здѣсь вырастаютъ поразительныя чудеса техники; тамъ слышатся стоны людей, не имѣющихъ, чѣмъ удовлетворить свои первыя потребности; въ третьемъ мѣстѣ идетъ борьба за право и пр. и пр. Фантазія какого поэта въ силахъ охватить весь хаосъ этихъ явленій? Мысль какого мудреца проникнетъ въ законы, вносящіе порядокъ и гармонію въ этотъ хаосъ? Наука говоритъ: я проникну, и пусть искусство помогаетъ мнѣ въ составленіи учебниковъ. Будемъ надѣяться. Правда, мы еще не знаемъ всѣхъ угловъ собственнаго помѣщенія, не бывали на полюсахъ, не знаемъ хорошо двухъ материковъ, проникли въ толщъ земной коры только на одну шеститысячную часть радіуса и проч. Но будемъ надѣяться,—человѣческій разумъ силенъ, заслуги науки огромны, ея прошлое блестяще,—почему не рассчитывать на еще болѣе блестящее будущее? Конечно, современная математика, одна изъ самыхъ преуспѣвшихъ и строжайшихъ наукъ, оказывается пока безсильною даже передъ шахматною доской, но все-таки будемъ вѣрить, что социологія будущаго раскроетъ законы жизни человѣческихъ обществъ.

Но все ли это? Посмотрите на звѣздное небо:

Свѣтилъ возженныхъ миллионы
Въ неизмѣримости текутъ.

Здѣсь мы встрѣчаемся съ самыми грандіозными завоеваніями разума, съ высочайшимъ торжествомъ самой точной науки—астрономіи. Она показала намъ, что миллионы свѣтилъ «возжены» не какъ большія и маленькія лампочки для земли; что любое изъ нихъ представляетъ собою такой же источникъ свѣта и тепла (а стало-быть, и жизни), какъ и наше солнце; что разстояніе, отдѣляющее ихъ отъ насъ, превосходитъ наше разумѣніе. Наука поставила насъ здѣсь лицомъ къ лицу съ безконечностью, и этого было достаточно, чтобы мы уразумѣли все свое ничтожество. Лучшее завоеваніе ума, его высшая гордость, послужило къ посрамленію этой гордости. Безконечное, очевидно, не можетъ быть познано конечнымъ и черезъ конечное. Муха, бродящая по листьямъ глубокомысленнѣйшей книги глубокомысленнѣйшаго философа нашего, скорѣе уразумѣетъ смыслъ этихъ черныхъ значковъ по бѣлому

полю, нежели когда-либо человѣческая философія или человѣческая наука раскроютъ идею Непостижимаго. Это убѣжденіе, однако, не останавливаетъ стремленія нашего духа. На той грани, которой не смѣетъ переступить нашъ разумъ, не заканчивается дѣятельность нашего внутренняго нравственнаго сознанія. Анализъ смѣняется экстазомъ,—тѣмъ экстазомъ, который вдохновилъ поэта на эти горько-укоризненные слова:

Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невпріемъ осмѣянныхъ страстей.
И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.

Вдумаемся въ эти слова. Они сказаны въ состояніи прозрѣнія, которое не часто посѣщаетъ даже избранныхъ людей. Лермонтовъ былъ слишкомъ умный человѣкъ, чтобы считать науку ненужнымъ дѣломъ: о какой же ея *безплодности* онъ говоритъ? О той, конечно, которая заключается въ ея безсиліи отвѣтить на самые высшіе наши запросы—на запросы нравственной жизни. Для чего жить? Ни одинъ пытливый, сознавшій себя человѣкъ не можетъ обойти этотъ скептическій вопросъ, и радостно-утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ есть то, что Лермонтовъ называетъ *надеждами лучшими*. Далѣе, слово *тая* опять говорить о вдохновенной проницательности поэта: запуганные призракомъ *объективной истины*, которая, во всякомъ случаѣ, есть не болѣе какъ истина относительная (Милль, наприм., прямо говорить, что допустимо, мыслимо существованіе такихъ міровъ, на которые дѣйствуютъ совершенно иные законы природы, нежели тѣ, которые намъ извѣстны), мы именно *затаили* въ себѣ даже отъ ближнихъ и друзей *надежду* на истину абсолютную. Лермонтовъ опять-таки съ поразительною силой пророческаго вдохновенія указываетъ, что проявленіе этой истины мы должны искать въ *благородномъ голосѣ страстей*, т.-е. тѣхъ страстей, которыя возвышаютъ насъ, а не тѣхъ, которыя отъ юности борются насъ и которыя дѣйствуютъ и въ собакѣ и въ тигрѣ. Какія это страсти? Это любовь и ненависть, но не *случайныя* (еще гениальный терминъ!), не узко личныя, выходящія не изъ пристрастій и вкусовъ нашихъ, а изъ нашего стремленія къ выраженію нравственнаго идеала. Въ виду *такой* цѣли нѣтъ жертвы, передъ которой человѣкъ отступилъ бы, потому что каждая такая жертва есть шагъ къ большому постиженію и

достигенію идеала, а это, въ одно и то же время, и долгъ и счастье. Нѣтъ этого—и въ душѣ царствуетъ *холодъ тайный*, холодъ скрытаго равнодушія къ жизни, несмотря на то, что огонь кипитъ въ крови. Современнымъ ли людямъ не знать этого состоянія? Сдѣлаемъ еще одинъ шагъ съ Лермонтовымъ и мы подойдемъ къ самой сердцевинѣ нашего вопроса:

Мечты поэзіи, созданія искусства,
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ,
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства,
Зарытый скупостью и бесполезный кладъ.

Надо и это прочесть умѣючи: содержаніе вдохновеннаго слова поэта раскрывается такъ же не легко, какъ и содержаніе мудраго слова мыслителя. Нѣтъ ничего легче для извѣстнаго рода *поэзіи* и *искусства*, какъ расшевелить чувство людей, у которыхъ *огонь кипитъ въ крови*. Наоборотъ, эти же самые люди останутся глухи къ призывамъ той поэзіи, которая обращается къ нравственному чувству, потому что у нихъ только *остатокъ* этого чувства. Изъ сопоставленія этихъ отрицательныхъ указаній выясняется взглядъ Лермонтова на сущность истинной поэзіи, вполне отвѣчающій его взгляду (который мы уже видѣли) на миссію поэта. Черезъ двадцать пять лѣтъ послѣ Лермонтова этотъ взглядъ былъ превосходно выраженъ Писаревымъ, тѣмъ не менѣе до сихъ поръ считающимся отрицателемъ искусства, а еще черезъ двадцать пять лѣтъ тотъ же самый взглядъ, даже до подробностей, былъ высказанъ Львомъ Толстымъ, какъ я уже имѣлъ случай указать въ другой статьѣ. Формула Писарева такова:

«Истинный *полезный* поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполне глубокій смыслъ каждой пульсациі общественной жизни, поэтъ, какъ чело-вѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священный символъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе,—говоритъ Берне,—я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки. Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ писателей, конечно, не можетъ составлять исключенія изъ этого пра-

вила. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко сознательно любить и ненавидѣть. А чтобы любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. Кто понялъ и прочувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ волею и неволею въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду».

Этотъ взглядъ Писарева былъ такою же вдохновенною интуиціей, какую мы видѣли у Лермонтова. Не трудно было бы доказать, что онъ не только не вытекалъ логически изъ другихъ основъ міросозерцанія Писарева, но и не былъ связанъ съ ними и даже противорѣчилъ имъ. Но здѣсь дѣло не въ этомъ. Разложите формулу Писарева на ея составные элементы и вы найдете въ ней широкій синтезъ всѣхъ частныхъ воззрѣній на искусство. *Доброе, истинное и прекрасное*—вотъ тотъ тріединный идеалъ, на служеніе которому Писаревъ зоветъ не только всякаго истиннаго поэта, но и всякаго истиннаго писателя. Этотъ идеалъ имѣетъ послѣднюю свою цѣлью благотворное воздѣйствіе на дѣйствительность, и вотъ почему формула «искусство для жизни», т.-е. для удовлетворенія духовныхъ потребностей человѣка, сама-собою выдвигается на первый планъ и почему Писаревъ съ полнымъ основаніемъ называлъ себя утилитаристомъ, оговариваясь, что «слово *польза* мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты», и благополучно продолжаютъ навязывать до сихъ поръ,—добавимъ мы отъ себя. Во времена Писарева, тотчасъ же послѣ Писарева и до сего дня они утверждали и утверждаютъ, что формула—«искусство для жизни»—имѣетъ не болѣе широкій смыслъ, какъ и формула—«дрова для жизни». Подойдемъ къ вопросу поближе.

Доброе—первый элементъ писаревской (такъ же какъ и лермонтовской и толстовской) формулы имѣетъ, конечно, наиболѣе важное и общее значеніе. Много, слишкомъ много людей, которые стоятъ вдаль отъ источника объективной истины—науки, но, къ счастью и къ чести человѣчества, мало людей, которые, по некрасовскому выраженію, *ни разу Бога въ пустой груди не ощутили*. Нельзя путемъ откровенія прійти къ открытію какой-нибудь математической, объективной истины,—это можно только путемъ изслѣдованія и анализа; но высочайшіе завѣты нравственности могутъ быть сразу восприняты и рыбакомъ и блудницей—*всякимъ чистымъ и неиспорченнымъ сердцемъ*. Съ точки зрѣнія

широкаго утилитаризма, эти нравственные завѣты несравненно важнѣе, *полезнѣе* всякихъ научныхъ принциповъ именно потому, что не требуютъ для своего воспріятія предварительнаго умственнаго искусства, а требуютъ только хорошей почвы; вспомнимъ глубокую притчу о сѣятелѣ,—притчу, въ которой больше животворящей мудрости, нежели въ десяткѣ иныхъ «системъ». Высшее и общее выраженіе морали, опредѣляющее отношеніе человѣка къ человѣку, заключается въ заповѣди любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ. Какъ часто эта заповѣдь исполняется, по мѣрѣ силъ, разными безхитростными людьми, которые не умѣютъ метафизически разсуждать объ абсолютѣ, но умѣютъ «жить по-божьему», и какъ много *мудрецовъ*, которымъ она и не снилась никогда! Между тѣмъ, въ этомъ откровеніи чистой морали заключается и весь возможный смыслъ аналитической, разсудочной мудрости.

Перейдемъ ко второму члену формулы—къ *истинному*. Раціоналистическое, научное познание истины создало всю нашу культуру (*культуру*—не цивилизацію). Нѣтъ надобности противопоставлять, но и нѣтъ возможности отождествлять добро и истину, мораль и науку. Между ними нѣтъ враждебности, но должны существовать отношенія самоподчиненія, и здѣсь начало разногласій. Алгебра и химія, какъ произведенія чистаго разсудка, не нуждаются ни въ идеалахъ ни въ какихъ-нибудь моральныхъ обоснованіяхъ, но философія и социологія, отвергая ихъ, поступаютъ ирраціонально, потому что обезпложиваютъ себя. Соціологическій принципъ, отвѣчающій моральному завѣту любить ближняго какъ себя, состоитъ въ идеѣ солидарности человѣческихъ интересовъ. Соціологическая система, построенная на фундаментѣ этой идеи, удовлетворяла бы нашимъ нравственнымъ требованіямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, была бы, нѣтъ сомнѣнія, системою вполне научною: истина не можетъ противорѣчить добру. Между тѣмъ, наша эпоха произвела достаточное число системъ, въ которыхъ, во имя бездушно-отвлеченныхъ соображеній, нравственное достоинство человѣка унижено и порабощено и почти нѣтъ ни одного ученія, въ которомъ проявлялась бы идея *добра*, хотя бы въ видѣ болѣе частнаго понятія *общественнаго блага*. Нашъ русскій *литературный* раціонализмъ менѣе повиненъ въ этомъ грѣхѣ, нежели его западный собратъ, но повиненъ, все-таки.

Третій и послѣдній членъ формулы—*красота*—является выраженіемъ эстетической потребности человѣка. Это принципъ

язычества, которое давно заслонено, если не устранено въ насъ христіанскимъ началомъ, правда, не грубаго язычества Ваала, съ человѣческими жертвоприношеніями, а того, въ которомъ выразилось пантеистическое чувство Эллады.

У груди благой природы,
Все, что дышитъ, радость пѣть;
Всѣ созданья, всѣ народы
За собой она влечетъ;
Намъ друзей дала въ несчастіи,
Гроздїй сокъ, вѣнки Харить,
Насѣкомымъ—сладострастье...
Ангель—Богу предстоить.

Вотъ точное выраженіе эстетическаго чувства красоты. Это не тотъ *сладостный восторгъ*, о которомъ говорилъ Лермонтовъ, это радость жизни, та самая радость, которая заставляетъ даже теленка выдѣлывать въ полѣ курбеты и антраша. *Сладостный восторгъ* Лермонтова, это именно то чувство, съ которымъ «Ангель—Богу предстоить», съ которымъ поэтъ поднимается въ царство идеала, съ которымъ всякій искренно вѣрующій проливаетъ слезы въ христіанскомъ храмѣ. А животнымъ и насѣкомымъ—сладострастье...

Сообразно очерченнымъ нами категоріямъ, читатель безъ труда разсортируетъ не только поэтовъ, но и художниковъ вообще на три основныхъ отдѣла: художниковъ-моралистовъ, выразителей нравственнаго идеала, художниковъ-мыслителей, выразителей человѣческой мудрости, и такъ-называемыхъ *чистыхъ* художниковъ, выразителей *благой природы*. Авторъ *Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности* не провелъ этого взгляда во всей его полнотѣ и остановился на рacionalesтической точкѣ зрѣнія. Подчиняя нравственность разуму, онъ вполнѣ логично подчинилъ искусство наукѣ и рекомендовалъ ему заняться составленіемъ *учебниковъ жизни*. Его отрицательная заслуга въ вопросѣ объ искусствѣ велика: онъ призвалъ разумъ противъ эстетическихъ притязаній, показалъ неважность начала *красоты* въ сравненіи съ началомъ разума—*истины*. Но, выводя нравственность изъ расчета, т.-е. изъ того же разума, онъ оказался не въ силахъ оцѣнить этическое значеніе искусства. Нѣкоторыя попытки этого можно было бы указать въ диссертациі, но онѣ-то больше всего и свидѣлствуютъ, что эта часть задачи выходила за предѣлы компетенціи автора. Нравственное значеніе искусства онъ сводилъ къ *дидактизму*, т.-е. къ поученію. Идеиное, рacionalesлистическое

искусство, объясняющее истину, находить себѣ естественное выраженіе въ тенденціозности, но поученіями, символическою морализаціей, голымъ дидактизмомъ нравственная истина не можетъ быть раскрыта: въ научной истинѣ можно *заставить* средствами разума и логики убѣдиться, но вѣру можно вызвать и передать только собственною горячею вѣрой, живымъ примѣромъ, силою страстнаго энтузіазма. Все это было у нашего автора, и въ такомъ избыткѣ, который отличаетъ людей не только званныхъ, но и избранныхъ.

М. Протопоповъ.

60 - е г о д ы *).

«Воля освобождаетъ, ибо воля есть творчество. И только для творчества должны вы учиться. Творчество... Вотъ великое спасеніе отъ страданія, великое облегченіе труда».

Въ этихъ словахъ стремленіе и нашихъ 60-хъ годовъ. Воля и знаніе, заслоненныя, затушеванныя мистическими идеями русскаго мессіанизма, официальнымъ гнетомъ, меланхоліей и пресыщеніемъ барства, попытались выдвинуться на первую сцену, и этой своей попыткой создали своеобразную полосу нашего литературнаго развитія.

Ей предшествовалъ севастопольскій погромъ; на ея сторонѣ было сознаніе самого правительства, что надо ликвидировать, по крайней мѣрѣ, наиболѣе темныя стороны прежней жизни (крѣпостное право, взяточничество, судебную волокиту); противъ нея и ея жажды обновленія—обычный тяжкій грузъ русской жизни—невѣжество и нищета, безличіе русскаго человѣка, выросшаго въ безправіи, подчиненіи стихіямъ и произволу.

Господствующія идеи можно свести къ слѣдующимъ:

а) Полное отрицаніе прошлаго, патріархальнаго, *дворянскаго*, во имя освобожденія личности и общественнаго строя.

б) Требованіе отъ cadaго человѣка гражданской, общепользной работы.

в) Стремленіе рационализировать жизнь, устранить изъ нея все мистическое, традиціонное, патріархальное, противорѣчащее разуму, и устроить ее по логикѣ полезнаго.

Во всемъ этомъ, конечно, много временнаго, случайнаго, историческими обстоятельствами вызваннаго и вмѣстѣ съ ними исчезнуващаго.

Но вотъ важное подъ этой случайною оболочкой: уваженіе къ достоинству человѣка какъ человѣка, каковъ бы онъ по своему происхожденію ни былъ; признаніе полнаго равенства и полной

*) *Андреевичъ* (Евг. Соловьевъ). «Опытъ философіи русской литературы». 1905 г.

равноправности между людьми, во всей совокупности общественных отношений. И все это слилось въ одномъ маленькомъ и даже чуждомъ для насъ словѣ—*эмансипація*. Это ключъ къ пониманію эпохи. Эмансипировались крестьянинъ отъ помѣщика, женщина отъ семейной кабалы, гражданинъ отъ государства, мысль отъ преданій и кумировъ прошлаго. Былъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. И въ этомъ «боевая» красота эпохи, несмотря на грубоватую и часто неуклюжую форму.

Былъ порывъ, была страсть, было вдохновеніе. Застоявшаяся, утомленная ожиданіемъ, безконечными сѣрыми буднями, Россія всколыхнулась, и былъ даже такой мигъ, когда она повѣрила въ возможность полного своего обновленія и счастья всего народа.

Настроеніе, вылившееся потомъ въ «эпоху великихъ реформъ», въ радикальную публицистику Герцена и *Современника*, въ нигилизмъ *Русскаго Слова*, въ беспощадный приговоръ надъ официальной Россіей, росло и повышалось съ поразительною быстротой. Повидимому, разрозненные, но, въ сущности, исходящіе изъ того же повышеннаго самочувствія и имъ объединенные факты дадутъ намъ понятіе объ этомъ ростѣ и повышеніи. Рядъ этихъ фактовъ идетъ непрерывно съ 1855 г., порожденный нашими неудачами въ Крыму. Въ этихъ неудачахъ многіе видѣли залогъ нашего обновленія. За ними жадно слѣдили, ихъ ждали, обиженные, правда, въ своемъ патріотизмѣ, но понимая, что этой старой, зазнавшейся Россіи, игравшей не только у себя дома, но и во-всей Европѣ роль «охранителя», нуженъ жестокой урокъ. Печально и, вмѣстѣ, торжествуя встрѣчали «лучшіе люди» извѣстія о пораженіяхъ при Альмѣ, у Черной Рѣчки, подъ Карсомъ. Они же истолковали смерть Николая I-го, какъ конецъ «системы». Новое царствованіе, еще ничѣмъ себя не заявившее, внушило неопредѣленные, но радостныя ожиданія, что такъ обычно въ самодержавныхъ государствахъ. Отдѣльныя слова, случайные циркуляры, слухи о поданныхъ царю и принятыхъ имъ «запискахъ», объ отставкѣ какого-нибудь ненавистнаго и наканунѣ еще всемогущаго лица (напр., Клейнмихеля*), о тостахъ за «общественное мнѣніе» (какъ извѣстный

*) Петръ Андреевичъ Клейнмихель прошелъ школу искусства царедворцевъ у самого «змія», какъ его называлъ кн. Волконскій,—Аракчеева. Аракчеевъ выдвинулъ своего адъютанта, и при императорѣ Николаѣ онъ былъ однимъ изъ приближенныхъ «шептуновъ». Будучи главноуправляющимъ путями сообщенія и публичными зданіями, онъ строилъ ихъ по такимъ цѣнамъ, что приводилъ въ недоумѣніе даже нашихъ чиновниковъ, пра-

тость К. Аксакова) и пр. и пр.,—все это поддерживало общественное возбужденіе. Скоро подошли разговоры и разсужденія о предстоящей отѣнѣ крѣпостного права и заняли первое мѣсто. «Ополченцы» разнесли по всей Россіи вѣсть, что французскій главнокомандующій потребовалъ этой отѣны, какъ необходимаго условія для заключенія мира. Это волновало, тревожило, возмущало, радовало. Но приходили въ восторгъ и отъ мелочей. Отвѣтъ новаго государя на вопросъ о русскомъ платьѣ и бородѣ: «А мнѣ какое дѣло... пусть одѣваются, какъ хотятъ!» облетѣлъ славянофильскіе кружки и помѣстья. Здѣсь возликовали, и 50-лѣтній ребенокъ, Хомяковъ, писалъ: «Освобожденіе отъ наружнаго подражанія важно какъ знамя, вызывающее освобожденіе мысли, какъ вызовъ къ самомышленію». Одновременно К. Аксаковъ радуется, что «камергеровъ переименовываютъ въ столыльниковъ, камеръ-юнкеровъ въ ключниковъ»... Изобиліе слуховъ, разнообразныхъ и для николаевской Россіи необычныхъ поразительно. «Государь намѣренъ лично слушать докладъ только министровъ Двора, финансовъ и военнаго, а прочіе будутъ докладывать комитету и Государственному Совѣту»; «Преслѣдованіе раскольниковъ прекращено»; «Императрица подарила Тютчевой Маколея». Сообщенія важныя и неважныя сливались въ одинъ возбужденный хоръ. Вдохновеніе проникло въ глубокія темныя дебри нашей провинціи и даже старческой скупой души Погодина.

«Жили себѣ,—разсказываетъ С. В. Ковалевская,—жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились. И вдругъ, откуда ни возьмись, объявились признаки какого-то страннаго броженія, которое грозило подточиться подъ самый строй тихой патріархальной жизни. О какой дворянской семьѣ ни спросишь въ то время, о всякой услышишь одно и то же: дѣти поссорились съ родителями. И не изъ-за какихъ-нибудь вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры, а единственно изъ-за вопросовъ чисто теоретическаго, абстрактнаго характера. «Не сошлись убѣжденіями»—вотъ только и всего. Дѣтьми, особенно дѣвушками, овладѣла въ то время словно эпидемія какая—убѣгать изъ родительскаго дома: то у того, то у другого помѣщика убѣжала дочь: которая за границу учиться, которая въ Петербургъ къ нигилистамъ».

выкшихъ къ щедрымъ цифрамъ казенныхъ сооружений. Кромѣ того, Клейнмихель былъ извѣстенъ за человѣка, безчеловѣчно обращающагося съ рабочими. По вступленіи на престолъ Александра II онъ былъ удаленъ въ Государственный Совѣтъ.

Н. Д.

Я говорю, что всколыхнулась и старая скупая душа Погодина. Онъ подалъ записку *о царевомъ времени*, гдѣ говорилъ, что время царское дороже всего, что царь физически не можетъ вѣдать самъ каждое дѣло, что Государственный Совѣтъ и гласность должны облегчить ему непосильную работу. Въ то же время К. Аксаковъ доказывалъ, что «въ необходимыхъ случаяхъ было бы полезно совѣщаться съ сословіями, по предметамъ, непосредственно ихъ касающимся», а Кавелинъ создалъ свой проектъ освобожденія крестьянъ, «благосклонно», по его собственному выраженію, принятый въ высшихъ сферахъ, и т. д.

Мысль о ликвидаціи крѣпостного права и освобожденіи «крещеной собственности» давала всему этому движенію единство, силу, напряженность. «Съ *этимъ* надо, во всякомъ случаѣ, покончить», какъ-будто говорили всѣ либерально мыслящіе элементы общества, и эти слова были лозунгомъ. Они вдохновили. «Умственное вдохновеніе было тогда чрезвычайное. Была настоящая лихорадка мысли». Какъ бы въ доказательство того, что въ обществѣ существуетъ общая мысль, отдѣльныя безчисленныя брызги которой разбросаны тамъ и здѣсь, совпадали и вырастали въ грозный строй ряды одинаковыхъ фактовъ, стремленій, словъ, пожеланій. Въ литературномъ преддверіи этого момента стоитъ работа Чернышевскаго: *Объ эстетическомъ отношеніи искусства къ дѣйствительности*, гдѣ подъ нѣсколько схоластическою формою бурлитъ жажда жизни, работы, земного счастья. Рядомъ съ Чернышевскимъ, но уже въ ореолѣ славы и общепризнаннаго, любимаго, я бы даже сказалъ «нужнаго» поэта, стоитъ Некрасовъ, чьи стихотворенія въ 1856 г. за какія-нибудь двѣ недѣли расходятся въ 4.000 экземпляровъ. Немного раньше, съ выходомъ первой части «Полярной Звѣзды», начинается политическая дѣятельность Герцена за границей. Заработалъ вольный станокъ, раздалось вольное слово, а въ 1857 г. передъ нами уже «Колоколъ» съ эпиграфомъ: «Vivos voco» — «Призываю живыхъ».

«Живые» были, и они откликнулись. Дворянскій крѣпостной строй Россіи, подѣденный, какъ червемъ, безалаберной, лѣнивой жизнью, осужденный мыслью и новыми экономическими отношеніями, давно уже сложившимися на Западѣ, поддерживаемый лишь полицейскою охраною государства, ждалъ съ минуты на минуту своего официальнаго приговора. Его часъ пробилъ. Его враги были сильны, бодры и наносили ему каждый день все новые мѣткіе удары, потому что они шли рука-о-руку съ

жизнью, исторіей, исполняя ихъ рѣшеніе. Мы простимъ ихъ самообманъ, ихъ иллюзію (будто они *сами все это* сдѣлали): въ этомъ самообманѣ таился богатый запасъ силы, вдохновенія.

Психологія эпохи, по крайней мѣрѣ, ея начала,—нервный подъемъ. О немъ говорить С. В. Ковалевская *) въ вышеприведенныхъ строкахъ, говорить Д. И. Писаревъ въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ, Шелгуновъ, Н. К. Михайловскій. Впрочемъ, было бы даже трудно перечислить всѣхъ свидѣтелей, чьи показанія единодушны и почти слово-въ-слово повторяютъ другъ друга. «Если лѣтъ пять-шесть такъ продлится, общественное мнѣніе, могучее и просвѣщенное, сложится,—писаль Кавелинъ,—то и позоръ недавняго *еще* безправія хоть немного изгладится».

Но пока, во второй половинѣ 50-хъ годовъ, подъемъ духа очевидный и захватившій широкіе слои. Настоящій весенній разливъ жизни. Ему нужно было литературное выраженіе, и онъ нашелъ его, но въ журналистикѣ, въ теоріяхъ и статьяхъ Чернышевскаго, въ стихахъ Некрасова, въ звонѣ Герценовскаго «Колокола».

Мы видимъ любовь къ жизни, къ дѣйствительности. Мысли и формулы, потомъ затерявшіяся, забытыя, появились на сцену, какъ въ фокусѣ собирая лучи настроенія. «Прекрасное есть жизнь»,—сказалъ Чернышевскій.

Онъ такъ развивалъ и доказывалъ свой тезисъ:

«Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ—жизнь; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось бы ему вести, какую любить онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чѣмъ не жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается гибели, небытія и любить жизнь. И кажется, что опредѣленіе: «Прекрасное есть жизнь», или другія подобныя ему: «Прекрасно существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна она быть по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который высказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни»,—удовлетворительно объясняютъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго»...

Въ этихъ словахъ чувствуется гимнъ, готовность къ гимну, по крайней мѣрѣ. Жизнь мила и прекрасна, какъ что-то родное, драгоценное. Она мила и прекрасна, потому что общается человѣку наслажденіе и счастье, даетъ ему радости, заставляющія

*) Ковалевская, какъ извѣстно, оставила «Очерки изъ русской жизни» и др. произведенія, гдѣ она рисуетъ свое время.

сильнѣе биться его сердце и чувствовать себя хозяиномъ своей собственной судьбы, природы. Въ этихъ словахъ бодрость, сознаніе своей силы, вѣра въ успѣхъ, въ удачу, и какая противоположность меланхоліи и унынію предшествующаго барскаго періода литературы, находившаго утѣшеніе лишь въ мечтахъ и грезахъ!

«Намъ не нужно искусства, намъ не нужно никакого самообмана. Мы еще не жили и страстно хотимъ жить. Пока всяческими мѣрами, грубымъ насиліемъ, лукавыми увѣреніями жрецовъ (что человѣкъ назначенъ для страданія и что единственный его выходъ въ смиреніи) насъ держали вдали отъ жизни. Но теперь пробилъ и нашъ часъ. Мы готовы бороться и не боимся борьбы, потому что вѣримъ и знаемъ, что побѣда на нашей сторонѣ».

Такъ говорили «новые» люди. Они декретировали волю жизни, и ихъ оптимизмъ, ихъ торжествующій тонъ естественны и понятны.

Воля жизни и дѣятельности возможна лишь съ признаніемъ жизни прекрасною, интересною и способною подчиниться человѣку.

Хотѣть жить, значить ощущать свою власть надъ жизнью.

Наше барство отъ тяжелой дѣйствительности, отъ ея обидъ уходило въ мечты русскаго мессіанизма, въ созерцаніе прекраснаго, въ искусство и абстракціи. Эти воздушные полеты были его отдыхомъ, утѣшеніемъ, пристанищемъ, иногда — самою жизнью.

Новый человѣкъ, охваченный потокомъ *волевого* напряженія, призналъ, что дѣйствительность—его истинная сфера, что ничего, кромѣ дѣйствительности, онъ не хочетъ и знать, что она больше всего дорога ему, какъ сфера работы, гдѣ единственно онъ можетъ проявлять свое собственное «я».

Это не было признаніемъ жизни, какъ она есть, и преклоненіемъ передъ фактомъ. Онъ не меньше другихъ зналъ ужасы окружающей его обстановки, нищету народа, духовное ничтожество общества, но, вдохновляемый вѣрой въ себя и въ возможность измѣнить жизнь сообразно съ требованіями разума и идеаломъ «чтобы всѣмъ было хорошо», онъ искалъ борьбы и работы въ самой дѣйствительности. Онъ пересталъ бояться ея и почувствовалъ надъ нею свою силу. Онъ хотѣлъ знать всю правду о ней, всю ея грязь, всѣ неприглядныя ея стороны и дать всему этому рѣшительную битву. Онъ радовался натиску обличительной литературы: она говорила ему о той правдѣ жизни, которую надо преодолѣть во имя другой, высшей.

Часто этотъ новый человѣкъ удивляетъ скромностью своихъ желаній. Онъ какъ-будто готовъ примириться съ маленькимъ мѣщанскимъ счастьемъ, крошечнымъ достаткомъ и благосклонно относится къ такимъ сѣренькимъ людямъ, какъ Молотовъ. Но, во-первыхъ, когда это «скромное» требуется въ равной долѣ для всѣхъ, оно уже безмѣрно; а, во-вторыхъ, онъ такъ боялся барской пресыщенности, эстетической безмѣрности барскихъ мечтаній! Онъ надѣлъ на себя рабочую блузу и съ гордостью говорилъ, что ему нужна самая простая рабочая обстановка, лишь бы «роскоши и достатка ея хватило на всѣхъ». Онъ смѣло и увѣренно звалъ къ тому новому, что неестественно и лицемерно отрицалось всѣмъ прошлымъ: къ личному счастью, которое должно было умомъ, работой, знаніемъ. Онъ говорилъ на страницахъ своей настольной книги—романа Чернышевскаго *Что дѣлать?*:

«Поднимайтесь изъ вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не такъ трудно; выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить въ немъ и путь легкою и заманчивою, попробуйте. Развитие, развитие! Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть добрымъ и счастливымъ. Читайте ихъ—ихъ книги радуютъ сердце; наблюдайте ихъ—наблюдать интересно; думайте—думать завлекательно. Только и всего. *Жертва не требуется, лишній не спрашивается*,—ихъ не нужно. Желаніе быть счастливымъ, только это желаніе нужно. Для этого вы будете съ наслажденіемъ заботиться о своемъ развитіи: въ немъ счастье. О, сколько наслажденій развитому человѣку! Даже то, что другой чувствуетъ какъ жертву, онъ чувствуетъ какъ удовлетвореніе себя, какъ наслажденіе, а для радостей какъ открыто его сердце и какъ много ихъ у него! Попробуйте—хорошо»...

Въ этихъ строкахъ бьетъ ключомъ сознаніе радости жизни, развитія. Онъ любопытенъ, какъ показатель настроенія. Но не будемъ увлекаться и тутъ же отмѣтимъ, что Чернышевскій написалъ ихъ въ крѣпости, наканунѣ вѣчной каторги. Этотъ призывъ къ свободѣ и счастью изъ-за ограды тюрьмы—не символъ ли онъ всей эпохи... ея благороднаго порыва, натолкнувшагося на стѣну?

Чернышевскаго народники считаютъ обыкновенно своимъ духовнымъ отцомъ. Это справедливо, хотя онъ и слишкомъ раціоналистъ для этого. Онъ гораздо больше говоритъ о невѣжествѣ народа, о его духовной темнотѣ, чѣмъ о его страданіяхъ и его величіи. Въ немъ нѣтъ и слѣда покаяннаго настроенія; мысль о расплатѣ за прошлые грѣхи не смущаетъ его. Совершенно просто *смотритъ онъ на дѣло*: онъ видитъ передъ собой огромную массу

народа, правда, темную, но въ жизни которой есть такіе уклады, какъ община, міръ, возрѣнія на земельную собственность, которые, если ими только воспользоваться, могутъ послужить основаніемъ для будущаго социалистическаго «царства здѣсь на землѣ».

Его защита «общины» и освобожденія крестьянъ съ землей (конечно, не въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ оно совершилось)—очень вліятельная страница нашей литературы. *Община* имѣетъ въ его глазахъ абсолютную цѣнность. Это не только обезпеченіе отъ пролетаріата, но и переходъ въ новую жизнь, гдѣ нѣтъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни частной собственности, ни насилія или эксплуатаціи. Община это — преддверіе къ фаланстеру Фурье.

«Дайте намъ,—говорилъ онъ,—такой бытъ, въ которомъ каждый человѣкъ могъ бы занимать положеніе *поселянина-собственника*, или другое положеніе равнозначительное ему, въ которомъ каждый человѣкъ могъ бы работать дѣйствительно въ *свою пользу*».

Онъ требовалъ этого какъ «первую ступень», но, вдумавшись даже въ эту первую ступень, вы увидите, что требованіе громадно. Очевидно, предполагается созданіе такого огромнаго земельного фонда, откуда каждый могъ бы получить свой участокъ, или, попросту, предполагается націонализація земли. Изъ этой же программы ясно, что социализмъ въ Россіи представлялся Чернышевскому какъ земледѣльческій, прежде всего. На самомъ дѣлѣ, онъ рѣшительно высказывается противъ всякаго обмѣна. Его мечта и вѣра въ томъ, что Россія можетъ обойтись безъ капиталистической стадіи развитія, которая, кромѣ вреда, истощенія народа и земли, ничего принести съ собою не можетъ.

Это одинъ изъ догматовъ народничества.

Но, повторяю, у Чернышевскаго оно очень рационалистично. Въ немъ мало «специфическаго». Нѣтъ невѣрія въ Западъ, нѣтъ голоса совѣсти, нѣтъ культа мужика. Чернышевскій прежде всего интеллигентъ. Онъ знаетъ, что мужикъ недалеко ушелъ отъ первобытнаго состоянія. Онъ одобряетъ рассказы Н. Успенскаго*). Онъ смѣется надъ «пряничными» мужиками Тургенева и

*) Въ своихъ произведеніяхъ Н. Успенскій является противоположностью писателямъ, идеализировавшимъ русскаго мужика. Не умѣя заглянуть въ душу описываемыхъ героевъ, Успенскій далъ, въ сущности, цѣлый рядъ анекдотовъ и сенокъ, гдѣ изображена чисто внѣшняя сторона жизни простонародья. Въ его произведеніяхъ нашъ мужикъ тупоумень, смѣшонъ, пошлъ и дикъ.

Григоровича. Онъ стоитъ во главѣ народничества, больше всего благодаря признанію общины; кромѣ того, его нравственныя качества, его судьба, его подвижничество сближаютъ его съ героями слѣдующей эпохи.

Соціализмъ въ эти дни понимался, прежде всего, какъ фурьеризмъ. Оттого-то Чернышевскій могъ такъ свободно дѣйствовать на оба фронта: провозглашать полную свободу личности и организацію производства.

Это—опять утопическій соціализмъ. Его путь—путь немедленнаго полнаго обновленія жизни. Это обновленіе должна была произвести интеллигенція и народныя массы.

Но неужели это представлялось такимъ легкимъ дѣломъ? Легкимъ—нѣтъ, но осуществимымъ и возможнымъ—да. Въ легкомысліи ни Чернышевскаго, ни Михайлова, ни Добролюбова обвинять нельзя. Они не авантюристы, не бреттеры. Въ Добролюбовѣ столько же скептицизма, сколько въры.

Не надо обманывать себя внѣшностью, особенно внѣшностью статей Чернышевскаго или Михайлова. Ихъ торжествующій тонъ—это призывъ къ борьбѣ, радость побѣды (потому что побѣда надъ старымъ дѣйствительно *была*), «ура» при штурмѣ крѣпости и при паденіи такихъ устоевъ, какъ крѣпостное право.

Но предстояла задача обезпечить счастье народа. Тутъ не до жизнерадостности, не до личнаго счастья; и свободной любви. Все это, во всякомъ случаѣ, откладывается до наступленія *настоящаго* дня. Пока же подвигъ, суровыя лишенія, и вотъ загнанныя слова «долгъ», служеніе, самоотверженіе подъ другимъ видомъ возвращаются въ литературу.

Въ знаменитомъ романѣ Чернышевскаго *Что дѣлать?* есть суровая, стоящая въ сторонѣ фигура Рахметова. Это юноша, богатый *помѣщикъ*, который живетъ, однако, какъ чернорабочій и готовится къ большому дѣлу, великому подвигу.

Рахметовъ не дѣйствующее лицо въ романѣ, или, лучше сказать, все его «дѣйствіе» ограничивается тѣмъ, что онъ говоритъ съ Вѣрой Павловной, съѣдаетъ кусокъ ветчины, выкуриваетъ сигару и ложится спать. Однако (съ добавленіями изъ случаевъ его прошлой жизни), онъ производитъ впечатлѣніе чело-вѣка, неизмѣримо болѣе сильнаго, чѣмъ всѣ его окружающіе. Это чело-вѣкъ долга, идеи, воля котораго настолько сильна, что сумѣла *претворить этотъ долгъ въ свою вторую натуру*. Настоящимъ

Рахметовъ не живетъ, онъ весь въ будущемъ—въ служеніи народу, къ которому и готовится какъ къ схимѣ или постриженію. Пока онъ самъ считаетъ себя на положеніи послушника и лишь закаляетъ свою душу и тѣло. Естественно, что онъ аскетъ, ѣсть случайно и наскоро, какъ въ походѣ, спитъ на доскѣ, утыканной гвоздями, съ какимъ-то наслажденіемъ вырывая изъ себя всѣ остатки барства. Но это совсѣмъ не значитъ, что онъ стремится къ состоянію полного безразличія. Напротивъ, онъ живой человѣкъ, который не только понимаетъ, но и любитъ всѣ радости бытія, но только онѣ «не для него».

Рахметову почти нѣтъ дѣла до окружающей его жизни. Если онъ вмѣшивается въ нее, то развѣ какъ большой и взрослый въ дѣтскую игру, и ласково, слегка насмѣшливо смотритъ на всѣ эти перипетіи влюбленности, жизни сердца, маленькихъ просвѣтительныхъ предпріятій. Онъ давно уже пережилъ все это, давно уже понялъ, что картонныя лошади бѣгать сами не могутъ; но онъ, по высшей своей деликатности, никого не разочаровываетъ и таитъ про-себя свое знаніе и мысли.

Его время еще не пришло, но оно близко, и, чувствуя всѣмъ своимъ существомъ его наступленіе, онъ всячески готовится, чтобы достойно встрѣтить его. Ему ясно, что быстро спадетъ волна приподнятаго общественнаго настроенія, что замолкнетъ веселый и бодрый смѣхъ людей, радующихся тому, что они «мансипировались», что страданія и нищета массы призовутъ къ себѣ на Голгоѳу.

Пока онъ въ сторонѣ. То мы видимъ его на Волгѣ, гдѣ онъ вмѣстѣ съ бурлаками, подъ именемъ Никитушки Ломова, тянетъ лямку, не давая себѣ никакихъ послабленій; то въ столицѣ, гдѣ онъ учится, приучаетъ себя къ выносливости и пыткамъ ради все того же будущаго.

Рахметовъ — это крупная фигура и крупное предчувствіе. Создавъ его, Чернышевскій проявилъ, несомнѣнно, нѣчто большее, чѣмъ полемическое остроуміе, критическое чутье, діалектическую ловкость,—онъ угадалъ и усмотрѣлъ рожденіе новаго человѣка, новой полосы общественнаго развитія, наступленіе которой жизнь отсрочила, однако, почти на 10 лѣтъ. Это потому, конечно, что Рахметовъ жилъ въ немъ самомъ*).

*) Съ огромнымъ художественнымъ тактомъ и огромною проникающей силой Чернышевскій сдѣлалъ изъ Рахметова *дворянина*. Въ этой фигурѣ, хотя и неясно, какъ бы въ облакѣ, психологія покаянія и подвижничества.

Рахметовъ—подвижникъ и герой. Герой не въ смыслѣ главнаго лица и руководителя, а человѣка, который сознательно беретъ на себя грѣхи и страданія ближнихъ. Нѣкоторыя черты его характера—лучшій ключъ къ пониманію «тревожной» эпохи народничества. Между прочимъ, какъ я говорилъ, ему пришла фантазія спать на доскѣ, утыканной гвоздями. На вопросъ, зачѣмъ онъ это дѣлаетъ, Рахметовъ застѣнчиво и нехотя объяснялъ: «Можетъ-быть, пригодится»... Ему-то, навѣрное, пригодилось.

Что вдохновляетъ Рахметова, ясно, несмотря на всю скупость его словъ. Это, разумѣется, не подвижничество ради подвига, не аскетизмъ ради усмиренія плоти. Самъ помѣщикъ и сынъ помѣщика, Рахметовъ ищетъ расплаты съ народомъ за долгую жизнь поколѣній на счетъ мужицкаго труда и счастья, ищетъ искупленія. Это «герой возмущенной совѣсти»; онъ уже слышитъ призывъ на Голгофу, потому что эта Голгофа въ немъ самомъ. Вмѣстѣ съ этимъ, народная жизнь разгорѣлась въ его глазахъ яркимъ, ослѣпительнымъ свѣтомъ высшей правды. Униженная, задавленная непосильнымъ бурлацкимъ трудомъ, каждую минуту оскорбляемая, она стоитъ передъ нимъ въ ореолѣ смиренія и святости, и онъ не знаетъ той жертвы, которую можно было бы пожалѣть ради нея...

Въ центрѣ самосознанія 60-хъ годовъ мысль, что мы бѣдны и глупы. Бѣдны и глупы потому, что лѣнны, невѣжественны, а главное потому, что рабы. Мы рабы патріархальнаго строя своей жизни, рабы бюрократіи, собственныхъ предрасудковъ.

Самой жизнью, правительствомъ, интеллигенціей былъ поставленъ вопросъ: какъ увеличить производительность народнаго труда и труда отдѣльныхъ лицъ?

Этой цѣли служило и освобожденіе крестьянъ отъ крѣпостной кабалы, и кое-какое обезпеченіе отъ произвола, и воскресныя школы, и... проповѣдь фурьеризма. Несмотря на все разнообразіе теченій, на разные кривые пути мысли и преобразованій, все стихійно стремилось къ этой цѣли. Нѣкоторые моменты эпохи поражаютъ своимъ единствомъ и стройностью.

Люди жили съ открытыми глазами. Русская дѣйствительность представлялась имъ во всемъ ея ужасѣ, невѣжествѣ, безобразіи насилія и произвола. Они не скрывали отъ себя истинныхъ размѣровъ предстоящаго имъ дѣла. Они знали, что мы бѣдны и глупы, а «мы»—это 60 милліоновъ людей. И они *стремительно шли къ своейцѣли*, за бѣгая мыслью за вѣка впередъ.

Они переоцѣнивали силу разума, науки, естествознанія, но предъ глазами пронизательнѣйшихъ изъ нихъ, несмотря на проповѣдь «эгоизма», достиженіе «настоящаго» для Россіи дня уже представлялось какъ подвигъ.

Они хотѣли учиться и учить, хотѣли работать съ возможной экономіей силъ, съ возможной производительностью труда. Они поняли, что хорошо трудиться можетъ только свободный, жизнерадостный человѣкъ, который знаетъ, для чего и во имя чего онъ работаетъ.

Они цѣнили жизнь и радость жизни, уважали человѣка. Онъ представлялся имъ устроителемъ своей судьбы, источникомъ всего разумнаго и прекраснаго. И они стремились освободить его отъ всего внѣшняго: власти исторіи, гнета патріархальнаго строя, политической безправности, экономической кабалы, самодурства во всемъ его разнообразіи.

Много боевого, много вызывающаго было въ ихъ настроеніи. Они боролись, какъ умѣли, со всѣмъ, что носило печать мистицизма, религіознаго правовѣрія. Только разумное имѣетъ право на существованіе, только земныя цѣли должны имѣть въ виду люди, только къ земному счастью должны они стремиться.

Они вѣрили въ разумъ, въ науку, возможность земнаго счастья всѣхъ людей.

Эпоху 60-хъ годовъ можно назвать *вѣкомъ нашего просвѣщенія*. Правда, вѣкъ былъ недолгъ и просвѣщеніе поверхностно, но ничего другого и нельзя было ожидать въ Россіи съ 60-ю милліонами вчерашнихъ рабовъ. Какъ бы то ни было, критическая работа, пересмотръ всего прошлаго съ точки зрѣнія разума были рѣшительны.

Въ господствующихъ мысляхъ чувствуется здоровая прямолинейность, душевная бодрость. Того покровительственнаго гуманизма, соединеннаго съ нѣкоторой сентиментальностью, который выработала литература дореформенной Россіи, нѣтъ на сценѣ. Они понимали, что народъ дикъ и ему неоткуда было взять ни ума ни добродѣтелей. Призывовъ къ жалости, состраданію мы одинаково почти не находимъ. Надо не жалѣть, а поднимать до себя. Надо разумно перестроить жизнь, чтобы некого было жалѣть. Это возможно, достижимо, это нужно. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда жалость выступала на сцену, ея мотивы такъ перемѣшивались съ мотивами негодованія, злобы, мстительнаго настроенія, что заглушались ими и не производили свойственнаго эффекта. Одинаково, ни о какомъ покаяніи не

могло быть и рѣчи, ни о какихъ угрызенияхъ совѣсти, ибо не въ чемъ было каяться и не за что было грызть себя.

Мужика не «жалѣли», искали правды о его жизни и вмѣстѣ съ Некрасовымъ говорили, что въ народѣ надо сѣять «разумное, доброе, вѣчное»...

Я уже сказалъ выше, что психологія эпохи есть прежде всего психологія воли, активности. Вѣра въ прогрессъ и разумъ стояла на первомъ планѣ. Отсюда эти простыя теоріи, эта простая философія, стремительныя и краткія формулы, ненависть къ схоластикѣ, метафизикѣ и всему мистическому. Въ идеалѣ богатой, умной, свободной Россіи воля находила свое положительное опредѣленіе. Въ ненависти къ патріархальной, крѣпостной и дворянской Россіи—отрицательное.

Мы знаемъ, что эпоха продержалась недолго. Послѣ первыхъ же реформъ поднялись трусливые голоса и стали пугать государство нигилизмомъ, революціей, анархіей. Возникновеніе «молодой Россіи», пожары въ Апраксиномѣ рынокѣ, въ которыхъ видѣли проявленіе терроризма, процессы Михайлова и Чернышевскаго, а главное, возстаніе поляковъ какъ бы подтверждали опасеніе, не слишкомъ ли далеко зашли мы, не распустили ли мы неблагонадежные элементы. Эти намеки и жалобы дѣлали свое дѣло, а послѣ 63-го года реакція полностью завладѣла положеніемъ.

Это было слишкомъ нетрудно при 60-ти милліонахъ вчерашнихъ рабовъ.

Но все же общимъ планомъ своимъ, общимъ построеніемъ своей мысли и своихъ стремленій эпоха 60-хъ годовъ подкупаетъ насъ. Своей вѣрой и бодростью, опредѣленностью желаній, своей формулой, что сила человѣка въ знаніи и разумной работѣ, своей вѣрой въ человѣка она ярко выдѣляется на общемъ сѣромъ фонѣ нашего прошлаго.

Андреевичъ (Евг. Соловьевъ).

Чернышевскій и Писаревъ *).

I.

Если Бѣлинскій былъ родоначальникомъ нашихъ просвѣтителей, то Чернышевскій является самымъ крупнымъ ихъ представителемъ. Его литературные и вообще эстетическіе взгляды имѣли огромное вліяніе на дальнѣйшее развитіе русской критики. Поэтому мы должны обратить на нихъ большое вниманіе.

Наиболѣе полно и ярко они изложены въ его знаменитой диссертациі: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*, представленной въ мартѣ 1855 года въ петербургскій университетъ для полученія степени магистра словесности. Ея разборомъ мы и займемся въ этой статьѣ, обращаясь къ другимъ произведеніямъ Чернышевскаго только въ той мѣрѣ, въ какой они объясняютъ и дополняютъ основныя положенія диссертациі. Въ этомъ смыслѣ для насъ очень важна статья, написанная имъ по поводу появленія трактата Аристотеля о поэзій, въ русскомъ переводѣ и съ объясненіями Б. Ордынскаго (Москва, 1854), и напечатанная въ отдѣлѣ критики въ 9-й книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* за 1854 годъ. А еще важнѣе его собственный разборъ *Эстетическихъ отношеній*, появившійся въ 1855 г. въ шестой книжкѣ *Современника*.

Но прежде чѣмъ говорить о диссертациі Чернышевскаго, полезно будетъ выяснитъ себѣ, почему она посвящена была именно эстетикѣ, а не какой-нибудь другой наукѣ.

Въ своей статьѣ «Разрушеніе эстетики», до сихъ поръ приводящей въ негодованіе всѣхъ русскихъ филистеровъ идеализма и эклектизма, Писаревъ говоритъ, что Чернышевскій

*) Бельтовъ (Г. Плехановъ). «За двадцать лѣтъ». 1905 г.

взялся за свою диссертацию съ «коварной» цѣлью погубить эстетику, разбить всю ее на мелкіе кусочки, потомъ всѣ эти кусочки превратить въ порошокъ и развѣять этотъ порошокъ на всѣ четыре стороны. Это остроумно, но невѣрно. Писаревъ плохо понималъ основную мысль *Эстетическихъ отношеній искусства къ действительности*. Принимаясь за свою диссертацию, Чернышевскій вовсе не задавался цѣлью «погубить эстетику». Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно перечитать упомянутую нами статью о книгѣ Ордынскаго. Чернышевскій написалъ ее какъ разъ въ то время, когда работалъ надъ своей диссертацией. Въ ней онъ не только не нападаетъ на эстетику, но, напротивъ, горячо защищаетъ ее отъ тѣхъ ея «недоброжелателей», которые говорятъ, что не слѣдуетъ заниматься ею, какъ наукой слишкомъ отвлеченною и потому неосновательною.

«Мы понимали бы вражду противъ эстетики,—говоритъ онъ,—если бы она сама была враждебна исторіи литературы; но, напротивъ, у насъ всегда провозглашалась необходимость исторіи литературы; и люди, особенно занимавшіеся эстетическою критикою, очень много—больше нежели кто-либо изъ нашихъ нынѣшнихъ писателей—сдѣлали и для исторіи литературы! (Тутъ очевиденъ намекъ на Бѣлинскаго.) У насъ эстетика всегда признавала, что должна основываться на точномъ изученіи фактовъ, и упреки въ отвлеченной неосновательности содержанія могутъ итти къ ней такъ же мало, какъ, напр., къ русской грамматикѣ. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцевъ историческаго изслѣдованія литературы, то еще менѣе можетъ заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно полномъ и точномъ изслѣдованіи фактовъ».

Онъ замѣчаетъ далѣе, что даже устарѣлые нынѣ курсы идеалистической эстетики основываются на гораздо большемъ числѣ фактовъ, нежели думаютъ ихъ противники. Въ подтвержденіе этого онъ справедливо указываетъ на эстетику Гегеля, состоящую изъ трехъ томовъ: два послѣдніе тома совершенно заняты въ ней исторической частью и большая половина перваго тоже занята историческими подробностями.

«Словомъ,—заключаетъ онъ,—намъ кажется, что весь споръ противъ эстетики основывается на недоразумѣніи, на ошибочности понятій о томъ, что такое эстетика и что такое всякая теоретическая наука вообще. Исторія искусства служитъ основаніемъ теоріи искусства; потомъ теорія искусства помогаетъ болѣе совершенной, болѣе полной обработкѣ исторіи его; лучшая обработка исторіи послужитъ дальнѣйшему усовершенствованію теоріи, и такъ далѣе, до безконечности будетъ продолжаться это взаимодѣйствіе на обоюдную пользу исторіи и теоріи, пока люди будутъ изучать факты и дѣлать изъ нихъ выводы, а не обратятся въ ходячія хронологическія

таблицы и библиографическіе реестры, лишенные потребности мыслить и соображать. Безъ исторіи предмета—нѣтъ теоріи предмета; но и безъ теоріи предмета нѣтъ даже и мысли о его исторіи, потому что нѣтъ понятій о предметѣ, его значеніи и границахъ. Это такъ же просто, какъ то, что дважды два—четыре, а единица есть единица».

Въ другомъ мѣстѣ той же статьи онъ восклицаетъ:

«Эстетика наука мертвая! Мы не говоримъ, чтобы не было наукъ живѣйшей; но хорошо было бы, если бы мы думали объ этихъ наукахъ. Нѣтъ, мы превозносимъ другія науки, представляющія гораздо менѣе живого интереса. Эстетика наука безплодная! Въ отвѣтъ на это спросимъ: помнимъ ли мы еще о Лессингѣ, Гете и Шиллерѣ, или ужъ они потеряли право на наше воспоминаніе съ тѣхъ поръ, какъ мы познакомились съ Теккереемъ? признаемъ ли мы достоинство нѣмецкой поэзіи второй половины прошедшаго вѣка?»...

Намъ кажется, что такъ не могъ бы писать человѣкъ, считавшій эстетику вздоромъ. А если бы намъ сказали, что эта горячая защита эстетики была не искренняя, что ее продиктовало Чернышевскому его «коварное» намѣреніе усыпить подозрительность читателя и тѣмъ полнѣе разрушить въ его мнѣніи всѣ основы эстетической науки, мы отвѣтили бы, что, задавшись такой цѣлью, нашъ авторъ сталъ бы въ противорѣчіе со своими собственными философскими взглядами вообще и со своимъ собственнымъ взглядомъ на прекрасное въ частности. Согласно этому послѣднему взгляду, ощущеніе, производимое въ чловѣкѣ прекраснымъ, есть свѣтлая радость, похожая на ту, какую наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа.

Эта безкорыстная радость была въ глазахъ Чернышевскаго чувствомъ вполне законнымъ, заслуживающимъ осужденія только въ тѣхъ случаяхъ, когда оно вызывается въ насъ предметами, которые только кажутся намъ прекрасными, вслѣдствіе испорченности нашего вкуса. Въ устраненіи ложныхъ понятій о прекрасномъ заключалась, по его мнѣнію, одна изъ важнѣйшихъ задачъ эстетики. А такъ какъ онъ былъ убѣжденъ, кромѣ того, что ложныя понятія этого рода очень распространены теперь, особенно въ высшихъ классахъ общества, самымъ положеніемъ своимъ осужденныхъ иногда почти на полную праздность, то онъ сказалъ бы, что у эстетиковъ, правильно понимающихъ задачу своей науки, еще очень много дѣла и что «разрушать» эту науку, по меньшей мѣрѣ, преждевременно.

Писаревъ думаль, что толковать объ эстетикѣ бесполезно уже по одному тому, что о вкусахъ не спорять. «Эстетика, или наука о прекрасномъ, имѣетъ разумное право существовать только въ томъ случаѣ, если прекрасное имѣетъ какое-нибудь самостоятельное значеніе, независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. Если же прекрасно только то, что нравится намъ, и если вслѣдствіе этого всѣ разнообразнѣйшія понятія о красотѣ оказываются одинаково законными, тогда эстетика разсыпается въ прахъ. У каждого отдѣльнаго человѣка образуется своя собственная эстетика и, слѣдовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы къ обязательному единству, становится невозможною».

Чернышевскій возразилъ бы на это, что безконечно разнообразны скорѣе прихоти людскія, чѣмъ нормальныя вкусы, и что прекрасное, несомнѣнно, имѣетъ самостоятельное значеніе, совершенно независимое отъ безконечнаго разнообразія личныхъ вкусовъ. По его опредѣленію, прекрасное есть жизнь. Такъ, на примѣръ, красивымъ въ царствѣ животныхъ человѣку кажется то, въ чемъ выражается, по человѣческимъ понятіямъ, жизнь свѣжая, полная здоровья и силъ. Въ млекопитающихъ животныхъ, организація которыхъ болѣе близкимъ образомъ сравнивается нашими глазами съ наружностью человѣка, намъ кажутся прекрасными округленность формъ, полнота, свѣжесть и грація, «потому что граціозными бываютъ движенія какого-нибудь существа тогда, когда оно хорошо сложено, т.-е. напоминаетъ человѣка хорошо сложеннаго, а не урода». Формы крокодила или ящерицы напоминаютъ млекопитающихъ животныхъ, но только въ уродливомъ видѣ. Поэтому они кажутся намъ отвратительными. Лягушка не только уродлива по своимъ формамъ, но еще, кромѣ того, покрыта холодною слизью, какою покрывается трупъ. Поэтому она еще болѣе отвратительна для насъ. Словомъ, въ основѣ всѣхъ нашихъ эстетическихъ сужденій лежитъ наше понятіе о жизни. Если бы мы встрѣтили такого человѣка, который, прикасаясь къ покрытому слизью трупу, испытывалъ бы пріятное ощущеніе, то мы, конечно, не стали бы доказывать ему, что онъ ошибается: силлогизмы не устраняютъ ощущеній. Но мы имѣли бы полное право считать его организацію исключительною, ненормальною, т.-е. не соответствующею природѣ человека. Мы могли бы не знать, какая именно патологическая причина вызвала такое отклоненіе отъ человѣческой природы, но

мы не усомнились бы въ томъ, что была такая причина. Значеніе прекраснаго такъ же самостоятельно, какъ значеніе человѣческой природы.

II.

Такъ рассуждалъ Чернышевскій. Правда, въ своемъ опредѣленіи прекраснаго онъ имѣлъ въ виду не одну только органическую жизнь. Говоря: «Прекрасное есть жизнь», онъ прибавлялъ: «Прекраснымъ существомъ кажется человѣку то существо, въ которомъ онъ видитъ жизнь, какъ онъ ее понимаетъ». На этомъ основаніи Писаревъ и думалъ, что цѣль Чернышевскаго заключалась въ разрушеніи всякой эстетики.

«Доктрина эстетическихъ отношеній тѣмъ и замѣчательна,—говорить онъ,—что, разбивая оковы старыхъ эстетическихъ теорій, она совсѣмъ не замѣняетъ ихъ новыми оковами. Эта доктрина говоритъ прямо и рѣшительно, что право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикѣ, который можетъ судить только о формѣ, а мыслящему человѣку, который судитъ о содержаніи, т.-е. о явленіяхъ жизни».

Но это опять неправильный выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, Бѣлинскій думалъ, какъ мы знаемъ, что содержаніе поэзіи тождественно съ содержаніемъ философіи, и что критикъ, разбирая художественное произведеніе, прежде всего обязанъ выяснить его идею и только уже потомъ,—во «второмъ актѣ» разбора,—прослѣдить идею въ образахъ, т.-е. подвергнуть оцѣнкѣ форму. Значитъ ли это, что, по мнѣнію Бѣлинскаго, право произносить окончательный приговоръ надъ художественными произведеніями принадлежитъ не эстетикѣ, а мыслителю? Совсе нѣтъ! Бѣлинскій сказалъ бы, что такое противопоставленіе мыслителя эстетикѣ совершенно произвольно и ни на чемъ не основано. Разобрать художественное произведеніе значитъ понять его идею и оцѣнить его форму. Критикъ долженъ судить и о содержаніи и о формѣ; онъ долженъ быть и эстетикомъ и мыслителемъ; короче, идеаль критики есть философская критика, которой и принадлежитъ право произнесенія окончательнаго приговора надъ художественными произведеніями. Почти тоже можно было бы сказать, основываясь на эстетической теоріи Чернышевскаго. Люди

далеко не одинаково понимаютъ жизнь, и потому они очень сильно расходятся въ своихъ сужденіяхъ о красотѣ. Но можно ли сказать, что всѣ они правы? Нѣтъ, одинъ имѣетъ правильныя понятія о жизни, а другой ошибается; поэтому одинъ правильно судить о красотѣ, а другой ошибочно. Критикъ непремѣнно долженъ быть мыслящимъ человѣкомъ. Ноне всякій мыслящій человѣкъ можетъ быть критикомъ. Чернышевскій говоритъ: «Изъ опредѣленія — прекрасное есть жизнь — становится понятно, почему въ области прекраснаго нѣтъ отвлеченныхъ мыслей, а есть только индивидуальныя существа — жизнь мы видимъ только въ дѣйствительныхъ, живыхъ существахъ, а отвлеченныя общія мысли не входятъ въ область жизни». Поэтому недостаточно опредѣлить достоинство художественнаго произведенія съ точки зрѣнія «отвлеченной мысли»: нужно еще умѣть оцѣнить его форму, т.-е. прослѣдить, насколько удачно художникъ воплотилъ свою мысль въ образахъ. Когда мы видимъ прекрасное, насъ охватываетъ чувство свѣтлой радости. Но это чувство не всегда одинаково сильно даже у людей, имѣющихъ совершенно одинаковыя взгляды на жизнь. У однихъ оно сильнѣе, у другихъ слабѣе. Люди, у которыхъ оно сильнѣе, болѣе способны оцѣнить форму даннаго художественнаго произведенія, чѣмъ тѣ, у которыхъ оно сравнительно слабо. Поэтому хорошимъ критикомъ художественныхъ произведеній можетъ быть только тотъ, у кого съ сильно развитой мыслительной способностью соединяется также сильно развитое эстетическое чувство.

Кромѣ того, Писаревъ не замѣтилъ, что у него слово *эстетика* имѣетъ другой смыслъ, чѣмъ у Чернышевскаго. Для него эстетика была «наукой о прекрасномъ», а для Чернышевскаго — «теоріей искусства, системой общихъ принциповъ искусства вообще и поэзіи въ особенности». Чернышевскій доказываетъ въ своей диссертациі, что «область искусства не ограничивается и не можетъ ограничиваться областью прекраснаго. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекраснаго, — говоритъ онъ, — то множество произведеній искусства не подойдутъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое... Прекрасное, трагическое, комическое — только три наиболѣе опредѣленные элемента изъ тысячи элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ жизни и перечислить ко-

торые значило бы перечислить всѣ чувства, всѣ стремленія, отъ которыхъ можетъ волноваться сердце человѣка»^{*)}).

Онъ говоритъ также, что если прекрасное считаютъ обыкновенно единственнымъ содержаніемъ искусства, то причина этого заключается въ неясномъ различеніи прекраснаго, какъ объекта искусства, отъ прекрасной формы, которая дѣйствительно составляетъ необходимое качество всякаго произведенія искусства. Но изъ того, что форма всякаго произведенія искусства должна быть прекрасна, не слѣдуетъ, что искусство должно и можетъ ограничиться воспроизведеніемъ прекраснаго. «Искусство воспроизводитъ все, что есть интереснаго для человѣка въ жизни». Если это такъ, то само-собою понятно, что искусство не перестанетъ существовать до тѣхъ поръ, пока жизнь не перестанетъ интересовать человѣка, и что «п о г у б и т ь» эстетику, т.-е. теорію искусства, «разрушить» ее—просто невозможно.

Писаревъ плохо понялъ Чернышевскаго. Мы не винимъ его въ этомъ, а просто отмѣчаемъ здѣсь это важное обстоятельство.

Итакъ, Чернышевскій вовсе не собирался разрушать эстетику. Принимаясь за свою диссертацию, онъ преслѣдовалъ другія цѣли. Одна изъ нихъ намъ теперь извѣстна: онъ хотѣлъ доказать, что сфера искусства несравненно шире сферы прекраснаго. Чтобы выяснитъ себѣ, откуда явилась у него эта цѣль, надо припомнить споры Бѣлинскаго со сторонниками теоріи искусства для искусства. Въ своемъ послѣднемъ годичномъ обзорѣ русской литературы умирающій Бѣлинскій, опровергая эту теорію, старался доказать, что искусство никогда не ограничивалось элементомъ прекраснаго. Молодой, полный силъ Чернышевскій положилъ эту мысль въ основу своего перваго крупнаго теоретическаго изслѣдованія. Этимъ лучше всего характеризуется его отношеніе къ «к р и т и к ѣ г о г о л е в с к а г о п е р і о д а». Диссертация Чернышевскаго являлась дальнѣйшимъ развитіемъ тѣхъ взглядовъ на искусство, къ которымъ пришелъ Бѣлинскій въ послѣдніе годы своей литературной дѣятельности.

^{*)} Въ своей книгѣ объ искусствѣ гр. Л. Толстой тоже доказываетъ, что область искусства несравненно ниже области прекраснаго. Но о Чернышевскомъ онъ не упоминаетъ ни единымъ словомъ. Это тѣмъ болѣе жаль, что рационалистическіе приемы разсужденія нашего знаменитаго романиста объ искусствѣ очень напоминаютъ приемы тѣхъ разсужденій, съ которыми мы встрѣчаемся въ диссертации: «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности».

Бѣлинскій въ своихъ спорахъ со сторонниками чистаго искусства покидалъ точку зрѣнія діалектика для точки зрѣнія просвѣтителя. Но Бѣлинскій все-таки охотнѣе разсматривалъ вопросъ исторически; Чернышевскій окончательно перенесъ его въ область отвлеченнаго разсужденія о «сущности» искусства, т.-е. вѣрнѣе, о томъ, чѣмъ оно должно быть. «Наука не думаетъ быть выше дѣйствительности; это не стыдъ для нея,—говоритъ онъ въ концѣ своей диссертации.—Искусство также не должно думать быть выше дѣйствительности... Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ, прекраснымъ назначеніемъ: въ случаѣ отсутствія дѣйствительности—быть нѣкоторою замѣной ея и быть для человѣка учебникомъ жизни». Это уже взглядъ просвѣтителя чистой воды.

Онъ не мѣшалъ Чернышевскому заниматься изученіемъ исторіи литературы въ Россіи и на Западѣ. Уже вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ *Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности* въ *Современникѣ* стали печататься *Очерки гоголевскаго періода русской литературы* и довольно большое сочиненіе о Лессингѣ. Но «точное изученіе фактовъ» имѣло для Чернышевскаго, какъ и для всѣхъ просвѣтителей, главнымъ образомъ, тотъ интересъ, что давало ему новыя данныя для подтвержденія его мысли о томъ, чѣмъ должно быть искусство и чѣмъ станетъ оно, когда художники познають его истинную «сущность».

«Быть учебникомъ жизни»—значить содѣйствовать умственному развитію общества. Просвѣтитель видитъ въ этомъ главное назначеніе искусства. Такъ было вездѣ, гдѣ обществу случалось пережить такъ-называемую эпоху просвѣщенія: въ Греціи, во Франціи, въ Германіи. Такъ было и въ Россіи, когда, послѣ севастопольскаго погрома, передовые слои нашего общества взялись за пересмотръ нашихъ тогдашнихъ устарѣлыхъ общественныхъ отношеній и нашихъ традиціонныхъ понятій.

«Искусство для искусства—мысль такая же странная въ наше время, какъ и богатство для богатства, наука для науки и т. д.,—говоритъ Чернышевскій въ своей статьѣ о книгѣ Ордынскаго.—Всѣ человѣческія дѣла должны служить на пользу человѣку, если не хотятъ быть пустымъ и празднымъ занятіемъ: богатство существуетъ для того, чтобы имъ пользовался человѣкъ; наука—для того, чтобы быть руководительницей человѣка; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на безплодное удовольствіе».

А такъ какъ приобрѣтеніе полезныхъ свѣдѣній и вообще умственное развитіе составляютъ первую потребность людей, стре-

мящихся къ правильному устройству своей жизни, то искусство и должно служить этому развитію. Искусство гораздо больше науки привлекаетъ къ себѣ вниманіе публики.

«Надобно признаться, что увлекаетъ огромную массу оно очень удачно, и этимъ самымъ, вовсе о томъ не думая, содѣйствуетъ распространенію образованности, ясныхъ понятій о вещахъ,— всего, что приносить умственную, а потомъ принесетъ и матеріальную пользу людямъ»,—говоритъ Чернышевскій въ той же статьѣ. «Искусство, или лучше сказать поэзія (одна только поэзія, потому что другія искусства очень мало дѣлаютъ въ этомъ отношеніи), распространяетъ въ массѣ читателей огромное количество свѣдѣній и, что еще важнѣе, знакомство съ понятіями, вырабатываемыми наукою; вотъ въ чемъ заключается великое значеніе поэзіи для жизни».

III.

Уже изъ этихъ словъ видно, какую свирѣпую и нелѣпую неправду говорили тѣ филистеры чистаго искусства и якобы философской критики, которые увѣряли читающую публику, что наши просвѣтителы готовы были пожертвовать головой и сердцемъ желудку, духовными интересами человѣчества матеріальнымъ его выгодамъ. Просвѣтителы говорили: содѣйствуя распространенію здравыхъ понятій въ обществѣ, искусство будетъ приносить умственную пользу людямъ, а потомъ принесетъ имъ и матеріальную выгоду. Матеріальная выгода являлась въ ихъ глазахъ простымъ, но зато неизбѣжнымъ результатомъ умственного развитія людей; толки о ней значили лишь то, что умнаго человѣка труднѣе «объегорить», чѣмъ дурака, и что когда большинство пріобрѣтетъ здравыя понятія, оно легко сброситъ съ себя иго тѣхъ шукъ, сила которыхъ прочна лишь до тѣхъ поръ, пока не проснулись караси. Чтобы приблизить желанное время пробужденія карасей, просвѣтителы готовы были совсѣмъ отказаться отъ употребленія печныхъ горшковъ и питаться однѣми акридами (даже не приправляя ихъ дикимъ медомъ), а ихъ обвиняли въ томъ, что они дорожатъ только печными горшками, которые для нихъ будто бы дороже величайшихъ произведеній человѣческаго генія. Это могли дѣлать или совсѣмъ уже наивные люди или тѣ самыя шуки, для которыхъ пробужденіе карасей совсѣмъ не выгодно. Щука—хитрая рыба; она рѣшительнѣе всего стоитъ

за безкорыстіе именно тогда, когда собирается проглотить зазѣвавшагося карася.

Когда мы слышимъ или читаемъ нападки на тенденціозность въ искусствѣ, намъ почти всегда вспоминается рыцарь Бертранъ де-Борнъ, какъ извѣстно, хорошо владѣвшій не только мечомъ, но и «пирой». Этотъ славный рыцарь, который говорилъ, что челоуѣкъ только и цѣнится по числу полученныхъ и нанесенныхъ имъ ударовъ, сочинилъ, между прочимъ, одно чрезвычайно поэтическое стихотвореніе, въ которомъ воспѣвалъ весну и бранную забаву. «Любо мнѣ,—говорилъ онъ тамъ,—теплое весеннее время, когда распускаются листья и цвѣты; любо мнѣ слушать щебетанье птицъ и ихъ веселое пѣнье, раздающееся въ кустахъ». Не менѣе любо славному рыцарю, когда «люди и скоть разбѣгаются передъ скачущими воинами», и ни ѣда, ни питье, ни сонъ, ничто такъ не манитъ его, какъ «видъ мертвецовъ, въ которыхъ торчитъ насквозь пронзившее ихъ оружіе». Онъ находилъ, что «убитый всегда лучше живого».

Не правда ли, все это поэтично?

Но мы иногда спрашиваемъ себя: какое впечатлѣніе должна была производить эта поэзія на тѣхъ «в и л е н о в ѣ», которые въ ужасѣ разбѣгались со своими стадами передъ скачущими воинами? Очень можетъ быть, что они по своей «грубости» не видѣли въ ней ничего хорошаго. Очень можетъ быть, что она казалась имъ нѣсколько тенденціозною. Очень можетъ быть, наконецъ, что нѣкоторые изъ нихъ, въ свою очередь, сочиняли поэтическія пѣсенки, въ которыхъ выражали свою грусть по поводу опустошеній, производимыхъ бранными подвигами рыцарей, и говорили, что живой всегда лучше убитаго. Если такія пѣсенки дѣйствительно сочинялись, то рыцари, навѣрное, считали ихъ очень тенденціозными и пылали негодованіемъ противъ грубыхъ людей, не желавшихъ фигурировать въ видѣ мертвецовъ, насквозь пронзенныхъ оружіемъ и, вслѣдствіе своей полной эстетической неразвитости, находившихъ, что ихъ скоть производитъ болѣе пріятное впечатлѣніе, когда онъ мирно пасется на поляхъ, чѣмъ когда онъ въ ужасѣ разбѣгается во всѣ стороны передъ скачущими рыцарями. Все на свѣтѣ относительно, все зависитъ отъ точки зрѣнія, хотя это и не нравится г. Н.—ону.

Наши просвѣтителѣ вовсе не пренебрегали поэзіей, но они предпочитали поэзію дѣйствія всякой другой. Ихъ сердца почти совсѣмъ перестали отзываться на голосъ поэтовъ

мирнаго созерцанія, еще недавно властвовавшихъ надъ думами своихъ современниковъ; имъ нужна была муза борьбы, «муза мести и печали», воспѣвающая

Необузданную, дикую
Къ лютой подлости вражду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду.

Они готовы были слушать съ восторгомъ напѣвы этой музы, а ихъ обвиняли въ сухости сердца, въ черствости, въ эгоизмѣ, въ плотоугодіи. Такъ пишутъ исторію!

Но вернемся къ Чернышевскому.

Если искусство не можетъ быть само себѣ цѣлью, если главное его назначеніе заключается въ содѣйствіи умственному развитію общества, то понятно, что оно должно отходить на второй планъ въ тѣхъ случаяхъ, когда является возможность распространять въ обществѣ здравыя понятія болѣе короткимъ путемъ. Просвѣтитель не враждуетъ съ искусствомъ, но онъ не имѣетъ къ нему и безусловнаго пристрастія. У него вообще нѣтъ исключительнаго пристрастія ни къ чему, кромѣ своей великой и единственной цѣли: распространенія въ обществѣ здравыхъ понятій. Это хорошо видно изъ слѣдующаго отзыва Чернышевскаго о Лессингѣ, къ которому онъ всегда относился съ самою восторженною любовью и на котораго онъ самъ походилъ во многихъ отношеніяхъ.

«Къ какимъ бы отраслямъ умственной дѣятельности ни влекли его собственные наклонности, но говорилъ и писалъ онъ только о томъ, къ чему была устремлена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все, что не могло имѣть современнаго значенія для націи, какъ бы ни было интересно для него самого, не было предметомъ ни сочиненій ни разговоровъ его... Безъ всякаго сомнѣнія, если былъ въ Германіи до Канта человѣкъ, одаренный природою для философіи, то это былъ Лессингъ... А между тѣмъ, онъ почти ни одного слова не написалъ собственно о философіи. Дѣло въ томъ, что не время еще было чистой философіи стать живымъ средоточіемъ нѣмецкой умственной жизни,—и Лессингъ молчалъ о философіи; умы современниковъ были готовы оживиться поэзіею, а не были еще готовы къ философіи,—и Лессингъ писалъ драмы и толковалъ о поэзіи... Для натуръ, подобныхъ Лессингу, существуетъ служеніе болѣе милое, нежели служеніе любимой наукѣ,—это служеніе развитію своего народа. И если какой-нибудь «Лаокоонъ» или какая-нибудь «Гамбургская Драматургія» придѣлается болѣе на пользу націи, нежели система метафизики или антологическая теорія, такой человѣкъ молчитъ о метафизикѣ, съ любовью разбирая литературные вопросы, хотя съ абсолютной научной точки зрѣнія Виргиліева «Энеида» и Вольтерова «Семирамида»—предметы мелкіе и почти пустые для ума, способнаго созерцать основные законы человѣческой жизни».

Въ началѣ своей литературной дѣятельности Чернышевскій находилъ, что передовые слои общества болѣе всего интересуются литературой; поэтому онъ взялся за изслѣдованіе эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности. Впослѣдствіи наша общественная жизнь поставила на очередь экономическіе вопросы; тогда и онъ перешелъ отъ эстетики къ политической экономіи. Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ ходъ его занятій цѣликомъ опредѣлялся ходомъ умственного развитія его читателей, вызываемымъ ходомъ развитія нашей общественной жизни.

Въ предисловіи къ своей диссертациі Чернышевскій говоритъ:

«Уваженіе къ дѣйствительной жизни, недовѣрчивость къ апіорическимъ, хотя бы и пріятнымъ для фантазіи гипотезамъ,—вотъ характеръ направленія, господствующаго нынѣ въ наукѣ. Автору кажется, что необходимо привести къ этому знаменателю и наши эстетическія убѣжденія, если еще стоитъ говорить объ эстетикѣ».

Многіе,—между ними и Писаревъ,—увидѣли въ этихъ словахъ намекомъ выраженное убѣжденіе въ томъ, что эстетическая наука подлежитъ полному разрушенію. Мы показали, насколько ошибочно было это мнѣніе. На самомъ дѣлѣ слова: «если еще стоитъ толковать объ эстетикѣ», означали лишь сомнѣніе Чернышевскаго насчетъ того, съ какими именно вопросами слѣдуетъ ему обращаться въ данную минуту къ читающей публикѣ. Такое сомнѣніе станетъ вполне понятно, если мы вспомнимъ, что диссертациа вышла въ свѣтъ въ апрѣлѣ 1855 года, т.-е. въ самомъ началѣ царствованія императора Александра, вызвавшаго большія ожиданія въ нашемъ обществѣ.

Въ своихъ отношеніяхъ къ читателямъ Чернышевскій обнаруживаетъ только то «коварство», которое всегда есть у любящаго свое дѣло учителя. Учитель старается пріохотить ученика къ дѣлу. Но онъ, разумѣется, не ограничиваетъ содержанія своей бесѣды одними этими предметами. Онъ старается внести въ нее все то, что можетъ содѣйствовать расширенію умственного кругозора ученика и что не превышаетъ уровня его развитія. Такъ всегда поступалъ и Чернышевскій, слѣдуя правилу того же Лессинга. Въ разборѣ своей собственной диссертации онъ говоритъ: «Эстетика можетъ представить нѣкоторый интересъ для мысли, потому что рѣшеніе задачъ ея зависитъ отъ рѣшенія другихъ, болѣе интересныхъ вопросовъ. Мы надѣемся, что съ этимъ согласится каждый, знакомый съ хорошими сочиненіями по этой

наукѣ». И онъ сожалѣть, что «г. Чернышевскій слишкомъ бѣгло проходить пункты, въ которыхъ эстетика соприкасается съ общею системою понятій о природѣ и жизни». По его словамъ, «это важный недостатокъ, и онъ причиною того, что внутренній смыслъ теоріи, принимаемой авторомъ, можетъ для многихъ показаться темнымъ, а мысли, развиваемыя авторомъ, принадлежащими лично автору, на что онъ не можетъ имѣть ни малѣйшаго притязанія». Не трудно сообразить, однако, откуда произошла этотъ недостатокъ: «система понятій», съ которой тѣсно связаны были эстетическіе взгляды Чернышевскаго, могла показаться тогдашнему ученому университетскому синедріону опаснымъ философскимъ новшествомъ. Поэтому диссертациі приходилось ограничиваться одними намеками на нее. Въ *Современникѣ* Чернышевскій могъ высказаться нѣсколько свободнѣе. Онъ и пользовался этимъ обстоятельствомъ для того, чтобы, подъ видомъ разбора сочиненія «г. Чернышевскаго», нѣсколько оттъннить связь своей эстетики съ общею системою своихъ философскихъ взглядовъ.

Бельтовъ (Г. Плехановъ).

Н. Г. Чернышевскій и его значеніе въ исторіи русской общественной мысли *).

I.

Если мы пожелаемъ опредѣлить философское міросозерцаніе Чернышевскаго въ сжатой формулѣ, то всего вѣрнѣе назвать его материалистическимъ утилитаризмомъ **). Онъ указываетъ, что высокія чувства человѣка имѣютъ основу—эгоизмъ,—человѣкъ дѣлаетъ то, что доставляетъ ему удовлетвореніе или пользу. Нравственность и добро Чернышевскій считаетъ ничего незначащими словами,—мѣриломъ всего является польза. Разница между нею и добромъ, по мнѣнію писателя, лишь количественная, а не качественная: большая польза есть добро. Такимъ образомъ, онъ считаетъ, что нравственность, добро и долгъ—пустыя понятія, что не можетъ быть рѣчи о томъ, этиченъ ли или нѣтъ тотъ или другой поступокъ: разъ онъ полезенъ для человѣка или для общества, то этимъ все сказано. Такимъ образомъ, всѣ высшія проявленія человѣческой души, по Чернышевскому, не

*) «Историческій Вѣстникъ» 1907 г., № 6.

**) Дѣйствительно центральнымъ пунктомъ ученія какъ Чернышевскаго, такъ и его послѣдователей, являются принципы утилитаризма. Слово это латинское и значитъ *полезный*. Ученіе утилитаристовъ было развито англійскимъ мыслителемъ Бентамомъ, который признавалъ нравственнымъ только то, что приноситъ пользу. «Здоровое нравственное ученіе—говорить Бентамъ—никогда не вѣщаетъ человѣку въ долгъ, чтобы онъ дѣлалъ то, отъ чего отстраняетъ его личный интересъ. Правильная оцѣнка всегда подскажетъ человѣку, что его интересы и обязанности совпадаютъ». «До Бентама—говоритъ Дюмонъ Женевскій—въ морали существовало необозримое разнообразіе мѣръ и вѣсовъ... Человѣческіе поступки не имѣли общепринятаго и достовѣрнаго тарифа». Что для насъ полезно и вредно, подсказываетъ намъ нашъ разумъ, и поэтому система утилитаристовъ опирается исключительно на данныя разума и приписываетъ себѣ научную объективную устойчивость.

Материалистическій принципъ также является одной изъ основъ міросозерцанія Чернышевскаго. Это ученіе онъ заимствуетъ у Фейербаха. Оно гласитъ о томъ, что только одна матерія вѣчна и, что, кромѣ матеріи, не существуетъ ничего. Одна форма матеріи переходитъ въ другую и въ этомъ заключается жизнь вселенной.

Н. Денисюкъ.

болѣе, не менѣе, какъ «разумный эгоизмъ»,—человѣкъ дѣлаетъ добро потому, что это ему полезно.

То противорѣчіе, которое было заложено въ такомъ ученіи, обнаружилось уже въ романѣ *Что дѣлать?*

«То, что называютъ возвышенными чувствами,—говоритъ Попуховъ Вѣрочкѣ,—идеальными стремленіями, все это въ общемъ ходѣ жизни совершенно ничтожно передъ стремленіемъ каждого къ своей пользѣ, и въ корнѣ само состоитъ изъ того же стремленія къ пользѣ». Между тѣмъ, этотъ апостолъ рациональнаго эгоизма, заявляющій, что онъ любитъ лишь себя, бросаетъ блестящую карьеру, отказывается отъ личнаго счастья для счастья Вѣрочки. Здѣсь скрывается основная ошибка міросозерцанія Чернышевскаго. Великолѣпно раскрыто это противорѣчіе г. Ивановымъ-Разумникомъ въ его трудѣ «Исторія русской общественной мысли». Совершенно вѣрно онъ указалъ, что Чернышевскій соціологическій принципъ блага реальной личности смѣшивалъ съ этическимъ принципомъ моральной цѣнности дѣйствія, этическую цѣнность дѣйствія измѣрялъ соціальною пользою.

Это противорѣчіе было основнымъ элементомъ въ этическомъ міросозерцаніи всѣхъ шестидесятниковъ. Безъ сомнѣнія, въ своихъ побужденіяхъ и стремленіяхъ они исходили изъ глубокихъ этическихъ принциповъ, искусственно объясняя ихъ! «разумнымъ эгоизмомъ», тѣмъ, что поступать честно—выгодно. Это противорѣчіе ясно видно въ Чернышевскомъ. Его побужденія вытекали не изъ какого-то «разумнаго эгоизма», не имѣли въ виду пользы, а изъ другихъ, высоко-этическихъ и нравственныхъ проявленій.

Вглядываясь и вдумываясь въ философскіе взгляды Чернышевскаго, можно видѣть, что они лишены той глубокой вдумчивости, той широты, которая присущи его экономическимъ построеніямъ. Его мораль и этика несложны, примитивны. Но намъ кажется, что причина этому лежитъ въ условіяхъ эпохи. Широкие вопросы философіи самой-по-себѣ не увлекали Чернышевскаго; онъ былъ, прежде всего, гражданинъ, стремящійся освободить общество отъ той рутины, которая связывала его, не давала развитія, и его философскіе взгляды создавались въ атмосферѣ этихъ стремленій. Что представляло современное общество въ своемъ духовномъ обликѣ?—Большеею частью людей, которые жили по традиціямъ, руководствовались старыми условными формами въ своихъ общественныхъ и семейныхъ отношеніяхъ; человѣческая личность была связана этой формой, задерживающей ея свободное

развитіе. Чернышевскій хорошо понималъ, что при такомъ положеніи не можетъ быть вопроса объ общественномъ прогрессѣ; предъ нимъ стояла опредѣленная задача, которая и легла въ основу его стремленій, — разрушить эти оковы, пробудить въ обществѣ личность. Этого казалось ему достаточно, чтобы общество дальше пошло самостоятельной дорогой.

Нужно было освободить личность отъ связывающихъ ее путъ. Чтобы освободиться, личности нужна внутренняя борьба, которой боятся люди, которая ихъ пугаетъ. Чернышевскій выступаетъ съ идеей утилитаризма, хочетъ показать, что это не такъ трудно, что это совпадаетъ съ пользой.

«Поднимайтесь изъ вашей трущобы, друзья мои,—обращается онъ съ призывомъ къ читателямъ въ «Что дѣлать?»,—поднимайтесь, это не такъ трудно; выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить въ немъ, и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте. Развитие, развитие! Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть достойнымъ и счастливымъ. Читайте ихъ—ихъ книги радуютъ сердце; наблюдайте жизнь—наблюдать ее интересно; думайте—думать завлекательно. Только и всего. Жертвъ не требуется, лишній не спрашивается; ихъ не нужно. Желаніе быть счастливымъ, только это желаніе нужно. Для этого вы будете съ наслажденіемъ заботиться о своемъ развитіи: въ немъ счастье».

Хорошо подтверждаютъ нашу мысль, что въ основѣ моральной проповѣди Чернышевскаго лежали общественныя стремленія—пробудить личность, отрѣшить общество отъ связывающихъ его традицій, впервые опубликованныя его беллетристическія произведенія, написанныя въ Сибири. Въ той моральной проповѣди, которую проповѣдуетъ здѣсь писатель, ясно видно, что въ ней на первомъ планѣ стоятъ общественныя цѣли.

Подчиненіе общественности даже въ области философскаго міросозерцанія естественно привело Чернышевскаго къ крайней примитивности его этики, къ тому, что его взгляды въ этой области скоро обнаружили свою несостоятельность. Но здѣсь, какъ мы это уже сказали, не надо упускать тѣхъ задачъ, которыя стояли на первомъ мѣстѣ въ то время. Если его утилитаристическая мораль по существу не выдерживаетъ критики, то его идеи сыграли большую роль и оказали глубокое вліяніе на общество, пробуждая личность. И въ этомъ громадное значеніе утилитарныхъ идей: по существу несостоятельныя, онѣ освобождали личность давали ей возможность самоопредѣлиться, развиваться свободно. Если теперь то, что тогда доказывалъ Чернышевскій,

кажется намъ анахронизмомъ, то не надо забывать историческихъ условій; не надо забывать, что тогда необходимо было доказывать то, что теперь аксіома: то, что человѣческая личность свободна, что прогрессъ въ общественной жизни возможенъ лишь тогда, когда общество будетъ состоять изъ свободныхъ личностей, а не изъ однородныхъ, обезличенныхъ трафаретовъ. Особенно важное общественное значеніе имѣла его проповѣдь въ области взаимоотношеній мужчины и женщины: нужно только вспомнить положеніе семьи въ ту эпоху, вредно отражавшееся на многихъ сторонахъ общественной жизни, на примѣръ, на воспитаніи.

Эта зависимость этико-философскихъ взглядовъ Чернышевскаго отъ общественныхъ стремленій внесла противорѣчіе не только въ нихъ самихъ, но и вообще во все его міросозерцаніе, что опредѣленно выяснено г. Ивановымъ-Разумникомъ въ уже упомянутомъ трудѣ.

Чернышевскій, какъ мы видѣли, проповѣдывалъ въ области морали и философіи—м а т е р і а л и с т и ч е с к і й у т и л и т а р и з м ъ. Но каковъ бы онъ ни былъ, какъ совершенно справедливо указано г. Ивановымъ-Разумникомъ,—с о ц і а л ь н ы м ъ, т.-е. положившимъ въ основаніе пользу большинства, или и н д и в и д у а л ь н ы м ъ, т.-е. положившимъ въ основу пользу лица, иначе говоря—э г о и з м о м ъ, онъ является а н т и и н д и в и д у а л и з м о м ъ. Такимъ образомъ, этические взгляды писателя можно назвать—э т и ч е с к и м ъ а н т и и н д и в и д у а л и з м о м ъ.

Въ области экономическихъ вопросовъ онъ, какъ это уже указано, проповѣдывалъ законченный и ярко опредѣлившійся с о ц і о л о г и ч е с к і й и н д и в и д у а л и з м ъ.

Такимъ образомъ, общее міросозерцаніе Чернышевскаго заключало въ себѣ два противоположныхъ элемента, органическое соединеніе которыхъ невозможно: э т и ч е с к і й а н т и и н д и в и д у а л и з м ъ, съ одной стороны, и с о ц і о л о г и ч е с к і й и н д и в и д у а л и з м ъ—съ другой. Это обстоятельство явилось центральною ошибкой міросозерцанія эпохи шестидесятыхъ годовъ, такъ какъ невозможно проповѣдывать самоцѣльность человѣческой личности, утверждать, что выше ея нѣтъ ничего на земномъ шарѣ, и въ то же время подчинять эту человѣческую личность и самоцѣльность человѣка принципу пользы.

II.

Наша характеристика Чернышевскаго была бы весьма неполна, если бы мы не остановились на обрисовкѣ его, какъ общественнаго дѣятеля, на выясненіи того, насколько онъ въ своей жизни воплощалъ въ конкретныя формы то, что проповѣдывалъ, какъ экономистъ. Это весьма важно для общей его характеристики.

Если мы сравнимъ шестидесятыя годы съ другими періодами общественнаго подъема, предшествующими имъ, то, кромѣ разницы въ смыслѣ широты, интенсивности, мы замѣтимъ одну очень важную характерную черту шестидесятыхъ годовъ, отличающую ихъ отъ предыдущихъ эпохъ общественнаго развитія. Эта черта—**проповѣдь активности.**

Сознаніе необходимости активной борьбы противъ насилія и произвола, противъ укоренившагося общественнаго строя возникало лишь въ отдѣльныхъ личностяхъ, но ходъ историческихъ событій подготавливалъ почву для общественнаго негодованія,—оно все возрастало, захватывало широкія массы. За все время идетъ сложная, незамѣтная организація общественныхъ силъ. Сороковые годы какъ бы завершаютъ первый періодъ общественнаго развитія—подготовительный; въ эти годы общественное стремленіе уже отливается въ вполне сложившуюся, опредѣленную форму. Шестидесятыя годы—прямые преемники сороковыхъ; они лежатъ на рубежѣ, начинаютъ собою новый періодъ, періодъ, когда послѣ долгой подготовительной работы общество выступаетъ на путь активной борьбы, на путь уже вполне сложившихся реальныхъ требованій. Старый крѣпостническій строй былъ уже расшатанъ; теперь предъ обществомъ стояла задача постройки новаго строя, на новыхъ началахъ. Шестидесятыя годы—это было время усиленной творческой работы общества. Такимъ образомъ, между сороковыми годами, какъ завершителями подготовительнаго періода общественнаго развитія, и шестидесятыми годами, какъ началомъ новаго періода, лежитъ большое внутреннее различіе.

Это различіе ярко обнаружилось съ первыми годами новой эпохи. Чернышевскій такъ характеризуетъ дѣятеля сороковыхъ годовъ въ своей статьѣ *«Русскій человекъ на rendez-vous»* по поводу *«Аси»* Тургенева:

«Пока о дѣлѣ нѣтъ рѣчи, а надобно только занять праздное время, наполнить праздную голову или праздное сердце разговорами и мечтами; герой очень боекъ; подходитъ дѣло къ тому, чтобы прямо и точно выра-

зять свои чувства и желанія, и большая часть героевъ начинается уже колебаться и чувствовать неповоротливость въ языкѣ. Немногіе, самые храбрѣйшіе, кое-какъ успѣваютъ еще собрать всѣ свои силы и косноязычно выразить что-то, дающее смутное понятіе объ ихъ мысляхъ; но вздумай кто-нибудь схватиться за ихъ желанія и сказать: «Вы хотите того-то и того-то. Мы очень рады. Начинайте же дѣйствовать, а мы васъ поддержимъ»,—при такой репликѣ одна половина храбрѣйшихъ героевъ падаетъ въ обморокъ, другіе начинаютъ очень грубо упрекать васъ за то, что вы поставили ихъ въ неловкое положеніе, начинаютъ говорить, что они не ожидали отъ васъ такихъ предложеній, что они совершенно теряютъ голову, не могутъ ничего сообразить, потому что—«какъ же можно такъ скоро».

Эта характеристика дѣятеля сороковыхъ годовъ, по существу слишкомъ рѣзкая и очерченная въ сгущенныхъ краскахъ, въ общемъ мѣтко подчеркиваетъ важную черту сороковыхъ годовъ—отсутствіе активности. Если тогда отдѣльныя личности, какъ Бѣлинскій въ послѣдній періодъ своей жизни, понимали задачи общественнаго дѣятеля въ смыслѣ неустаннаго проведенія въ жизнь принциповъ, то этого нельзя сказать обо всей тогдашней передовой интеллигенціи. Шестидесятые же годы, когда въ общественную жизнь хлынулъ разночинецъ, когда все старое ликвидировалось, характеризуются именно активностью: широкія массы интеллигенціи были захвачены общественнымъ движеніемъ; словъ однихъ, хотя и благородныхъ, пылкихъ, считалось недостаточно; каждый считалъ себя нравственно обязаннымъ вести борьбу съ общественными язвами и пережитками. Очень удачно, въ нѣсколькихъ словахъ, формулируетъ эту внутреннюю рознь между поколѣніемъ сороковыхъ годовъ и шестидесятыхъ г. Андреевичъ (Е. Соловьевъ): «Баринъ сороковыхъ годовъ сильно чувствовалъ, разночинецъ шестидесятыхъ годовъ страстно хотѣлъ ¹⁾». Эта рознь въ психологии и настроеніи двухъ поколѣній ярко вылилась въ борьбѣ между старыми сотрудниками *Современника*—Тургеневымъ, Боткинымъ, Фетомъ, и новыми—Чернышевскимъ и Добролюбовымъ, прекрасно очерченной и объясненной г. Пыпинымъ ²⁾.

Когда мы вдумываемся въ сочиненія Чернышевскаго, ясно замѣчаемъ, что онъ—сынъ своей эпохи. Во всѣхъ его произведеніяхъ проглядываетъ эта проповѣдь активности; онъ вездѣ стремится пробудить личность къ борьбѣ съ отживающими традиціями, прямо и ясно выставляетъ этотъ принципъ, какъ руководящее начало въ общественномъ стремленіи, требуетъ не только слова,

¹⁾ «Опытъ философіи русской литературы», стр. 258.

²⁾ «Некрасовъ», стр. 3—42.

но и дѣла. Хорошо вылилось это въ его словахъ, вложенныхъ имъ въ уста Рахметова: «Положительное дѣло человѣкъ найдетъ лишь въ томъ случаѣ, если сольетъ свою жизнь и свои интересы съ жизнью и интересами народа».

Чернышевскій, внѣ всякаго сомнѣнія, проповѣдывалъ активность. Весьма важно теперь установить фактъ, насколько слово не расходилось у него съ дѣломъ, былъ ли онъ активнымъ работникомъ вообще и принималъ ли участіе въ революціонной дѣятельности въ частности.

Этотъ вопросъ весьма сложенъ и запутанъ. Ему посвященъ рядъ статей. Но всѣмъ имъ нельзя придавать большого значенія, какъ основаннымъ на ничѣмъ не подтвержденныхъ слухахъ и свидѣтельствахъ. Только за совсѣмъ послѣднее время опубликовано г. Лемке слѣдственное дѣло Чернышевскаго ¹⁾, которое хотя и не даетъ точныхъ указаній на участіе его въ революціонной дѣятельности, но имѣетъ большое значеніе.

Прежде всего, оно устанавливаетъ многіе вопросы, которые были предметомъ оживленнаго спора.

До сихъ поръ у насъ держались мнѣнія, что обвиненія, предъявленные Чернышевскому, не только не были юридически обоснованы и доказаны, но и совершенно неосновательны, что онъ не принималъ никакого участія въ революціонномъ движеніи. Большинство склонялось къ тому, что писатель пострадалъ, главнымъ образомъ, за свою литературную дѣятельность, которая, понятно, не могла нравиться правительству. Такое объясненіе склоненъ предполагать, напримѣръ, г. Рейнгардтъ ²⁾. Г. Оедоровъ, бывший секретарь Чернышевскаго, утверждаетъ это въ категорической формѣ. «Дѣйствительной причиной дѣла были,—говоритъ онъ,—разумѣется, печатныя произведенія, которыя были упомянуты и въ опубликованномъ приговорѣ» ³⁾. Истинное же положеніе дѣла не было извѣстно. Опубликованное теперь слѣдственное дѣло приводитъ насъ къ такому заключенію. Надо прежде сказать, что, несмотря на то, что у насъ не осталось никакихъ твердыхъ данныхъ для сужденія объ участіи Чернышевскаго въ революціонной работѣ, но мы имѣемъ рядъ указаній на то, что дѣйствительно онъ былъ нѣсколько причастенъ къ современному ему революціонному

1) «Дѣло Н. Г. Чернышевскаго по неизданнымъ источникамъ». — «Былое» 1906, III—V, стр. 95—106; 125—187; 77—130.

2) «Н. Г. Чернышевскій по воспоминаніямъ и разсказамъ разныхъ лицъ». — «Русская старина» 1905, II.

3) «Жизнь великихъ людей. Н. Г. Чернышевскій», стр. 39.

броженію. Особенно въ этомъ отношеніи важны указанія г. Пантелѣева, который утверждаетъ слѣдующее. Во-первыхъ, что Чернышевскій былъ посвященъ Михайловымъ, по пріѣздѣ его въ Петербургъ, въ то, что онъ привезъ съ собою отпечатанныя за границей прокламаціи «Къ молодому поколѣнію» ¹⁾. Г. Пантелѣевъ также имѣетъ основаніе думать, что писатель не былъ чуждъ выпущенной въ то время прокламаціи «Великоруссъ» ²⁾. «Къ тому же,—говоритъ онъ,—манера говорить съ публикой, стиль «Великорусса» очень напоминаютъ Николая Гавриловича» ³⁾. Тотъ же г. Пантелѣевъ говоритъ, что ему сообщилъ Утинъ, что Чернышевскій сначала отказался принять доставленные ему кружкомъ Зайчневскаго экземпляры «Молодой Россіи», но потомъ пожалѣлъ объ этомъ и высказалъ намѣреніе выпустить прокламацію «Къ нашимъ лучшимъ друзьямъ», но арестъ помѣшалъ выполнить это намѣреніе ⁴⁾. Г. Лемке, замѣчая, что нѣтъ никакихъ точныхъ данныхъ для утвержденія или отрицанія принадлежности перу Чернышевскаго «Воззванія къ барскимъ крестьянамъ», въ составленіи котораго было предъявлено ему обвиненіе, все-таки склоняется къ предположенію, что она составлена писателемъ. Г. Лемке указываетъ на ея слогъ и содержаніе. «Точка зрѣнія автора,—говоритъ онъ,—совпадаетъ съ точкой зрѣнія Николая Гавриловича на крестьянскій вопросъ, особенно, если взять во вниманіе нѣкоторую перемѣну въ ней, сказавшуюся впервые въ «Письмахъ безъ адреса», написанныхъ въ февралѣ 1862 года» ⁵⁾. Кромѣ этого, мы считаемъ нужнымъ обратить вниманіе на знакомства Чернышевскаго. Онъ былъ близокъ къ В. А. Обручеву, Н. Серно-Соловьевичу, М. Михайлову и другимъ дѣятелямъ революціонной Россіи того времени. Г. Кудринъ ⁶⁾ указываетъ на близость писателя къ Лаврову, который въ то время былъ уже членомъ «Земли и Воли». Нужно также обратить еще вниманіе на то обстоятельство, что тогдашнее общество видѣло въ Чернышевскомъ если не

*) Къ обществу великоруссцевъ, какъ утверждаетъ Баллодъ, хорошо знавшій дѣла этого общества, Чернышевскій никогда не принадлежалъ.
Н. Д.

¹⁾ «Изъ воспоминаній прошлаго». Стр. 330.

²⁾ Тамъ же. Стр. 237.

³⁾ Тамъ же. Стр. 270.

⁴⁾ «Дѣло Н. Г. Чернышевскаго по неизданнымъ источникамъ».—«Былое» 1906, IV, стр. 178.

⁵⁾ «Чернышевскій и Россія 60-годовъ».—«Русское Богатство» 1905, III, стр. 167.

Критич. литер. о Н. Г. Чернышевскомъ. Вып. I.

главу революціоннаго движен'я, то величину, имѣющую большое вліяніе въ этой сферѣ. Для такого мнѣнія, державшагося тогда въ обществѣ, должны быть какія-либо основанія. Какъ твердо держалось убѣжденіе въ этомъ вліяніи, показываютъ два факта. Первый—посѣщеніе Достоевскимъ Чернышевскаго послѣ апраксинскаго пожара, съ просьбой употребить вліяніе на революціонный міръ въ смыслѣ прекращенія террора. Второй, еще болѣе краснорѣчивый фактъ сообщаетъ Шелгуновъ въ ненапечатанной части воспоминаній. Князь Суворовъ, бывший петербургскій генераль-губернаторъ, послѣ отставки вслѣдъ за каракозовскимъ покушеніемъ рассказывалъ Шелгунову: «Мнѣ доносятъ, что готовится движеніе. Я посылаю за Чернышевскимъ, говорю ему: «Пожалуйста, устройте, чтобы этого не было». Онъ даетъ слово мнѣ, и я ѣду къ государю и докладываю, что все будетъ спокойно. Вотъ какъ я поступалъ». Сообщая это, Шелгуновъ замѣчаетъ: «Пишу съ буквальной точностью, слышу эти слова, какъ бы теперь». Замѣтимъ, что этотъ фактъ не противорѣчитъ тѣмъ даннымъ, которыя мы имѣемъ о князѣ Суворовѣ, по своему развитію и сердечности рѣдкой фигурѣ въ ряду пред тавителей нашей высшей администраціи прошлаго. Г. Лемке даетъ этому факту совершенно правильное объясненіе: «Конечно,—говоритъ онъ,—это показаніе не значитъ, что князь Суворовъ при помощи Чернышевскаго подавлялъ и парализовалъ революціонныя проявленія. Чернышевскій бы не занялъ такой позиціи. Но весьма вѣроятно, что нѣкоторыя возможныя проявленія общественнаго неудовольствія, демонстраціи и были предотвращены бесѣдою съ Николаемъ Гавриловичемъ, пользовавшимся настолько вліятельнымъ положеніемъ, что его совѣтъ остановиться, снабженный достаточно вѣскою аргументаціей, принимался въ исполненіе» ¹⁾).

Такимъ образомъ, указанныя обстоятельства даютъ нѣкоторое основаніе предполагать, что Чернышевскій принималъ извѣстное участіе въ тогдашнемъ революціонномъ движеніи, установить же степень его весьма трудно, такъ какъ оно было обставлено весьма конспиративно, и у насъ не осталось никакихъ точныхъ данныхъ.

Но если Чернышевскій и принималъ нѣкоторое участіе въ современномъ ему революціонномъ движеніи, то это участіе было весьма незначительно: въ своей проповѣди онъ, внѣ всякаго сомнѣнія, былъ проповѣдникомъ активности, борьбы, возможности

¹⁾ «Дѣло Н. Г. Чернышевскаго по неизданнымъ источникамъ». — «Былое» 1906, III, стр. 100.

скорого переворота, но въ его душевной организаціи не было элементовъ, безъ которыхъ не мыслится активный борецъ, работникъ.

Въ этомъ отношеніи весьма важны свидѣтельства знавшихъ его лицъ, подтверждающихъ, что онъ, хотя и былъ по своимъ воззрѣніямъ типичнымъ демократомъ, «мыслящимъ реалистомъ», но обладалъ замѣчательно нѣжной душевной организаціей, которая диссонировала съ его проповѣдью. Особенно важно свидѣтельство г. Николаева. Въ его воспоминаніяхъ проходитъ красною нитью стремленіе подчеркнуть революціонный складъ мыслей писателя. Хотя онъ не берется, за неимѣніемъ данныхъ, судить объ участіи Чернышевскаго въ революціонномъ движеніи, «но по многимъ соображеніямъ,—говоритъ онъ,—на основаніи различныхъ разговоровъ на различныя темы, я полагаю, что Николай Гавриловичъ былъ несомнѣннымъ бланкистомъ» *). Въ подтвержденіе своихъ словъ г. Николаевъ сообщаетъ слѣдующій фактъ. Однажды Чернышевскій въ горячемъ спорѣ высказалъ мнѣніе, что лучше бы было, если бы въ эпоху освобожденія крестьянъ побѣдила крѣпостническая партія дворянства и крестьяне были бы освобождены безъ земли, съ однѣми усадьбами. На вопросъ г. Николаева—почему?—писатель, по его словамъ, отвѣтилъ: «Тогда бы немедленно произошла катастрофа». Въ этомъ г. Николаевъ видитъ бланкизмъ. «Тутъ, какъ видите,—замѣчаетъ онъ,—чистый бланкизмъ: чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Это совсѣмъ не напоминаетъ позднѣйшихъ теорій нашихъ доморощенныхъ марксистовъ. Не эволюція, не постепенное освобожденіе крестьянъ отъ средствъ производства, не вывариваніе мужика въ фабричномъ котлѣ, не постепенное его превращеніе въ батрака, а полное и сразу произведенное обезземеленіе. Не эволюція, къ которой Николай Гавриловичъ относился съ негодованіемъ, а катастрофа; не марксизмъ, а бланкизмъ» ¹⁾). Стремясь въ такой формѣ подчеркнуть крайнюю радикальность воззрѣній Чернышевскаго, г. Николаевъ, очевидно, незамѣтно для себя, вмѣстѣ съ тѣмъ подчеркиваетъ

*) Приверженцы взглядовъ Луи-Огюста Бланки называются бланкистами. Самъ Бланки былъ революціонеръ, принималъ участіе въ различныхъ возстаніяхъ и революціяхъ, почему и провелъ въ тюрьмахъ и поселеніяхъ 37 лѣтъ. Онъ былъ убѣжденъ, что только революціонныя катастрофы преобразуютъ политическій строй, и чѣмъ хуже будетъ поступать правительство, тѣмъ скорѣе оно вызоветъ революціонную вспышку и опрокинетъ, такимъ образомъ, само себя. Н. Д.

¹⁾ «Личныя воспоминанія о пребываніи Н. Г. Чернышевскаго въ каторгѣ въ Александровскомъ заводѣ 1867—1872 гг.». Стр. 20.

замѣчательную нѣжность душевнаго склада писателя и тѣмъ самымъ указываетъ на противорѣчіе его нравственной фигуры съ его революціоннымъ складомъ мыслей. Но если по своимъ душевнымъ качествамъ Чернышевскій не былъ тѣмъ идеаломъ борца, который онъ выставлялъ, то, безъ сомнѣнія, онъ всю жизнь свою былъ вѣренъ своимъ убѣжденіямъ, взглядамъ. Г. Скориковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о пребываніи Чернышевскаго въ Астрахани ¹⁾ говоритъ о томъ, что онъ въ то время являлся далеко не тѣмъ, чѣмъ былъ въ молодости, что онъ, если такъ можно выразиться, «смирился». Такое свидѣтельство не соотвѣтствуетъ истинѣ: оно противорѣчитъ всѣмъ имѣющимся у насъ даннымъ. Если, дѣйствительно, въ послѣдніе годы жизни въ Чернышевскомъ какъ-будто бы замѣчалась нѣкоторая перемѣна, то тутъ дѣло не въ перемѣнѣ имъ взглядовъ. Г. Короленко въ своихъ воспоминаніяхъ даетъ удачное объясненіе этому. Онъ указываетъ, что хотя Чернышевскій и остался тѣмъ, чѣмъ былъ, но все-таки ссылка оказала на него извѣстное вліяніе. «Ссылка,—говоритъ г. Короленко,—взяла у него все, что могла. Отнявъ непосредственное общеніе съ живыми фактами интеллектуальной жизни, она лишила сильный умъ его естественной пищи, необходимой для того, чтобы идти на ряду съ этою жизнью. Могучимъ усиліемъ онъ удержался и именно на той ступени, на какой его застигла ссылка» ²⁾.

И если перемѣна какая-то замѣчалась, то г. Короленко весьма удачно объясняетъ ее тѣмъ, что Чернышевскій вернулся къ намъ послѣ ссылки въ восьмидесятые годы съ идеалами и вѣрой начала шестидесятыхъ годовъ. «Бѣда,—замѣчаетъ г. Короленко,—состояла не въ томъ, что онъ «измѣнился»... Нѣтъ, дѣло наоборотъ, въ томъ, что онъ остался прежнимъ, съ прежними пріемами мысли, съ прежнею вѣрой въ одинъ только всеустроительный разумъ, съ прежнимъ «пренебреженіемъ къ авторитетамъ», тогда какъ мы пережили за это время цѣлое столѣтіе опыта, разочарованій, разбитыхъ утопій и пришли къ излишнему невѣрію въ тотъ самый разумъ, передъ которымъ преклонялись вначалѣ» ³⁾.

Чернышевскій, вернувшись изъ ссылки, встрѣтивъ представителей молодого поколѣнія, почувствовалъ, что онъ, когда-то руководитель общества, теперь уже остался позади, что оно уже ушло далеко впередъ. И онъ пережилъ ту душевную драму, кото-

¹⁾ «Чернышевскій въ Астрахани».—«Историч. Вѣстн.» 1905, V.

²⁾ «Воспоминанія о Чернышевскомъ».—«Русское Богатство» 1904, XI.

³⁾ Тамъ же.

рую когда-то пережилъ Герценъ. Когда г. Короленко спросилъ Чернышевскаго послѣ возвращенія изъ ссылки, отчего онъ не отдается снова публицистикѣ, онъ съ затаенной грустью отвѣтилъ: «Какъ вы хотите, чтобы я занялся публицистикой! Вотъ у насъ теперь на очереди вопросъ о нападаніи на земство, на новые суды. Что я напишу о нихъ, когда во всю мою жизнь я не былъ ни разу въ засѣданіи гласнаго суда, ни разу въ земскомъ собраніи».

Мы уже отмѣтили дисгармонію между проповѣдью Чернышевскаго активности и его нравственнымъ обликомъ. Типичный разночинецъ, «мыслящій реалистъ», рѣшительный, стойкій борецъ, метавшій громъ и молніи, общественный вождь, заставлявшій трепетать предъ собою своихъ противниковъ, вплоть до правительства, Чернышевскій, какъ челоуѣкъ, былъ мягкой, женственно-нѣжной натурой. Но если въ данномъ случаѣ его духовный обликъ былъ въ какомъ-то противорѣчій съ его проповѣдью, то это не приводило къ расхожденію слова и дѣла. Какъ теперь выясняется изъ изученія его дѣятельности, никогда и ни въ какіе компромиссы съ совѣстью онъ не входилъ, а всегда былъ вѣренъ и слѣдовалъ тѣмъ идеямъ, которыя проповѣдывалъ; душевный складъ не вліялъ на его поступки: онъ велъ гигантскую работу самовоспитанія, это была борьба со своей природой, съ природными сторонами своего характера. Эта внутренняя работа была гдѣ-то въ глубокихъ тайникахъ души; она была скрыта отъ лицъ, окружавшихъ его, и только теперь всплываетъ наружу. Нужна была громадная сила воли для этой работы, и этой силы хватило въ Чернышевскомъ.

Подобная дисгармонія, какъ мы уже указали, была и между душевнымъ обликомъ писателя и его этической проповѣдью. И здѣсь въ немъ было заложено какое-то внутреннее противорѣчіе; вся утилитаристическая мораль была въ разладѣ съ душевнымъ складомъ его, челоуѣка высоконравственнаго, кристально-благороднаго, безъ сомнѣнія, руководствовавшагося въ своихъ побужденіяхъ не тѣми принципами «разумнаго эгоизма», которые онъ выставялъ, какъ руководящее начало всѣхъ благородныхъ порывовъ, а другими, непосредственно вытекающими изъ глубоко-этическихъ основаній, изъ высокой нравственности его личности.

«Въ этомъ расхожденіи теоріи и практики,—говоритъ г. Ивановъ-Разумникъ,—заключалась вся трагедія мыслящаго реализма, заключавашаго свое міровоззрѣніе въ формулахъ, которыя были уже его самого. Любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ; жертва есть сапоги всмятку; нравственно все то, что естественно».

человѣкъ есть рабъ обстоятельствъ; наука должна служить исключительно практическимъ цѣлямъ; законы исторіи непреодолимы, — вотъ рядъ такихъ узкихъ формулъ, въ которыя реалисты тщательно старались заключить свое міровоззрѣніе. Оно было шире этихъ формулъ, и такая двойственность приводила реалистовъ къ борьбѣ, къ страданіямъ, къ нравственной ломкѣ. Они много перестрадали и этимъ искупили свою односторонность» ¹⁾).

III.

Мы не будемъ останавливаться подробно на общихъ итогахъ нашей работы: значеніе Чернышевскаго въ исторіи развитія русской общественной мысли достаточно ясно вырисовывается изъ нашего очерка. Сдѣлаемъ лишь самые общіе выводы.

Всю исторію русской общественной мысли, какъ мы уже упомянули, можно раздѣлить на рѣзко разграниченные два большихъ періода, — до шестидесятыхъ годовъ и послѣ. Въ первый періодъ идетъ постепенное развитіе общественнаго сознанія, которое стремится вылиться въ опредѣленную форму, идетъ гигантская, кропотливая, незамѣтная работа сплоченія общественныхъ силъ. Въ сороковые годы русская интеллигенція уже самоопредѣлилась, ясно и опредѣленно выдвинула лозунги, намѣтила путь стремленія. Но реакція пятидесятыхъ годовъ, которая сразу слѣдовала за эпохой общественнаго подъема въ сороковые годы, снова задержала развитіе общественныхъ идей, оказала довольно громадное вліяніе на задержку развитія общества. Но теперь реакціонный періодъ не могъ долго продолжаться: можно было на время заглушить общественную мысль, но не навсегда; эпоха подавленія, основанная на принципѣ порабоженія общественнаго сознанія, не могла простоять долго, она должна была рухнуть, и она рухнула во время Крымской войны, обнаружившей всю ненормальность правительственной политики. Въ шестидесятые годы на общественную арену выступило молодое поколѣніе, воспитанное на идеяхъ Бѣлинскаго, незамѣтно зрѣвшее въ нѣдрахъ общества. Начинается небывалый подъемъ общественныхъ силъ, наступаетъ полное крушеніе старыхъ традицій, рушится тотъ крѣпостническій устой, надъ разрушеніемъ котораго прошла вся предыдущая работа общественной мысли. Переоцѣнивъ бывшія цѣнности, ликвидировавъ старый строй, подведя ему рѣшитель-

¹⁾ «Исторія русской общественной мысли», т. II, стр. 91.

ные итоги, шестидесятые годы начали новую эпоху въ исторіи нашего общества.

Развитіе общества, безъ сомнѣнія, представляетъ нѣчто органически-цѣлое, подчиняющееся тѣмъ законамъ эволюціи, которымъ подчиняется все въ жизни. Признавая законмѣрность общественнаго развитія, мы должны, конечно, признать, что шестидесятые годы были подготовлены и созданы всѣмъ ходомъ нашей исторіи, что мы ихъ должны были неминуемо пережить, перешагнуть, чтобы итти далѣе, что характеръ ихъ опредѣлила самая жизнь. Но нельзя, во всякомъ случаѣ, отрицать всякую роль личности въ общественномъ развитіи. Наиболѣе оригинальная, наиболѣе чуткая личность скорѣе проникается тѣми новыми идеями и идеалами, которые выдвигаетъ жизнь, и вліяніе ея на общество заключается въ томъ, что она способствуетъ проникновенію этими передовыми идеями широкихъ массъ общественныхъ слоевъ. Такую роль для своей эпохи и сыгралъ Чернышевскій. Каждый разъ, рассматривая дѣятельность его, какъ критика, какъ моралиста, какъ экономиста, какъ общественнаго дѣятеля, мы стремились указать, что сдѣлалъ Чернышевскій въ каждой области. И мы видѣли, что онъ сыгралъ очень видную роль въ свою эпоху, внеся новыя начала въ общественное сознаніе, много способствуя пробужденію личности въ широкихъ массахъ, окончательно утверждая въ сознаніи общества тѣ идеи, которыя назрѣвали во весь предыдущій періодъ и легли затѣмъ прочно въ основаніе стремлений и идеаловъ передовой интеллигенціи въ слѣдующую фазу ея развитія. Если сороковые годы теперь принято называть «эпохой Бѣлинскаго», то съ тѣмъ же правомъ шестидесятые годы можно назвать—«эпохой Чернышевскаго».

Но невозможно какую-либо одну эпоху, въ данномъ случаѣ шестидесятые годы, рассматривать отдѣльно, не въ связи съ общимъ развитіемъ: возникновеніе общественныхъ идей, нарастаніе общественнаго сознанія идетъ въ непрерывной связи; развитіе общества, какъ мы уже сказали, законмѣрно подчиняется общимъ законамъ эволюціи. А если, какъ мы видѣли, Чернышевскій въ шестидесятые годы, которые являются одною изъ стадій этого развитія, тѣсно связанною съ другими моментами, оказалъ такое громадное вліяніе на общество, то тѣмъ самымъ, безъ сомнѣнія, онъ сыгралъ и громадную роль во всемъ развитіи русской общественной мысли.

А. Фоминъ.

О значеніи искусства въ цивилизаціи *).

I.

Формальное гоненіе на искусство и поэзію, безусловное отрицаніе ихъ значенія, какъ чего-либо самостоятельнаго, и ихъ пользы, даже обвиненіе ихъ во вредномъ вліянніи, начались въ нашей литературѣ сравнительно очень недавно. Было время, и многіе еще конечно помнятъ его, когда поэзія считалась какою-то привилегированною областью, свободнымъ, незнающимъ законовъ «языкомъ боговъ», когда даже требованіе отъ поэзіи и искусства вообще серіозной мысли, серіозной задачи и содержанія было у насъ довольно новымъ и смѣлымъ нововведеніемъ. Поэты и артисты считались какимъ-то особымъ, исключительнымъ племенемъ, повинующимся лишь требованіямъ своего прихотливаго вдохновенія, а дѣятельность ихъ не подлежащую другой критикѣ, кромѣ такъ-называемой художественной, т.-е. критикѣ формы. Бѣлинскій еще засталъ это воззрѣніе чуть не господствующимъ и боролся съ нимъ, но боролся, не касаясь самыхъ основъ поэзіи, не подвергая нисколько сомнѣнію ни самостоятельности художественнаго творчества, ни глубокаго значенія его въ человѣческой жизни. Онъ указывалъ лишь на высшее значеніе поэзіи, осуществленное въ лучшихъ произведеніяхъ человѣческаго творчества, требовалъ отъ нея не простой потѣхи, но серіознаго содержанія. Самую поэзію и искусство онъ цѣнилъ высоко, дѣятельность ихъ онъ равнялъ съ мышленіемъ. Со смертью его, въ теченіе немногихъ лѣтъ, критика наша какъ-будто бы продолжала развивать далѣе его идеи, но, Боже мой, до чего уже дошли мы въ послѣднее время! «Шекспиръ и сапоги», «искусство и развратъ»,—вотъ до какихъ сближеній, до какихъ фразъ мы дожили. А между тѣмъ, повторяемъ, была какъ-будто

*) Е. Эдельсонъ. «О значеніи искусства въ цивилизаціи». Спб., 1867 г.

соблюдена постепенность въ развитіи мысли. Припомнимъ, въ самомъ дѣлѣ, какъ происходило дѣло. Послѣ того какъ отъ произведеній искусства было потребовано серіозное содержаніе вообще, весьма естественно возникло и другое требованіе, именно, содержанія современнаго, тѣмъ болѣе, что въ литературѣ нашей появлялись многія произведенія, правильно удовлетворявшія этимъ требованіямъ. Заявлено было далѣе желаніе, чтобы интересы общественные и другіе вопросы этого рода, возбуждаемые теченіемъ жизни, находили себѣ мѣсто и въ поэзіи или такъ-называемой беллетристикѣ. Желаніе чрезвычайно законное, — мало того, желаніе осуществляемое каждымъ сколько-нибудь даровитымъ беллетристомъ, ибо какъ возможно себѣ представить, чтобы человѣкъ, живой и чуткій, какимъ конечно долженъ быть каждый даровитый художникъ, могъ не выразить въ своемъ произведеніи тѣхъ интересовъ и вопросовъ, которые волнуютъ въ данное время все мыслящее общество! Исканіе полезности отъ поэзіи, въ смыслѣ серіозности, въ смыслѣ не пустого, празднаго дѣла, слышалось уже, конечно, и въ этихъ требованіяхъ, но, повторяемъ опять, это исканіе, это требованіе было вполне справедливымъ, ибо за что же бы занятія искусствомъ и поэзіею были исключены изъ того требованія пользы, дѣльности, какое наше время прилагаетъ ко всякой свободной человѣческой дѣятельности. Нужно было только съ умѣньемъ и толкомъ предложить поэзіи это требованіе и, можетъ-быть, отвѣтъ удовлетворительный скоро бы нашелся, а вмѣстѣ съ тѣмъ нашелся бы и вѣрный критеріумъ для отличенія поэзіи истинной отъ фальшивой и праздной, а, слѣдовательно, разъяснился бы отчасти и весь вопросъ объ искусствѣ. Но, какъ извѣстно, затѣмъ послѣдовало въ литературѣ бѣснованіе, въ которомъ торжественно владели по стогнамъ обезображенную куклу знаменитаго «искусства для искусства». При этомъ, требованіе отъ поэзіи серіознаго и современнаго содержанія обратилось въ рукахъ литературной черни въ требованіе положительныхъ тенденцій и, притомъ, тенденцій извѣстнаго оттѣнка. Требованіе пользы, т.-е. дѣльности, извѣстнаго значенія въ развитіи человѣчества, превратилось чуть не въ требованіе матеріальной пользы, утилитарности, въ самомъ трубомъ житейскомъ смыслѣ. Хаосъ понятій начался полный. Ему не мало способствовало появленіе извѣстнаго сочиненія *Объ эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣятельности*, въ которомъ, подъ наружнымъ видомъ серіознаго и обстоятельнаго разбора господствовавшей дотолѣ эстетиче-

ской теоріи, скрывалось явное и полное пренебреженіе ко всякой художественной дѣятельности, единственною цѣлью которой оказалось, въ концѣ разсужденій автора,—вялое и слабое подражаніе или, какъ онъ выражается, воспроизведеніе дѣйствительности. Послѣ этого заниматься далѣе вопросами объ искусствѣ было, конечно, нечего; оставалось только глумиться надъ тѣми, кто пытался придать ему сколько-нибудь серіозное, общественное, образовательное значеніе. Такъ и продолжаютъ дѣлать до сихъ поръ многіе, для кого упомянутое сейчасъ сочиненіе есть предѣлъ, далѣе котораго не можетъ серіозно итти вопросъ объ искусствѣ.

Но какъ ни много это странное сочиненіе запутало всѣ эстетическія понятія, какъ ни старалось оно подкопаться подъ самую сущность искусства, какъ самостоятельной дѣятельности, и оставить за нимъ лишь служебную роль, оно не рѣшилось еще, однако, разорвать совершенно связи со всѣми эстетическими преданіями. Оно еще какъ-будто бы серіозно старается о правильномъ опредѣленіи красоты, какъ принципа искусства, хотя и находитъ ее—*въ жизни*. Оно еще обмолвливается такими выраженіями, что «не восхищаться Горациемъ, Виргиліемъ, Овидіемъ можетъ только тотъ, у кого недостаетъ эстетическаго чувства». Для автора еще существуютъ первоклассныя, второклассныя и т. д. художественныя произведенія. Онъ еще съ уваженіемъ говоритъ о Рафаэлѣ, Шекспирѣ и т. п. Однимъ словомъ, онъ ещене отрицаетъ искусства и поэзіи вообще, не признаетъ ихъ еще совершенно бесполезными или даже вредными, но лишь указываетъ имъ почти исключительно ремесленное, служебное значеніе. Требованіе отъ искусства пользы, въ самомъ грубомъ, почти матеріальномъ значеніи, ясно проходитъ уже и здѣсь чрезъ все сочиненіе, но этому требованію искусства, однако, оказываются способными удовлетворить лишь подъ условіемъ не гоняться за недостижимымъ, но скромно воспроизводить и напоминать намъ дѣйствительность, или, по выраженію автора, представлять за недостаткомъ вещи (дѣйствительной)—«ея суррогатъ». Въ немъ уже встрѣчаются намеки на расслабляющее, нездоровое дѣйствіе искусства, стремящагося къ идеально-совершенному, выдуманному прихотью и вовсе будто бы ненужному для *здороваго* чловѣка; котораго *желанія* весьма умѣренны и довольствуются удовлетвореніемъ необходимыхъ потребностей, обыкновенною, здоровою дѣйствительностью; но эти намеки еще не сформулированы въ положительное ученіе о безнравственности искусства, о

его деморализующемъ вліяніи. Сдѣлать изъ всего этого крайніе выводы, довести положенія и намеки автора *Эстетическихъ отношеній* до полного абсурда, предоставили себѣ другіе дѣятели нашей литературы. Едва ли нужно называть тотъ, покойный уже теперь, журналъ, который отличался своею особою ревностю къ войнѣ съ эстетикой и искусствами и который не останавливался рѣшительно ни передъ чѣмъ въ своей слѣпой враждѣ къ изящнымъ искусствамъ*). Нѣкоторыя положенія и фразы его бойцовъ надолго останутся въ русской литературѣ геркулесовыми столпами нелѣпости и, вмѣстѣ, памятниками того жалкаго положенія нашей журналистики, при которомъ молодая, незрѣлая, но горячія и искреннія силы пущены были въ ходъ, безъ всякаго удержу со стороны болѣе зрѣлой редакціи, безъ всякой заботы о тѣхъ раскаяніяхъ, которыя ждутъ ихъ въ будущемъ за ихъ необдуманная, незрѣлая рѣчи,—и все это въ угоду и для привлеченія толпы такихъ же юныхъ и незрѣлыхъ умовъ, которыхъ, конечно, влекло къ себѣ живое, искреннее, горячее, хотя и неразумное слово ихъ сверстниковъ. Кто изъ слѣдующихъ за нашею журналистикой не помнитъ знаменитыхъ фразъ, въ родѣ двухъ, вышеприведенныхъ нами.

Сочиненіе *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности*, хотя и возникшее, очевидно, изъ глубокаго презрѣнія къ искусству, имѣетъ, однако, то достоинство, что оно ясно и послѣдовательно развиваетъ извѣстное ученіе, которое, такимъ образомъ, получило окончательное выраженіе, сформулировалось такъ ясно и положительно, что съ нимъ можно считаться. Оно стоитъ все-таки на серіозной почвѣ; авторъ его какъ-будто хочетъ разсудительно и хладнокровно анализировать вопросъ объ искусствѣ, не замѣчая, что этотъ вопросъ уже предварительно рѣшенъ имъ не въ пользу искусства. Появленіе его имѣетъ свое историческое оправданіе. Извѣстно, что оно есть прямой плодъ, послѣдній выводъ того направленія литературы, которое долго господствовало у насъ подъ именемъ натуральной школы и котораго крайніе представители, уже прежде появленія самаго ученія, осуществляли на практикѣ его принципы. Послѣ довольно долгаго господства писателей, поставившихъ своею главною, единственною задачею *воспроизведеніе* грязи и пошлости жизни,

*) Рѣчь идетъ, конечно, о статьяхъ Писарева въ «Русскомъ Словѣ», въ которомъ онъ писалъ до момента его закрытія, послѣдовавшаго въ 1866 г. по особому высочайшему повелѣнію.

воспроизведение грубое, почти дагерротипное, не освѣщаемое ничѣмъ, кромѣ извѣстной желчности, послѣ того какъ критика такъ долго защищала этотъ родъ, какъ единственно полезный и плодотворный, можно ли было сохранить уваженіе къ искусству вообще и не притти къ выводу, что назначеніе искусства есть простое воспроизведеніе жизни. Авторъ очень добросовѣстно и послѣдовательно, повторяемъ, выразилъ въ своемъ сочиненіи лишь тѣ начала, которыя выработаны были цѣлою школою нашихъ писателей. Въ этомъ его главное оправданіе.

Оргія, послѣдовавшая за всѣмъ этимъ въ нашей литературѣ по вопросу объ искусствѣ, еще у всѣхъ въ свѣжей памяти. Какъ обыкновенно водится у насъ, около этого вопроса сгруппировались всѣ остальные. Всѣ вражды и симпатіи борющихся 'партей' устремились на этотъ пунктъ и нашли себѣ полное и безцеремонное выраженіе въ спорѣ объ искусствѣ и эстетикѣ. Самый вопросъ, конечно, запутался окончательно. Господствовала лишь одна брань.

II.

Такое положеніе дѣлъ должно было, наконецъ, вызвать реакцію въ болѣе благоразумной части даже той самой среды, откуда велась война противъ эстетиковъ. Уже покойный Добролюбовъ почувствовалъ, что приверженцы его заходятъ слишкомъ далеко по указанному имъ самимъ пути и могутъ скомпрометировать, наконецъ, и все направленіе критики, которое онъ считалъ единственно полезнымъ и дѣльнымъ. Еще при жизни его масса слѣпыхъ его послѣдователей, понявъ изъ словъ учителя, что нужно что-то повалить и уничтожить, не разобрала хорошенько дѣла и принялась подкапывать и трясти самыя основы искусства и поэзіи. Это, конечно, не могло входить въ планы его, такъ какъ онъ считалъ нужной коренную реформу лишь относительно приемовъ критики. И вотъ, какъ бы для удовлетворенія все болѣе и болѣе раздававшимся требованіямъ пользы отъ искусствъ, онъ рѣшается сказать нѣсколько словъ о полезномъ социальномъ значеніи поэзіи. Въ другомъ мѣстѣ¹⁾ мы разбирали съ нѣкоторою подробностью доводы, приведенные имъ въ защиту полезнаго значенія поэзіи, и потому не будемъ повторять

¹⁾ «Библіотека для Чтенія» 1860 г.—«О поэзіи».

здѣсь всего этого разбора. Замѣтимъ только, что доводы эти, очевидно, приспособлены къ умственнымъ силамъ тѣхъ особенно горячихъ и безтолковыхъ гонителей поэзіи, которыхъ нужно было унять хоть на время, и потому-то они отличаются особою легкостью и поверхностностью. Сущность ихъ заключалась въ томъ, что «образы, созданные художникомъ, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, факты дѣйствительной жизни, весьма много помогаютъ составленію и распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ».

Въ упомянутой статьѣ нашей, излагая ученіе Добролюбова, мы поставили слѣдующіе вопросы, которые, по нашему мнѣнію, не разрѣшались вполне удовлетворительно его объясненіемъ роли «художнической дѣятельности въ ряду другихъ отправленій общественной жизни».

«Какое побужденіе, спрашивали мы, можетъ имѣть человѣкъ къ художнической дѣятельности, когда онъ результаты или выводы (т.-е. именно то, что только и нужно для правильныхъ понятій о вещахъ) могъ бы излагать и въ ихъ положительномъ видѣ, т.-е. въ формѣ ясныхъ мыслей, сентенцій? Остаются ли поэты поэтами только по тупоумію, по неспособности самимъ обсудить собранные ими матеріалы и прямо способствовать распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ? Но факты противорѣчатъ этому предположенію; *поэты*, по большей части, въ то же время и весьма умные люди, способные излагать ясно свои мысли. Примѣромъ можетъ служить хоть Гете, котораго заслуги даже и въ наукѣ не лишены значенія. Или они чувствуютъ неотразимое влеченіе къ проявленію своей духовной дѣятельности именно въ такой, а не въ другой формѣ? Въ такомъ случаѣ, откуда же происходитъ подобное предпочтеніе къ низшей, болѣе темной формѣ дѣятельности? Необходима ли, наконецъ, поэзія для жизни и развитія обществъ, какъ наука, какъ политическія формы, или только она облегчаетъ дѣло цивилизаціи, подобно тому, какъ картинки, напр., способствуютъ скорѣйшему изученію азбуки?»..

На всѣ эти вопросы со стороны Добролюбова отвѣта не послѣдовало, потому ли, что отвѣчать было не совсѣмъ легко, или потому, что указанной уже имъ пользы отъ искусства онъ считалъ достаточной для удовлетворенія запроса по этому дѣлу въ тогдашней публикѣ. Не нужно забывать при этомъ, что главнѣйшая, самая ожесточенная брань противъ искусства въ то время еще не существовала, и потому очень можетъ быть, что Добролюбовъ не считалъ еще въ то время нужнымъ дѣломъ отстаивать искусство и поэзію обстоятельно и подробно. Наконецъ, и не въ духъ его общихъ тенденцій было придавать вопросу объ искусствѣ слишкомъ большое значеніе.

Но послѣ того, какъ бойцы *Русскаго Слова* успѣли выложить весь арсеналъ брани противъ искусства и эстетиковъ и договориться до послѣдней степени юродства, оказалось нужнымъ вновь умѣрить слишкомъ большую рьяность неповкихъ приверженцевъ новой эстетической теоріи. Это дѣло взялъ на себя г. Антоновичъ, въ своей статьѣ *Объ эстетической теоріи (Современникъ, 1865, мартъ)*, написанной по поводу новаго изданія *Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности*. Статья г. Антоновича была, безъ сомнѣнія, полезнымъ дѣломъ. Самый авторитетъ *Современника*, изъ котораго, какъ извѣстно, прежде и шли главные нападки на искусство, и который теперь вынужденъ былъ принять его подъ свою защиту отъ неловкихъ гонителей, былъ не безъ значенія въ этомъ дѣлѣ. Хотя, конечно, главные бойцы противъ искусства и не унялись послѣ этого, а напротивъ, осыпали г. Антоновича всѣмъ тѣмъ запасомъ брани, который употреблялся, обыкновенно, противъ ославленных эстетиковъ, но, по крайней мѣрѣ, благоразумнѣйшая часть публики все-таки должна была призадуматься надъ этимъ явнымъ раздоромъ въ самомъ лагерѣ анти-эстетиковъ.

Статья г. Антоновича, впрочемъ, не приводитъ какихъ-либо новыхъ доводовъ въ защиту искусства. Но уже одно совокупленіе вмѣстѣ нѣкоторыхъ изъ этихъ доводовъ было не бесполезно для многихъ. Вотъ главнѣйшія положенія г. Антоновича о пользѣ искусства:

1. Искусство полезно уже потому, что удовлетворяетъ естественной эстетической потребности человѣка.
2. Оно смягчаетъ нравы.
3. Можетъ содѣйствовать живѣйшему пониманію окружающихъ человѣка явленій.
4. Кромѣ воспроизведенія явленій жизни, оно можетъ возвышаться до роли критика и судьи воспроизводимыхъ явленій, при чемъ:
5. Нравственный и одушевленный желаніемъ добра художникъ можетъ передавать и другимъ свои чувства и воззрѣнія и, такимъ образомъ, оказывать хорошее нравственное вліяніе на другихъ.
6. Искусство можетъ быть весьма полезно въ популяризаціи новыхъ идей и направленій.

Такова, если мы не ошибаемся, сущность доводовъ, приводимыхъ г. Антоновичемъ въ доказательство пользы искусства или, по крайней мѣрѣ, въ возможности его пользы, при условіи

надлежащаго направленія его дѣятельности. Съ этою послѣднею оговоркой едва ли самые рьяные противники искусства могутъ отвергать возможность его пользы, и если у нихъ останутся еще нѣкоторыя разногласія съ здоровыми эстетиками, то развѣ только относительно того направленія, какое должно признать нормальнымъ и законнымъ для художественной дѣятельности нашего времени. Но къ этому вопросу мы еще вернемся впослѣдствіи. Остановимся пока на статьѣ г. Антоновича.

Неловкая сторона ея заключается въ томъ, что авторъ, очень хорошо чувствуя необходимость стать на сторонѣ поэзіи и искусствъ противъ безусловныхъ ихъ порицателей, не осмѣлился, однако, выступить прямо противъ положеній автора *Эстетическихъ отношеній*, въ которыхъ и лежитъ ключъ ко всѣмъ недоразумѣніямъ объ искусствѣ, наводнившимъ въ послѣднее время нашу литературу бесплодною и скучною, хотя и задорною полемикой. Не рѣшившись бороться прямо съ авторитетомъ сочинителя *Эстетическихъ отношеній*, онъ предпринялъ трудъ невыполнимый, именно,—доказать самостоятельность и пользу поэзіи и въ то же время остаться вѣрнымъ учителю, котораго сочиненіе прямо направлено противъ самостоятельнаго искусства, и, если оставляетъ ему нѣкоторую роль, то лишь вполнѣ служебную. Отсюда отчасти двусмысленный характеръ статьи г. Антоновича, который вызвалъ на него брань противниковъ поэзіи вообще, но въ то же время не могъ вполнѣ удовлетворить и серьезныхъ защитниковъ искусства, какъ самостоятельной, вѣчной, необходимой и потому полезной дѣятельности человѣческаго ума.

Добровольное подчиненіе г. Антоновича каждой, даже явно ложной, мысли учителя доходить иногда до забавнаго. На страницѣ 87—88 авторъ *Эстетическихъ отношеній* разсуждаетъ, на примѣръ, слѣдующимъ образомъ:

«*Математически строго можно доказать, что произведеніе искусства не можетъ сравниться съ живымъ человѣческимъ лицомъ по красотѣ очертаній: извѣстно, что въ искусствѣ исполненіе всегда неизмѣримо ниже того идеала, который существуетъ въ воображеніи художника. А самый этотъ идеалъ никакъ не можетъ быть по красотѣ выше тѣхъ живыхъ людей, которыхъ имѣлъ случай видѣть художникъ. Силы творческой фантазіи очень ограничены: она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученныя изъ опыта; воображеніе только разнообразить и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интензивнѣе того, что мы наблюдали или испытывали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себѣ солнце гораздо больше по величинѣ, нежели каково оно въ дѣйствительности, но ярче того, какъ оно явилось мнѣ въ дѣйствительности, я не могу его вообразить. Точно такъ же я могу представить себѣ человѣка выше ростомъ, толще и т. д., нежели тѣ*

люди, которыхъ я видѣлъ, но лица, прекраснѣе тѣхъ лицъ, которыя случилось мнѣ видѣть въ дѣйствительности, я не могу себѣ вообразить»...

Весь этотъ рядъ разсужденій, очевидно, разваливается при первомъ прикосновеніи. Во-первыхъ, *почти математически* можно доказать, что, относительно *правильности* очертаній (необходимаго условія сколько-нибудь совершенной красоты), ни одно живое лицо не можетъ сравняться съ тѣмъ, болѣе или менѣе яснымъ представленіемъ о нормальномъ лицѣ, которое носить въ себѣ каждый и по которому онъ судить о красотѣ очертаній лица извѣстнаго племени и затѣмъ вообще о типѣ человѣческой красоты ¹⁾. Во-вторыхъ, если и допустить, что мы не можемъ себѣ представить ничего интенсивнѣе видѣннаго въ дѣйствительности, то какимъ же образомъ это можетъ быть приложено къ представленію *очертаній лица*, гдѣ все дѣло вовсе не въ интенсивности, а въ извѣстной *комбинаціи*, что, по признанію самого автора, доступно воображенію. Ясно, что и всѣ выводы, основанные на столь ложныхъ положеніяхъ, не могутъ быть приняты. Но г. Антоновичу какъ-будто нѣтъ и дѣла до этого. Цитируя это мѣсто изъ *Эстетическихъ отношеній*, онъ прямо продолжаетъ, какъ бы подкрѣпивъ себя несомнѣннымъ текстомъ: «Такимъ образомъ...» и т. д.

III.

Самое больное мѣсто, самое фальшивое, смутное положеніе въ теоріи автора *Эстетическихъ отношеній*, а затѣмъ и въ добровольно подчинившейся положеніямъ этой книги статьѣ г. Антоновича, есть несчастное сопоставленіе дѣйствительности и искусства, какъ подражанія ей, и всѣ проистекающія отсюда разсужденія о томъ, что лучше или прекраснѣе. Въ сущности это двѣ несоизмѣримыя вещи, какъ мы это яснѣе увидимъ впослѣдствіи. Дѣйствительность сама-по-себѣ, въ своей непосредственности, безъ участія въ ней духовной дѣятельности человѣка, есть простая масса явленій и вещей, существующихъ исключительно для нашихъ чувствъ, имѣющихъ для насъ лишь практическое значеніе; напротивъ, произведенія искусства суть свободные продукты дѣятельности нашего духа для особыхъ цѣлей духа же. Какъ только мы вступаемъ съ дѣйствительностью въ другія, лишенныя практическаго интереса отношенія, мы уже имѣемъ дѣло съ дѣйствительностью, переработанною нашимъ сознаниемъ.

¹⁾ См. Kant. «Kritik der Urtheils Kraft». Leipzig. 1838. Стр. 84 и пр.

Она или представляется намъ одушевленною, проникнутою апотетическими силами, управляемою законами, или научная точка зрѣнія идеализируется нами, возводится въ типическія формы—творчество. Извѣстное сравненіе яблока дѣйствительнаго и яблока нарисованнаго, поэтому, совершенно неумѣстно. Просто нарисованное яблоко не принадлежитъ нисколько къ области искусства или, по крайней мѣрѣ, творчества. Это не болѣе какъ подражаніе, копированіе дѣйствительности, что не признается за истинное искусство даже и авторомъ *Эстетическихъ отношеній*. Мастерство здѣсь граничить съ ремесломъ, и яблоко дѣйствительное, конечно, въ извѣстныхъ отношеніяхъ лучше нарисованнаго: оно пахнетъ, его можно ѣсть, красота же въ томъ и другомъ одинаковая, если только здѣсь можетъ вообще быть рѣчь о красотѣ или идеалѣ. Искусство прежде всего безкорыстно, созерцаніе его произведеній свободно отъ всякаго желанія, вождельнія, всякаго расчета на какое-либо примѣнительное значеніе! изображеннаго предмета. Можно смотрѣть съ этой же точки зрѣнія и на дѣйствительную природу, но тогда мы ужъ сами безсознательно очищаемъ ее, перерабатываемъ, какъ это въ другихъ случаяхъ дѣлаетъ за насъ искусство, которое именно и приучаетъ насъ къ этой точкѣ зрѣнія, невозможной для человѣка вполне грубаго, совершенно увязшаго въ практическія отношенія къ дѣйствительности. Мысль эта, впрочемъ, яснѣе будетъ развита впослѣдствіи,—здѣсь мы принуждены высказать ее лишь мимоходомъ, бездоказательно.

Непониманіе или умышленное пренебреженіе этой простой и давно болѣе или менѣе ясно высказанной истины породило все ложное въ книгѣ *Эстетическія отношенія*, отразившееся, въ свою очередь, и на статьѣ г. Антоновича. Послѣдній какъ будто добровольно закрылъ глаза, положившись на авторитетъ, и часто, какъ увидимъ, подходит весьма близко къ высказанной нами мысли, но даже не смѣетъ взглянуть ей прямо въ лицо и влечется покорно мимо за своимъ путеводителемъ. Достаточно будетъ двухъ-трехъ примѣровъ для подтвержденія сказаннаго. Авторъ *Эстетическихъ отношеній*, на примѣръ, исходя изъ своей несчастной мысли о превосходствѣ дѣйствительности передъ искусствомъ, такъ рассуждаетъ о дѣятельности творческой фантазіи, за которою вынужденъ признать право *видоизмѣнять видѣнное и слышанное* и создавать *нѣчто новое по формѣ*. «Предположимъ, говоритъ онъ, что поэтъ беретъ изъ опыта собственнаго жизни событіе, вполне ему извѣстное; предположимъ также,

что взятое событіе совершенно закончено въ художественномъ отношеніи, такъ что простой рассказъ о немъ былъ бы вполне художественнымъ произведеніемъ». Оказывается, по его же словамъ, что и въ такомъ случаѣ онъ долженъ будетъ: 1) по неспособности памяти удержать всѣхъ нужныхъ *для художественной полноты* подробностей, *дополнить* ихъ изъ другихъ запасовъ своей памяти; 2) *отдѣлить* событіе отъ другихъ, находящихся съ нимъ только во внѣшнемъ сцѣпленіи, безъ существенной связи, при чемъ останутся пробѣлы въ жизненной полнотѣ рассказа, которые поэтъ долженъ восполнить отъ себя; наконецъ, 3) такъ какъ необходимое отдѣленіе ненужныхъ событій можетъ измѣнить самый характеръ событія, то *для сохраненія сущности его* поэтъ принужденъ будетъ измѣнять многія подробности. Вотъ сколькимъ переработкамъ можетъ и должна подвергнуться дѣйствительность «въ художественномъ воспроизведеніи ея, даже въ одномъ изъ случаевъ, наименѣе благопріятствующихъ самостоятельности поэта», по выраженію автора. Не есть ли это уже полное, свободное творчество, въ которомъ задача и цѣль вовсе не есть *воспроизведеніе* дѣйствительности, но произведеніе осмысленнаго, прозрачнаго, проникнутаго насквозь идеею своего событія. Стоило бы и автору и покорно цитирующему его г. Антоновичу пройти хоть нѣсколько шаговъ далѣе за представляющимися самособою выводами, и недоразумѣніе ихъ по одному изъ существенныхъ вопросовъ объ искусствѣ пало бы и уничтожилось самособою; поэтическое произведеніе и дѣйствительность перестали бы тягаться о превосходствѣ, и двѣ различныя области размежевались бы спокойнымъ образомъ. Авторъ *Эстетическихъ отношеній* и переписывающій его мысли г. Антоновичъ сдѣлали даже въ указываемомъ нами направленіи мысли еще шагъ: «Необходимость комбинировать и видоизмѣнять,—говорятъ они,—проистекаетъ не изъ того, чтобы дѣйствительная жизнь не представляла (и въ гораздо лучшемъ видѣ) тѣхъ явленій, которыя не хочетъ изобразить поэтъ или художникъ; а изъ того, что картина дѣйствительной жизни принадлежитъ не той сферѣ бытія, какъ дѣйствительная жизнь (*Эстетич. отнош.*, стр. 146). Ну что бы г. Антоновичу схватить и развить намекъ, невольно сдѣланный авторомъ въ подчеркнутыхъ нами словахъ,—и дѣло бы сразу значительно объяснилось. Но увы! Тогда нужно было бы отречься отъ *Эстетическихъ отношеній*, а на это у него не доставало смѣлости (мы не хотимъ сказать умѣнья), и вотъ мы слышимъ отъ него, какъ непреложныя истины, и сравненія творче-

ской дѣятельности съ аранжировкой оперы на фортепьяно, и толки о скудномъ, блѣдномъ, мертвомъ языкѣ поэзіи, и опять начинаютъ мелькать предъ нашими глазами несчастныя,—яблоко дѣйствительное и яблоко нарисованное. Эти жалкія яблоки держатся, впрочемъ, поборниками новой эстетической теоріи лишь на случай, именно,—когда нужно бываетъ доказывать вообще превосходство природы или дѣйствительности надъ искусствомъ. Ясно, что подобное сравненіе можетъ быть допущено лишь въ томъ предположеніи, если признать искусство простымъ подражаніемъ природѣ; новой теоріи это, однако, вовсе непригодно; въ другомъ случаѣ, именно,—когда нужно придать нѣкоторое самостоятельное значеніе искусству, безъ чего пришлось бы положить оружіе передъ воителями *Русскаго Слова*. И вотъ, какъ бы умышленно отворачивая глаза отъ явной несовмѣстимости двухъ разныхъ принциповъ, г. Антоновичъ начинаетъ, вслѣдъ за авторомъ *Эстетическихъ отношеній*, развивать разницу воспроизведенія дѣйствительности, требуемаго новою эстетическою теоріей, отъ подражанія природѣ, принципа, ложнаго даже по мнѣнію сочинителя *Эстетическихъ отношеній*. Противопоставляя сознательное творчество простому, рабскому копированію или фотографированію дѣйствительности, г. Антоновичъ говоритъ: «Воспроизводящій художникъ относится, напротивъ, къ своему дѣлу сознательно, разумно; онъ воспроизводитъ съ наибольшею отчетливостью самыя важныя и существенныя черты; въ самыхъ существенныхъ чертахъ онъ передаетъ не все до мельчайшихъ подробностей и т. д.»... Но спрашивается, для чего же вся эта трудная работа, когда сама дѣйствительность и прекраснѣе, и полнѣе, и художественнѣе произведеній искусства, а потому, по возможности, точное воспроизведеніе ея, конечно, было бы всего лучше. Простая фотографія не удовлетворяетъ, положимъ, этой цѣли, по недостатку красокъ, но фотографіи раскрашенныя должны бы, кажется, оказаться вполне удовлетворяющими цѣли искусства.

Выше мы видѣли, что въ своей статьѣ г. Антоновичъ привелъ хотя и не новыя, но довольно серіозные доводы въ пользу искусства и его самостоятельнаго значенія. Но изложивъ всѣ ихъ, онъ какъ-будто вдругъ испугался, не измѣнилъ ли онъ знамени своего учителя, не превознесъ ли ужъ слишкомъ искусство передъ дѣйствительностью и, спохватившись, спѣшитъ оговориться.

Е. Эдельсонъ.

Н. Г. Чернышевскій и Россія 60-хъ годовъ *).

I.

Меня всегда, приблизительно съ первой половины 70-хъ годовъ, крайне занимала личность Чернышевскаго. Не одни его взгляды, а именно вся его необыкновенно своеобразная фигура. Я уже не говорю о томъ любопытствѣ и той жадѣ запретнаго, которую развивало среди насъ, мальчиковъ - подростковъ, сидѣвшихъ на гимназическихъ и кадетскихъ скамьяхъ и семинарскихъ партахъ, благопопечительное начальство, способное, бывало, раскассировать цѣлый классъ за найденный, неизвѣстно кому принадлежащій, экземпляръ *Что дѣлать?*, составившійся изъ вырванныхъ страницъ *Современника*. Но кромѣ этого почти инстинктивнаго любопытства, мою мысль тревожила задача понять духовную физіономію человѣка, котораго я всегда считалъ однимъ изъ оригинальнѣйшихъ русскихъ умовъ и однимъ изъ самыхъ энергичныхъ и послѣдовательныхъ политическихъ дѣятелей. Эти два свойства—самостоятельность мысли и постоянная энергія воли—принадлежать къ разряду тѣхъ достоинствъ, которыя рѣже всего характеризуютъ нашу талантливую и героическую «запоемъ», но въ общемъ чрезчуръ рыхлую и подражательную натуру славянина. Какъ же было не заинтересоваться личностью Чернышевскаго?

Къ этому присоединялись нѣкоторыя другія обстоятельства, заставлявшія съ удвоеннымъ вниманіемъ задумываться надъ характеромъ и судьбой человѣка, который игралъ въ свое время такую исключительную роль. Прежде всего, эта трагическая катастрофа въ его жизни, вырвавшая у поэта скорбное восклицаніе, какъ въ снѣгахъ Сибири

. заточень
Яркій свѣточъ науки опальной,—

*) «Русское Богатство» 1905, № 3.

катастрофа, которая являлась вмѣстѣ съ тѣмъ жесточайшею несправедливостью со стороны политическихъ враговъ Чернышевскаго. Ибо то, что теперь мало-по-малу начинаетъ выясняться для большой публики изъ печатающихся воспоминаній, мемуаровъ, замѣтокъ о 60-хъ годахъ, было извѣстно давнымъ-давно людямъ, принадлежавшимъ къ тому теченію, которое продолжало при измѣнившихся условіяхъ и съ измѣненной программой дѣятельность людей *Современника*. Послѣ смерти Чернышевскаго, дѣйствительно, начали выкапываться изъ-подъ спуда мнѣнія и отзывы людей той эпохи, и замѣьте, изъ лагеря противниковъ, о процессѣ и осужденіи Николая Гавриловича. И всѣ эти документы свидѣтельствовали,—какъ въ свое время сенаторъ Любошинскій признался въ томъ бывшему цензору Никитенку,—что «извѣстныхъ юридическихъ доказательствъ виновности не было», но что «моральное убѣжденіе сенаторовъ было прямо противъ Чернышевскаго»¹⁾. А въ концѣ 1904 г. въ одной изъ статей, вызванныхъ пятнадцатилѣтіемъ смерти Николая Гавриловича (я говорю о воспоминаніяхъ г. Захарьина-Якунина), мы могли прочесть, что таково же было мнѣніе многихъ тогдашнихъ литераторовъ. Примѣръ тому Алексѣй Толстой, который въ виду вопіющаго нарушенія права, допущеннаго при осужденіи Чернышевскаго, сталъ было говорить въ его пользу Александру II, но получилъ отъ императора рѣзкій приказъ никогда впредь не касаться этого предмета...

Кромѣ этой трагической судьбы Чернышевскаго, насъ интересовало и то, что исключительная сила ума столь рано погибшаго для русской мысли писателя была печатно признана, въ началѣ 70-хъ годовъ, такимъ желчнымъ и порою строгимъ до несправедливости, но вмѣстѣ компетентнымъ судьей, какимъ былъ Марксъ. Не говорилъ ли тотъ самый неумолимо рѣзкій авторъ, который бросалъ по адресу Герцена эпитеты «полурусскаго и вполнѣ москвича», не говорилъ ли онъ въ предисловіи (январь, 1873 г.) ко второму изданію перваго тома «Капитала» о «банкротствѣ буржуазной экономіи, мастерски выясненномъ великимъ русскимъ ученымъ и критикомъ Н. Чернышевскимъ въ своемъ трудѣ *Очерки изъ политической экономіи по Миллю*! Значеніе загубленнаго судьбой русскаго экономиста признавалось, такимъ образомъ, не въ однихъ кругахъ нашей демократической молодежи, но и за границей, и притомъ громаднымъ авто-

¹⁾ См. Дневникъ Никитенка въ «Русской Старинѣ» 1891, № 5.

ритетомъ, который былъ крайне скупъ на подобные лестные отзывы.

II.

Хотите знать, какой лейтмотивъ долженъ, по моему мнѣнію, положить всякій писатель въ основаніе этюда о «Чернышевскомъ и Россіи 60-хъ годовъ»? Мрачныя и загадочныя слова одной изъ самыхъ сильныхъ исповѣдей Лермонтова «1831 года, іюня 11»:

Я предузналъ мой жребій, мой конецъ,
И грусти ранняя на мнѣ печать;
И какъ я мучусь, знаетъ лишь Творецъ.
Но равнодушный міръ не долженъ знать.
И не забыть умру я. Смерть моя
Ужасна будетъ; чуждые края
Ей удивятся, а въ родной странѣ
Всѣ проклянуть и память обо мнѣ.

Изъ пѣсни, конечно, слова не выкинешь. Но если выбросить два-три слова изъ только что приведенной строфы, она цѣликомъ можетъ быть отнесена къ судьбѣ Чернышевскаго. И онъ «предузналъ свой жребій, свой конецъ»: онъ чувствовалъ, мало того, онъ ясно сознавалъ, что такой человѣкъ, какъ онъ, долженъ былъ фатально погибнуть въ такой странѣ, какою была Россія 60-хъ годовъ. И онъ могъ предвидѣть, что «смерть его ужасна будетъ». Любители точности могутъ, конечно, замѣтить, что Чернышевскій не погибъ въ буквальномъ смыслѣ «ужасною смертію». Но что какъ не мучительное медленное умираніе представляла для этого гиганта мысли его жизнь въ далекой Сибири, порою сводившаяся къ одиночному заключенію и всегда отрѣзавшая его отъ общенія съ интересами идеи и общественной дѣятельности? *) Правда, что не «всѣ проклинали память о немъ». Но какія безконечно печальныя оговорки приходится дѣлать и тутъ!

*) Авторъ совершенно напрасно старается оговорить свои слова и смягчить картину. Пребываніе Чернышевскаго въ Вилуйской тюрьмѣ нельзя иначе разсматривать, какъ одиночное заключеніе. Для такого человѣка, какъ Николай Гавриловичъ, жизнь среди людей, далекихъ отъ умственныхъ интересовъ, была ничуть не лучше полного одиночества, ибо это было духовное одиночество. Затѣмъ, физическое существованіе безъ возможности литературной дѣятельности для Чернышевскаго равнялось смерти, смерти именно «ужасной», потому что страданія небытія повторялись ежедневно.

Н. Денисюкъ.

Въ какой степени Чернышевскій «предузналъ свой жребій, свой конецъ»,—какъ было сказано выше,—видно изъ очень вѣскихъ свидѣтельствъ, потому что они исходятъ отъ самого главы крайней демократической партіи тогдашней Россіи. Еще въ началѣ 50-хъ годовъ, до своей женитьбы, Чернышевскій писалъ въ своемъ дневникѣ (найденномъ впослѣдствіи при арестѣ Николая Гавриловича 7-го іюля 1862 г.) слѣдующія строки, представляющія, повидимому, набросокъ одного изъ писемъ его къ дѣвушкѣ, ставшей впослѣдствіи его женой:

«Меня каждый день могутъ взять,—какая тутъ будетъ моя роль? У меня ничего не найдутъ, но враги у меня сильные. Что могу я другое дѣлать? Сначала я буду молчать; наконецъ, когда ко мнѣ будутъ приставать долго—это мнѣ надоѣстъ, и я выскажу свое мнѣніе прямо и рѣзко, и тогда едва ли уже выйдемъ изъ крѣпости. Видите—я не могу жениться, не въ правѣ связать чьей бы то ни было судьбы съ моей».

Разумѣется, въ это личное и общественное *profession de foi* 24-лѣтняго Чернышевскаго (писано, повидимому, въ 1852—1853 г.) нечего еще вкладывать міровоззрѣніе зрѣлаго мыслителя и дѣятеля и приписывать ему какія-нибудь особенно рѣзкія и вполне опредѣленные идеи. Но Чернышевскій зналъ николаевскую Россію и зналъ, какимъ преступленіемъ считалась въ ней простая независимость взглядовъ, особенно въ годы свирѣпой реакціи, вызванной событіями 1848 г. на Западѣ. Примѣръ петрашевцевъ могъ ему показать, что въ эту пору за чтеніе Фурье людей приговаривали къ смерти и, лишь у петли, лишь заставивъ преступнаго чтеца фаланстеріевъ пройти чрезъ всю гамму предсмертныхъ ощущеній, милостиво замѣняли повѣшеніе безсрочною каторгой. Такимъ образомъ, почти трагическія мысли Чернышевскаго въ дневникѣ свидѣтельствуютъ лишь о томъ, что онъ уже юношей, былъ человѣкомъ, стремившимся къ выработкѣ независимыхъ взглядовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ, эти мысли, раскрываютъ многозначительную черту индивидуальности Чернышевскаго, обыкновенно оставляемую въ тѣни даже его поклонниками: это—его способность жертвовать всѣмъ ради вѣрности идеямъ, которыя ему представляются истинными.

Дѣйствительно, до сихъ поръ Чернышевскаго чаще всего рисуютъ какъ чисто кабинетнаго мыслителя, какъ холоднаго діалектика, преобладающей стороною котораго является разсудокъ. Но при этомъ упускаютъ изъ виду элементъ характера, элементъ энергіи, который дѣлалъ для Чернышевскаго невозможнымъ отреченіе на практикѣ отъ того взгляда, къ которому

онъ приходилъ въ теоріи,—хотя бы сначала и чисто логическимъ, не окрашеннымъ страстью путемъ. Какую бы, дѣйствительно, важную роль ни играли въ душевномъ мірѣ Чернышевскаго чисто логическіе процессы, но жизненная обязанность окончательныхъ выводовъ, получаемыхъ въ ихъ результатъ, была для него своего рода «категорическимъ императивомъ». Объ этой чертѣ Николая Гавриловича мнѣ много пришлось слышать отъ Шелгунова, который, самъ будучи человѣкомъ сердца и убѣжденія, съ особымъ умиленіемъ говорилъ о рѣзкой, о непримиримой вѣрности Чернышевскаго своему міровоззрѣнію. И, посмотрите, развѣ недостаточно краснорѣчивы въ этомъ смыслѣ цитированныя выше строки юношескаго дневника: «Сначала я буду молчать; наконецъ, когда ко мнѣ будутъ приставать долго—это мнѣ надоѣстъ, и я выскажу свое мнѣніе прямо и рѣзко, и тогда едва ли уже выйдемъ изъ крѣпости», и, наконецъ, заключеніе, непосредственно слѣдующее за этими строками: «Я не могу жениться, не въ правѣ связать чьей бы то ни было судьбы съ моей». Замѣьте, это писалось тѣмъ самымъ Чернышевскимъ, который любилъ свою невѣсту, а впослѣдствіи свою жену, такъ безконечно нѣжно и такъ высоко человѣчно, что я затрудняюсь найти въ исторіи примѣръ другой личности, способной на такую одухотворенную и самоотверженную любовь. Каково же было этому человѣку отказываться отъ величайшаго счастья, какое только ему представлялось въ жизни,—и отказываться сознательно, во имя лишь *возможной* перспективы столкновенія между личнымъ интересомъ и вѣрностью убѣжденіямъ!..

Но возвратимся къ вопросу, въ какой степени Чернышевскій, этотъ непреклонный борецъ за убѣжденія, былъ увѣренъ въ «своемъ жребіи, своемъ концѣ» сравнительно задолго до роковой развязки. Вотъ сцена изъ *Пролога пролога*, неоконченнаго романа Чернышевскаго, въ которомъ Николай Гавриловичъ бросаетъ ретроспективный взглядъ на Россію 60-хъ годовъ и свою дѣятельность въ ней. Волгинъ (подъ такимъ псевдонимомъ Чернышевскій выводитъ самого себя въ романѣ) говоритъ своей женѣ:

— Милая моя голубочка, ты сядь подлѣ меня и не огорчись тѣмъ, что я скажу. Ты знаешь, у меня характеръ мнительный, робкій. Потому не придавай важности моимъ словамъ: ты знаешь, у насъ все тихо, и я думаю о будущемъ только потому, что я трусь. Воображаю то, чего, можетъ-быть, и не будетъ. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не былъ трусъ, то и нечего было бы мнѣ думать ни о тебѣ ни о Володѣ... Одно можетъ *попередить* тебѣ съ Володею: перемѣна обстоятельствъ. Дѣла русскаго на

рода плохи. Будь что-нибудь теперь, намъ съ тобою еще ничего. Обо мнѣ еще никто не позаботился бы. Но моя репутація увеличивается. Два-три года—и будутъ считать меня человѣкомъ со вліяніемъ. Пока все тихо, то ничего. Но, какъ я говорю, и сама ты знаешь, дѣла русскаго народа плохи. Передъ нашею свадьбою я говорилъ тебѣ и самъ думалъ, что говорю пустяки. Но чѣмъ дальше идетъ время, тѣмъ видишь, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятнаго тебѣ. Но не могу не видѣть, что черезъ нѣсколько времени...

— Такъ ты вотъ о чемъ!—Она поблѣднѣла.—Молчи, не смѣй говорить!—Она вскочила и зажала ему ротъ.—Не смѣй!.. Молчи! Я слышала разъ,—довольно. Не смѣй.—Она убѣжала.

Натурально. Тогда она еще могла слушать, потому что еще и не ображала, что будетъ такъ расположена къ нему. Натурально, теперь ей труднѣе слушать: прожили вмѣстѣ три года; и теперь она понимаетъ, что это можетъ случиться; тогда и не понимала. Конечно, теперь вовсе не слѣдовало говорить. Или слѣдовало?

Онъ пошелъ за нею.

Она прижимала сына къ груди и рыдала надъ нимъ: «Володя, мы съ тобою будемъ сиротами!»

Сцена эта относится, судя по нѣкоторымъ подробностямъ положенія (три года брачной жизни, недавнее знакомство съ Левицкимъ, т.-е. Добролюбовымъ, и т. п. *), къ 1856 г. Но вотъ дѣйствіе развертывается. Мы въ разгарѣ общественнаго возбужденія, поднятаго крымскимъ разгромомъ. Прежде всего стоитъ на очереди крестьянскій вопросъ. И Чернышевскій является сразу такимъ авторитетомъ въ статьяхъ, посвященныхъ рѣшенію этой тогдашней великой, общенациональной задачи, что къ его голосу прислушивается не только вся мыслящая часть общества, но и само правительство. Вліяніе славнаго публициста возрастаетъ особенно послѣ его побѣдоноснаго спора съ Вернадскимъ объ общинѣ **). И тѣ опасенія, которыя высказывались

*1) Подъ именемъ Левицкаго Чернышевскій выводитъ въ своемъ романѣ Добролюбова. Н. Д.

**1) Профессоръ политической экономіи Иванъ Васильевичъ Вернадскій принадлежалъ къ числу литературныхъ противниковъ Чернышевскаго. Вернадскій по своимъ взглядамъ примыкалъ къ либерально-буржуазнымъ экономистамъ. Онъ былъ сторонникомъ свободной торговли и вообще той экономической «свободы», которая въ дѣйствительности ведетъ къ порабощенію экономически слабой народной массы экономически сильнымъ классомъ капиталистовъ. Съ точки зрѣнія этой же свободы профессоръ разсматривалъ и нашу общину. По мнѣнію его, въ отношеніи общины долженъ былъ быть примѣненъ также принципъ невмѣшательства. Пусть каждый членъ общины получить полную возможность выходить изъ нея и выдѣлять свой участокъ земли. Чернышевскій возставалъ противъ такой «свободы», ибо выдѣленіе повлечетъ за собой обезземеленіе крестьянъ, отпавшихъ

Чернышевскимъ объ угрожающей ему опасности въ тогдашней Россіи, начинаютъ уже принимать болѣе осязательную форму. Вотъ новая сцена,—разговоръ жены Чернышевскаго съ однимъ молодымъ человѣкомъ,—въ которой женщина, связавшая свою судьбу съ судьбой вождя демократической партіи, сама уже возвращается къ тревожившему ее вопросу. Я привожу эту сцену тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ, что въ ней Чернышевскій чуть ли не единственный разъ во всемъ *Прологъ* оставляетъ ту характеристичную для насъ, великоруссовъ, черту ироніи по отношенію къ самому себѣ, которая заставляетъ «проницательныхъ читателей» считать Чернышевскаго на основаніи этого автобіографическаго романа вялымъ, скучнымъ и безхарактернымъ существомъ. Не пришлось ли мнѣ читать у одного обстоятельно глупаго нѣмца (довольно-таки распространенная разновидность среди германскихъ буржуазныхъ геллертеровъ), что если Herr Tschernyschewsky рисуется такою жалкою посредственностью въ автобіографіи, гдѣ авторъ имѣлъ, конечно, возможность основательно, по словамъ нѣмца, прикрасить себя, то насколько же жалче онъ долженъ былъ быть въ дѣйствительности?

Но оставимъ ученаго нѣмца при его обстоятельной глупости и возвратимся къ обѣщанной нами сценѣ изъ *Пролога*. Вотъ въ какихъ словахъ говорить жена Чернышевскаго о немъ своему собесѣднику:

— Вы не знаете, Нивельзинъ, какой это человѣкъ!—И никто еще не знаетъ! Только я одна знаю это. Я давно узнала это; хотя я и неученая, и не видывала тогда ученыхъ людей. Я увидѣла это изъ первыхъ же нашихъ разговоровъ, хотъ они были пустые, хотъ, разумѣется, онъ не могъ говорить со мною ни о чемъ ученомъ... Но это было видно мнѣ. Я узнала, какой это человѣкъ; тогда всѣ думали, что онъ пролежитъ весь свой вѣкъ на диванѣ съ книгою въ рукахъ, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой характеръ!—потому что безъ его характера, даже и при его умѣ,

отъ «міра», раздробить ихъ и передать въ руки «міроѣдовъ», т.-е. тѣхъ «хозяйственныхъ мужичковъ», которые, воспользовавшись разными экономическими обстоятельствами, скупать у односельчанъ ихъ земли. Капиталистическій классъ въ Россіи въ ту пору, конечно, также горой стоялъ за «экономическую свободу», ибо она должна была переполнить рабочій рынокъ. Обезземелѣвшій крестьянинъ, разумѣется, долженъ будетъ искать заработка и, переполнивъ свободными руками рынокъ труда, сильно понизитъ свою заработную плату. Чернышевскій въ своихъ статьяхъ полемизируетъ съ приверженцами «свободы» и одерживаетъ верхъ.

Н. Денисюкъ.

ему нельзя было бы такъ понимать всѣ эти ученыя вещи. Я, неученая, увидѣла это изъ первыхъ разговоровъ, пустыхъ, обо мнѣ, о пустякахъ, о моемъ счастьи,—я увидѣла, какая разница между нимъ и другими!—И ошиблась ли я?—Вы знаете, какъ теперь начинаютъ думать о немъ. Но его время еще не пришло, они еще не понимаютъ его мыслей;—прійдетъ его время, тогда заговорятъ о немъ!—И пусть будетъ съ нимъ и со мною, что будетъ! Я хочу, чтобъ о моемъ мужѣ говорили когда-нибудь, что онъ раньше всѣхъ понималъ, что нужно для пользы народа, и не жалѣлъ для пользы народа—не то что себя—велика важность ему не жалѣть себя!—не жалѣть и меня!—и будутъ говорить это, я знак!—и пусть мы съ Володею будемъ сиротами, если такъ нужно!

Прологъ пролога обрывается, какъ извѣстно, на самомъ интересномъ мѣстѣ, на годахъ, непосредственно предшествующихъ опубликованію манифеста 19-го февраля. Мы знаемъ, что проведение реформы въ крайне урѣзанномъ, противъ первоначальнаго, видѣ (послѣ замѣны умершаго Ростовцева крѣпостникомъ Панинымъ) вызвало первый очень рѣзкій расколъ между демократическимъ авангардомъ и разношерстною арміею «прогрессистовъ», хотя поводовъ къ столкновенію между головой и хвостомъ партіи реформъ было и раньше не мало. Во всякомъ случаѣ, отнынѣ Чернышевскій и его друзья становятся сугубою мишенью для обличеній не однихъ крѣпостниковъ, но и тѣхъ ни теплыхъ ни холодныхъ сторонниковъ еле бредущаго «прогресса», которые возбуждали сатирическое негодованіе Добролюбова:

Прогрессъ стопою благородной
Шель тихо торною тропой...

Въ этотъ моментъ Чернышевскій, по словамъ его пріятелей, уже начиналъ чувствовать близость надвигавшейся на него лично опасности. Но въ особенности отъ его проницательнаго ума не укрывалось фатальное крушеніе реформаціонныхъ надеждъ общества, если... если наиболѣе послѣдовательные и энергичные элементы не прибавятъ,—думалось ему,—нѣсколько лишнихъ шансовъ на побѣду активнымъ вмѣшательствомъ въ затягивавшійся ходъ развитія страны. Замѣьте—«нѣсколько лишнихъ шансовъ на побѣду», но не самое побѣду. Шелгуновъ мнѣ прямо говорилъ, что онъ самъ и М. Л. Михайловъ гораздо болѣе вѣрили въ возможность благопріятнаго исхода событій для демократической партіи, чѣмъ Чернышевскій, хотя и безъ колебаній шедшій къ цѣли, разъ поставленной имъ послѣ самаго холоднаго и проницательнаго анализа современныхъ ему условий. И въ этомъ тра-

гическое величіе фигуры Чернышевскаго, который, къ сожалѣнію, далъ намъ на послѣднихъ страницахъ *«Пролога»* лишь нѣсколько намековъ на эту душевную коллизію, превышающую своимъ значеніемъ столь многія и многія личныя коллизіи чело-вѣка, изнемогающаго въ борьбѣ между долгомъ и страстью.

Знаетъ Чернышевскій окончательное торжество того царства коллективнаго труда и коллективнаго наслажденія, которое онъ описалъ такими яркими красками въ четвертомъ снѣ Вѣры Павловны. Знаетъ, что если не лично онъ, то трудящееся чело-вѣчество будетъ освобождено въ этомъ царствѣ отъ «стальныхъ оковъ» подневольной работы и жалкой нищеты. Но онъ знаетъ также, что лично передъ нимъ развертывается длинная перспектива той самой «безотрадной мглы изгнанья», среди которой и его другъ М. Л. Михайловъ обѣщалъ «твердо свѣта ждать». И онъ сознательно идетъ на встрѣчу этой перспективѣ. Въ частности для Чернышевскаго трагизмъ его судьбы неизмѣримо усиливается тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ не былъ романтикомъ революціи; и мало того, что онъ, какъ уже было сказано выше, далеко не былъ вполнѣ увѣренъ въ ближайшемъ торжествѣ русской демократической партіи. На основаніи и намековъ, разсѣянныхъ въ его сочиненіяхъ, и слышанныхъ мною отъ друзей и знакомыхъ Чернышевскаго разсказовъ о послѣднихъ мѣсяцахъ его дѣятельности, отношеніе Николая Гавриловича къ сложившимся въ то время обстоятельствамъ можно характеризовать такъ. Онъ видѣлъ, что дѣло искреннихъ защитниковъ народа и самого народа было почти проиграно. Но онъ хотѣлъ, пока представлялась хоть слабая возможность побѣды, попробовать во что бы то ни стало отстоять интересы дорогой ему трудовой Россіи и вообще безпрепятственнаго развитія великой страны. Каковы были, въ самомъ дѣлѣ, тогдашнія условія?

Прежде всего рѣшеніе крестьянскаго вопроса приняло въ 1860 г., т.-е., значить, какъ разъ наканунѣ освобожденія, плачевный видъ коверканья уже сдѣланнаго. Панинъ вмѣсто Ростовцева; Николай Милютинъ въ опалѣ, какъ «красный»; измѣненіе проекта освобожденія въ благопріятномъ для помѣщиковъ смыслѣ; усиленное давленіе цензуры на статьи по отмѣнѣ крѣпостнаго права, такъ что въ этотъ послѣдній, самый рѣшительный для реформы годъ ихъ появлялось очень мало,—все это могло внушать лишь самыя мрачныя мысли о будущемъ искреннимъ демократамъ. А съ 1861 г., рядомъ съ разочарованіемъ, постигшимъ передовую часть русскаго общества въ крестьянской ре-

формѣ, идетъ разочарованіе этихъ элементовъ результатами дѣятельности въ другихъ сферахъ. Если крестьянскіе бунты, которые пророчились крѣпостниками для всей Россіи, носятъ лишь мѣстный характеръ, ограничиваясь Казанскою (Безднинское дѣло), Пензенскою, Калужскою, Воронежскою губерніями, то повсюду реакція успѣваетъ своими дѣйствіями возбудить массу кровавыхъ столкновеній и печальныхъ недоразумѣній между различными слоями населенія и элементами общества.

Патріотическія демонстраціи въ Польшѣ, начавшіяся съ половины 1860 г., въ февралѣ 1861 г.,—совсѣмъ за нѣсколько дней до обнародованія манифеста,—подавляются оружіемъ. И панихиды по убитымъ вызываютъ въ Петербургѣ новыя демонстраціи, ведущія къ студенческимъ исторіямъ *). А въ сентябрѣ арестуются литераторы—Михайловъ, Обручевъ и т. д. Вмѣстѣ съ тѣмъ, возбужденіе умовъ среди студенчества, раздраженного «новыми правилами» и реакціонными мѣрами мая и іюля мѣсяцевъ, еще усиливается непропорціонально строгими репрессаліями. Въ результатѣ закрывается петербургскій университетъ, а въ московскомъ и казанскомъ много студентовъ исключаются и подвергаются избіенію полиціей (сентябрь—октябрь). Охранительная

*) Со смертію Николая I польскій народъ ожидалъ улучшенія своей участи, но надежды быстро были разсѣяны политикой русскаго правительства. Молодой государь пріѣхалъ въ Варшаву и обратился къ польской депутаціи со словами: «Point de rêveries, messieurs» (Никакихъ мечтаній, господа!). Для польскаго общества стало яснымъ, что система покойнаго Николая Павловича будетъ сохранена. Поэтому начинаетъ расти съ каждымъ днемъ недовольство существующимъ режимомъ и усиливается патріотическое чувство. Нуженъ былъ только какой-нибудь зачастую незначительный внѣшній поводъ для того, чтобы настроеніе общества тотчасъ же обнаружилось. 11-го іюня 1860 года на похоронахъ Екатерины Совинской, вдовы погибшаго въ 1831 году предводителя повстанцевъ, была демонстративно почтена память героевъ повстанія. Въ годовщину возстанія въ одномъ изъ костеловъ толпа начала пѣть религіозно-патріотическій гимнъ... Возбужденіе росло и поднялось до экстаза, до желанія мученичества и жертвъ. Въ концѣ февраля 1861 года демократической партіей были вызваны въ Варшаву польскіе студенты, обучавшіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Россіи, для устройства грандіозной манифестаціи въ годовщину Гроховской битвы. Полиція пыталась не допустить этого и вела себя вызывающе и безтактно. Это вызвало негодованіе уже всей Варшавы. 27-го февраля все-таки состоялась манифестація, носившая вполнѣ мирный характеръ, но администрація употребила въ дѣло войска и безоружная толпа подверглась разстрѣлу. Это событіе отозвалось и на настроеніи петербургскихъ студентовъ.

политика беретъ рѣшительный верхъ надъ политикой реформъ. Расколъ въ прогрессивномъ лагерѣ усиливается. Передовые элементы подвергаются со стороны умѣренныхъ упрекамъ въ нетерпѣннѣи и чуть не измѣнѣ отечеству.

Въ эти-то моменты передъ Чернышевскимъ и его единомышленниками демократическаго лагеря стала дилемма: или уступить безъ борьбы поле битвы реакціи, слившись съ многочисленной арміей умѣренныхъ, которые порядочно теперь охладѣли къ реформамъ и не шли дальше почтительнаго ропота на черзчуръ рѣзкія проявленія охранительной политики, или попробовать отстоять движеніе впередъ, группируясь на почвѣ прерванныхъ и исковерканныхъ правительствомъ реформистскихъ плановъ общества, смѣло доводя ихъ до конца и прежде всего въ области крестьянскаго устройства.

Но какъ группироваться, на какіе элементы опираться? Чернышевскій въ общемъ очень скептически, какъ это мы увидимъ ниже, смотрѣлъ на современную ему Россію, которая поражала его отсутствіемъ убѣжденныхъ и смѣлыхъ людей, а главное, дѣтскою неразвитостію политическихъ партій, если только можно приложить такое громкое названіе къ нашимъ котеріямъ и группамъ 60-хъ годовъ. Очень рѣзко,—опять-таки, какъ мы увидимъ ниже,—онъ относился къ «прогрессистамъ», упрекая ихъ въ неимѣннѣи ясной и опредѣленной программы, особенно же въ способности довольствоваться фразами вмѣсто дѣлъ. Но не менѣе рѣзко онъ относился и къ лагерю крѣпостниковъ,—и даже не за то, что они преслѣдовали сословные интересы, діаметрально противоположные интересамъ громаднаго большинства народа русскаго, но за то, что даже и эти-то интересы они защищали неумѣло, по-рабски, происками въ бюрократическихъ сферахъ и прячась подъ защиту громадной административной махины, хотя и обнаружившей свою внутреннюю несостоятельность въ дни Севастополя. Какъ же смотрѣлъ Чернышевскій самъ на этотъ административный механизмъ? Онъ и въ немъ видѣлъ чудовищную несогласованность частей и отсутствіе настоящей центральной пружины, что выражалось безпрестаннымъ треніемъ отдѣльныхъ колесъ, пускавшихся въ ходъ личными интригами временщиковъ положенія и баловней судьбы. Но онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, понималъ, что, несмотря на крайнюю архаичность и уродливость этой машины, она можетъ еще долго хлябать и вертѣть своими убійственными шестернями въ странѣ, гдѣ нѣтъ традицій политической борьбы и умѣлаго отстаиванія своихъ коллек-

тивныхъ интересовъ. За административнымъ механизмомъ было, по крайней мѣрѣ, то преимущество, что онъ, во-первыхъ, двигался въ силу пріобрѣтенной имъ въ теченіе вѣковъ исторической инерціи; во-вторыхъ, что онъ представлялъ собою хоть нѣчто организованное въ обществѣ, именно и поражавшемъ скудостью организованныхъ формъ жизни и дѣятельности.

Такимъ образомъ, поборникамъ интересовъ народа,—въ то время, главнымъ образомъ, крестьянства,—приходилось съ точки зрѣнія Чернышевскаго направить удары не только на классъ помѣщиковъ-крѣпостниковъ, но и на административный механизмъ, и даже прежде всего, и по преимуществу, на этотъ механизмъ, ибо послѣдній, защищая себя изъ-за чувства самосохраненія, являлся, вмѣстѣ съ тѣмъ, защитникомъ и привилегированнаго сословія, располагавшаго даровымъ трудомъ крестьянъ. При этомъ, опять-таки въ представленіи Чернышевскаго, на лагерь «прогрессистовъ» была плохая надежда. Какіе же элементы могли, въ такомъ случаѣ, вести борьбу за народъ? Кто могъ быть выразителемъ интересовъ «простолюдиновъ», какъ выражался нѣсколько старомодно самъ Чернышевскій? Конечно, прежде всего та часть образованнаго общества, которую Николай Гавриловичъ называлъ въ статьяхъ о *Борьбѣ партій во Франціи* «радикалами» и «демократами», въ противоположность жестоко бичуемымъ и высмѣиваемымъ имъ «либераламъ» и «прогрессистамъ». Она состояла, конечно, изъ наиболѣе смѣлой и убѣжденной доли дворянской интеллигенціи, той самой интеллигенціи, которая со второй половины царствованія Екатерины II вписала столько доблестныхъ именъ въ мартирологъ русской общественности. Но ея ряды, начиная съ конца 50-хъ годовъ, пополнялись все болѣе и болѣе разночинной интеллигенціей, къ которой принадлежалъ отчасти и самъ Чернышевскій (родившійся въ средѣ «духовной аристократіи»), а еще болѣе Добролюбовъ и столько бѣдныхъ попovichей, сыновей приказныхъ, мѣщанъ и т. п. людей «новыхъ слоевъ», выдвинутыхъ дифференціаціей русскаго, начавшаго оттаивать послѣ николаевскихъ морозовъ, общества.

Въ этой-то передовой, по существу своему революціонной интеллигенціи Чернышевскій и видѣлъ, какъ кажется, первоначальную точку опоры для рычага, которымъ можно было, по его мнѣнію, попробовать повернуть на настоящую дорогу Россію, пятившуюся назадъ подъ усиліями реакціонныхъ элементовъ въ администраціи и обществѣ. И, говоря такъ, я разумѣю не только

взгляды Чернышевскаго, поскольку они могли, да и то косвенно, выражаться въ печати, напр., въ такихъ статьяхъ, какъ *Экономическая дѣятельность и законодательство*, но и его болѣе интимныя, высказывавшіяся лишь въ кругу единомышленниковъ мнѣнія. Взглядъ на Петра Великаго, какъ на революціоннаго диктатора, который силою вышибъ московскую Русь изъ коснѣнія, былъ, по словамъ Шелгунова, врѣзавшимся мнѣ въ память общимъ взглядомъ ближайшихъ друзей Чернышевскаго и самого Николая Гавриловича. Отчасти изъ-за этого взгляда они расходились и со Щаповымъ, идеализировавшимъ прогрессивныя стремленія народа въ «земствѣ» и «расколѣ». И если, въ данномъ частномъ случаѣ, можно предполагать, что Шелгуновъ, для котораго царь Петръ былъ, такъ-сказать, любимымъ героемъ историческаго романа, преувеличивалъ близость возрѣній Чернышевскаго къ своимъ, то одно то ужъ, во всякомъ случаѣ, несомнѣнно: соціально-политическіе взгляды Чернышевскаго были окрашены тенденціями, которыя лучше всего можно было бы охарактеризовать словомъ «бланкизмъ»¹⁾). Всякій разъ, какъ ему приходилось класть на одну чашку вѣсовъ то, что онъ называлъ «свободнымъ дѣйствіемъ индивидуальныхъ лицъ», а на другую то, чему онъ давалъ имя «силы распоряженій общественной власти», въ глазахъ его анализирующаго ума перетягивала вторая чашка. Онъ только не желалъ, чтобы такой взглядъ могъ вести къ серіознымъ недоразумѣніямъ въ странѣ, подобной Россіи, гдѣ «сила распоряженій общественной власти» исключительно выражалась въ чудовищной опекѣ архаической администраціи. И онъ предлагалъ даже въ заключительныхъ главахъ своихъ *Примѣчаній* замѣнить какимъ-нибудь другимъ терминомъ слово «правительство», когда дѣло идетъ объ активномъ вмѣшательствѣ организованной соціальной силы въ ходъ коллективной жизни, т.-е. о «формахъ общественной дѣятельности, существенно различныхъ отъ правительственной формы»: «Какъ употребленіе слова «капиталь»,—замѣчаетъ Чернышевскій,—сбиваетъ съ толку своимъ привычнымъ меркантильнымъ смысломъ, такъ слово «правительство» вводитъ въ заблужденіе своимъ привычнымъ административнымъ оттѣнкомъ, такъ что считаются многими за регламентаторовъ мыслители, идеямъ которыхъ ничто такъ не противно, какъ регламентація».

¹⁾ См. стран. 115.

Въ частности Чернышевскому представлялось, что врядъ ли гдѣ-нибудь, кромѣ странъ, населенныхъ англо-саксонской расой,—да и то еще вопросъ,—врядъ ли современное общество перейдетъ къ новому и лучшему строю помимо вмѣшательства организованной общественной силы. Что же онъ долженъ былъ думать въ примѣненіи къ Россіи, гдѣ столько отживающихъ учреждений, словно гальванизированные, но уже разлагающіеся трупы, сжимали въ своихъ объятіяхъ живыя растущія силы и грозили заразить этимъ трупнымъ ядомъ всю великую страну? «Бланкизмъ» являлся въ глазахъ Чернышевскаго необходимымъ приѣмомъ борьбы съ отживающимъ дореформеннымъ міромъ и его чудовищной административной покрывкой, а интеллигенція—гражданская и военная (обратите вниманіе на число выдающихся офицеровъ, увлеченныхъ въ началѣ 60-хъ годовъ демократическимъ движеніемъ)—опорнымъ пунктомъ упомянутого активнаго вмѣшательства въ ходъ событій.

Но, вѣдь, самый послѣдовательный бланкизмъ предполагаетъ, для надлежащей игры этого механизма вмѣшательства, существованіе не только точки опоры рычага, но наличность самого этого рычага или, лучше сказать, цѣлой системы рычаговъ, приводящихъ въ движеніе общественный организмъ. Солисты и актеры, для произведенія надлежащаго впечатлѣнія въ великой исторической драмѣ, нуждаются въ поддерживающемъ ихъ оркестрѣ и могучемъ хорѣ «народа». Какъ долженъ былъ смотрѣть Чернышевскій на роль народа, роль трудящихся массъ, во имя которыхъ дѣйствовали демократы? Прежде всего, этотъ народъ представлялся ему,—и не могъ по условіямъ времени представляться иначе,—въ видѣ крестьянства, того самого крестьянства, реформа быта котораго была въ 60-е годы центральнымъ пунктомъ всѣхъ реформъ. Что касается до оцѣнки народа Чернышевскимъ, то тутъ приходится брать среднее изъ его нѣсколько варьирующихъ въ этомъ отношеніи взглядовъ и, пожалуй, еще болѣе отклоняющихся одно отъ другого воспоминаній его друзей и знакомыхъ.

Полагаясь на болѣе уравнивленную оцѣнку Шелгунова, я склоняюсь къ тому взгляду, что Чернышевскій, начавъ строить программу активной дѣятельности въ виду «интересовъ» крестьянства, но не «мнѣній» его (какъ выражались позже въ 70-хъ годахъ), допустилъ потомъ въ нее, хотя лишь до нѣкоторой степени, и элементъ упомянутыхъ народныхъ мнѣній. Сопоставляя нѣкоторыя мѣста изъ сочиненій Чернышевскаго, писав-

ныя въ промежуткѣ нѣсколькихъ лѣтъ или же воспроизводящія различные эпизоды его дѣятельности (въ *Прологѣ*), приходимъ даже къ заключенію, что въ полтора послѣдніе года жизни Николая Гавриловича въ Петербургѣ его взглядъ на народъ, на крестьянство принимаетъ нѣсколько болѣе оптимистическій характеръ.

Во всякомъ случаѣ, и въ эти послѣдніе мѣсяцы Николай Гавриловичъ далеко не рисовался людямъ, которые умѣли наблюдать, тѣмъ «самонадѣяннѣмъ», тѣмъ «безтактнѣмъ» человѣкомъ, какого изображали намъ прекраснѣйшіе господа, въ родѣ Кавелина. Эта «самонадѣянность», эта «безтактность», смущавшая нашихъ «либераловъ», обнаруживалась лишь въ области безпощаднаго отрицанія Чернышевскимъ тѣхъ дѣйствительно куріозныхъ путей политической борьбы, по части которыхъ были такъ сильны философы и поэты «настоящаго времени, когда». Здѣсь, въ сферѣ того, что не надо было дѣлать, Чернышевскій, конечно, былъ вполне рѣзкимъ и опредѣленнымъ «брульономъ», который мѣшалъ чувствительнымъ душамъ удовлетворяться игрой въ умѣренно-либеральныя бирюльки и приходитъ въ умиленіе предъ величіемъ совершаемыхъ ими гражданскихъ подвиговъ. Въ сферѣ же положительной, въ сферѣ того, что должно было дѣлать, Чернышевскій и въ это послѣднее время отличается лишь мужественнымъ, героическимъ, хотя отнюдь не свободнымъ отъ скептицизма спокойствіемъ человѣка, исполняющаго свой долгъ, но не могущаго раздѣлять всѣ иллюзіи и надежды другихъ болѣе пылкихъ единомышленниковъ на скорую и окончательную побѣду.

Николай Гавриловичъ былъ слишкомъ проницательнымъ умомъ, чтобы не видѣть въ Россіи 60-хъ годовъ слабость и неподготовленность демократическихъ элементовъ для того рѣшительнаго столкновенія со старымъ строемъ, въ результатъ котораго великая страна могла бы стать на путь могучаго соціальнаго прогресса. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ настолько человѣкомъ идеи, что, перебравъ возможности такого столкновенія и признавъ, что другого исхода изъ исторической коллизіи не было, а нѣкоторые шансы на торжество существовали, онъ безповоротно остановилъ свой выборъ на активномъ вмѣшателствѣ въ ходъ событій. Это рѣшеніе было имъ принято—говорилъ, напр., мнѣ Шелгуновъ—не безъ долгаго колебанія, не безъ самаго тщательнаго взвѣшиванія аргументовъ за и противъ. Но разъ ставъ на эту точку зрѣнія, онъ уже не сходилъ съ нея. И та фраза, кото-

рою онъ охарактеризовалъ однажды свое отношеніе къ литературнымъ врагамъ: «Я мертвъ для репутаціи, какую могу имѣть въ вашихъ глазахъ»,—эта фраза вполне можетъ охарактеризовать его отношеніе и къ врагамъ политическимъ. Удовлетворивъ своей теоретической добросовѣстности, удовлетворивъ потребности своего неумолимо анализирующаго ума и прійдя къ извѣстному рѣшенію, онъ становился мертвъ къ тому, что могли сказать или сдѣлать его жизненные противники. Отнынѣ разсудокъ уступалъ мѣсто энергіи воли и лишь сохранялъ за собою право ясно замѣчать тѣ препятствія, какія лежали на пути къ достиженію цѣли. И здѣсь величіе, здѣсь трагизмъ личности Чернышевскаго, который со второй половины 1861 г. не могъ не видѣть торжества крѣпчающей реакціи, равно какъ сильной вѣроятности пораженія демократической партіи и своей собственной гибели, но твердо шелъ въ разѣ принятомъ направленіи. Отличаясь осторожностью, но лишь тамъ, гдѣ осторожность могла быть полезна дѣлу, не любя бравировать понапрасну опасностью, чуждаясь фанфаронства, уменьшающаго шансы на успѣхъ, онъ, наоборотъ, безъ колебаній дѣлалъ тѣ шаги, которые вынуждались самымъ ходомъ великаго историческаго столкновенія между старой и молодой Россіей. Отсюда страшная неприязнь къ Чернышевскому, котораго одни считаютъ «брульономъ» (это прекраснодушные либералы), другіе—очень ловкимъ и тонкимъ злодѣемъ, подѣ котораго и иглы не подточишь (это люди реакціи).

«Управляющій III отдѣленіемъ собственной Его Величества канцеляріи—читаемъ мы въ обвинительномъ актѣ по дѣлу Чернышевскаго—получилъ безымянное письмо, въ коемъ предупреждаютъ правительство отъ Чернышевскаго, «этого коновода юношей, хитраго социалиста»; онъ самъ сказалъ, что его никогда не уличать: его называютъ вреднымъ агитаторомъ и просятъ спасти отъ такого вреднаго человѣка; всѣ бывшіе пріятели Чернышевскаго, видя, что его тенденціи проводятся уже не на словахъ, а въ дѣйствіяхъ, люди либеральные отдалились отъ него. «Если не удалите Чернышевскаго,—пишетъ авторъ письма,—быть бѣдѣ, будетъ кровь; эти шайки бѣшеныхъ демагоговъ—отчаянныя головы; эта «молодая Россія» высказала въ своемъ проектѣ всѣ звѣрскія наклонности; можетъ-быть, перебьютъ ихъ, но сколько невинной крови прольется за нихъ. Въ Воронежѣ, Саратовѣ, Тамбовѣ—вездѣ есть комитеты изъ подобныхъ социалистовъ, вездѣ они разжигаютъ молодежь. Чернышевскаго

отправьте, куда хотите, но поскорѣе отнимите у него возможность дѣйствовать. Избавьте насъ отъ Чернышевскаго ради общаго спокойствія».

Мы знаемъ, что такія просьбы не остались безъ послѣдствій. .

Н. Русановъ.

Романъ „Что дѣлать?“ *)

I.

Въ самый разгаръ литературной и нелитературной бури, какую вызвала брошюра *Отвѣтъ на письмо къ ученымъ людямъ*, я какъ-то сказалъ въ обществѣ: «А вѣдь недурно бы собрать во-едино образчики новаго слова; вышла бы прелюбопытная хрестоматія». Слова вынесены въ прессу какъ уже затѣянное предпріятіе; газеты оповѣстили, что я приготавливаю къ печати «хрестоматію новаго слова». Вскорѣ затѣмъ въ книжныхъ магазинахъ Одессы начали спрашивать хрестоматію; поступили заказы отъ иногородныхъ. Такимъ образомъ, вопреки моему желанію, создана необходимость заняться пересмотромъ образцовыхъ произведеній изъ области «новаго слова». Для начала взять романъ *Что дѣлать?*.

По времени своего появленія (въ началѣ 1863 г.) онъ отмѣчаетъ средину перваго, классическаго періода въ исторіи «но-

*) Противъ идей Чернышевскаго и людей, выросшихъ на этихъ идеяхъ, поднялась травля, усиливавшаяся съ каждымъ годомъ, по мѣрѣ роста реакціи въ нашемъ обществѣ и правящихъ кругахъ.

Въ 1879 году, въ Одессѣ вышла книжка проф. гражд. права одесскаго университета, П. П. Цитовича, подъ названіемъ: «Что дѣлали въ романѣ *Что дѣлать?*». Цитовичъ былъ извѣстенъ какъ злой, грубый памфлетистъ, ненавидѣвшій «новыхъ людей». Изъ личной мести профессоръ въ своихъ брошюрахъ пытается сокрушить гидру нигилизма и пожинаетъ успѣшно лавры своего подвига: брошюры имѣютъ шумный успѣхъ.

Въ 1880 году Цитовичъ получаетъ правительственную субсидію для изданія реакціонной газеты, каковую и начинаетъ выпускать, подъ названіемъ «Берегъ». Газета, однако, не имѣла никакого успѣха и вскорѣ была прекращена. Редакторъ-издатель оказался человѣкомъ зауряднымъ, способнымъ только лишь на писаніе грубыхъ карикатуръ.

Изъ вышеупомянутой книжки Цитовича («Что дѣлали въ романѣ *Что дѣлать?*») я заимствую здѣсь нѣсколько наиболѣе характерныхъ страницъ.

Н. Денисюкъ.

гаго слова» (съ 1859 по 1866 гг.). Періодъ позднѣйшій, съ 1866 г. по настоящій день, есть уже время разработки частныхъ и въ особенности—примѣненія на практикѣ. Источники «живой воды» открыты, устроены въ періодѣ классическомъ; въ періодѣ позднѣйшемъ, точнѣе,—въ періодѣ 70 гг., лишь пристраиваются отдѣльныя галлерей, производятся придѣлки, углубляются или заправляются то одинъ, то другой источникъ. Такъ, напр., источникъ № 2, рефлексы головного мозга, подправленъ борьбой за существованіе; общинное владѣніе приведено въ ближайшую связь съ рабочимъ вопросомъ; вопросъ женскій получилъ болѣе острый вкусъ и новую окраску отъ приправки половымъ подборомъ *). Одновременно со всѣмъ этимъ проповѣдь новаго слова пошла, такъ-сказать, въ раздробительную: изъ ученаго и критическаго отдѣла толстыхъ журналовъ спустилась въ фельетоны газетъ. Но источники остаются все тѣ же, какіе забили въ первомъ, классическомъ періодѣ; вотъ почему тогда было больше смѣлости, оригинальности, «самобытности».

Въ классической литературѣ «новаго слова» романъ *Что дѣлать?* занимаетъ первое мѣсто. Правда, по своему главному содержанию, онъ относится, ближайшимъ образомъ, къ источнику № 5, къ женскому вопросу. Но какъ самый № 5 только послѣдній источникъ, такъ и главное содержаніе романа *Что дѣлать?*—содержаніе преобладающее, а не единственное. Напротивъ,—въ немъ отложено все, что уже выработано въ годы предыдущіе, а равно и намѣчено все, что потомъ развито, разработано и переведено въ практику въ годы позднѣйшіе.

Романъ *Что дѣлать?* — не только энциклопедія, справочная книга, но и кодексъ для практическаго примѣненія «новаго слова». Въ немъ «новыя начала» воплощены въ лицахъ, осуществлены въ поступкахъ, съ точнымъ указаніемъ средствъ проведенія «началь» въ дѣйствительность.

Во французской литературѣ бывали романы, памятные судебнымъ врачамъ: романы вліяли на распространеніе секретныхъ пороковъ, извѣстныхъ психіатрамъ. Но перестраивать по нимъ общественную жизнь, выставять ихъ героевъ и героинь образцами для подражанія, угрожать всѣмъ, кто не станетъ подражать, потерей добраго имени и права считаться порядочнымъ человѣкомъ,—на это не притязали ни авторы ни читатели подобныхъ произведеній.

*) Рѣчь идетъ о произведеніяхъ И. М. Съченова.

Но романъ *Что дѣлать?* не таковъ. Подъ формой романа (формой неуклюжей, крайне аляповатой) предложено полное руководство къ передѣлкѣ всѣхъ общественныхъ отношеній между мужчинами и женщинами; романъ рассчитанъ на читателей, только что вступившихъ или вступающихъ въ періодъ половой зрѣлости; своими картинами онъ бьетъ на то, чтобы распалить и безъ того безпокойное воображеніе такой публики. Но сцены грубѣйшей чувственности оправлены въ намеки о независимости, окрашены въ тирады о свободѣ, о любви къ бѣднымъ, объ интересахъ науки и проч. Заботливо изъ романа изгнаны пѣтъ вещи: совѣсть и понятіе обязанности.

Расчетъ автора оправдался: читатели его романа—исключительно молодежь.

За 16 лѣтъ пребыванія въ университетѣ мнѣ не удавалось встрѣтить студента, который бы не прочелъ знаменитаго романа еще въ гимназіи; а гимназистка 5—6 класса считалась бы душой, если бы не ознакомилась съ похождениями Вѣры Павловны. Въ этомъ отношеніи сочиненія, напр., Тургенева или Гончарова,—не говоря уже о Гоголѣ и Пушкинѣ,—далеко уступаютъ роману *Что дѣлать?*

Какое же, однако, вліяніе на общественные нравы произвелъ этотъ романъ-трактатъ?

Прежде всего его вліяніе замѣтно на тѣхъ отношеніяхъ, которыя составляютъ главную тему романа,—на отношеніяхъ между мужчинами и женщинами. Любовница, содержанка всегда была; но до воздѣйствія романа *Что дѣлать?* отъ нея сторонились другіе; она пряталась и сама, не выступала публично, не требовала признанія своей профессіи. Но теперь не то: содержанка вступила въ борьбу съ честною женщиной, одолеваетъ, побѣждаетъ ее. Гордая примѣромъ Вѣры Павловны, она смѣло присваиваетъ себѣ титулъ жены, вытѣсняетъ жену и ея дѣтей, требуетъ доступа въ общество, берется за руководство подрастающихъ поколѣній, ломится въ семейные дома, въѣзжаетъ въ казенную квартиру. Я уже не говорю, въ какой мѣрѣ вліяніемъ романа *Что дѣлать?* объясняется размноженіе соціальныхъ дѣвицъ и «мадамшъ»; ихъ участіе въ пропагандѣ—не послѣдняя приманка, на которую попадаетъ молодежь, выброшенная за двери учебныхъ заведеній.

Первенство личной выгоды и расчета, исключительное господство «потребностей организма», царство «наслажденія», устраненіе всякой отвѣтственности за свои поступки, покры-

ваемые неодолимой силой внѣшнихъ обстоятельствъ,—всѣ эти принципы, такъ заманчиво и самоувѣренно выставленные въ романѣ *Что дѣлать?*, не могли остаться безъ разрушительнаго вліянія въ такомъ обществѣ, гдѣ они дѣйствовали и прежде, и дѣйствовали *чуть* ли не исключительно. Но они дѣйствовали безсознательно, безъ возведенія въ формулы мысли и въ догматы счастья. Съ этой стороны романъ *Что дѣлать?*—своего рода торжественный манифестъ, подготовленный литературой предыдущихъ 3—4 лѣтъ, истолкованный литературой позднѣйшею, толкуемый и теперь, когда толкованіе отъ слова перешло къ дѣлу.

Между прочимъ, недавніе «дамскіе процессы» показали намъ фигуры, въ которыхъ замѣтны скулы дѣйствующихъ лицъ романа *Что дѣлать?*. Съ кукольной сцены романа лица предстали на скамьѣ подсудимыхъ, гдѣ и явились въ своемъ подлинномъ видѣ, безъ всякихъ иллюзій романической позы и фразеологии. Сколько же такихъ, что не имѣютъ надобности итти прямо въ упоръ Уложенію о наказан., или недостаточно храбры, чтобы дѣйствовать открыто, на глазахъ прокурорскаго надзора и на виду острога? А кассиръ главнаго общества поземельнаго кредита? Да уже не самъ ли это Рахметовъ? Вѣдь, натура несомнѣнно изъ «высшихъ».

Настоящая брошюра *можетъ быть* только началомъ серіи летучихъ брошюръ, назначенныхъ быть оправдательными документами къ двумъ прежнимъ брошюрамъ. Но я не имѣю заранѣе составленнаго плана, не опредѣлилъ размѣра серіи, не избралъ и формы изложенія. Что касается размѣра и плана, — все будетъ зависѣть отъ быстроты въ собираніи матеріала, но еще больше—отъ охоты и досуга. Форма изложенія можетъ быть двоякая: простая перепечатка образцовъ «новаго слова» съ надлежащимъ комментариемъ или свободное изложеніе на основаніи документовъ. Выборъ той или другой формы (а то — соединеніе ихъ вмѣстѣ) будетъ зависѣть не только отъ количества и качества самаго матеріала, но также отъ личнаго настроенія во время составленія брошюры на ту или другую тему «новаго слова». А темы могутъ быть знатныя: напр., какъ разрушали эстетику, какъ нарядили битву за существованіе, какъ поборолись трудъ съ капиталомъ, какъ разобрало половымъ подборомъ, какъ задрыгала въ рефлексахъ «масса мыслящаго мозга» и т. п.

Взявъ для начала романъ *Что дѣлать?*, я имѣлъ въ виду,—*сразу же* на герояхъ романа, на ихъ словахъ и дѣйствіяхъ, на-

глядно показать свойство и силу того вліяння, какимъ отзывается «живая вода» на всемъ міросозерцаніи, на образованіи характеровъ, на мотивахъ и цѣляхъ поступковъ, на всей манерѣ поведенія. Тогда это вліяніе скажется нагляднѣе; его оцѣнка сама собой можетъ быть приурочена къ живымъ образамъ въ томъ или другомъ лицѣ, къ отчетливымъ положеніямъ въ томъ или другомъ дѣйствіи изъ романа *Что дѣлать?*

II.

За два года до появленія романа *Что дѣлать?* «женщины, сознавшія уже ненормальность своего домашняго и общественнаго положенія», спрашиваютъ у нѣкоего «мыслителя» изъ отцовъ: «Что же намъ дѣлать?». Онъ не разслышалъ,—женщины, сознавшія и т. д.,—громче: «Что намъ дѣлать?»—не отвѣчаетъ. Онъ еще разъ: «Что дѣлать?»¹⁾ Мыслящій отецъ высунулся изъ окна въ одномъ бѣльѣ—и прокричалъ: «Надо выйти изъ душной парниковой сферы гостиныхъ интересовъ и не побоятьсядохнуть свободнымъ воздухомъ настоящей жизни. Courez le câble²⁾».

Закричали женщины, сознавшія и т. д., въ апрѣлѣ 1861г.; за годъ передъ тѣмъ онъ не кричали, а только слушали, какъ завопили по адресу къ нимъ, и завопили, напр., такъ:

«Женщина теперь въ тюрьмѣ»; она запутана въ «дрянной ветоши хваленыхъ нравственныхъ понятій»³⁾. «Скажите, кто не повторяетъ, какъ попугай, хотя бы слѣдующихъ истинъ, считая ихъ непогрѣшительными выводами изъ какой-то, будто бы разумной и святой философіи: «Роль женщины—роль преимущественно матери, воспитательницы будущихъ полезныхъ гражданъ обществу; поэтому всѣ интересы ея должны быть сосредоточены подъ домашнею кровлей; домъ—это исключительное поприще ея дѣйствій. Воспитаніе не должно увлекать ее за предѣлы этой законной ея сферы; занятія изящными искусствами, полезными рукодѣліями наполнять досуги, остающіеся ей отъ

1) «Современникъ» 1861, IV. — «Женщины въ университетѣ», стр. 503; здѣсь уже сняты «шляпки», помяты «воротнички».

2) Тамъ же. «Современникъ» 1860, IV, стр. 473.

3) «Современникъ» 1860, V. — «Женщины, ихъ воспитаніе...» и т. д., стр. 90—91.

заботъ матери». На «истины»—короткое замѣчаніе: «Фразы эти очень красивы». Съ тѣхъ поръ волною и раскатомъ пошелъ женскій вопросъ по русской землѣ. Правда, «лучъ свѣта въ темномъ царствѣ» блеснулъ еще раньше, за годъ назадъ; но онъ, вѣроятно, такъ и прошелъ бы безслѣдно, какъ ни лучезаренъ тотъ вѣнецъ славы, какой надѣлъ на голову Катерины Кабановой тогдашній «первый критикъ»*). Отвѣтъ мыслящаго отца на вопросъ интеллигентныхъ женщинъ былъ слишкомъ коротокъ; отвѣтъ точно указывалъ цѣль—свободный воздухъ,—но средства достигнуть цѣли?

Въ романѣ *Что дѣлать?* средства предложены въ избыткѣ; всѣ они, впрочемъ, старыя, хорошо извѣстны Уложенію о наказ.; новизна заключалась не въ изобрѣтеніи средствъ, а только въ ихъ примѣненіи.

Вся акція романа—не что иное какъ образцовое приложение средствъ выхода на вольный воздухъ. Дѣло начинается извѣстнымъ (теперь) способомъ: является развиватель во образѣ Лопухова, «умной головы» съ Выборгской стороны **).

Теперь остался сонъ Вѣры Павловны. Тутъ Вѣрочкѣ является та царица, что «родилась только тогда, когда пало царство непорочности». Но тутъ же оказывается, что эта царица есть двойникъ самой же Вѣры Павловны. «До меня—говоритъ царица—не знали полного наслажденія чувствъ». Потомъ является «невѣста» своихъ жениховъ, сестра царицы. Съ Вѣрочкой «невѣста» поздоровалась, какъ старая знакомая,—вѣдь подружились еще въ первый сонъ Вѣры Павловны. Пошли всѣ три,—царица, невѣста и Вѣра Павловна. Невѣста показала Вѣрочкѣ фаланстеру въ 2000 человекъ, столько же, какъ то «акціонерное общество», которое изложено въ *Очеркахъ изъ политической экономіи* вопреки Миллю***). Сначала фаланстера показана лѣтомъ, за работами на полѣ, гдѣ-то около полюса; кругомъ «сады, лимонныя и апельсиныя деревья, персики и абрикосы» и проч., а бѣлые медвѣди пасутся въ капустѣ. Но вотъ работы кончены. Фаланстера снимается, уѣзжаетъ куда-то на югъ, въ одну изъ тѣхъ странъ, гдѣ проѣзжали Пантагрюэль и Панургъ, послѣ того,

*) Рѣчь идетъ объ извѣстной статьѣ Добролюбова.

Н. Д.

**) Въ Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ находятся университетъ и медицинская академія.

Н. Д.

***) Рѣчь идетъ объ извѣстномъ произведеніи Чернышевскаго, гдѣ онъ проводитъ экономическіе принципы, противоположныя школѣ, къ которой принадлежитъ Милль.

Н. Д.

какъ миновали мысь Доброй Надежды и всѣ мѣста, обозначенныя на географическихъ картахъ англійскаго адмиралтейства.

Вѣрочка слѣдуетъ за фаланстерой и подъ руководствомъ царицы попадаетъ въ «ея царство»,—огромное заведеніе, гдѣ «шумно веселится половина красавцевъ и красавицъ въ греческихъ костюмахъ». Царица показала Вѣрѣ Павловнѣ, какъ они веселятся, и потомъ говорить:

«Ты видѣла въ залѣ, какъ горять щеки, какъ блистають глаза, ты видѣла,—они уходили, они приходили; они уходили—это я увлекала ихъ; здѣсь комната каждого и каждой—мой пріютъ; въ нихъ мои тайны ненарушимы; занавѣсы дверей, роскошныя ковры, поглощающіе звукъ... тамъ тишина, тамъ тайна; они возвращались—это я ихъ возвращала изъ царства моихъ тайнъ на легкое веселье; здѣсь царствую я.

Я царствую здѣсь. Здѣсь все для меня! Трудъ—заготовленіе свѣжести чувства и силы для меня, веселье—приготовленіе ко мнѣ, отдыхъ послѣ меня. Здѣсь я—цѣль жизни, здѣсь я—вся жизнь!!!»

Уразумѣли? Отдѣльные номера «для каждого и каждой»,—съ удобствами и даромъ,—такова «цѣль жизни».

Вотъ какіе сны снятся, когда, начитавшись Боккаціо, позируютъ въ однихъ чулкахъ! Что же это за такое заведеніе, гдѣ «шумно веселятся», у гостей «горять щеки, блистають глаза», попарно уходятъ въ комнату каждого и каждой и снова возвращаются «на легкое веселье»? Берлинскій «Орфеумъ», только съ греческими костюмами,—костюмы могутъ быть допущены во снѣ и въ прекрасной Еленѣ. «Орфеумъ» видѣла во снѣ Вѣра Павловна, а себя царицей этого заведенія.

III.

«Я хотѣлъ,—говорить романистъ,—изобразить обыкновенныхъ порядочныхъ людей новаго поколѣнія, людей, которыхъ я встрѣчаю цѣлыя сотни. Я взялъ троихъ такихъ людей: Вѣру Павловну, Лопухова, Кирсанова». Но отчего же самъ авторъ романа не увѣренъ въ живучести новаго типа? Вотъ что онъ говорить:

«Недавно родился этотъ типъ и быстро расплывается. Онъ рожденъ временемъ, онъ знаменіе времени, и, сказать ли? онъ исчезнетъ вмѣстѣ съ своимъ временемъ, недолгимъ временемъ. Его недавняя жизнь обречена

быть и недолгою жизнью. Шесть лѣтъ (до 1857 г.?)*) тому назадъ этихъ людей не видѣли.... :ше немного лѣтъ,—и стануть ихъ проклинать, и они будутъ согнаны со сцены, ошиканые, срамимые».

Какъ же такъ? «Порядочные люди новаго типа» множатся съ каждымъ годомъ, а между тѣмъ, осуждены на недолгую жизнь, должны исчезнуть, какъ метеоръ, какъ историческая аномалія, какъ недолгое «знаменіе недолгаго времени»?—Такіе люди негодны къ общежитію: они негодны прежде всего потому, что не признають обязанности, а знаютъ лишь одно «наслажденіе». У подобныхъ людей нѣтъ средствъ различать добро отъ зла, правду отъ неправды, благородство отъ низости; разгуль своихъ животныхъ похотей, свое «досыта» они цѣнятъ выше чужого права, чужого горя. Положиться на нихъ ни въ чемъ нельзя: для своего «наслажденія» и «своей пользы» имъ все ни по чемъ: ложь, клевета, воровство, насиліе, убійство. У нихъ все фиктивно: имена, подписи, паспорта, бракъ, жизнь, самая смерть. Вотъ за что ихъ сгонять со сцены, но скоро ли? Кто знаетъ! Да они и не «люди новаго типа»; нѣтъ, они выродки типа стараго, очень стараго: ихъ тоже породило наше недавнее безправіе, вскормила крѣпостная распушенность, воспитала всеобщая безнаказанность. Для «новой жизни» нужны другіе люди; есть ли они? Что такое, въ самомъ дѣлѣ, эта Вѣра Павловна? Подкидышъ Содомы, наперсница Мессалины, самка Искаріота. А Лопуховъ? Въ Парижѣ онъ могъ бы состоять альфонсомъ при начинающей Жюли; изъ него вышелъ бы и развязный танцоръ въ Баль-Мобилѣ, но Фигаро выше его, — Фигаро знаетъ и нѣчто другое, кромѣ «наслажденія и личной пользы». А Кирсановъ? Онъ—пара Вѣръ Павловнѣ.

Но что же такое послѣ этого самъ авторъ романа *Что дѣлать?*? Хотѣлось бы думать, что писавши свой романъ (если не раньше), онъ не былъ цѣль душевно; тогда есть объясненіе для его дѣла, есть извиненіе для него самого; но тогда онъ несчастный...

*) Въ концѣ 1857 года наступаетъ въ дѣятельности Чернышевскаго переломъ. Онъ оставляетъ работы литературнаго критика и отдается цѣликомъ общественнымъ и экономическимъ вопросамъ. Словомъ, съ этого года начинается тотъ періодъ литературной его пропаганды, который далъ катехизисъ 60-хъ годовъ и на идеяхъ котораго воспитались «новые люди».

Р. S. «Цинизмъ, грязь! Вашей брошюры я не могу дать въ руки моей дочери, сестрѣ»,—скажетъ читатель. И не давайте, если ваша дочь и сестра еще не прочли романа *Что дѣлать?*, а прочли, — давайте; онѣ ужъ пачкались *этой* грязью; она имъ известна, памятна, но она — не моя! Писавши брошюру, я запачкалъ себѣ руки, но отъ рукъ грязь отмывается; отмоется ли она у тѣхъ, кому запачкала не руки?..

Не знаю: «Je regarde de toutes parts et ne vois partout qu'une obscurité».

П. Цитовичъ.

Герценъ и Чернышевскій *).

Идейная связь Чернышевскаго съ Герценомъ.—Отношеніе Чернышевскаго къ утопическому социализму.—Центръ тяжести міровоззрѣнія Чернышевскаго.—Яркій социологическій индивидуализмъ Чернышевскаго.—Община у Чернышевскаго, Кавелина, Самарина и Герцена.—Национализація общинныхъ земель, идеализація «расторговавашагося мужичка» и ошибки Чернышевскаго въ этомъ вопросѣ.—Особый путь развитія Россіи и разногласія Чернышевскаго съ Герценомъ въ этомъ вопросѣ.—Борьба съ идеями экономическаго либерализма.—Индивидуализмъ, какъ основной принципъ, и социализмъ, какъ конечный идеалъ, у Чернышевскаго и вообще въ народничествѣ.

I.

Въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ властителями мысли русской интеллигенціи были Герценъ, Чернышевскій и Добролюбовъ. *Колоколъ* Герцена звалъ къ себѣ живыхъ и пробуждалъ своимъ звономъ не только русскую интеллигенцію, но и «культурное» общество... 1861 годъ—апогей вліянія Герцена; во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ оно быстро клонится къ упадку: въ 1861—1863 гг. русская интеллигенція начинаетъ считать Герцена недостаточно революціоннымъ (это началось еще съ извѣстнаго письма къ Герцену, въ *Колоколъ* отъ 1 марта 1860 г.); послѣ 1863—64 гг. русское «культурное» общество начинаетъ считать Герцена слишкомъ революціоннымъ... Вліяніе его падаетъ; концъ шестидесятыхъ годовъ ознаменованъ медленнымъ угасаніемъ оторваннаго отъ родной почвы гиганта Антея... **)

Чернышевскій раздѣлялъ виѣстѣ съ Герценомъ въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ мѣсто во главѣ русской интелли-

*) *Ивановъ-Разумникъ*. «Исторія русской общественной мысли». Спб. 1906 года.

**) Со вступленіемъ на престолъ Александра II и началомъ эпохи реформъ растеть, не по днямъ, а по часамъ, и популярность въ Россіи «русскаго Вольтера»—Герцена. Его «Колоколъ» начинаетъ собою «обличительную литературу». Онъ свободно ходитъ по рукамъ въ Россіи; его читаютъ въ Зимнемъ дворцѣ; его корреспондентами являются чиновники различныхъ министерствъ, чиновъ и ранговъ, до министровъ включительно. «Попласть» въ «Колоколъ» для любого общественнаго дѣятеля становится болѣе опаснымъ, чѣмъ въ немилость правительства и государя. Въ Лондонѣ

генціи; онъ былъ главнымъ представителемъ русской социалистической мысли; вліяніе и значеніе Чернышевскаго быстро возросло ко второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ: правительство

всѣ ѣдутъ на поклонъ и за совѣтами. Вся Россія дѣлится на «герценистовъ» и «антигерценистовъ». «Явился новый страхъ—Герценъ; явилась новая служебная совѣсть—Герценъ; явился новый идолъ—Герценъ...»

Освободительная атмосфера центральной Россіи сказалась и на настроеніи умовъ Польши. Однако, вожаки революціонной польской организациі, пріѣзжавшіе въ Лондонъ, не получили отъ Герцена благословенія на возстаніе. Онъ нашелъ его заранѣе проиграннымъ, а Россію достаточно сильною, чтобы справиться легко съ повстаніемъ. Кромѣ того, Герценъ указывалъ на аристократическіе инстинкты польскаго общества, на его нежеланіе дать свободу крестьянамъ, и дѣлалъ отсюда вполнѣ правильный выводъ, что польскія народныя массы отнесутся къ революціи вполнѣ индифферентно. Однако, пріѣздъ Бакунина въ Лондонъ и его участіе въ «Колоколѣ» измѣнили какъ политическую окраску самаго журнала, такъ и отношеніе этого органа къ польскому вопросу. Бакунинъ былъ революціонеръ во что бы то ни стало. Эта неугомонная натура всегда вносила съ собою всюду духъ вооруженнаго протеста. Когда Герценъ получилъ отъ него письмо съ извѣщеніемъ о пріѣздѣ въ Лондонъ, онъ сказалъ Огареву: «Признаюсь, я очень боюсь пріѣзда Бакунина, онъ, навѣрно, испортитъ наше дѣло. Ты знаешь, Огаревъ, что о немъ говорилъ въ 48 году, не помню, Косидеръ или Ламартинъ: «Нашъ другъ Бакунинъ—неоцѣненный человѣкъ въ день революціи; на слѣдующій день надо непремѣнно велѣть его разстрѣлывать, потому что съ такимъ анархистомъ немыслимо учрежденіе какого бы то ни было порядка».

Герценъ оказался правымъ въ своемъ предчувствіи. Статьи Бакунина въ «Колоколѣ» испортили дѣло. Польское возстаніе было подавлено, и престижъ «Колокола» упалъ. Среди русскаго общества наступила реакціонная полоса и «возсіялъ» Катковъ. Но чѣмъ глубже русское общество погружалось въ реакцію, тѣмъ сильнѣе росъ духъ оппозиціи среди крайнихъ лѣвыхъ его элементовъ. Ихъ умами овладѣвала идея революціи и террора. Герценъ относился къ ней вполнѣ отрицательно и указывалъ на практическую бесполезность политическихъ убійствъ вообще и революціи въ частности.

Уже въ моментъ освобожденія крестьянъ радикальная партія указывала Герцену на его оптимистическое отношеніе къ реформамъ. Въ «Колоколѣ» отъ 1-го марта 1860 г. напечатано было письмо, приписанное Чернышевскому, въ которомъ авторъ упрекаетъ Герцена въ его неправильномъ, близорукомъ отношеніи къ политикѣ нашего правительства. «Скоро Александръ II, — говорится въ письмѣ, — покажетъ зубы Николаю; въ политикѣ надежда имѣетъ значеніе золотой цѣпи, которая можетъ скоро превратиться въ оковы. Только топоръ и не что иное можетъ помочь Россіи. «Колоколъ» долженъ призывать не къ молитвѣ, а къ возстанію».

Такимъ образомъ, былая популярность Герцена исчезла и онъ остался между политическихъ партій, поносимый и справа и слѣва.

Н. Денисюкъ.

поняло это и поспѣшило отдѣлаться отъ опаснаго врага. Лѣтомъ 1862 года онъ былъ арестованъ, обвиненъ на основаніи завѣдомо подложныхъ документовъ и затѣмъ сосланъ въ каторжныя работы.

Мы видѣли, какъ Бѣлинскій, раскланявшись съ гегельянскою «разумной дѣйствительностью», пришелъ въ началѣ сороковыхъ годовъ къ «соціальности» и къ социализму; какъ Герценъ, извѣрившійся и въ утопическомъ социализмѣ и въ возможности социального переворота, сталъ родоначальникомъ народничества, того «русскаго социализма»^{*)}. Чернышевскій пошелъ далѣе по пути, намѣченному Герценомъ; онъ придалъ народничеству научную форму, освободилъ его отъ тѣхъ субъективныхъ надстроекъ, ко-

^{*)} Герцену пришлось познакомиться съ Европой въ страшные дни февральской революціи. Какъ извѣстно, изъ этихъ кровавыхъ событій только одна буржуазія извлекла выгоды. Послѣ февральской революціи Луи-Филиппъ палъ, и была учреждена вторая республика. Пролетаріатъ пріобрѣлъ большое значеніе, но это продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ. Новое правительство разоружило пролетаріатъ; въ іюнѣ вспыхнула снова революція, но пролетаріатъ былъ побѣжденъ, и всѣ уступки, сдѣланныя было ему союзной буржуазіей, взяты обратно; на престолъ вступилъ Наполеонъ III.

Въ тотъ моментъ казалось, что дѣло демократіи погибло навсегда. Теперь мы видимъ, что это не такъ. 24, 25 и 26 іюня погибли прекрасныя грезы утопическаго социализма, и родился на свѣтъ реальный революціонный социализмъ. Въра въ просвѣтлѣніе ума и доброжелательство представителей капитала исчезла и замѣнилась проповѣдью борьбы.

Побѣдители-буржуа пропитали Европу духомъ стяжанія и культомъ собственности, и Герценъ въ отчаяніи констатируетъ этотъ фактъ. «Какъ рыцарь былъ первообразъ міра феодальнаго,—говоритъ Герценъ,—такъ купецъ сталъ первообразомъ новаго міра: господа замѣнились хозяевами. Купецъ самъ-по-себѣ лицо смертное, промежуточное; посредникъ между однимъ, который производитъ, и другимъ, который потребляетъ, онъ представляетъ нѣчто въ родѣ дороги, повозки, средства. Рыцарь былъ больше: онъ самъ большое лицо и берѣгъ, какъ понималъ, свое достоинство, оттого-то онъ въ сущности и не зависѣлъ ни отъ богатства ни отъ мѣста; его личность была главное; въ мѣщанинѣ личность прячется или не выступаетъ, потому что не она главное: главное товаръ, дѣло, вещь, главное *собственность*...»

Подъ вліяніемъ собственности, тѣхъ выгодъ и аппетитовъ, которые развиваются благодаря меркантилизму и торгашескому строю, Европа «обмѣщанилась», «рыцарская честь замѣнилась бухгалтерскою честностью, изящныя нравы—нравы чинными, вѣжливость—чопорностью, гордость—обидчивостью, парки—огородами, дворцы—гостиницами, открытыми для всѣхъ, т.-е. для всѣхъ, имѣющихъ деньги». Гдѣ же выходъ изъ этого печальнаго положенія? Гдѣ то обновляющее начало, тотъ народъ, который принесетъ въ разлагающійся европейскій міръ новую мораль и возродитъ готовую издохнуть отъ гангрены европейскую культуру и цивилизацію? Этой страной—говоритъ Герценъ—будетъ Россія. Россія предназначенъ особый

торыя объяснялись личными переживаниями Герцена; онъ былъ главнымъ выразителемъ социалистическаго направленія русской интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ. И прежде всего надо указать на то, что утопическимъ социалистомъ Чернышевскій не былъ никогда. Русская интеллигенція пережила и перечувствовала утопическій социализмъ въ лицѣ, прежде всего, Бѣлинскаго, а затѣмъ—петрашевцевъ; уже Герценъ, послѣ 1848 года, смѣло вступилъ своими теоріями на путь социализма реальнаго; Чернышевскій, конечно, не могъ вернуться назадъ. Если въ его романѣ *Что дѣлать?* (1862—63 гг.) конечныя цѣли социализма ярко раскрыты всѣми цвѣтами фурьеризма, то не надо забывать, для какого читателя Чернышевскій писалъ свой романъ; романъ этотъ—намѣренно лубочное произведеніе, написанное исключительно съ пропагандистскою цѣлью. «Читай, добрый публика! прочтешь не безъ пользы. Истина—хорошая вещь!—насмѣшливо обращается къ своей аудиторіи Чернышевскій:—...ты, публика, добра, очень добра, а потому ты неразборчива и недогадлива... Тебѣ, penetrantный читатель, я скажу, что это (рѣчь идетъ про Рахметова)—не дурные люди; а то вѣдь ты, пожалуй, не поймешь самъ-то!..» Если бы, пропагандируя передъ подобною аудиторіей социализмъ, Чернышевскій дошелъ бы даже, вслѣдъ за Фурье, до пресловутыхъ анти-львовъ, анти-акулъ и морей изъ лимонада, то и въ такомъ случаѣ трудно было бы обвинить его (какъ социолога, а не романиста) въ приверженности къ утопическому социализму. Въ отвѣтъ на такое обвиненіе достаточно указать хотя бы только на отзывъ Чернышевскаго о системахъ утопическаго социализма, въ

соціально-экономическій путь развитія. «Прошлое русскаго народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее». Въ чемъ же залогъ этого будущаго? Будущее Россіи—отвѣчаетъ Герценъ—въ томъ, что она избѣжала того гнилостнаго зараженія, которое онъ называлъ мѣщанствомъ, ибо «мѣщанство—послѣднее слово цивилизаціи, основанной на безусловномъ самодержавіи собственности», а среди русскаго народа не распространенъ индивидуальный, капиталистическій видъ собственности. Онъ, русскій народъ, вѣками всосалъ въ себя чувство общинности, т.-е. той коллективной собственности, которая избавляла и впредь избавитъ его отъ буржуазно-мѣщанскаго уклада общественной жизни. Отсюда и выросла особая вѣра въ народъ у Герцена; отсюда понятно, почему авторъ статьи называетъ его прародителемъ русскаго народничества. Официальный міръ вѣрилъ въ бюрократическую мудрость правительства; либералы въ европейское просвѣщеніе; пессимисты находили, что пѣсенка Россіи спѣта, а Герценъ торжественнымъ жестомъ указывалъ на русскій общинный «міръ».

Н. Денисюкъ.

VI главѣ *Очерковъ гоголевскаго періода русской литературы* (*Современникъ* 1856 г., № 9), и на еще болѣе рѣзкій отзывъ въ статьѣ «*Studien, Гакстаузена*» (*Ib.*, 1857 г., № 7). Утопическій социализмъ, говоритъ Чернышевскій, пережилъ самъ себя; сражаться съ нимъ въ срединѣ XIX вѣка такъ же смѣшно, какъ, на примѣръ, начать ожесточенную борьбу съ идеями Вольтера: все это дѣла давно минувшихъ дней, дѣла временъ очаковскихъ и покоренія Крыма.

Итакъ, народничество Чернышевскаго носило вполне реальную окраску; мы увидимъ, что Чернышевскій освободилъ русскій социализмъ отъ двухъ-трехъ чертъ утопизма, приданныхъ народничеству Герценомъ, въ родѣ признанія поголовнаго мѣщанства Европы и убѣжденія въ анти-мѣщанствѣ крестьянскаго тулупа. Отъ этихъ болѣе чѣмъ проблематическихъ положеній Чернышевскій перенесъ центръ тяжести народничества въ совершенно другую сторону; именно, онъ обратилъ главное вниманіе на противопоставленіе «націи» и «народа»,—противопоставленіе, замѣченное нами въ скрытой формѣ еще у Радищева; мы видѣли также, что отсутствіе этого противопоставленія, смѣшеніе понятій «націи» и «народа» составляло одну изъ главныхъ ошибокъ славянофильства. У Герцена мы нашли только нѣсколько штриховъ, касающихся этихъ понятій; теперь у Чернышевскаго мы увидимъ ясное ихъ раздѣленіе. Въ западно-европейскомъ социализмѣ понятія націи и народа впервые были разграничены Энгельсомъ, а вслѣдъ за нимъ и Марксомъ; въ русскомъ социализмѣ вполне самостоятельно пришелъ къ этой мысли Чернышевскій.

Впервые Чернышевскій коснулся этого вопроса, защищая принципъ общиннаго владѣнія; въ отдѣлѣ «Замѣтки о журналахъ» (*Совр.* 1857 г., № 5) Чернышевскій, пользуясь своимъ любимымъ «гипотетическимъ методомъ», дѣлаетъ слѣдующія интересныя выкладки. Онъ готовъ согласиться, что общинное землепользованіе уступаетъ по цѣнности производства обработкѣ земли собственникомъ почти въ два раза; пусть десятина общинная даетъ 12 р. дохода, а десятина владѣльческая—20 р. дохода. (Въ статьяхъ *О поземельной собственности*; *Совр.* 1857 г., №№ 9 и 11, Чернышевскій доказалъ, что предполагаемая имъ цифры могли бы быть измѣнены только въ сторону уменьшенія разности между двумя вышеприведенными случаями дохода.) Предположимъ теперь, что мы имѣемъ случай изучать два участка земли по 5000 десят. въ каждомъ: одинъ съ общиннымъ землепользованіемъ, другой—собственнической, при чемъ послѣдній раздѣленъ на 30 арендатор-

скихъ участковъ съ улучшеннымъ хозяйствомъ. Очевидно, что общая цѣнность производства на первомъ участкѣ будетъ 60.000 р., а на второмъ—100.000 р. Такова цѣнность *производства*; но Чернышевскій переходитъ къ изученію системъ *распределенія*. Предполагая, что на обоихъ участкахъ плотность населенія одинакова (напримѣръ, 400 семей, принимая семью за единицу), предполагая, что изъ 20 р. дохода съ десятины владѣльческой земли 5 р. идетъ въ арендную плату, 6 р. на уплату рабочимъ семьямъ и 9 р. остаются въ пользу арендатора,—не трудно вычислить, что при общинномъ землепользованіи каждая изъ четырехсотъ семей получить по 150 р. въ годъ; на владѣльческомъ же участкѣ одна семья (землевладѣлецъ) получитъ 25.000 р., 30 семей (арендаторы) по 1.500 руб. и 369 семей (наемные работники) по 81 р. 30 к. Отсюда заключительный выводъ: цѣнность производства на владѣльческомъ участкѣ почти вдвое выше, чѣмъ на общинномъ (100.000:60.000), а благосостояніе трудящейся массы, народа, на общинномъ участкѣ почти вдвое выше, чѣмъ на владѣльческомъ ($150:81\frac{2}{10}$). «Что кому милѣе, тотъ тому и отдаетъ предпочтеніе»,—иронически замѣчаетъ Чернышевскій, придя къ такому выводу.

И это—центральный пунктъ народничества Чернышевскаго. *Национальное богатство или народное благосостояніе?*—такова поставленная имъ дилемма, таково противопоставленіе понятій «нація» и «народъ»; Чернышевскій ясно вскрылъ различіе этихъ понятій, указавъ на равенство отношеній націи къ народу и производства къ распределенію. Очевидно, какъ рѣшаль Чернышевскій имъ же самимъ поставленную дилемму: «...мы всегда готовы стать на сторонѣ той партіи,—писалъ онъ,—которая успѣетъ доказать, что ея рѣшеніе вопроса сообразнѣе съ народнымъ благосостояніемъ» (*Совр.* 1857 г., № 6.—Библиографія); но тутъ же надо подчеркнуть, что Чернышевскій неоднократно настаивалъ на условномъ смыслѣ поставленной имъ дилеммы: онъ никогда не противопоставлялъ безусловно націю народу, богатство—благосостоянію, систему наибольшаго производства—системѣ наивыгоднѣйшаго распределенія. *Если* социальныя условія страны таковы, что національное богатство и народное благосостояніе сталкиваются лбами, *то* не колеблясь ни одной минуты надо стать на сторону народного благосостоянія: таковъ дѣйствительный смыслъ дилеммы Чернышевскаго; но отсюда еще далеко до утвержденія, что подобное столкновеніе всегда имѣетъ мѣсто. «Умноженіе народнаго (т.-е. національнаго) капитала—это то же самое, что возвышеніе народнаго благосостоянія, если понимать слово

«капиталь» въ его истинномъ смыслѣ...», говоритъ Чернышевскій, прибавляя, что подѣ капиталомъ надо понимать не только массу звонкой монеты, фабрики, машины, товары и проч. (*Совр.* 1857 г., № 10.—Критика); въ послѣдствіи, въ своихъ знаменитыхъ примѣчаніяхъ къ *Основаніямъ полит. экономіи* Милля (*Совр.* 1860 г.), Чернышевскій опредѣлилъ капиталъ, какъ «продукты труда, которые служатъ средствами для новаго производства». Почти одновременно съ Чернышевскимъ подобное положеніе высказалъ и К. Марксъ, заявляя, что нѣкоторая сумма цѣнностей тогда только превращается въ капиталъ, когда она «*sich verwertet*», т.-е. затрачивается въ предпріятіе, образуя прибавочную цѣнность, когда она воспроизводится съ извѣстною надбавкой. И Марксъ и Чернышевскій оба заимствовали свое опредѣленіе капитала у Рикардо, при чемъ Марксъ, подѣ вліяніемъ Родбертуса, нѣсколько видоизмѣнилъ, а Чернышевскій заимствовалъ почти буквально; сильное вліяніе Рикардо—это надо отмѣтить—сказывается на всѣхъ экономическихъ воззрѣніяхъ Чернышевскаго. Какъ бы то ни было, но Чернышевскій не противъ капитала, не противъ національнаго богатства, *если* послѣднее идетъ на пользу народному благосостоянію. Приведемъ для доказательства этого еще двѣ характерныя для Чернышевскаго выкладки.

Въ своемъ четвертомъ замѣчаніи («Обзоръ отдѣла о трудѣ») къ тремъ первымъ главамъ Милля Чернышевскій указываетъ на возможность увеличенія національнаго богатства во много разъ при одновременномъ уменьшеніи народнаго благосостоянія. Предположимъ, что въ обществѣ изъ 4000 чел. имѣется 1000 взрослыхъ работниковъ, изъ которыхъ каждый производитъ въ годъ по 25 четв. пшеницы, при чемъ эти 25 четв. пшен. равноцѣнны $\frac{1}{10}$ фунта золота. Капитализируя эту цѣнность, на примѣръ, изъ 5 проц., мы безъ труда найдемъ, что ежегодное производство общества представляетъ изъ себя проценты съ денежнаго эквивалента въ 50 пуд. золота, что и можетъ служить мѣрою «национальнаго богатства» страны ¹⁾. Предположимъ теперь, что 200 чел. изъ взрослыхъ мужчинъ покинули общество и что изъ нихъ вернулись обратно 150 чел., и вернулись разбогатѣвшими: каждый привезъ съ собою по пуду золота. Чѣмъ будетъ теперь измѣряться «национальное богатство» этого общества? Если даже допустить,

¹⁾ Не трудно вычислить, что ежегодное производство страны—25.000 четв. пш., которая эквивалентна $2\frac{1}{2}$ пуд. золота; капитализируя, имѣемъ $x = \frac{2\frac{1}{2} \cdot 100}{5} = 50$ пуд. зол.

что прибывшіе полтораста богачей не оторвутъ отъ производительнаго труда ни одного изъ взрослыхъ работниковъ (что мало вѣроятно), то все же послѣднихъ всего 800 чел.; капитализируя по прежнему проценту ежегодное производство общества, мы получимъ мѣру національнаго богатства въ 40 пуд. золота, къ которому надо прибавить еще 150 пуд. золота, ввезеннаго въ страну. Итакъ, теперь національное богатство измѣряется 190 пуд. золота, т.-е. оно увеличилось въ $3\frac{4}{5}$ раза. Обратимся теперь къ народному благосостоянію. Въ первомъ періодѣ 25.000 ежегодно производимыхъ четвертей пшеницы распредѣлялись на 4000 чел., а значитъ на каждого приходилось $6\frac{1}{4}$ четв. пшеницы; во второмъ періодѣ ежегодно производятся 20.000 четв. пш. на 3950 чел., т.-е., въ среднемъ, на каждого около $5\frac{1}{16}$ четв. пш. Не трудно видѣть, что народное благосостояніе уменьшилось приблизительно во $1\frac{1}{4}$ раза.

Это случай, когда національное богатство и народное благосостояніе сталкиваются между собою и когда передъ нами во всей остротѣ стоитъ дилемма: или—или ¹⁾).

Возьмемъ теперь другой случай: то же самое общество въ другой стадіи его развитія. Пусть передъ нами снова прежнее количество населенія (4000 чел.) и тысяча взрослыхъ работниковъ; пусть изъ нихъ только 600 человѣкъ заняты производительнымъ трудомъ, а остальные 400 взрослыхъ работниковъ заняты непродизводительнымъ трудомъ (вмѣсто терминовъ «производительный» и «непроизводительный» Чернышевскій всегда употребляетъ термины «выгодный» и «убыточный»), при чемъ всѣ они вмѣстѣ получаютъ 100.000 р., т.-е. на занятіе каждого изъ нихъ работою употребляется покупательная сила въ 100 рублей. Капиталъ страны заключается въ пшеницѣ, которой въ обществѣ находится 25.000 четв. (т.-е. попрежнему $6\frac{1}{4}$ четв. на жителя) и покупательною силой для которой служатъ выше указанные 100.000 рублей (т.-е. цѣна пшеницы 4 р. четверть). Положимъ теперь, что одинъ изъ жителей покинулъ общество и вернулся, привезя съ собою 100.000 р., которые онъ хочетъ вложить въ землю. Отъ этихъ ста

1) Очевидно, что чѣмъ большимъ мы бы брали процентъ капитализаціи, тѣмъ больше было бы увеличеніе національнаго богатства; легко было бы показать, что въ данномъ случаѣ увеличеніе это выразится формулой $y = \frac{3a+4}{5}$, гдѣ a —процентъ капитализаціи.—Замѣтимъ кстати, что мы нѣсколько измѣнили форму выкладокъ Чернышевскаго, не измѣняя ихъ сущности.

тысячъ рублей капиталъ страны не увеличился ни на одно пшеничное зерно, но прибавилось на сто тысячъ покупательной силы. Слѣдствія будутъ слѣдующія: прежде, при покупательной силѣ въ сто тысячъ рублей, непродуцительнымъ трудомъ занимались 400 человекъ изъ тысячи, на что употреблялось 40.000 р., т.-е. 40 % всей покупательной силы, а на продуцительный трудъ оставалось 60% покупательной силы. Теперь вся покупательная сила—двѣсти тысячъ рублей, при чемъ всѣ новыя сто тысячъ обращены волею владѣльца на продуцительный трудъ; на непродуцительный трудъ идетъ попрежнему 40.000 р., но теперь они составляютъ только 20% всей покупательной силы и поэтому въ состояніи отвлечь отъ продуцительнаго труда къ непродуцительному уже не 400, а только 200 работниковъ; остальные 800 раб. получаютъ за продуцительный трудъ остальные 160.000 р. На первый годъ существуетъ для продажи только 25.000 четв. пшеницы и работники имѣютъ 200.000 р., чтобы заплатить за это количество хлѣба. Цѣна четверти будетъ 8 р., т.-е. вдвое больше, но трудъ каждаго работника даетъ теперь не 100, а 200 рублей, т.-е. также вдвое больше, такъ что пока ни капиталъ страны не увеличился ни работники не выиграли. Но въ теченіе года занимались производствомъ пшеницы не 600 работниковъ, какъ прежде, а 800 раб.; поэтому, если 600 раб. производили 25.000 четв. пшен., то 800 раб. произведутъ $33,333\frac{1}{3}$ четв. пшеницы, а значитъ на каждаго жителя будетъ приходится уже не $6\frac{1}{4}$ четв., а $8\frac{1}{3}$ четв. Иначе говоря, въ этомъ случаѣ и національное богатство (капиталъ) и народное благосостояніе увеличились въ $1\frac{1}{3}$ раза ¹⁾.

Всѣ эти нѣсколько утомительныя выкладки намъ необходимы для того, чтобы не былъ голословнымъ слѣдующій окончательный выводъ: когда «национальное богатство» тождественно съ «капиталомъ» (въ смыслѣ, принимаемомъ Чернышевскимъ), то оно не противорѣчитъ народному благосостоянію; это бываетъ при уве-

¹⁾ Чернышевскій предполагаетъ, вопреки Мальтусу и Рикардо, что масса земледѣльческихъ продуктовъ возрастаетъ, по крайней мѣрѣ, такъ же быстро, какъ масса рабочихъ силъ, обращенныхъ на земледѣліе. Слѣдуя за Мальтусомъ, пришлось бы взять, вмѣсто $33,333\frac{1}{3}$ четв., приблизительно 30.000 четв.—Вышеприведенный примѣръ находится въ прибавленіи «Понятіе капитала» къ IV, V и VI главамъ Милля. Мы попрежнему измѣнили нѣсколько форму выкладокъ, не измѣняя ихъ сущности. Ниже, въ гл. VI, мы дадимъ математическій анализъ общаго случая перехода отъ непродуцительнаго труда къ продуцительному.

личеніи пропорціи покупательной силы, обращенной на производительный трудъ. Наоборотъ, при уменьшеніи этой пропорціи, и въ томъ случаѣ, когда «національное богатство» понимается въ смыслѣ «массы цѣнностей» или «системы наибольшаго производства» — народное благосостояніе и національное богатство вполне противоположны другъ другу. И въ томъ и въ другомъ случаѣ, однако, критеріумомъ, рѣшающимъ поставленную дилемму, является система распределенія, и это надо особенно подчеркнуть, такъ какъ въ этомъ положеніи скрытъ одинъ изъ наиболѣе важныхъ признаковъ народничества. Примаť распределительнаго момента надъ производственнымъ, или, говоря короче, *примать распределенія надъ производствомъ* въ экономикѣ — таковъ этотъ принципъ русскаго социализма, впервые если и не формулированный, то ясно проведенный Чернышевскимъ. Не трудно догадаться, что принципъ этотъ былъ направленъ противъ эпитоновъ западничества, русскихъ манчестерцевъ, вся политико-экономическая мудрость которыхъ заключалась въ принципѣ наибольшаго производства. Мы увидимъ, что примать распределенія надъ производствомъ и борьба съ системой наибольшаго производства характеризуютъ собою всю дальнѣйшую исторію русскаго народничества, обвиненнаго за это впоследствии русскимъ марксизмомъ въ «экономической романтикѣ». Мы увидимъ, что марксизмъ выставлялъ противоположный принципъ примата производства надъ распределеніемъ, хотя и съ совершенно иной точки зрѣнія, чѣмъ манчестерство: согласно теоріи Маркса, распределеніе средствъ потребления есть лишь слѣдствіе распределенія условий производства; мы увидимъ, наконецъ, что въ концѣ концовъ это положеніе, доведенное до крайности ортодоксальнымъ марксизмомъ, было отвергнуто, какъ не отвѣчающее дѣйствительности. Какъ бы то ни было, но примать распределенія надъ производствомъ остается характерно народническимъ построеніемъ, впервые ясно выраженнымъ еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ Чернышевскимъ.

Итакъ, «капиталъ» и все связанное съ нимъ не противорѣчитъ народному благосостоянію. Но здѣсь возникаетъ слѣдующій, центральный для народничества вопросъ: тѣ части капитала, которыми передается дѣятельность труда предметамъ обрабатываемымъ его силою, требуютъ раздѣленія труда, которое, съ точки зрѣнія блага реальной личности, можетъ оказаться вполне отрицательнымъ явленіемъ. Съ разрѣшенія этого вопроса началось въ семидесятыхъ годахъ критическое народничество Михайловскаго, ко-

торый указаль на необходимость различенія физиологическаго и экономическаго раздѣленія труда. Чернышевскій и въ этомъ направленіи впервые намѣтилъ дорогу въ своемъ *Замѣчаніи на главу VIII* Милля. Онъ ясно видѣлъ «физиологическое послѣдствіе раздѣленія труда при нынѣшнемъ экономическомъ порядкѣ», заявляя, что «вредное дѣйствіе раздѣленія труда на экономическій бытъ и на самый организмъ рабочаго сословія при нынѣшнемъ порядкѣ дѣлъ не подлежитъ сомнѣнію»; онъ ясно ставилъ этотъ трагическій для народничества вопросъ: «Для человѣческаго благосостоянія нужно усиленіе производства, а возрастаніе производства требуетъ раздѣленія труда... Мы имѣемъ двѣ формулы, соединеніе которыхъ даетъ тотъ выводъ: элементъ, развитіе котораго необходимо для благосостоянія, гибеленъ для массы людей своимъ развитіемъ». Мы увидимъ, какъ отвѣтило на этотъ вопросъ народничество семидесятыхъ годовъ: пусть степень экономическаго развитія страны будетъ ниже, лишь бы типъ ея былъ достаточно высокъ; иными словами, это сводилось къ отрицанію благотѣльности экономическаго раздѣленія труда для народнаго благосостоянія. Каковъ бы ни былъ этотъ отвѣтъ, но ему нельзя отказать въ смѣлости и опредѣлительности; это дѣйствительно радикальное рѣшеніе вопроса, смѣлое разсѣченіе гордіева узла. Чернышевскій попытался пройти между Сциллой и Харибдой и далъ рѣшеніе явно—для него же самого—невозможное и непримѣнимое. Бѣда не въ томъ, что необходимо раздѣленіе труда, заявляетъ Чернышевскій, а въ томъ, что это раздѣленіе не проводится достаточно далеко: «При высокомъ раздѣленіи труда нѣтъ работнику никакого затрудненія поочередно переходить отъ одной операціи къ другой, мѣняя ихъ такъ, чтобы организмъ его поочередно работалъ всѣми частями»... Крайнюю абстрактность такого рѣшенія вопроса сознаетъ и самъ Чернышевскій, признавая, что фабриканту невыгодно подобное непостоянство занятій, которое поэтому и неосуществимо при нынѣшнемъ капиталистическомъ строѣ; рѣшеніе Чернышевскаго падаетъ само собою, сохраняя свою силу развѣ только для далекаго будущаго, для эпохи социалистическаго производства. Неудивительно поэтому, что самъ же Чернышевскій склоняется къ тому рѣшенію, которое, какъ мы указали, было дано впоследствии Михайловскимъ, въ его теоріи степеней и типовъ развитія; и въ этомъ случаѣ Чернышевскій является предшественникомъ замѣчательнѣйшаго изъ теоретиковъ русскаго социализма семидесятыхъ годовъ, связывая степень и типъ экономическаго

развитія (безъ употребленія этихъ терминовъ) съ національнымъ богатствомъ и народнымъ благосостояніемъ. Такъ, на примѣръ, въ статьѣ *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X* (Совр. 1858 г., № 8) Чернышевскій указываетъ на причину коренного расхожденія между либералами и демократами: первые стремятся къ національному богатству, вторые—къ народному благосостоянію. Но какъ же быть послѣднимъ въ томъ случаѣ, если они увидятъ, что «элементъ, развитіе котораго необходимо для благосостоянія, гибеленъ для массы людей своимъ развитіемъ»? Тутъ Чернышевскій уже не удовлетворяется своимъ абстрактнымъ рѣшеніемъ вопроса, но категорически отвѣчаетъ, что «для демократа наша Сибирь, въ которой простонародье пользуется благосостояніемъ, гораздо выше Англіи, въ которой большинство народа терпитъ сильную нужду»,—выше не по степени, а по типу развитія—прибавилъ къ этому впослѣдствіи отъ себя Михайловскій.

Такъ рѣшаетъ Чернышевскій поставленную передъ нимъ дилемму въ сторону народного благосостоянія. Намъ не для чего долго останавливаться на яркой индивидуалистичности такого рѣшенія; надо только отмѣтить, что «народное благосостояніе» есть абстрактный критерій, сводящійся въ конечномъ счетѣ къ благу реальной личности. И Чернышевскій неоднократно подчеркивалъ, что въ основѣ всего его міровоззрѣнія лежитъ благо реальнаго человѣка, что человѣческая личность есть наивысшій критерій, къ которому должны быть сведены всѣ выводы строяемыхъ теорій. «Нѣкоторые—заявляетъ Чернышевскій — предполагаютъ для государства цѣль болѣе высокую, нежели потребности отдѣльныхъ лицъ,—именно; осуществленіе отвлеченныхъ идей справедливости, правды и т. п. Нѣтъ сомнѣнія, что изъ такого принципа очень легко вывести для государства права болѣе обширныя, нежели изъ другой теоріи, которая говоритъ только о пользѣ частныхъ лицъ; но вообще мы держимся послѣдней, и выше человѣческой личности не принимаемъ на земномъ шарѣ ничего». (*Экономическая дѣятельность и законодательство*; Совр. 1859 г., № 2. Курсивъ нашъ.) Цѣль правительства—польза «индивидуальнаго лица», продолжаетъ далѣе Чернышевскій: «государство существуетъ для блага индивидуальной личности»; «общая норма для оцѣнки всѣхъ фактовъ общественной жизни и частной дѣятельности—«благо человѣка», хотя эта формула «указываетъ только цѣль, а не даетъ готовыхъ средствъ къ ея достиженію»... Достаточно и этого немногаго, чтобы поставить Чернышевскаго

въ одинъ рядъ съ величайшими представителями индивидуализма въ исторіи русской общественной мысли; въ этомъ отношеніи Чернышевскій шелъ вслѣдъ за Бѣлинскимъ и Герценомъ и былъ предтечей Лаврова и Михайловскаго. И если мы уже въ Герценѣ видѣли зачатки того «субъективизма», которому суждено было дать пышный цвѣтъ въ семидесятыхъ годахъ, то Чернышевскій по своимъ воззрѣніямъ стоитъ еще ближе къ этому «субъективному методу», заявляя, что «человѣкъ долженъ смотрѣть на все человѣческими глазами»... Далекій отъ «объективнаго» принципъ—*re-creat mundus, fiat justitia*, надъ которымъ такъ зло смѣялся еще Герценъ, Чернышевскій подчеркиваетъ субъективное строеніе понятія правды-справедливости: «Справедливо то, что благоприятно правамъ человѣческой личности»... (Ibid.)

II.

Мы выяснили основной, центральный пунктъ народничества Чернышевскаго; посмотримъ на дальнѣйшія приложенія этого основного принципа къ тѣмъ вопросамъ, которые ставила сама жизнь передъ русской общественной мыслью. Первымъ и главнымъ изъ этихъ вопросовъ былъ перешедшій по наслѣдству еще отъ западниковъ, славянофиловъ и Герцена вопросъ объ общинѣ.

Въ эпоху официальнаго мѣщанства въ этой области можно было только теоретизировать; въ шестидесятыхъ годахъ вопросъ сразу перешелъ на практическую почву. Правда, еще продолжались споры на исторической почвѣ, и еще въ 1857 году Чичеринъ воевалъ со славянофилами, доказывая, что русская община—не родовая и патріархальная, но сперва владѣльческая, а потомъ и государственная; но уже Герценъ ясно показалъ, что не въ этомъ лежитъ центръ вопроса. «Читалъ я ваши споры объ общинѣ,—писалъ тогда Герценъ;—они очень любопытны, но меньше, чѣмъ кажется, идутъ къ дѣлу. Родовое ли начало сельской общины или государственное, была ли земля общинная, помѣщичья или великокняжеская, скрѣпило ли крѣпостное право общину или нѣтъ,—все это необходимо привести въ ясность; но для насъ всего важнѣе *настоящее* положеніе дѣлъ». Положеніе же дѣлъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ было таково, что само существованіе общины висѣло на волоскѣ, такъ какъ эпигоны западничества имѣли за собою большинство въ редакціонныхъ комиссіяхъ, требовавшихъ

упраздненія общины во славу принципа «laissez faire»,—принципа якобы экономического индивидуализма*); въ этихъ комиссіяхъ одинъ только Самаринъ усиленно ратовалъ за общину. Въ концѣ концовъ, при проведеніи реформы, община въ принципѣ была сохранена; этимъ правительство преслѣдовало, конечно, не идейныя, а исключительно фискальныя цѣли **). Къ этому времени для русской интеллигенціи стало совершенно яснымъ различіе между общиной поземельной и административной; народничество выяснило, что не поземельная община подавляетъ личность, а подавляетъ ее фискальная основа, навязанная общинѣ государствомъ. И Герценъ и Чернышевскій видѣли это вполнѣ ясно, но первенство въ выраженіи этой мысли принадлежитъ Кавелину, одному изъ немногихъ молодыхъ западниковъ, не завязшему въ шестидесятыхъ годахъ въ мѣщанствѣ либеральнаго доктринерства. Герценъ выразилъ свое полнѣйшее удовлетвореніе точкой зрѣнія Кавелина на общину; мы увидимъ, что взглядъ Кавелина отчасти повліялъ и на Чернышевскаго; уже по одному этому статья

*) Западники и либерально-буржуазные элементы нашего общества, подъ вліяніемъ идей школы «манчестерцевъ» и классовыхъ выгодъ, отстаивали «свободу» крестьянъ и ихъ право на экономическое самоопредѣленіе. Они говорили, что община закабаляетъ, что это некультурная, отжившая, вредная форма общежитія, и что поэтому она должна быть разрушена. Въ качествѣ «манчестерцевъ» они настаивали на полномъ невмѣшательствѣ какой бы то ни было власти въ экономическія отношенія членовъ общества. Каждый хозяинъ и работникъ лучше всякаго министра и общественнаго учрежденія знаютъ, какъ имъ быть, на какой платѣ сойтись и въ какія экономическія отношенія вылить совместную работу и наемъ. Теорія «манчестерцевъ» была разбита тѣми соображеніями, что изъ двухъ договаривающихся сторонъ одна очень сильна—хозяева, а другая, наоборотъ, очень слаба—работникъ. Первый можетъ выжидать, а второй голоденъ и долженъ будетъ итти на всѣ уступки и требованія, которыя ему предложитъ хозяинъ. Либерально-буржуазный классъ хорошо понималъ эту выгоду «манчестерства» и, конечно, горячо ратовалъ за разрушеніе общины и «экономическую свободу» мужика. Ликвидация общины вела къ обезземеленію крестьянина, а значитъ и къ увеличенію пролетаріата, т.-е. дешевыхъ рабочихъ. Обезземелѣвшая деревня должна будетъ явиться прекрасною поставщицей на рабочемъ рынкѣ. Лишившись орудія производства—земли, мужикъ пойдетъ на фабрику и въ батраки, переполнить рабочій рынокъ, усилить предложеніе рабочихъ рукъ до крайнихъ предѣловъ и принужденъ будетъ продавать свой трудъ за безцѣнокъ.

Н. Денисюкъ.

**) При сохраненіи общины и круговой поруки для правительства облегчался вопросъ взиманія повинностей и податей, ибо вся община отвѣчаетъ матеріально за cadaго своего члена.

Н. Д.

Кавелина, санкціонированная двумя столпами народничества, Герценомъ и Чернышевскимъ, имѣетъ для насъ большой интересъ, тѣмъ болѣе, что Кавелинъ всегда былъ яркимъ индивидуалистомъ, вѣрнымъ ученикомъ великихъ представителей западничества. Въ этой своей статьѣ (*Взглядъ на русскую сельскую общину*; *Атеней* 1859 г., № 2) Кавелинъ, главнымъ образомъ, отвѣчаетъ на вопросъ о возможности свободы личности въ сельской общинѣ, и отвѣчаетъ совершенно правильно. Онъ прежде всего строго разграничиваетъ общину поземельную и общину административную. Упрекъ въ томъ, что «община поглощаетъ индивидуальность, не даетъ почти никакого простора личности», относится, по мнѣнію Кавелина, къ общинѣ административной, преслѣдующей фискальныя цѣли. Тутъ личность давить прежде всего *круговая порука*, не имѣющая никакого отношенія къ общинѣ поземельной; впрочемъ, и въ этой послѣдней такую же тормозящую роль играютъ *передѣлы*, несправедливые по отношенію къ лучше работающимъ хозяевамъ. Сохраняя общину, нужно отказаться отъ круговой поруки въ административномъ отношеніи и отъ *передѣловъ*—въ поземельномъ. Основными формами общины будутъ тогда, во первыхъ,—пользованіе землянымъ паемъ, а не собственность его, а значить отсутствіе наслѣдства и т. п.; во-вторыхъ, необходимымъ условіемъ пользованія будетъ осѣдлость въ данной общинѣ; въ-третьихъ—и это главное—такъ какъ нельзя уничтожить административную общину, а вмѣстѣ съ ней подати и повинности, то необходимо для «свободы лица» въ общинѣ предоставить каждому *свободу отказа отъ своего земельного пая и свободу выхода изъ общины*. Это несомнѣнно вѣрный отвѣтъ, сохранившій свою силу даже до нашихъ дней. Интересно, однако, вотъ что: всѣ эти мѣры Кавелинъ признаетъ только палліативами, препятствующими распространенію пролетаріата; онъ сознаетъ, что при общинномъ бытѣ и при увеличеніи народонаселенія нехватитъ земельныхъ паевъ, если участки будутъ оставаться безъ *передѣла*; онъ сознаетъ, что тогда нужны будутъ «сильныя, радикальныя лѣкарства». (Хотя онъ и доказываетъ дальше, что «опаснаго для общественной экономіи перевѣса людей бездомныхъ никогда быть не можетъ», но мы знаемъ, что эти доказательства идутъ противъ исторіи.) Это интересно потому, что въ такомъ признаніи виденъ уже дальнѣйшій шагъ отъ Герцена къ семидесятымъ годамъ, отъ народничества догматическаго и оптимистическаго къ народничеству пессимистическому и критическому: Кавелинъ уже *предчувствуетъ*, что община можетъ оказаться палліативною времен-

ной мѣрой и что не ей избавить Россію отъ «мѣщанства» западной Европы. Вотъ почему онъ идетъ на компромиссъ. «Я противъ индивидуальной личной собственности, какъ исключительной формы землевладѣнія,—пишетъ онъ Герцену (въ 1862 г.):—я не противъ ея принципа, но рядомъ съ нею желаю общиннаго землевладѣнія, какъ ея корректива, какъ противовѣса противъ конкуренціи, которую оно производитъ»... Въ критическомъ народничествѣ мы увидимъ дальнѣйшую эволюцію пессимистическаго отношенія къ будущности общины. Теперь же, кстати, отмѣтимъ еще одинъ характерный фактъ: статья Кавелина вызвала почти восторженный отзывъ его недавняго горячаго противника и идейнаго врага, Ю. Самарина, который еще раньше (въ 1857 г.) высказалъ чуть ли не буквально тѣ же самые взгляды на общину въ своей второй запискѣ по крестьянскому дѣлу («Что выгоднѣе: общинное мѣрское владѣніе землею или личное?»; напечатана впервые въ 1877 г.). Самаринъ склонялся къ уничтоженію общины административной и сохраненію общины поземельной—опять-таки для противодѣйствія возникновенію пролетаріата, ибо «мѣрское владѣніе и раздѣлъ по тягламъ, возможный только при этой формѣ владѣнія, устанавливаетъ и обезпечиваетъ пропорціональность рабочихъ силъ и потребностей съ количествомъ земли»¹⁾.

Взгляды Чернышевскаго на общину сложились въ началѣ шестидесятыхъ годовъ подъ несомнѣннымъ вліяніемъ славянофильства, какъ это было и съ Герценомъ, но вліяніе это необходимо не переоцѣнивать. Въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, въ 1855 и 1856 гг., при возникновеніи общей социалистической концепціи въ міровоззрѣніи Чернышевскаго, онъ сталъ на сторону общины, какъ возможнаго центра кристаллизаціи для будущаго социалистическаго строя. Но въ то же время онъ полагалъ, не различая общины административной и поземельной, что послѣдняя, дѣйствительно, стѣсняетъ личность. Но этимъ небольшимъ стѣсненіемъ стоило пренебречь ради возможнаго громаднаго значенія общины; и въ этомъ отношеніи Чернышевскій сталъ на сторону славянофильства. «Мы не подозреваемъ себя въ пристрастіи славянофильскому образу мыслей,—говоритъ Чернышевскій,—но должны сказать, что ученіе объ отношеніи личности къ обществу—здоровая часть ихъ системы и вообще достойно всякаго ува-

¹⁾ См. «Собр. сочин.» Кавелина, т. II, стр. 162—186. «Собр. сочин.» Самарина, т. II, стр. 165—170. См. также «Русскую Мысль» 1892 г., № 10—«Письмо Самарина къ Кавелину» (отъ 1859 г.). (Авторъ).

женія по своей справедливости»... (*Очерки гоголевскаго періода русской литературы*; *Совр.* 1856 г., № 2.) Однако,¹ очень скоро Чернышевскій пришелъ къ выводу, что принципъ общиннаго владѣнія и принципъ личности отнюдь не противорѣчаютъ другъ другу; въ 1859 году онъ уже твердо стоитъ на этой точкѣ зрѣнія, одновременно и отстаивая общину и заявляя, что выше челоуѣческой личности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего.

Переходя къ частностямъ взгляда Чернышевскаго на общину, интересно отмѣтить прежде всего, что вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ Чернышевскій требовалъ и *націонализаціи земли* *): «Все, чѣмъ владѣютъ или что воздѣлываютъ для себя поселяне по общинному праву, должно быть государственною собственностью въ общинномъ владѣніи»... Принудительное отчужденіе частновладѣльческихъ земель Чернышевскій въ то время считалъ неосуществимымъ и ненужнымъ; напротивъ того, онъ въ эту эпоху (1856—1858 гг.) твердо стоялъ, какъ мы это сейчасъ увидимъ, за частную земельную собственность, и только въ 1860—1861 гг., сойдя съ оппозиціоннаго пути на путь революціонно-соціалистическій, пришелъ въ то же время къ мысли о необходимости уничтоженія всякой частной земельной собственности. Пока же онъ не заходилъ такъ далеко и направлялъ всѣ свои усилія на отстаиваніе поземельной общины, требовалъ признанія крестьянской земли государственной собственностью въ общинномъ владѣніи: «...мы защищаемъ фактъ, у насъ существующій—государственную собственность съ общиннымъ владѣніемъ—именно потому, что она всего ближе всѣхъ другихъ формъ собственности подходитъ къ идеалу поземельной собственности...Каждый земледѣлецъ долженъ быть землевладѣльцемъ». (*О поземельной собственности*; *Совр.* 1857 г., № 11.) Это требованіе осталось характернымъ для всего народничества; его неоднократно высказывалъ Михайловскій (см., напр., *Собр. сочин.*, т. I, стр. 704—5; т. VI, стр. 301),

¹) Націонализацію земли не слѣдуетъ смѣшивать съ соціализаціей. При націонализаціи земля находится во владѣніи государства, при соціализаціи же во владѣніи сельскохозяйственныхъ обществъ. При націонализаціи вполнѣ допускаются и общинныя и индивидуальныя формы хозяйства, при соціализаціи же предполагаются непременно общественныя коллективныя формы производства и вообще веденія хозяйства. Словомъ, въ первомъ случаѣ переходъ къ коллективизму и социализму не является обязательнымъ, а во второмъ онъ неразрывно связанъ съ формой землевладѣнія.

его же выставило и молодое народничество конца XIX вѣка въ нѣсколько расширенномъ видѣ, заявляя, что не только каждый земледѣлецъ долженъ быть землевладѣльцемъ, но и каждый землевладѣлецъ долженъ быть земледѣльцемъ. Но интересно отмѣтить также, что одновременно съ защитой общины и съ требованіемъ своеобразной націонализаціи земли Чернышевскій, въ эту эпоху начала выработки своихъ воззрѣній, энергично возставалъ противъ *государственнаго закрѣпленія общины*, котораго впоследствии требовалъ самъ, а за нимъ требовали и критическіе народники семидесятыхъ годовъ, во главѣ съ Михайловскимъ. Государственное закрѣпленіе общины Чернышевскій сперва считалъ вредною мѣрой, препятствующею образованію личной крестьянской собственности и тѣмъ самымъ приковывающею къ малоземельной общинѣ лишніе крестьянъ; но «кажется, подобныхъ насильственныхъ мѣръ у насъ опасаться и нечего»,—замѣчаетъ Чернышевскій (*Библиографія журнальныхъ статей*; Совр. 1858 г., № 10). Отсюда ясно, что Чернышевскій не могъ быть противникомъ частной земельной собственности въ шестидесятыхъ годахъ въ Россіи; подобно Кавелину, онъ видѣлъ въ земельной собственности *коррективъ общинному владѣнію* и обратно, т.-е. вмѣстѣ съ Кавелинымъ повторялъ, какъ мы теперь знаемъ, основное положеніе программы «аграрнаго социализма» Пестеля (см. т. I, стр. 121—123). «Со временемъ, близко ли далеко ли—не знаемъ, рас- торговавшійся крестьянинъ непременно постарается купить въ полную и потомственную собственность порядочный участокъ земли», замѣчаетъ Чернышевскій и радуется этому «распространенію между крестьянами частной поземельной собственности» (Ibid). Поэтому Чернышевскій является сторонникомъ мелкаго частнаго кредита и введенія «ипотекарной системы», ибо даже значительная ссуда «по мірскому приговору можетъ быть обеспечена ипотекой на какой-нибудь отдѣльный участокъ земли» (Id.; Совр. 1859 г., №№ 2 и 7). И вдругъ непосредственно вслѣдъ за этими словами—заключеніе: «Вообще мы полагаемъ, что зло, къ которому пришли западные народы, вслѣдствіе чрезмѣрнаго развитія личной собственности и неизбежно слѣдующаго за нею пролетаріата, такъ велико, что для избѣжанія его,—если бы мы и не имѣли столькихъ причинъ, какъ имѣемъ теперь, вѣрить въ будущность нашей сельской общины,—все же слѣдовало бы сдѣлать попытку, и не прежде отчаяться въ успѣхѣ, какъ тогда, когда несостоятельность этого порядка была бы доказана несомнѣннымъ опытомъ»...

Здѣсь вскрывается ошибка и Пестеля, и Чернышевскаго и Кавелина; частновладѣльческій и общинный принципы не могутъ служить коррективами другъ другу, ибо они взаимно исключаютъ другъ друга; всякая же попытка ихъ соединенія окажется обреченнымъ на неудачу палліативомъ. Критическое народничество семидесятыхъ годовъ встрѣтилось лицомъ къ лицу со столь любезнымъ для Чернышевскаго «расторговавшимся крестьяниномъ», который старался скупать въ полную и потомственную собственность «порядочные участки земли»; но, встрѣтившись съ подобными Колупаевыми и Разуваевыми, типичными представителями нарождающейся буржуазіи, семидесятники увидѣли, что появленіе одного такого расторговавшагося крестьянина является съ одной стороны слѣдствіемъ, а съ другой—причиною появленія десятка батраковъ, представителей сельскаго пролетаріата. А вѣдь самъ Чернышевскій когда-то заявлялъ, что-де «благодѣтеленъ принципъ общиннаго владѣнія, который ограждаетъ насъ отъ страшной язвы пролетаріатства въ сельскомъ населеніи!» Неудивительно, что, понявъ самопротиворѣчіе Чернышевскаго и убѣдившись въ появленіи на русской исторической сценѣ «расторговавшагося крестьянина», критическое народничество семидесятыхъ годовъ, въ лицѣ Михайловскаго, воззвало къ тому самому государственному закрѣпленію общины, которое Чернышевскій призналъ вредною мѣрой. Впрочемъ, и самъ Чернышевскій вскорѣ перемѣнилъ свое мнѣніе; по крайней мѣрѣ въ 1861 году онъ заканчиваетъ свой комментированный переводъ «Основаній политической экономіи» Д.-С. Милля именно требованіемъ государственнаго закрѣпленія общины.

«Много статей было написано нами—заявляетъ Чернышевскій—въ защиту общиннаго землевладѣнія и нѣтъ намъ надобности вновь перечислять здѣсь его преимущества. Мы хотимъ только сказать, что если это учрежденіе на самомъ дѣлѣ полезно, то для его сохраненія нужна правительственная забота, потому что безъ законодательнаго охраненія оно не можетъ удержаться противъ частныхъ интересовъ... Милль доказываетъ, что есть общепользные учрежденія и обычаи, не могущіе сохраниться безъ прямого законодательнаго огражденія. Совершенно въ томъ же духѣ... мы скажемъ про общинное землевладѣніе: для цѣлаго общества оно полезно; но каждому изъ членовъ общества можетъ представляться временная выгода отъ превращенія своего пользованія частью общественной земли въ полную собственность надъ этою частью ея. Эта мимолетняя выгода несомнѣнно приведетъ въ худшее положеніе почти каждаго изъ людей, которые соблазнились бы ею; но она не можетъ имѣть столько соблазнительности, что приведетъ къ разрушенію выгоднѣйшаго для всѣхъ порядка, если достаточень *будетъ минутный* интересъ отдѣльнаго члена общины, чтобы участокъ, на-

одящійся въ его пользованіи, былъ выдѣленъ ему въ полную собственность». (Собр. соч. Чернышевскаго, изд. 1906 г., т. X, ч. II, прил. I, стр. 15—16; въ соответствующемъ мѣстѣ «Современника» 1861 г. этихъ словъ нѣтъ).

Чернышевскій, повидимому, теперь понялъ, что частное землевладѣніе не можетъ служить коррективомъ общинному, и вполне послѣдовательно съ общимъ духомъ своего міровоззрѣнія пришелъ къ требованію государственнаго закрѣпленія общины. Вполнѣ послѣдовательно также народничество конца XIX и начала XX вѣка выставило требованіе социализаціи или націонализаціи всей земли, при окончательномъ уничтоженіи всякой частной земельной собственности: въ этомъ случаѣ русскій социализмъ вѣрно слѣдовалъ не буквѣ, а духу ученія Чернышевскаго, обращавшагося въ свое время къ русской интеллигенціи съ энергичнымъ призывомъ: «Умрите за сохраненіе равнаго права каждого крестьянина на землю, умрите за общинное начало!» ¹⁾

III.

Мы видѣли выше, съ какой точки зрѣнія отстаивалъ Чернышевскій поземельную общину: онъ считалъ *возможнымъ*, что раньше пролетаризаціи русскаго крестьянства западная Европа дойдетъ до социалистической стадіи развитія, и тогда русская община послужитъ центромъ кристаллизаціи социалистическаго строя въ Россіи. Если мы вспомнимъ, что около того же времени и Марксъ и Энгельсъ предсказывали торжество социализма въ Европѣ еще до наступленія XX вѣка, то точка зрѣнія Чернышевскаго намъ покажется вполне оправдываемою своей эпохой. Что же касается возможности для Россіи скачка черезъ капиталистическій періодъ развитія прямо въ царство социализма, то, во-первыхъ, Чернышевскій, какъ мы видѣли, не былъ противъ капиталистическаго развитія, указывая на возможность его совпаденія съ народнымъ благосостояніемъ; при неосуществимости этого онъ доказывалъ, во-вторыхъ, логическую и фактическую возможность скачка черезъ средніе фазисы развитія. Этому доказательству посвящена, какъ мы уже видѣли, извѣстная статья Чернышевскаго *Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія* (Собр. 1858 г., № 12). Воспользовавшись, какъ схемой, гегелевской тріадой *) и примѣняя ее къ процессу экономического развитія, Чернышевскій принялъ тезисомъ—патріархаль-

¹⁾ См. Барсуковъ.—«Жизнь и труды М. П. Погодина», XV, 260.

*) По теоріи Гегеля наши познавательныя способности проходятъ три ступени развитія: несознательнаго положенія (тезисъ), сознательнаго про-

ное общинное владѣніе, антитезисомъ—владѣніе личное и синтезисомъ—соціалистическое общинное владѣніе; затѣмъ всю силу своихъ доказательствъ онъ направилъ на то, чтобы вывести возможность непосредственного перехода отъ тезиса къ синтезису, отъ 1А прямо къ 64А, по приведенной нами выше символической терминологіи. Минованіе капиталистическаго фазиса представлялось поэтому возможнымъ, вполне согласно и со славянофилами и съ Герценомъ; но тутъ же слѣдуетъ особенно рельефно выставить на видъ коренную разницу такой точки зрѣнія Чернышевскаго и взгляда Герцена на особый путь развитія Россіи.

Согласно Чернышевскому, возможность миновать капиталистическій фазисъ развитія являлась для Россіи только счастливымъ случаемъ совпаденія сходныхъ по типу, но глубоко различныхъ по степени эконоомико-соціальныхъ формъ. Строго говоря, никакого *особаго типа развитія* Россіи въ этомъ нѣтъ: она шла тѣмъ же общимъ путемъ, при чемъ, однако, настолько отстала отъ Европы, что послѣдняя пришла къ одной съ ней точкѣ, уже совершивъ цѣлый кругъ развитія, подобно тому, какъ если двѣ лошади будутъ бѣжать по кругу, то раньше или позже быстрѣйшая догонитъ отставшую. Община—не особенность русскаго народа, а только застарѣлый пережитокъ, давнымъ-давно уступившій у европейскихъ народовъ свое мѣсто частной собственности: «Нечего намъ считать общинное владѣніе особенною прирожденною чертой нашей національности, а надобно смотрѣть на него, какъ на общечеловѣческую принадлежность извѣстнаго періода въ жизни каждаго народа... Сохраненіе общины въ поземельномъ отношеніи, исчезнувшей въ этомъ смыслѣ у другихъ народовъ, доказываетъ только, что мы ушли гораздо меньше, чѣмъ эти народы...» (Ibid.) Конечно, если Россія минуетъ капиталистическій фазисъ развитія, то это будетъ особенностью ея исторіи, вслѣдствіе совпаденія по времени отсталыхъ и развитыхъ соціально-экономическихъ формъ; это можно считать «особымъ путемъ» ея развитія, но совершенно въ другомъ смыслѣ, чѣмъ это понималъ Герценъ, не говоря уже о славянофилахъ.

Отсюда—рѣзкая полемика Чернышевскаго съ Герценомъ по вопросу о «мѣщанствѣ» Европы и объ анти-мѣщанскомъ пути развитія Россіи. Первымъ поводомъ послужила книжка Лаврова

типовоставленія (антитезъ) и сознательнаго сочетанія (синтезъ). По Гегелю всякій процессъ необходимо движется отъ одной ступени развитія къ другой—отъ бытія въ себѣ черезъ бытіе внѣ себя къ бытію въ себѣ и для себя (дѣя, природа, духъ).

Н. Д.

«Личность» (1860 г.), посвященная Герцену и Прудону; Чернышевскій написал по поводу этой книжки свою надѣлавшую много шума статью *Антропологическій принципъ въ философіи* (Совр. 1860 г., №№ 4 и 5), въ первой части которой полемизируетъ и съ Прудономъ и съ Герценомъ. Но такъ какъ по цензурнымъ условіямъ нельзя было говорить ни о первомъ ни особенно о второмъ, то, говоря о Прудонѣ, Чернышевскій называетъ его «авторомъ книги de la Justice», а полемизируя съ Герценомъ—нападаетъ на Милля. Какъ мы помнимъ, Герценъ въ 1859 г. написалъ статью по поводу книги Милля «О свободѣ» (*Колоколь*, 15 апр. 1859 г.), подкрѣпляя новыми аргументами Милля свою основную точку зрѣнія, высказанную впервые еще за десять лѣтъ до того, о мѣщанствѣ западной Европы, объ ея нравственномъ китаизмѣ, о торжествѣ «conglomerated mediocrity». Нападая якобы на Милля, Чернышевскій обращаетъ все свое оружіе противъ Герцена; указавъ на мнѣніе о конечной побѣдѣ китаизма и мѣщанства въ Европѣ, Чернышевскій явно указываетъ на Герцена: «Такъ говорятъ нѣкоторые даже изъ самыхъ лучшихъ нашихъ людей и указываютъ на грустный приговоръ Милля, какъ на подтвержденіе очень сильное». И на дальнѣйшихъ страницахъ Чернышевскій объясняетъ мнѣніе Милля (а значитъ и Герцена) своеобразной классовой идеологіей: мнѣніе это выражается той лучшей частью буржуазіи и аристократіи, которая предчувствуетъ неизбежность грядущаго социалистическаго переворота и неизбежность потери всѣхъ своихъ привилегій... (см. op. cit., а также первая строка изложенія четвертой книги «Полит. Экон.» Милля въ *Совр.* 1861 г., № 8). Еще рѣзче напалъ Чернышевскій на Герцена въ статьѣ *О причинахъ паденія Рима* (*Совр.* 1861 г., № 5). «Западная Европа отжила свой вѣкъ, истощила свои жизненные элементы; западные народы неспособны продолжать дѣло прогресса; міръ долженъ возобновиться паденіемъ этихъ народовъ и замѣною ихъ новыми, свѣжими племенами»,—такъ формулируетъ Чернышевскій мнѣніе «лучшихъ нашихъ людей»; разоблаченіе этого ошибочнаго взгляда представляется ему довольно важнымъ «для очищенія самохвальныхъ и, къ счастью, пустыхъ мыслей о нѣкоторыхъ живыхъ отношеніяхъ. Мы говоримъ не о славянофилахъ»... И въ дальнѣйшемъ онъ доказываетъ, во-первыхъ, что Европа не только не истощила свои жизненные силы, но, напротивъ, только что начинаетъ жить, ибо въ Европѣ «только еще авангардъ народа, среднее сословіе уже дѣйствуетъ на исторической аренѣ, да и то почти лишь только начинаетъ дѣйство-

вать; а главная масса еще и не принималась за дѣло, ея густыя колонны еще только приближаются къ полю исторической дѣятельности». Она собственными силами идетъ къ тому социалистическому строю, въ которомъ будетъ, между прочимъ, осуществлено и общинное владѣніе въ его новыхъ и развитыхъ формахъ. А если это такъ, то, доказываетъ Чернышевскій во-вторыхъ, считать русскую общину панацеей отъ всѣхъ западно-европейскихъ социальныхъ золъ и элементомъ спасенія Европы отъ мѣщанства—смѣшно и нелѣпо. «Европѣ тутъ позаимствоваться нечѣмъ и не для чего: у Европы свой умъ въ головѣ, и умъ гораздо болѣе развитый, чѣмъ у насъ, и учиться ей у насъ нечему, и помощи нашей не нужно ей»... «Мы далеко не восхищаемся нынѣшнимъ состояніемъ западной Европы; но все-таки полагаемъ, что нечѣмъ ей позаимствоваться отъ насъ. Если сохранился у насъ отъ патриархальныхъ (дикихъ) временъ одинъ принципъ, нѣсколько соответствующій одному изъ условій быта, къ которому стремятся передовые народы, то вѣдь западная Европа идетъ къ осуществленію этого принципа совершенно независимо отъ насъ» ¹⁾.

Этой своей, быть-можетъ, нѣсколько рѣзкою критикой, Чернышевскій вытравилъ изъ русскаго социализма послѣднія черты, придававшія ему отчасти утопическую окраску. Герценъ многое обосновывалъ на миѣической анти-буржуазности крестьянскаго тупупа; Чернышевскій же ясно понималъ, что «расторговавшійся крестьянинъ»—одинаково буржуа, будь онъ русскій, французскій или англійскій; «русскій заяцъ точно такой же заяцъ, какъ и заяцъ-англичанинъ, и вовсе нѣтъ того, чтобы нашъ заяцъ леталъ, а англійскій пѣлъ—оба они зайцы, и все у нихъ заячье, какъ двѣ капли воды»,—иронизировалъ въ послѣдствіи Гл. Успенскій. Критическое народничество семидесятыхъ годовъ уже вполне прониклось сознаниемъ, что анти-мѣщанство не есть свойство русскаго народа, отличающее его отъ большинства народовъ западно-европейскихъ; мы видѣли, что уже самъ Герценъ мало-помалу смотрѣлъ все пессимистичнѣе и пессимистичнѣе на эту свою теорію; Чернышевскій же первый громогласно заявилъ о ея полной несостоятельности. То же самое можно повторить и о противоположномъ убѣжденіи Герцена—въ мѣщанствѣ западной Европы: Чернышевскій первый вскрылъ всю ошибочность такого

¹⁾ Въ то время еще не было установлено очень позднее (въ XIV—XVII вв.) и чисто фискальное происхожденіе русской общины; поэтому и Чернышевскій считаетъ нашъ общинный деревенскій строй остаткомъ первобытнаго коммунизма.

утвержденія своимъ указаніемъ на то, что на исторической европейской сценѣ еще не дѣйствуютъ главныя народныя силы, и что, подѣ влияніемъ послѣднихъ, Европа раньше или позже неизбежно придетъ къ тому самому строю, который явится высокой степенью развитія желательнаго для Герцена типа. Послѣ Чернышевскаго такое положеніе стало общимъ мѣстомъ русскаго социализма. Отношеніе къ современному фазису экономического развитія Европы продолжало оставаться критическимъ,—и это особенно ясно было высказано Михайловскимъ, но «особый путь развитія» Россіи понимался почти исключительно въ смыслѣ, приданномъ этой формѣ Чернышевскимъ, т.-е. не въ смыслѣ особаго типа развитія, а въ смыслѣ возможности минованія различныхъ стадій европейскаго пути; это не особый *типъ* развитія, но, въ точномъ смыслѣ,—особый *путь* развитія, приводящій, однако, къ одной и той же общей цѣли. Въ сущности, такое пониманіе этой фразы можно найти и у Герцена, особенно въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ шестидесятыхъ годовъ (см. объ этомъ т. I, гл. VIII); насколько повліяла на Герцена критика Чернышевскаго—пока еще трудно сказать, но вліяніе это въ высшей степени вѣроятно; по крайней мѣрѣ, оно сильно сказывается на аргументаціи Герцена въ 8-мъ письмѣ изъ его «Концовъ и Началъ» (*Колоколъ*, 15 февр. 1863 г.). Впослѣдствіи Михайловскій пытался поддержать точку зрѣнія Герцена на мѣщанскій путь развитія Европы и анти-мѣщанскій—Россіи, своей теоріей двухъ типовъ социальнаго развитія—органическаго и надъ-органическаго; однако, и онъ вскорѣ вернулся къ Чернышевскому и къ его пониманію особаго пути развитія Россіи.

IV.

Не трудно вскрыть причины различія точекъ зрѣнія Герцена и Чернышевскаго. Какъ мы знаемъ, на міровоззрѣніе Герцена глубоко повліяли событія 1848 года; онъ счелъ пиррову побѣду буржуазіи ея рѣшительною побѣдой; 1852 годъ еще болѣе усилилъ пессимистическое настроеніе Герцена, міровоззрѣніе котораго перестраивалось подѣ всѣми этими непосредственными впечатлѣніями. Десять лѣтъ спустя, когда дѣйствовалъ Чернышевскій, если не положеніе дѣлъ, то настроеніе общества было совершенно иное: на Западѣ послѣ смерти социализма утопическаго родился социализмъ реальный; въ Россіи шла борьба за великую социальную реформу и вся интеллигенція была проникнута (не безъ вл'я-

нія (того же Герцена) ясно выраженнымъ социалистическимъ настроеніемъ. Поэтому пессимизмъ Герцена уступилъ мѣсто яркому оптимизму Чернышевскаго, твердо вѣрившаго, въ противоположность Герцену, въ великія грядущія силы западно-европейскихъ народовъ; наоборотъ, это же послужило причиною внесенія Чернышевскимъ критическаго элемента въ догматико-оптимистическое народничество Герцена. Вотъ почему народничество Чернышевскаго представляетъ изъ себя большой шагъ впередъ въ эволюціи русскаго социализма, будучи окончательнымъ переходомъ къ социализму реальному. Однако, тутъ же надо замѣтить, что въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ Чернышевскій сдѣлалъ шагъ назадъ отъ Герцена.

Въ шестидесятыхъ годахъ народничество вело ожесточенную борьбу съ либеральнымъ доктринерствомъ эпигоновъ западничества; эти русскіе манчестерцы, представители экономическаго либерализма, были, сознательно или безсознательно, идеологами русской буржуазіи, въ то время едва только зарождавшейся. Герценъ, какъ мы это видѣли, боролся съ «либерализмомъ» съ точки зрѣнія наличности въ немъ элементовъ мѣщанства; Чернышевскій выдвинулъ впередъ другіе аргументы, въ послѣдствіи исчерпывающимъ образомъ развитые Михайловскимъ, основываясь на центральномъ пунктѣ своего міровоззрѣнія—благосостояніи народа и благѣ реальной личности. *Laissez faire, laissez aller!*—такъ былъ обычный припѣвъ экономическаго либерализма, убѣжденнаго, что онъ стоитъ за свободу личности, что его принципы—вполнѣ индивидуалистическіе. И Чернышевскій сперва самъ попался на эту удочку, убѣжденный, что экономическій либерализмъ есть, дѣйствительно, экономическій индивидуализмъ; говоря о школѣ физиократовъ и меркантилистовъ *), объ ихъ различіи

*) Когда Европа, въ концѣ среднихъ вѣковъ, перешла отъ натурального хозяйства къ денежному и развилась значительная международная торговля,—родилась и такъ-называемая меркантильная система. Это не была строго научная теорія, а рядъ практическихъ мѣропріятій, клонившихся къ развитію внѣшней торговли и обогащенію государства. Теорія эта считала богатствомъ страны золото-деньги, а средствомъ къ ихъ накопленію—развитіе обрабатывающей промышленности и торговлю съ сосѣдями своими фабриками. При такомъ взглядѣ на богатство страны выдвигается только лишь вопросъ о *производствѣ* товаровъ, а не ихъ *распредѣленіи*. Трудящіяся массы и ихъ интересы приносятся въ жертву продуктивности и дешевизнѣ производства. Все, что влечетъ за собой поднятіе заработной платы и улучшеніе матеріальнаго благосостоянія, противно меркантильной системѣ. Она покровительствуетъ только лишь фабрикантамъ и торговцамъ.

и сходствѣ, онъ замѣчаетъ: «Обѣ школы имѣли одну общую тенденцію—индивидуализмъ; и общимъ девизомъ ихъ стала формула—laissez faire, laissez passer»...*) Съ такимъ якобы индивидуализмомъ Чернышевскій, конечно, не могъ согласиться, такъ какъ понималъ, что можетъ происходить «при владычествѣ (такого) индивидуализма въ обществѣ, гдѣ каждый имѣетъ въ виду только самого себя»... Мы уже не разъ подчеркивали, что эгоизмъ есть характерный этический анти-индивидуализмъ; и Чернышевскій ясно понималъ, что этотъ экономическій либерализмъ и quasi-индивидуализмъ совершенно противоположенъ истинной свободѣ личности: «Развѣ это не безпорядокъ, не несправедливость, не насиліе? Когда съ одной стороны сильный, съ другой—слабый, свобода сильного развѣ не угнетеніе слабого?» («Тюрго»; *Совр.* 1858 г., № 9.) Въ уже цитированной нами статьѣ *Экономическая дѣятельность и законодательство* Чернышевскій высказалъ, наконецъ, что фритредерство отнюдь не есть, какъ то утверждали эпигоны западничества, система экономического индивидуализма и либерализма, но совершенно напротивъ: «Они утверждаютъ, что кто желаетъ прямого участія законодательства въ опредѣленіи экономическихъ отношеній, тотъ отдаетъ личность въ жертву

Она не можетъ допустить ни рабочаго законодательства, ограждающаго интересы пролетарія отъ произвола хозяина, ни рабочихъ союзовъ, ни стачекъ.

Школа *фізіократовъ* совершенно отрицала положенія меркантилизма и утверждала, что только одна *земля* производитъ, а торговля и промышленность перерабатываютъ и передвигаютъ продукты потребленія. Только естественныя силы земли удешевляютъ зерно, брошенное въ почву, а фабрика, при переработкѣ даровъ земли, нисколько количественно ихъ не увеличиваетъ, а только измѣняетъ ихъ внѣшній видъ.

Такимъ образомъ, по ученію меркантилистовъ, государство богатѣетъ отъ дѣятельности купцовъ и фабрикантовъ, и потому только ихъ интересы должны быть охраняемы законами страны, а фізіократы отводили почетное мѣсто землевладѣльцамъ, фермерамъ и сельскимъ рабочимъ. Кроме того, фізіократы требовали полной свободы и невмѣшательства государственной власти въ экономическія отношенія трудящихся и покупающихъ трудъ. Ни министрамъ, ни королямъ, ни законамъ не слѣдуетъ совать свой носъ въ дѣла хозяевъ и рабочихъ, ибо о ни сами лучше любого мудреца-экономиста и законодателя разберутся въ своемъ дѣлѣ. Такимъ образомъ, въ экономическую науку и практику стали проникать идеи *фритредерства*, г.-е. свободы экономической дѣятельности.

Н. Денисюкъ.

*) Фраза экономиста Гурне, принадлежащая къ школѣ *фізіократовъ*: «Позвольте дѣлать каждому, что онъ хочетъ, и итти, куда онъ хочетъ».

Н. Д.

деспотизма общества. Мы стараемся показать, что ихъ собственная теорія именно и ведетъ къ этому; эта теорія повертывается рѣшительно въ невыгоду для личности»... Изложивъ далѣ теорію *laissez faire, laissez passer*, Чернышевскій приводитъ ее къ абсурду послѣдовательнымъ развитіемъ ея же основныхъ началъ; онъ показываетъ, что система эта «въ теоріи ведетъ къ поглощенію личности государствомъ, а на практикѣ служить оправданіемъ для реакціоннаго терроризма»... «...Мы недовольны теоріею невмѣшательства власти въ экономическія отношенія вовсе не потому, чтобы были противниками личной самостоятельности. Напротивъ, именно потому и не нравится намъ эта теорія, что приводитъ къ результатамъ, совершенно противнымъ своему ожиданію. Желая ограничить дѣятельность государства одною заботою о безопасности, она, между тѣмъ, предастъ на полный произволъ его всю частную жизнь, даетъ ему полное право совершенно подавлять личность...» (*Совр.* 1859 г., № 2.) Во всемъ этомъ совершенно ясно сказывается та мысль, что экономическій либерализмъ есть по своему существу типичный анти-индивидуализмъ,—мысль, которую впослѣдствіи высказалъ Михайловскій, поставивъ точки надъ і. Именно Чернышевскій, а отнюдь не эпигоны западничества и либеральные доктринеры, стоитъ на точкѣ зрѣнія истиннаго индивидуализма, развивая далѣ въ общихъ чертахъ свои социалистическіе идеалы, принимая, что «государство существуетъ для блага индивидуальной личности», и что выше этой человѣческой личности нѣтъ на земномъ шарѣ ничего. Индивидуализмъ, какъ основной принципъ, и социализмъ, какъ конечный идеаль, являются, такимъ образомъ, тѣсносвязанными между собою въ системѣ русскаго народничества; это мы видѣли у Герцена, видимъ у Чернышевскаго, и то же увидимъ и у Лаврова и у Михайловскаго. Обычное противоположеніе индивидуализма и социализма совершенно не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія нашей терминологіи; въ народничествѣ, этомъ русскомъ социализмѣ, индивидуализмъ—основная и характерная черта.

Что же касается основныхъ чертъ народничества Чернышевскаго, то онѣ всѣ теперь передъ нами налицо. Фундаментомъ его міровоззрѣнія является *общая норма—блага личности и принципъ примата народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ*. Слѣдствіемъ этого является, во-первыхъ, борьба съ либеральнымъ доктринерствомъ, съ російскимъ фритредерствомъ, обращающимъ главное вниманіе на увеличеніе производства страны и тѣмъ самымъ подавляющимъ человѣческую личность. Отсюда

*
вытекаетъ далѣе примать распредѣленія надъ производствомъ, т.-е. въ сущности, примать социальнаго надъ экономическимъ, характерный для Чернышевскаго; третьимъ слѣдствіемъ является борьба за общинное начало, какъ соблюдающее интересы реальной личности и отвѣчающее примату народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ. Это сопровождается вѣрой въ возможность для Россіи миновать капиталистическій фазисъ развитія, вѣрой въ ея особый путь, въ буквальномъ значеніи этого слова. Если мы прибавимъ къ этому несомнѣнные задатки «субъективизма», подчеркнемъ социологическій индивидуализмъ, сопровождающийся крайнимъ социологическимъ номинализмомъ, то передъ нами будетъ ясно очерченное народничество Чернышевскаго, являющееся продолженіемъ народничества Герцена и введеніемъ къ народничеству Михайловскаго.

Ивановъ-Разумникъ.

Философія матеріалізма*).

I.

Вопросъ о *новыхъ людяхъ* шестидесятыхъ годовъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ для историка русской общественной мысли. Что такое представляли эти люди, во имя какихъ положительныхъ принциповъ они дѣйствовали, какія благотворныя сѣмена посѣяли на литературной почвѣ—все это задачи, получавшія столько же разнообразныхъ рѣшеній, сколько разъ онѣ разрѣшались. Кипучая страсть, одушевлявшая шестидесятниковъ, перешла на ихъ судей, и врядъ ли скоро настанетъ время, когда спокойное историческое разслѣдованіе окончательно устранить полемическіе приговоры и сумѣетъ бурный періодъ нашей публицистики ввести въ закономѣрный ходъ ея развитія.

На пути къ этой цѣли стоитъ множество препятствій; главнѣйшихъ два—направленіе идей и характеры дѣятелей. Шестидесятые годы выдвинули на первый планъ основные вопросы личной нравственности и культурнаго гражданскаго строя. Они желали построить свои отвѣты на общихъ философскихъ принципахъ, т.-е. создать цѣльное міросозерцаніе въ области философіи, морали и политики. Они, слѣдовательно, мечтали о коренной реформѣ отвлеченной и практической дѣятельности человѣка и гражданина. Задача, равная отыскиванію причины всѣхъ причинъ и во всякомъ случаѣ далеко превосходящая силы и стремленія обычныхъ преобразователей философской мысли и отжившихъ общественныхъ порядковъ.

Она, несомнѣнно, требовала не только исключительныхъ талантовъ, но и особаго метода. Строжайшее изслѣдованіе фактовъ, спокойная разносторонняя критика существующаго и вдумчивая

*) *Ив. Ивановъ*. «Исторія русской критики». 1900 г.

безпристрастная оцѣнка предлагаемыхъ на смѣну ему идеаловъ, крайняя осторожность въ выборѣ *данныхъ* и въ составленіи *умозаключеній*—все это первыя настоятельныя условія не только для рѣшенія поставленныхъ задачъ, а даже для болѣе или менѣе соотвѣтственной и достойной работы надъ ними.

Эти условія оказались съ самаго начала трудно выполнимыми.

Преобразователями философіи и политики являются не изслѣдователи, закаленные въ пріемахъ строго-научнаго мышленія, а юные публицисты. По самой природѣ вещей, для нихъ вся цѣнность и радость труда заключаются не въ подробной кропотливой разработкѣ фактовъ и постепенномъ осмотрительномъ ихъ обобщеніи, а въ возможно смѣлыхъ, быстрыхъ и практически-проложимыхъ выводахъ. Они ищутъ не столько истины, сколько новизны, приспособленной для разрушенія устарѣвшихъ воззрѣній и для подъема молодыхъ, свѣжихъ силъ на борьбу съ развѣнчанными авторитетами и омертвѣвшими вѣрованіями.

Съ одной стороны, страстное желаніе установить всеобъемлющіе научно и логически обоснованные принципы новаго міросозерцанія, съ другой—настоятельная потребность непосредственно примѣнить ихъ къ дѣйствительности, общую идею превратить въ руководящій пароль повседневной дѣятельности. Легко представить при такихъ условіяхъ, что какая-нибудь изъ двухъ цѣлей непременно потерпитъ, будетъ выполнена не съ достоюлжной глубиной и основательностью и безъ надеждъ на прочный успѣхъ. Или философскій принципъ будетъ опредѣленъ слишкомъ поспѣшно и не на достаточно солидныхъ фактическихъ основаніяхъ, или практическое приложеніе его приведетъ стремительную мысль преобразователей къ результатамъ, менѣе всего научнымъ и логическимъ. И та и другая неудача будутъ зависѣть вовсе не отъ злой воли, или какихъ-либо другихъ нравственныхъ изыновъ нашихъ мыслителей, а будутъ вызваны разумной необходимостью, самой постановкой философской системы на жгучую перерождающуюся почву дѣйствительности.

Эта почва, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ нуждается преимущественно въ молодыхъ отважныхъ силахъ. Новая жизнь должна создаваться и новыми людьми, вновь подниматься только что накаленными плугами и еще не истощенными работой пахарями. Но дѣло въ высшей степени усложняется, если одновременно однимъ и тѣмъ же людямъ приходится расчищать будущую ниву, выбирать сѣмена, сѣять ихъ и сторожить посѣвъ отъ истребленія и потравы.

Именно въ такое положеніе стали новые люди шестидесятыхъ годовъ. При первомъ же появленіи на сцену, ихъ встрѣтила эгоистическая и тѣмъ болѣе слѣпая вражда. Они съ перваго шага вынуждены были и отстаивать свое право на существованіе, и выяснять свою вѣру, и доказывать ея жизненную цѣлесообразность. Требуется исключительная разносторонность талантовъ и гибкость умовъ. Многому научиться и умѣть говорить непременно общедоступнымъ, увлекательнымъ языкомъ, владѣть навыкомъ отвлеченнаго мышленія и научныхъ доказательствъ и являться во всеоружіи полемической находчивости, остроумія, блестящей діалектики, возводить собственное зданіе и наносить удары чужому—это поистинѣ героическая работа и она цѣликомъ лежала на плечахъ молодежи шестидесятыхъ годовъ. Мы, встрѣчаясь съ юношескимъ задоромъ, часто наивнымъ самооболеніемъ и самоувѣренностью, не должны забывать, на какой дѣйствительно драматической сценѣ подвизались эти юноши? Человѣку позволительно даже преувеличить представленіе о своихъ силахъ и рисовать въ слишкомъ радужныхъ краскахъ плоды своихъ усилій, если онъ, дѣйствительно, предоставленъ самому себѣ и видитъ, какъ съ каждымъ днемъ увеличивается число его слушателей и уменьшается строй его противниковъ.

Шестидесятники это видѣли и имѣли неизмѣримо больше основаній, чѣмъ современные имъ олимпійцы, высоко цѣнить свои дарованія.

А что касается стремленій,—безъ всякихъ личныхъ и себялюбивыхъ иллюзій шестидесятники могли считать ихъ потребностью времени и предсказать будущее, по крайней мѣрѣ, многимъ изъ своихъ идеаловъ.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ существеннѣйшія основы новыхъ ученій. Онѣ прежде всего поражаютъ насъ вовсе не новизной. Совершенно напротивъ. Отъ самыхъ запальчивыхъ проповѣдниковъ новаго слова мы услышимъ чрезвычайно старыя рѣчи, пережившія множество многолѣтнихъ годовщинъ. Мы увидимъ,—русскіе шестидесятники выполняли исконный законъ общественнаго культурнаго прогресса, возобновляли старую первую главу въ исторіи всякаго преобразовательнаго движенія.

У цивилизованнаго человѣчества были и остаются въ распоряженіи два пути нравственной и практической жизни: прежде всего, готовые, уже выработанныя обобщенія наблюденныхъ и объясненныхъ фактовъ и вновь открытые или иначе истолкованные факты. Преданія — не что иное, какъ давнишніе выводы изъ

давнишнихъ опытовъ; авторитетъ—власть, основанная на этихъ выводахъ. Но съ теченіемъ времени факты увеличиваются въ количествѣ, способы наблюденія изощряются, объясненіе становится глубже и точнѣе, слѣдовательно и обобщенія должны соотвѣтственно мѣняться и авторитеты терять старыя точки опоры. Это совершенно естественное движеніе, столь же неотвратимое и неизбѣжное, какъ накопленіе жизненнаго опыта и усовершенствованіе общихъ возрѣній у каждого человѣка отдѣльно.

Рѣшительный переломъ въ возрѣніяхъ, не удовлетворяющихъ смыслу вновь приобрѣтенныхъ достовѣрныхъ данныхъ, всегда и вездѣ обозначается однимъ и тѣмъ же понятіемъ: старое противорѣчить *природѣ и здравому смыслу*. Прежнія обобщенія не соотвѣтствуютъ изученной дѣйствительности, они, слѣдовательно, *противоестественны и неразумны*. Эти понятія тождественны: природа и разумъ сливаются въ одну воинственную и преобразывающую силу. Факты—это сама природа, смыслъ ихъ—разумъ; очевидно, новое возрѣніе только потому и можетъ разсчитывать на побѣду, что оно основывается одинаково на природѣ и логикѣ.

Съ такими разсужденіями стойки шли на разлагавшійся языческій нравственный и политическій строй; философы XVIII вѣка разрушали «старый порядокъ», и ихъ ближайшіе предшественники—люди Возрожденія и Реформаціи—подрывали истины среднихъ вѣковъ и авторитетъ католической церкви. Подробнѣе и настойчивѣе всѣхъ преобразовательную философію выяснили энциклопедисты. Они не переставали твердить о природѣ, естественномъ порядкѣ вещей, естественныхъ потребностяхъ человѣка; метафизикъ—противоставлять опытную науку, т.-е. факты наглядной дѣйствительности; хитроумнымъ и обременительнымъ отвлеченностямъ схоластики—истины и правила здраваго смысла. Такъ именно и называлъ новую философію Вольтеръ, а Руссо старался изъяснить сущность *естественнаго состоянія*. *Les lois de la nature et de la raison*—законы природы и разума—въ этихъ словахъ вся мудрость XVIII вѣка, притязавшаго создать новую землю и новое небо.

Совершенно такимъ же путемъ шли и русскіе *новые люди*.

Ихъ общія возрѣнія чрезвычайно просты. Они установлены первыми вождями движенія—Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Ученики прибавили свои выводы, но сущность ученія оставалась неизмѣнною съ первыхъ статей автора *Антропологическаго кри-*

чина въ философіи до самыхъ радикальныхъ откровеній Вареоломея Зайцева *).

«Для того чтобы образовался ясный и правильный взглядъ на предметъ, нужны факты»; это одно изъ самыхъ раннихъ заявленій Чернышевскаго ¹⁾. *Факты* должны быть единственными источниками нашихъ знаній и нашей философіи, и Добролюбовъ въ основу характеристики новыхъ людей, молодого поколѣнія, положить «ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительною жизнью», съ «частными фактами», отвращеніе къ абстракціямъ и фантастическимъ представленіямъ. «Положительность», реализмъ съ одной стороны, съ другой—«благородныя мечты» и «идиллическія надежды», *дѣло* и *фраза*, такъ ясно и кратко можно выразить контрасты отцовъ и дѣтей ²⁾.

Итакъ, *факты*—единственные руководители философа и моралиста. Но они существуютъ затѣмъ, чтобы дѣлать выводы, т.-е. обобщенія. Новая истины должны устранить старыя, и, слѣдовательно, новые люди перемѣняютъ только способъ добыванія общихъ идей,—обратятся къ природѣ, а не къ отвлеченному мышленію и воображенію.

Чему же учить природа?

Первый и нагляднѣйшій выводъ: закономерность и неотразимая причинность явленій. Въ мірѣ фактовъ нѣтъ произвола и случайностей. Все послѣдующее неразрывно связано съ предыдущимъ, все одновременно—и причина и слѣдствіе. «Законъ причинности», «необходимость вещей»—истины, одинаково приложимыя и къ міру физическому и нравственному. Каждый фактъ—слѣдствіе другого въ природѣ и каждый поступокъ—необходимый результатъ факта въ жизни человѣка ³⁾.

Итакъ, всеобъемлющій, всеподчиняющій законъ причинности—первый урокъ, какой даютъ намъ факты, т.-е. природа и дѣйствительность.

Дальше слѣдуютъ логическіе выводы.

Разъ въ природѣ все закономерно, мы имѣемъ право отъ извѣстныхъ уже наблюденныхъ фактовъ дѣлать умозаключенія о неизвѣстныхъ и даже недоступныхъ наблюденію.

*) Зайцевъ—сподвижникъ Писарева и вѣрный его послѣдователь и оруженосецъ. Н. Д.

¹⁾ Въ рецензіи на переводъ сочин. Аристотеля «О поэзіи».—«Отеч. Записки», 1854, № 9, критика.

²⁾ Сочиненія. II, 418, III, 357—9.

³⁾ Чернышевскій.—«Критич. статьи». Спб. 1895, стр. 342, 347—8. «Антропол. принципъ».—«Соврем.» 1860, май, 7.

Мы, напримѣръ, не изслѣдовали внутренней Австраліи и Африки. Можетъ-быть, тамъ существуютъ какія-нибудь новыя горныя породы, новыя растенія, новыя метеорологическія явленія. Съ точностью пока нельзя сказать, что это за вещи и явленія, но можно съ достовѣрностью утверждать, какихъ вещей и явленій не найдется нигдѣ на земномъ шарѣ и *какого характера* будутъ предметы и феномены въ центрѣ земли и на какой-угодно точкѣ ея поверхности. Такимъ образомъ, «методъ отрицательныхъ заключеній» также одно изъ пріобрѣтеній фактического знанія ¹⁾.

До сихъ поръ философія идетъ вполне гладко и факты даютъ достаточное основаніе для выводовъ.

Но цѣль нашихъ философовъ вовсе не естественно-научныя истины, все равно какъ и для философовъ XVIII вѣка природа и ея законы отнюдь не представлялись источникомъ самодовлѣющаго спокойнаго созерцанія. Природа для всякаго нравственнаго мыслителя поучительна лишь въ интересахъ его воззрѣній на чело-вѣка и общество. Она—только фундаментъ для зданія, именуемаго новымъ порядкомъ чело-вѣческой жизни. Она *первая* посылка въ силлогизмѣ, гдѣ *вторая*—человѣкъ, какъ одно изъ явленій природы, и *заключеніе*—программа новой морали и политики.

Фактъ—неизмѣнный при всѣхъ преобразовательныхъ движеніяхъ мысли. Естествознаніе въ такія эпохи не что иное, какъ арсеналъ для культурной борьбы; наука—щитъ и мечъ новыхъ людей въ бою съ защитниками «фантастическаго міросозерцанія». И ученѣйшій изъ французскихъ энциклопедистовъ, Даламберъ, превосходно выразилъ эту мысль въ предисловіи къ *Энциклопедіи*.

По мнѣнію знаменитаго математика, изученіе природы само-по-себѣ «холодно и спокойно», и чувство естествоиспытателя «однообразно, сдержанно и неподвижно». А новымъ людямъ нужны «живыя удовольствія», и ихъ методъ философствовать—нѣчто въ родѣ длящагося состоянія энтузіазма—une espèce d'enthousiasme. Открытія вызываютъ у нихъ «подъемъ идей», «броженіе ума», и оно, по словамъ Даламбера, направляется на все съ крайнимъ увлеченіемъ—avec une espèce de violence!..

Въ высшей степени краснорѣчивое признаніе! Энтузіазмъ, подъемъ идей, стремительность и непремѣнно даже въ изслѣдованіяхъ природы,—это останется вѣчною характеристикой всѣхъ преобразователей жизни на основахъ разума.

¹⁾ «Антропол. принципъ».—«Соврем.», апрѣль, 360—1.

Шестидесятники не только не могли отступить отъ общаго закона, но по условіямъ времени и среды должны оправдать его съ особенною силой. Они не имѣютъ возможности пережить и одной минуты спокойнаго, *отрѣшеннаго* размышленія. Они не уходятъ съ боевого поля и не снимаютъ доспѣховъ, все равно, о чемъ бы имъ ни приходилось бесѣдовать съ своей публикой—о наукѣ, о литературѣ, о Молешоттѣ, о Фетѣ, о Боклѣ или о Катковѣ. «Броженіе» не покидаетъ ихъ и не могло покинуть: врагъ слѣдитъ за каждымъ ихъ движеніемъ, и во всякую минуту готовъ нанести ударъ, покрыть смѣхомъ неловкое слово, извратить неясно выраженную мысль. Дидро привѣтствовалъ историческіе труды Вольтера не за ихъ фактическую полноту, а за искусное философское истолкованіе фактовъ. То же назначеніе имѣли и всевозможныя разсужденія нашихъ просвѣтителей.

Новые люди искренне дорожили фактами, но конечная цѣль заключалась не въ накопленіи фактовъ и даже не въ идеальномъ выясненіи законовъ природы, а въ философскомъ освѣщеніи фактовъ и въ открытіи естественныхъ путей человѣческаго развитія и счастья.

Очевидно, естественно-научныя размышленія шестидесятниковъ явились только *предисловіемъ*: само сочиненіе посвящено не природѣ—а человѣку, не организмамъ—а духу.

II.

Мы назвали два понятія—организмъ и духъ; мы этимъ самымъ допустили величайшую научную ересь. Въ природѣ никакого дуализма не существуетъ: это основное убѣжденіе нашихъ философовъ. Такъ учатъ «медицина, фізіологія, химія», а философія прибавляетъ: «Если бы человѣкъ имѣлъ, кромѣ реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы въ чемъ-нибудь, и такъ какъ она не обнаруживается ни въ чемъ, такъ какъ все происходящее и проявляющееся въ человѣкѣ происходитъ по одной реальной его натурѣ, то другой натуры въ немъ нѣтъ». Такъ разсуждаетъ Чернышевскій; Добролюбовъ въ другихъ словахъ пересказываетъ то же самое:

«Безъ вещественнаго обнаруженія мы не можемъ узнать о существованіи *внутренней дѣятельности*, а вещественное обнаруженіе происходитъ

въ тѣлѣ; возможно ли отдѣлять предметъ отъ его признаковъ, и что останется отъ предмета, если мы представимъ всѣхъ его признаковъ и свойствъ уничтожимъ» ¹⁾).

Добролюбовъ называетъ авторитетовъ, научившихъ его этой философіи: Молешотта, Фохта, Бюхнера и подробно сообщаетъ выводы ученыхъ насчетъ связи количества мозга съ умственными способностями и не отступаетъ даже предъ печальнымъ приговоромъ надъ женскимъ умомъ. Для Добролюбова, автора едва ли не самыхъ рыцарственныхъ статей о литературныхъ женскихъ типахъ во всей русской критикѣ, это должно быть истиннымъ самоотверженіемъ. Но наука впереди всего.

Другихъ доказательствъ матеріальнаго единства челоѣческой природы мы не слышимъ отъ нашихъ публицистовъ. Весь вопросъ сводится къ аксіомѣ: духа нѣтъ, потому что онъ не обнаруживается ничѣмъ другимъ, помимо тѣла. Слѣдовательно, тѣло—*орудіе*? Но Добролюбовъ подмѣняетъ это понятіе, онъ говоритъ: *признакъ*. Двѣ идеи совершенно различны! Нѣкая сила пользуется матеріальными средствами воздѣйствія на внѣшній міръ, но это не значить, будто тѣ же средства ея признаки, т.-е. ея органически неразрывныя принадлежности. Это значить—впадать въ логику младенца, называющаго папой всякаго господина въ такой же шляпѣ, въ какой онъ привыкъ видѣть своего отца. Въ этомъ случаѣ для ребенка шляпа *признакъ*, такъ же какъ ружье въ чьихъ-либо рукахъ непременно заставитъ заподозрѣть солдата или охотника, глядя потому, кого ему назвали въ первый разъ съ такимъ *признакомъ*.

Но даже если остановиться на болѣе осторожномъ выраженіи Чернышевскаго, все-таки *руководящій принципъ* цѣлой философской и нравственной системы требовалъ несравненно болѣе убѣдительныхъ и строгихъ доказательствъ. Дуализмъ можно отвергать, какъ нѣчто бездоказательное и фантастическое, но это еще не уполномочиваетъ разносторонняго ученаго XIX вѣка утверждать *монизмъ*, все равно, матеріальный или идеальный. До какой степени шатка почва у автора *Антропологическаго принципа*, показываетъ его злоупотребленіе аналогіями и сравненіями. Если Платонъ прибѣгалъ преимущественно къ этимъ способамъ доказательства, то, вѣдь, никто никогда и не рассчитывалъ представлять къ нему научныхъ запросовъ и онъ самъ менѣе всего помышлялъ о титулѣ ученаго. А здѣсь насъ предупреждаютъ: совре-

¹⁾ «Сочиненія», II, 33.

менная наука «не принимает ничего безъ строжайшей всесторонней повѣрки и не выводитъ изъ принятаго никакихъ заключеній, кромѣ тѣхъ, которыя сами собою неотразимо слѣдуютъ изъ фактовъ и законовъ, отвергать которые нѣтъ никакой логической возможности» ¹⁾).

Неужели, въ самомъ дѣлѣ, естественныя науки развились настолько, что даютъ возможность «точного рѣшенія нравственныхъ вопросовъ»?

Какія же это точныя рѣшенія?

Разъ человѣческая природа только организмъ, все, примѣнимое къ животнымъ, относится и къ ней, т.-е. вся психологія и мораль.

Объ не требуютъ пространныхъ разговоровъ. Явленія нравственного и матеріальнаго порядка *качественно* ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга. Мало того. Организмы и неорганическія вещества находятся въ такомъ же взаимномъ отношеніи. Это только *по количеству* различныя соединенія элементовъ. Дерево и неорганическая кислота двѣ химическія комбинаціи, одна простая, другая сложная, одна, положимъ, 2, другая—200. Человѣческій организмъ «очень многосложная химическая комбинація, находящаяся въ очень многосложномъ химическомъ процессѣ» ²⁾).

Всѣ эти положенія—исконный символъ вѣры матеріализма. Нѣтъ ни одной философской системы, которая такъ безнадежно не вращалась бы въ заколдованномъ кругу однихъ и тѣхъ же представленій. Съ теченіемъ времени могли измѣняться *формулы*, въ зависимости отъ фактовъ и гипотезъ опытныхъ наукъ, но сущность воззрѣнія осталась до конца XIX вѣка въ томъ же состояніи, въ какомъ ее завѣщали своимъ ученикамъ древніе матеріалисты—Демокритъ, Лукрецій*). Воюя съ метафизикой и про-

¹⁾ «Современникъ», апр., 365.

²⁾ «Совр.», апрѣль, 5.

*) Отецъ матеріализма Демокритъ род. около 460 г. до Р. Х. и прожилъ болѣе 100 лѣтъ. Послѣ Аристотеля это былъ самый ученый философъ древности. Его ученіе есть послѣдовательный атомистическій механическій матеріализмъ. И до нашихъ дней основа ученія Демокрита является фундаментомъ матеріализма. Демокритъ отрицаетъ дуализмъ нашей природы и утверждаетъ, что все вещественно, и духовнаго начала, существующаго отдѣльно отъ матеріальнаго, нѣтъ. Весь міръ состоитъ изъ атомовъ. Атомы отличаются другъ отъ друга не своимъ качествомъ, а величиной и формой. Міръ возникъ отъ движенія атомовъ чисто механическимъ путемъ. Первоначально атомы скоплялись, при движеніи, съ разныхъ сторонъ; такъ возникъ вихрь, распланировавшійся на огромное пространство, и образовался міръ. Душа у

изволомъ фантазіи, матеріализмъ всегда являлся одной изъ самыхъ догматическихъ системъ метафизики*). Если метафизики своимъ *апріорнымъ* построєніямъ приписывали *фактическую* цѣнность, матеріалисты *факты* возводили на совершенно *фантастическую* высоту и въ *общихъ выводахъ* теряли почву дѣйствительности и руководство науки съ неменьшимъ ослѣпленіемъ, чѣмъ глубокомысленные скоттусы среднихъ вѣковъ. У метафизиковъ *внутренній опытъ* часто доходитъ до яснovidѣнія, у матеріалистовъ *внѣшняя дѣйствительность* является гипнозомъ не только для научной логики, но и для здраваго смысла.

Какія, напримѣръ, наблюденія дали нашему философу право утверждать *количественную* разницу между кислотой и человѣкомъ? Какую тайну онъ разъяснилъ, подмѣнивъ метафизическіе термины новыми—комбинація элементовъ, химическій процессъ? Чью пытливость ума онъ успокоилъ, настаивая на законѣ причин-

насъ, по мнѣнію Демокрита, существуетъ, но она такъ же матеріальна и состоитъ такъ же изъ атомовъ, какъ и наши руки и ноги.

Н. Денисюкъ.

*) Въ противоположность эмпирическимъ наукамъ, т.-е. наукамъ, изслѣдующимъ міръ и его явленія при посредствѣ *опыта*, метафизика стремится познать истинную сущность явленій помимо опыта, ибо трансцендентальныя основы бытія недоступны для опыта. Рационалистическая метафизика (Платонъ, Аристотель, Декартъ, Спиноза, Лейбницъ, Фихте, Гегель и др.) утверждаетъ, что человѣческій разумъ, благодаря врожденнымъ ему чистымъ (не исходящимъ изъ опыта) понятіямъ, способенъ къ познанию трансцендентальнаго бытія. Другіе же представители метафизики (напр., мистики, Шеллингъ, Шопенгауеръ) утверждаютъ, что человѣческій духъ непосредственно постигаетъ абсолютное бытіе путемъ особаго *сверхчувственного* («интеллектуальнаго») созерцанія, и потому не признаютъ никакого другого метода, кромѣ метода *г е н і а л ь н о й и н т у и ц і и*. Шопенгауеръ признаетъ, что пространство, время и причинность не что иное, какъ субъективныя формы нашихъ представленій. «Самый матеріалъ познанія весь состоитъ изъ субъективныхъ ощущеній, для которыхъ умъ, въ силу присущаго ему закона, ищетъ внѣшней причины». Вотъ почему внѣшніе предметы, въ существѣ своемъ не что иное, какъ созданное нашимъ умомъ представление. Весь міръ—говоритъ Шопенгауеръ—есть только наше представление или явленіе нашей мозговой дѣятельности. Знаменитый философъ нашу дѣйствительность считаетъ даже подобіемъ сна и признаетъ, что сонъ и познаніе, въ сущности, явленія однородныя. Существуетъ еще третій видъ метафизической системы—аналитически-индуктивный. Представителями ея являются Гербартъ, Лотце и Гартманъ. Они не отрицаютъ опыта, но разсматриваютъ его, какъ основаніе, изъ котораго нужно исходить, и идя шагъ за шагомъ достигъ такимъ путемъ правильнаго пониманія трансцендентальнаго бытія, т.-е. той истинной сущности явленій, которая недоступна для опыта. Надо исходить отъ видимаго и осязаемаго къ незримому и неподдающемуся грубой индукціи.

ности? Не въ правѣ ли читатель задать ему рядъ вопросовъ: вы отождествляете фактъ съ причиной, но почему же глава позитивизма, Контъ, призналъ доступнымъ только знаніе послѣдовательности и сосуществованія явленій, а не причинности? Почему даже философъ XVIII вѣка, Юмъ, болѣе близкій къ вашимъ воззрѣніямъ, не рѣшился утверждать необходимость связи между фактами-причинами, т.-е. не призналъ *идеи причинности* за данное опытнаго изслѣдованія? И неужели вы желаете уподобиться самому ограниченному изъ положительныхъ пустослововъ, Тэну, покончившему съ вопросомъ о причинности легкомысленнымъ сравненіемъ фактовъ съ арміей солдатъ и причины—съ ея генераломъ? Генераль, вѣдь, тоже солдатъ, только поважнѣе, слѣдовательно и причина тоже фактъ... Это было бы недостойно ни вашего ума ни вашихъ несомнѣнныхъ знаній.

А между тѣмъ, вы дѣйствительно подпадаете подъ насмѣшки даже идеологовъ прошлаго столѣтія. Кондильякъ имѣлъ въ виду философовъ вашего типа, когда смѣялся надъ фанатиками обобщеній*). Мы рождаемся среди лабиринта фактовъ; тысячи путей готовы привести насъ къ заблужденію; выходъ найти необычайно трудно, и вотъ философы прибѣгаютъ къ обобщеніямъ, выбираютъ, на примѣръ, два факта, на самомъ дѣлѣ совершенно несходные другъ съ другомъ и только по внѣшности механически связанные, и воображаютъ, что вышли изъ лабиринта. По мнѣнію, замѣтите, отнюдь не метафизика,—ничего не можетъ быть смѣшнѣе этого приключенія ¹⁾.

Впрочемъ, зачѣмъ обращаться намъ къ чужимъ критикамъ. Въ русскомъ журналѣ въ сороковыхъ годахъ печатались статьи русскаго, безусловно положительнаго мыслителя и либеральнаго публициста: «Письма объ изученіи природы» Герцена. Въ нихъ представлена пространная критика матеріализма сравнительно съ идеа-

Матеріализмъ, въ сущности, есть одинъ изъ видовъ метафизики: это метафизическій реализмъ. Естественно-научный матеріализмъ, хотя и выдаетъ себя за результатъ эмпирическаго опытнаго изслѣдованія природы, но въ дѣйствительности это все та же убѣленная сѣдинами метафизическая система. Онъ, т.-е. матеріализмъ, снова на чисто-раціоналистической почвѣ желаетъ построить міръ; человѣческій духъ желаетъ сдѣлать то, что не можетъ быть сдѣлано только однимъ спеціальнымъ эмпирическимъ изслѣдованіемъ.

Н. Денисюкъ.

*) Кондильякъ (1715—1780 гг.) былъ однимъ изъ основателей сенсуализма и противникомъ матеріализма.

Н. Д.

¹⁾ «*Traité des systèmes*», chap. II.

лизмомъ и показано, сколько *въры* и *произвола* въ мнимо-достовѣрныхъ положеніяхъ матеріалистовъ. Правда, разсужденія не могутъ похвалиться ясностью, и авторъ будто намѣренно старался явиться глубокомысленнѣе при помощи запутанной рѣчи. Но сущность авторскихъ убѣжденій—несомнѣнна. Она вполнѣ выразилась въ сочувственной ссылкѣ на слѣдующія слова одного нѣмецкаго анатома:

«Разбирая сложныя явленія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи. Но желаніе эти категоріи вывести изъ чего-либо внѣшняго было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски: такъ поступала Локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта»¹⁾.

Разсужденія Герцена не оставили никакихъ слѣдовъ въ воспитаніи *новыхъ людей*. Они предпочли съ *энтузіазмомъ* воспринять крайніе выводы Молешотта и Бюхнера и примѣнить ихъ къ рѣшенію труднѣйшихъ вопросовъ человѣческой нравственности.

Трудности этой для Чернышевскаго не существовало съ того момента, когда онъ увѣровалъ въ качественное тожество человѣческаго и животнаго организма. Ему оставалось только наблюденія надъ мозгомъ животныхъ перенести въ человѣческое общество.

Прежде всего, не можетъ быть сомнѣнія, что такъ-называемые умственные процессы по существу одинаковы у человѣка и животнаго. Нервная система Ньютона и нервная система курицы отличаются только *размѣрами* процесса; все равно какъ полеты мухи и орла. Самосознаніе такая же бессмыслица, какъ самосеребро: вѣдь бѣднякъ и Ротшильдъ отличаются только количествомъ серебра; у Ротшильда нѣтъ никакого особаго серебра, такъ же и у человѣка нѣтъ другого сознанія, кромѣ свойственнаго собакѣ и курицѣ. Другими словами, это значитъ,—человѣкъ не отдаетъ себѣ отчета въ нравственной цѣнности своихъ поступковъ, никогда не бываетъ судьей своихъ чувствъ и дѣйствій, потому что самосознаніе—критика своего я.

Вы удивлены: какимъ путемъ можно додуматься до отрицанія столь простаго, всѣмъ извѣстнаго и доступнаго опыта! Ни у одного ученаго нѣтъ матеріала, чтобы заподозрѣть у собаки способность сознательнаго выбора между разными влеченіями,—выбора, основаннаго на примѣненіи извѣстныхъ общихъ понятій къ отдѣльному случаю. И только въ средніе вѣка могли судить животныхъ

¹⁾ Герценъ. «Сочиненія». II, 257, 284 etc.

и даже предметы за нарушение гражданскихъ и нравственныхъ законовъ: по логикѣ матеріализма выходить, — эти процессы вполне основательны.

И въ самомъ дѣлѣ, нашъ философъ поставленъ въ необходимость создать гармонію между нравственнымъ міромъ животного и человѣка. Онъ долженъ, слѣдовательно, унижить человѣка и возвысить животное. Это онъ совершить будто по программѣ. О любви курицы къ цыплятамъ, высиженнымъ ею изъ яицъ другой курицы, онъ будетъ говорить очень трогательно:

«Она любитъ ихъ потому, что положила въ нихъ часть своего нравственного существа—не матеріальнаго существа, нѣтъ: въ нихъ нѣтъ ни частички ея крови,—нѣтъ, въ нихъ она любитъ результаты своей заботливости, своей доброты, своего благоразумія, своей опытности въ куриныхъ дѣлахъ: это отношеніе чисто-нравственное».

О человѣкѣ пойдетъ иной разговоръ. Всѣ его дѣйствія управляются эгоизмомъ. Положимъ, и курица эгоистична, но по поводу, напримѣръ, слезъ матери о смерти ребенка, уже не вспоминается о «чисто-нравственномъ отношеніи», а подчеркивается въ ея причитаніяхъ *я, мое, у меня*, т.-е. чисто эгоистическія чувства. Вообще, всюду человѣкъ руководится расчетомъ, выбираетъ большую пользу или большее удовольствіе. Курица, поэтому, выходитъ выше: у нея нѣтъ способности разсчитывать и выбирать, и она подвигается въ добръ по влеченію своей благородной природы ¹⁾.

Такова философская система, положенная шестидесятниками въ основу литературныхъ и общественныхъ воззрѣній. Нѣтъ нужды разбирать всѣ ея частности, настаивать, напримѣръ, на совершенно бездоказательномъ отождествленіи движеній нервовъ съ ощущеніями, представленіями и даже идеями. Физиологъ знаетъ, что внѣшнія явленія вызываютъ движеніе нервной системы, но какимъ путемъ въ результатѣ движенія получается идейный процессъ, никакой опытъ ему этого не показываетъ. Настоящій ученый долженъ сознаться, что для него весьма многое остается тайной въ нравственномъ мірѣ человѣка, послѣ изученія всевозможныхъ химическихъ процессовъ, и онъ не имѣетъ никакого права отъ извѣстныхъ фактовъ анатоміи и физиологіи дѣлать заключеніе о неизвѣстныхъ и даже недоступныхъ *внѣшнему наблюденію* фактахъ психологіи. Чернышевскій, отрицая самосознаніе, забылъ и о самонаблюденіи, о томъ, что психологи называютъ *внутреннимъ опытомъ*, т.-е. о важнѣйшемъ источникѣ психологіи, какъ науки.

¹⁾ «Соврем.», май, 30—1, 33, 35.

Очевидно, всякій читатель, вовсе не идеалистъ и не метафизикъ, могъ разсмотрѣть шаткость и искусственность сооруженія Чернышевскаго. Оно не выдерживало критики, преимущественно съ его собственной точки зрѣнія, воздвигалось на обобщеніяхъ, отнюдь не оправдываемыхъ «современной наукой» и безпрестанно украшалось аналогіями и другими фигуральными доказательствами, вмѣсто научно обоснованныхъ фактовъ. Разсужденіе объ *Антропологическомъ принципѣ въ философіи* слѣдуетъ признать слабѣйшимъ произведеніемъ знаменитаго публициста. Ни въ одной его статьѣ мы не найдемъ такой вереницы непродуманныхъ мыслей, произвольныхъ выводовъ, куріозныхъ, даже комическихъ сопоставленій и такого вопіющаго нарушенія основного принципа—положительности и реализма. Чернышевскій оказался авторомъ въ полномъ смыслѣ метафизическаго трактата и уподобился метафизикамъ въ дальнѣйшей политикѣ, вызванной печатными возраженіями на его произведеніе.

Метафизики, по самому существу своего мышленія, *не могутъ* доказывать своихъ идей. Ихъ дѣло категорически наставлять и производить откровенія. Всякая метафизическая система непременно догматъ для вѣрующихъ и романъ для скептиковъ. Такъ искони ведется и никогда, вѣроятно, не кончится. Отсюда—исторически извѣстная нетерпимость и запальчивость метафизиковъ. Они признаютъ только прозелитовъ и невѣрныхъ, и ни одна наука не представляетъ примѣровъ такихъ яростныхъ междоусобицъ, какъ диспуты метафизиковъ.

Ничего другого отъ нихъ нельзя и ждать. Но неизмѣримо высшій и культурный долгъ лежитъ на человѣкѣ, провозглашающемъ себя апостоломъ строгой доказательной науки. Онъ не можетъ декламировать, вопіять, инсинуировать—вообще сражаться оружіемъ прорицателей, владѣющихъ высшими тайнами. Онъ встанетъ за свою истину спокойно, исполненный благородной и величаво-скромной увѣренности въ правотѣ своего дѣла. У него неисощимый запасъ фактовъ и идей, ясныхъ, какъ лучи солнца, и также губительныхъ для всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ микробовъ. И не должно и не можетъ быть отраднѣе и величественнѣе зрѣлища, чѣмъ борьба просвѣщеннаго разума и неотразимо-правдиваго знанія съ полубезотчетными грезами и трусливой схоластической изворотливостью людей—косной мысли и духовной слѣпоты.

Какъ же поступилъ Чернышевскій, вызванный на открытый бой ненавистною метафизикой, «фантастическимъ міросозерцаніемъ»?

Моментъ великаго историческаго и культурнаго смысла! Онъ—единственный во всей литературной дѣятельности Чернышевскаго, показавшій его не въ свѣтѣ, приличествующемъ вождю и учителю. И это зависѣло не отъ недостатка воли и таланта, а отъ самого дѣла, завѣдомо проиграннаго для какого-угодно защитника.

III.

Одинъ только разъ Каткову удалось литературными средствами поставить своихъ враговъ—новыхъ людей—въ двусмысленное положеніе—не то побѣжденныхъ, не то не принявшихъ вызова. И даже не самъ Катковъ создалъ это положеніе, а профессоръ кievской духовной академіи Юркевичъ. Катковъ только съ большимъ трескомъ и крикомъ воспользовался чужою статьею противъ философіи Чернышевскаго.

Возражать противъ этой философіи рѣшительно не стоило никакихъ усилій ума и знанія. Возраженій не мало можно найти въ самой статьѣ, чѣмъ, впрочемъ, Юркевичъ именно и не воспользовался, а потомъ въ многолѣтней полемикѣ идеалистовъ съ матеріалистами. Даже Катковъ, читавшій въ московскомъ университетѣ весьма посредственныя лекціи по исторіи философіи, могъ бы удачнѣе возражать философу *Современника*: онъ, по крайней мѣрѣ, спасся бы отъ *поколику*—*потоліку* и прочей семинарской философской оснастки. Въ статьѣ Юркевича нѣтъ ни одного самостоятельнаго довода, ни одной свѣжей и яркой мысли и *Русскій Вѣстникъ* въ компаніи съ *Отечественными Записками* только въ порывѣ полемическаго задора могли прійти въ восторгъ отъ учености и даже талантливости профессора. Чернышевскій имѣлъ основаніе съ легкимъ духомъ относиться къ самому Юркевичу, но у него не было ни литературнаго ни нравственнаго права пренебрегать тѣми возраженіями и запросами, какіе—устаи зауряднаго автора—обращали къ нему логика, наука и общечеловѣчскій здравый смыслъ. Юркевичъ ни единого слова не говорилъ отъ себя, хотя ни на кого и не ссыался; Чернышевскій, дѣйствительно, во всей статьѣ, съ первой строчки до послѣдней, встрѣчалъ все мысли давно ему знакомыя и, можетъ-быть, даже полнѣе, чѣмъ Юркевичу. Но значеніе компиляціи кievскаго профессора въ томъ и заключалось, что она представляла не личныя воззрѣнія какого-нибудь метафизика и схоластика или наивнаго школьнаго идеалиста, а повторяла исконную и пока неопровержимую кри-

тику истинно положительных умовъ противъ матеріализма. Если бы Катковъ и Дудышкинъ обладали серьезными познаніями въ области новой философіи, они могли бы двинуть противъ Чернышевскаго неизмѣримо болѣе внушительную армію фактовъ и авторитетовъ, чѣмъ критика Юркевича. И Чернышевскій не могъ этого не знать,—онъ, по обширности и основательности научныхъ свѣдѣній годинувшійся въ учителя всей редакціи *Русскаго Вѣстника*. Достало бы у него и полемическаго и литературнаго таланта, чтобы положить на мѣстѣ и Юркевича и Каткова, перепечатавшаго его статьи съ восторженными примѣчаніями.

И все-таки у современной безпристрастной публики должно было остаться впечатлѣніе, весьма невыгодное для Чернышевскаго. Впечатлѣніе это переживаетъ и современный читатель.

Въ самомъ дѣлѣ, допустима ли въ основныхъ вопросахъ цѣлаго направленія слѣдующая тактика?

Статья Юркевича появляется въ *Трудахъ кievской духовной академіи*: *Современникъ* пренебрегаетъ. Статью перепечатываетъ *Русскій Вѣстникъ*. *Отечественныя Записки* спѣшатъ воспользоваться случаемъ,—вся большая публика, слѣдовательно, призывается въ судьи вопроса. Молчать невозможно уже послѣ усердія Каткова, петербургскій журналъ требовалъ еще болѣе рѣшительнаго отвѣта.

И Чернышевскій отвѣчалъ своимъ противникамъ, не Юркевичу, собственно, а его популярнымъ покровителямъ, т.-е. поступись съ самага начала въ совершенный ущербъ дѣлу.

Нелитературная брань Каткова, его чрезвычайно крѣпкія слова, которыя могли бы сдѣлать честь самой національной московской площади,—все это говорило за себя и не стоило соревонованія. Не стоило уже потому, что *Русскій Вѣстникъ* былъ явно одержимъ сильными чувствами и вовсе не вдохновлялся ни наукой ни истиной. Юркевичъ не обнаруживалъ недуга и скромно выполнялъ роль пересказывателя выученныхъ и прочитанныхъ философскихъ идей. Съ нимъ можно было говорить, не утрачивая челоуѣческаго достоинства и не прибѣгая къ боксу и кулаку.

Вмѣсто разговора, Чернышевскій вдругъ заявляетъ, что вся статья Юркевича не заслуживаетъ ни малѣйшаго вниманія. Она не что иное, какъ одна изъ «задачъ», т.-е. школьныхъ семинарскихъ диссертаций. Такія задачи онъ, Чернышевскій, выполнялъ въ саратовской семинаріи и, не читая статьи Юркевича, знаетъ, что въ ней написано. Онъ даже и не прочтетъ ея, а познакомится только въ корректурѣ съ отрывкомъ, какой онъ перепечатаетъ

въ *Современникъ*, т.-е. съ третьей частью статьи. Больше, по закону, перепечатать нельзя, но зато законъ будетъ выполненъ съ точностью: треть статьи придется на *полозину слова*, она и будетъ перепечатана безъ окончанія.

И больше ничего. Въ перепечатанномъ отрывкѣ, между прочимъ, заключается указаніе на грубое отождествленіе нервныхъ движеній съ ощущеніями, т.-е. сліяніе въ одно двухъ явленій, только необходимо связанныхъ другъ съ другомъ. Эта улика безусловно требовала объясненій. Чернышевскій ихъ не даетъ и настаиваетъ, что Юркевичъ нѣчто въ родѣ алхимика и кабалиста и, слѣдовательно, его возраженія «смѣшны и пусты» и даже будто бы онъ «натуралистовъ» считаетъ «пропавшимъ народомъ». Изъ статьи Юркевича послѣдняго вывода никакъ нельзя сдѣлать. Явно публицистъ *Современника* чувствуетъ себя въ не совсѣмъ выгодной позиціи. Это ясно изъ его весьма нетвердой и подчасъ даже неожиданной тактики.

Катковъ и *Отечественныя Записки* обзываютъ его невѣждой; онъ припоминаетъ, что и Гегеля называли невѣждою и что, вообще, «люди рутины упрекаютъ въ невѣжествѣ всякаго нововводителя за то, что онъ нововводитель» ¹⁾).

Это по меньшей мѣрѣ неубѣдительно и даже не лишено наивности. Еще хуже другое возраженіе.

Отечественныя Записки напомнили Чернышевскому, что баронъ Брамбеусъ ²⁾ также отвѣчалъ шуточками и пренебреженіемъ на критику Бѣлинскаго. Чернышевскій принимаетъ сравненіе и отвѣчаетъ журналу, рассчитывавшему оскорбить его сопоставленіемъ съ Сенковскимъ: «Почему же Сенковскій любилъ отшучиваться? Потому, что былъ человѣкъ очень сильнаго ума, находившій, что при своемъ умѣ имѣетъ право презирать противниковъ»

И даже Бѣлинскаго?—спросите вы у того самаго публициста, кто являлся неизмѣнно восторженнымъ почитателемъ критика. Какъ же такая фраза могла попасть подъ его перо? Только въ состояніи полной безвыходности можно заговориться до такой степени, или уже питать къ своимъ противникамъ нестерпимое презрѣніе, даже не удостоивать ихъ болѣе или менѣе серіозной бесѣды и издѣваться надъ ними, принимая съ удовольствіемъ уподобленіе своей личности барону Брамбеусу? По тону рѣчи этого

¹⁾ «Полемическія красоты». Коллекція вторая. «Соврем.» 1861, VII.

²⁾ Сенковскій.

нельзя заключить и тогда бы приемъ публициста оказался бы еще недостойнѣе поднятыхъ имъ самимъ принципиальныхъ вопросовъ.

Очевидно, сраженіе за философію матеріализма кончалось не къ славѣ *новыхъ людей*. Исходъ не заставилъ ихъ одуматься. У Чернышевскаго нашлись послѣдователи съ самой искренней непосредственной вѣрой. Написанный впоследствии романъ *Что дѣлать?* воспроизводилъ *Антропологическій принципъ* въ еще болѣе рѣзкихъ формулахъ, чѣмъ въ статьѣ. Теоріи эгоизма посвящена длинная бесѣда Лопухова и Вѣры Павловны. Героиня, какъ женщина, пугается холодности и беспощадности теоріи, но Лопуховъ сравниваетъ свою философію съ ланцетомъ: онъ не долженъ гнуться, иначе плохо придется пациенту...

Жаль только, герой не объясняетъ, отъ какой именно болѣзни лѣчитъ его теорія исключительно матеріальныхъ побужденій во всѣхъ человѣческихъ дѣйствіяхъ? Выражаться Лопуховъ можетъ очень сильно, особенно, по части сравненій: напримѣръ, «жертва—сапоги всмятку», но ни научность ни логичность проповѣдуемой теоріи отъ этой силы не возвышаются; совершенно напротивъ ¹⁾.

Въ результатѣ, самые приемы полемики Чернышевскаго засвидѣтельствовали несостоятельность его философской системы, и именно потому, что она, при всѣхъ притязаніяхъ на доказательность, явилась только новою формой метафизики и догматизма. Стремленіе создать всеобъемлющее міросозерцаніе на фактахъ химіи и фізіологіи—романтическая мечта, самый слабый пунктъ въ идейномъ творчествѣ шестидесятихъ годовъ. Она принесла безчисленныя бѣдствія новымъ людямъ и ихъ дѣлу. Она заранѣе подорвала кредитъ у другихъ положительныхъ идей эпохи, наложила незаслуженно широкую окраску легкомыслія и умственной незрѣлости на всю работу молодого поколѣнія, дала въ руки Катковымъ благодарнѣйшее оружіе въ борьбѣ съ дѣятелями великихъ талантовъ и добросовѣстнаго труда.

Провозглашеніе матеріализма философской религіей нанесло непоправимый ударъ именно научности и продуманности публицистики шестидесятниковъ. Кто такъ легко и произвольно обращался съ фактами и такъ стремительно и самоувѣренно на нѣсколькихъ разбросанныхъ камняхъ воздвигалъ міровое и вѣчное зданіе, тотъ самъ себѣ отрѣзывалъ пути къ глубокимъ и прочнымъ

¹⁾ «Что дѣлать?» VIII, XIX.—«Современникъ» 1863, мартъ.

вліяніямъ на общество. Отвагой и неограниченной широтой воззрѣній онъ могъ увлечь нѣсколькихъ молодыхъ, талантливыхъ людей, могъ очаровать даже цѣлое поколѣніе непосредственно послѣ гнетущей тьмы и неволи, но упрочить свой *философскій* авторитетъ на будущее у него не было силъ. Мы подчеркиваемъ *философскій* и настаиваемъ на рѣзкомъ разграниченіи матеріалистической метафизики шестидесятихъ годовъ отъ другихъ идейныхъ стремленій молодого поколѣнія.

Источникъ и метафизики и стремленій — одинъ и тотъ же: воззваніе къ природѣ, къ фактамъ, къ естественности. Но метафизика — незаконное дѣтище плодотворныхъ принциповъ, не логическое и не научное. Между нею и ея источникомъ громадная пропасть*). Ее можно было перепрыгнуть только въ азартѣ страстного увлеченія новымъ фантастическимъ міросозерцаніемъ подъ вліяніемъ ненависти къ старому противоположному, но не болѣе фантастическому. Прыжокъ искупленъ дорогою цѣной, и только исторія выполнѣ хладнокровно и справедливо сумѣетъ отличить роковое заблужденіе отъ многочисленныхъ жизненныхъ сѣмянъ, брошенныхъ шестидесятниками на ниву русскаго общественнаго развитія.

Тотъ же Чернышевскій, авторъ злополучнаго трактата, явился истиннымъ продолжателемъ просвѣтительной работы Бѣлинскаго самымъ вѣрнымъ и послѣдовательнымъ изъ всего своего поколѣнія.

Ив. Ивановъ.

*) Метафизика въ древности строилась на физикѣ; это была новая философія, шедшая дальше физики. По-гречески *meta* значитъ *далѣе*.

Эстетика Чернышевскаго *).

I.

Въ *Современникъ* въ 1864 году было объявлено: «Возрожденіе нашей литературы началось, какъ извѣстно, съ 1855 г.»¹⁾. Въ этомъ году Чернышевскій сталъ сотрудникомъ *Современника*, одновременно выпустилъ диссертацию: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности* и превратился въ перваго критика журнала. Но уже въ слѣдующемъ году въ журналѣ появляется Добролюбовъ, къ нему постепенно переходитъ литературная критика. Чернышевскій пишетъ или чисто-публицистическія статьи, или ограничивается историческими и политико-экономическими работами. Такимъ образомъ, главнѣйшій вкладъ Чернышевскаго въ критику шестидесятыхъ годовъ—его диссертация и его же статья объ этой диссертации, излагавшая и дополнявшая ея положенія²⁾. Эта статья гораздо меньше книги, но по содержанію важнѣе ея и для читателя поучительнѣе: авторъ извлекъ изъ книги все существенное и присоединилъ нѣкоторыя поправки и поясненія.

Эстетика Чернышевскаго успѣла выясниться раньше диссертации въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Въ рецензій на русскій переводъ аристотелевскаго сочиненія «О поэзіи» Чернышевскій напалъ на идеалистическую эстетику, требующую отъ искусства «идеаловъ» и унижающую «дѣйствительность». Здѣсь же обнаружился и философскій первоисточникъ личныхъ взглядовъ автора,—нападки Платона на искусство. Платонъ обвинялъ его въ бѣдности, слабости, бесполезности, ничтожествѣ, и нашъ авторъ находитъ эти обвиненія «во многомъ справедливыми и благородными». Авторъ съ видимымъ удовольствіемъ излагаетъ платоновское дѣленіе искусствъ на производительныя и подражательныя. Одни—земле-

*) Ив. Ивановъ. «Исторія русской критики». 1900 г.

1) «Соврем.» 1884, февраль.

2) Неподписанная рецензія.—«Соврем.» 1855, іюнь, подпись Н. П.—а.

дѣліе, ремесла, медицина—заслуживаютъ полнаго уваженія, другія неизмѣримо ниже ихъ. Они «не даютъ человѣку ничего, кромѣ обманчивыхъ, ни въ какое употребленіе не годныхъ копій съ дѣйствительныхъ предметовъ». Ихъ можно приравнять къ парикмахерскому и поварскому искусству. Они стараются только забавлять. Они служатъ къ пріятному, но бесполезному препровожденію времени.

Чернышевскій припоминаетъ, что и Руссо такъ же смотрѣлъ на изящныя искусства, и «знаменитый нѣмецкій педагогъ» Кампе говорилъ: «Выпрямь фунтъ шерсти полезнѣе, нежели написать томъ стиховъ». Авторъ не сомнѣвается, что «многія» изъ обличеній Платона вполне примѣнимы и къ современному искусству. Онъ убѣжденъ, «искусство для искусства» мысль странная, все равно какъ «богатство для богатства», «наука для науки». «Всѣ человѣческія дѣла должны служить на пользу человѣку». И онъ безжалостно издѣвается надъ защитниками искусства, будто оно смягчаетъ сердце и облагораживаетъ душу. Правда, изъ картинной галлерей или театра человѣкъ выходитъ добрѣе и лучше, по крайней мѣрѣ на полчаса, пока не разлетѣлось эстетическое довольство. Но вѣдь и послѣ сытнаго обѣда человѣкъ встаетъ снисходительнѣе и добрѣе. Критикъ обличенія Платона дополняетъ чрезвычайно краснорѣчивымъ сравненіемъ: «Сидѣнье на завалинѣ (у поселянъ) или вокругъ самовара (у горожанъ) больше развило въ нашемъ народѣ хорошаго расположенія духа и добраго расположенія къ людямъ, нежели всѣ произведенія живописи, начиная съ лубочныхъ картинъ до *Послѣдняго дня Помпеи*» *).

Это вполне опредѣленно. Искусство должно приносить совершенно осязательную пользу, иначе оно недостойная забава и тушеядство. И критикъ указываетъ, какую именно пользу: поэзія должна распространять въ массѣ читателей свѣдѣнія и понятія, вырабатываемыя наукой, перечеканивать въ ходячую монету тяжелый слитокъ золота, выловленный наукой. *Поэзія—распространительница знаній и образованности*, только на этомъ условіи она можетъ быть одобрена и допущена.

Эти взгляды высказаны въ 1854 году, а годъ спустя появилась диссертация. Ученой степени, по волѣ высшаго начальства, Чернышевскій не получилъ, но сторицей былъ вознагражденъ популярностью книги. Новаго послѣ только что установленныхъ прин-

*) Знаменитая картина Брюллова.

циповъ она ничего не могла дать и приводила только прежнія отрывочныя замѣчанія въ систему.

Цѣль автора—примѣнить общія воззрѣнія новаго времени къ эстетическимъ вопросамъ. А эти воззрѣнія не что иное, какъ «апологія дѣйствительности сравнительно съ фантазіею». Въ наукѣ метафизика должна уступить мѣсто опытному знанію, въ искусствѣ дѣйствительность должна устранить все фантастическое. Сущность эстетическаго трактата опредѣляется ясно: «Доказать, что произведенія искусства рѣшительно не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью» ¹⁾. И авторъ подробно объясняетъ, до какой степени безсильна фантазія, и, слѣдовательно, искусство создать что-либо прекраснѣе и совершеннѣе дѣйствительныхъ явленій жизни.

«Прекрасное есть жизнь», а не воображаемый идеаль, какъ думаетъ старая эстетика. Мысль эта, повидимому, противорѣчитъ общественнымъ фактамъ. Люди безпрестанно мечтаютъ о совершенствѣ, объ идеальной красотѣ, желаютъ чего-то болѣе возвышеннаго, чѣмъ существующая дѣйствительность. Эти желанія, разъ они ничѣмъ не удовлетворяются, слѣдуетъ признать болѣзненными, а что касается образовъ фантазій, стоитъ приглядѣться къ нимъ, и непременно обнаружится, что они нисколько не лучше реальныхъ лицъ. Наконецъ, фантазія и желанія у здороваго чело-вѣка разыгрываются только при отсутствіи удовлетворительной дѣйствительности. Напримѣръ, въ сибирскихъ тундрахъ еще можно мечтать о садахъ изъ «Тысячи одной ночи», но, напримѣръ, въ небогатомъ, но порядочномъ саду въ Курской или Кіевской губерніи эти мечты навѣрно исчезнутъ ²⁾.

Факты, слѣдовательно, согласны съ выводами современной науки, признающей высокое превосходство дѣйствительности надъ мечтою.

Очевидно, старая теорія «творчества» несостоятельна. Силы творческой фантазій очень ограничены.

«Она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученныя изъ опыта; воображеніе только разнообразить и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытывали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себѣ солнце гораздо больше по величинѣ, нежели каково оно въ дѣйствительности, но ярче того, какъ оно являлось мнѣ въ дѣйствительности, я не могу его вообразить» ³⁾.

¹⁾ «Эст. отнош. искусства къ дѣйств.» Заключение.

²⁾ Ib., изданіе 1864 года, стр. 6—7, 52. Рецензія. «Соврем.» 1855, VI.

³⁾ Ib., стр. 87—8.

Чернышевскій примѣняетъ это соображеніе къ поэтическому созданію типовъ. Обыкновенно думаютъ, будто поэтъ наблюдаетъ множество отдѣльныхъ личностей, подмѣчаетъ у нихъ рядъ общихъ типическихъ чертъ, отбрасываетъ все частное и соединяетъ въ одно художественно-цѣлое.

Такъ, дѣйствительно, говорятъ не только эстетики, но и сами художники. Напримѣръ, Тургеневъ признавалъ, что онъ въ своемъ творествѣ «никогда не отправлялся отъ *идей*, а всегда отъ *образовъ*», а за недостаткомъ *образовъ*, ему приходилось сидѣть сложа руки. Будто бы онъ даже опредѣлялъ количество необходимыхъ для него знакомствъ—для изученія чертъ извѣстнаго характера, именно до пятидесяти. При окончательномъ воспроизведеніи типа писатель непремѣнно нуждался въ «живомъ лицѣ», какъ исходной точкѣ, напримѣръ: рисуя Базарова, онъ представлялъ себѣ личность нѣкоего молодого врача.

Эти признанія не противорѣчатъ разсужденіямъ Чернышевскаго, но и въ томъ и въ другомъ случаѣ отнюдь нельзя сдѣлать логическаго вывода, будто дѣйствительность, въ данномъ случаѣ реальное лицо, выше художественнаго образа. Безспорно, художникъ не можетъ отрѣшиться отъ впечатлѣній дѣйствительности, иначе онъ рискуетъ впасть въ сочинительство и чудовищность. Но это не значить, будто онъ ограничивается точнымъ воспроизведеніемъ «индивидуальныхъ личностей», т.-е. «портретами съ живыхъ людей». Тургеневъ, несомнѣнно, протестовалъ бы, если бы читатели его Базарова отождествили съ его знакомымъ врачомъ. Въ Базаровѣ нашлись бы черты, отсутствовавшія въ личности врача, и художникъ достигъ полной гармоніи: Базаровъ не вышелъ «эклектическимъ существомъ», т.-е. уродомъ, составленнымъ изъ частей разныхъ лицъ. Чернышевскій справедливо смѣется надъ подобнымъ процессомъ, достойнымъ гоголевской героини, но это не тотъ процессъ, какимъ создаются типы. Они —не портреты, романъ не мемуары, біографія героя не исторія. Чернышевскій именно всѣ эти понятія отождествляетъ, но противъ него вопіетъ ежедневный опытъ и писателей и публики и простой здравый смыслъ. Всякій знаетъ, какая разница даже между фотографіей и художественно исполненнымъ портретомъ. Тѣмъ, не менѣе стремительный реалистъ, чѣмъ нашъ критикъ, находилъ, что иной портретъ историческаго лица стоитъ груды документовъ. Тѣмъ, по обыкновенію, схватился за истину такъ, что немедленно перевернулъ ее внизъ головой, но сущность мысли—вѣрна. Стоитъ только побывать въ галлерейхъ старинной живописи, чтобы

вынести чрезвычайно яркое представлѣніе о самыхъ сложныхъ историческихъ эпохахъ.

Очевидно, даже въ портретахъ-картинахъ заключается нѣчто большее, чѣмъ индивидуальныя черты отдѣльныхъ личностей.

Весь процессъ творчества Чернышевскій готовъ свести къ «пониманію, способности отличать существенныя черты отъ неважныхъ». Самъ критикъ, несомнѣнно, обладалъ этими качествами, почему же онъ написалъ такой плохой романъ? Почему его идеальный «новый человекъ»—«свирѣпый» Рахметовъ вышелъ куклой, чрезвычайно пышно убранной многочисленными кричащими ярлыками, но совершенно мертвой и механической? А вѣдь, кажется, рука автора «направлялась живымъ смысломъ» и умомъ, конечно, не уступавшимъ уму даже большихъ художниковъ.

Очевидно, психологія художника и вопросъ о творествѣ несравненно сложнѣе, чѣмъ представляетъ авторъ. Мы могли бы не настаивать на этой истинѣ, если бы она не оказала губительнаго вліянія на послѣдователей Чернышевскаго. Самъ онъ обладалъ слишкомъ крѣпкимъ здравымъ смысломъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ художниковъ приравнять къ копировальщикамъ и искусство къ парикмахерству. Онъ только представилъ извѣстные запросы художникамъ и ихъ талантамъ, но на самое ихъ существованіе не посягнувъ, не дошелъ до отрицанія художественнаго таланта, какъ явленія природы. Этотъ подвигъ будетъ совершенъ Писаревымъ и, мы видимъ, по вдохновенію Чернышевскаго. Онъ поставилъ своего юнаго ученика на предательскій путь—мнимо-реальнаго возрѣнія на сущность художественнаго творчества и толкнулъ его на такіе фантастическіе выводы, къ какимъ пришелъ самъ въ общихъ философскихъ понятіяхъ матеріализма. Это существенная отрицательная черта книги Чернышевскаго. Ее миновали многочисленные критики, съ ожесточеніемъ нападавшіе на новую эстетику. Они привязались какъ разъ къ тѣмъ идеямъ Чернышевскаго, какія являлись продолженіемъ критики Бѣлинскаго, и дѣйствительно оживляли и возрождали современную заиндевѣвшую библіографію и шаблонное рецензентство.

Отечественныя Записки усиливались доказать «самую дорогую, самую близкую» для нихъ «истину»: «нравственное чувство есть то же, что чувство эстетическое, примѣненное только къ дѣйствительной жизни», «чувство эстетическое и гуманное чувство находятся въ неразрывной связи другъ съ другомъ» ¹⁾.

1) «Вопросъ объ искусствѣ», Соловьева.—«От. Зап.» 1865, іюнь, стр. 474.

Аполлонъ Григорьевъ также фанатически держался этой истины, но уже Шиллеръ блистательно успѣлъ ее разбить, самъ Шиллеръ, прекраснѣйшій поэтъ классической и романтической красоты!

Эдельсонъ, издавшій цѣлую книгу противъ критики шестидесятихъ годовъ, также открылъ въ Чернышевскомъ безумнаго врага искусства именно потому, что онъ требовалъ отъ искусства *пользы**). Критикъ рассчитывалъ поразить Чернышевскаго авторитетомъ Бѣлинскаго, высоко ставившаго поэзію и требовавшаго отъ нея только серьезнаго содержанія ¹⁾). Мы знаемъ, *какую* поэзію цѣнилъ Бѣлинскій, и что значило для него серьезное содержаніе. Еще въ ранній періодъ онъ горевалъ, что находятся люди съ талантомъ, способные пѣть, подобно птицамъ, безотчетно и безучастно къ судьбѣ своихъ страждущихъ братьевъ.

Чернышевскій развивалъ именно эту мысль, и нападенія его критиковъ доказывали только ихъ безнадежно-слѣпое пристрастіе къ «святой» старинѣ и «святому» искусству. Психологія творчества не нашла у Чернышевскаго достодолжнаго пониманія, но вопросъ, чѣмъ должно быть искусство, разрѣшенъ критикомъ побѣдоносно для всѣхъ его противниковъ—и современныхъ и позднѣйшихъ.

II.

«Языкъ человѣку данъ не для стихотворнаго или педантическаго пустословія»,—въ этой фразѣ вся *активная* эстетика Чернышевскаго, и она почерпнута у Бѣлинскаго. Великій критикъ идеальнымъ художникомъ считалъ талантъ, воспроизводящій дѣйствительность и силой своей творческой природы осмысливающій ее, т.-е. одушевляющій свое произведеніе духомъ правды и высокихъ стремленій не подъ вліяніемъ отвлеченной мысли, не преднамѣренно, а по внушеніямъ своей натуры.

*) Эдельсонъ принадлежалъ къ молодому кружку Погодинскаго «Москвитянина», въ которомъ критическому отдѣлу давалъ тонъ Ап. Григорьевъ, человѣкъ талантливый, но съ весьма сбивчивыми взглядами. Въ изданной въ Петербургѣ, въ 1867 г., книгѣ «О значеніи искусства въ цивилизаціи» Эдельсонъ пытается выставить Чернышевскаго неудачнымъ разрушителемъ искусства.

Н. Д.

¹⁾ «О значеніи искусства въ цивилизаціи». Спб. 1867, стр. 8—10.

Чернышевскій развиваетъ этотъ принципъ послѣдовательно и съ математической ясностью.

Область искусства, все интересное для человѣка въ жизни и природѣ,—первое положеніе. Второе—назначеніе искусства служить объясненіемъ воспроизводимыхъ явленій. Третье—если художникъ человѣкъ мыслящій, то его произведеніе непременно будетъ приговоромъ мысли о воспроизводимыхъ явленіяхъ. Въ такомъ случаѣ искусство приобрѣтаетъ значеніе *научное*, произведеніе художника становится *учебникомъ жизни*, и здѣсь значеніе его «неизмѣримо огромно», и искусство такая же «насушная потребность человѣка, какъ пища и дыханіе». Одинаково нелѣпо ограничивать жизнь человѣка одною головою или однимъ желудкомъ: жизнь умственная и нравственная—истинно-приличная человѣку» ¹⁾).

Чернышевскій говоритъ о своемъ сочиненіи, что оно «проникнуто уваженіемъ къ искусству». Это несомнѣнно,—только къ искусству просвѣтительному, «мыслящему», къ искусству содержательному и идейному. Его настойчивое возвышеніе дѣйствительности надъ искусствомъ нисколько не вредитъ достоинству искусства и не лишаетъ его самостоятельности и даже «неизмѣримо огромнаго значенія». Пусть только художникъ будетъ мыслителемъ и стоитъ на уровнѣ современной ему науки и передовыхъ общественныхъ стремленій. Желаніе не новое, оно еще высказывалось Веневитиновымъ *) и легло въ основу всей критики Бѣлинскаго.

Но послѣдніе выводы одной и той же идеи оказались далеко не одинаковыми у Бѣлинскаго и его восторженнаго поклонника, и не одинаковыми у самого Чернышевскаго и его учениковъ. Мы

¹⁾ «Эстетич. отношенія», стр. 139, 141—2, 148.

*) Такъ же точно, какъ идеи Бѣлинскаго оказали вліяніе на критическіе взгляды Чернышевскаго, идеи Веневитинова не остались безъ видимаго вліянія на дѣятельность Бѣлинскаго. Читая рядомъ того и другого критика, вы невольно обратите вниманіе на преемственность идей и одинаковый уголъ зрѣнія. Кажется, будто оборванная смертью нить идей Веневитинова была подхвачена Бѣлинскимъ и развита дальше по тому же направленію.

Безъ особой натяжки можно сказать, что Веневитиновъ роди Бѣлинскаго, Бѣлинскій роди Чернышевскаго.

Веневитиновъ требуетъ отъ литератора, чтобы онъ «болѣе думалъ, нежели производилъ», т.-е. онъ требуетъ вдумчиваго, идейнаго отношенія къ литературной работѣ. Въ его время романтики устами Ореста Сомова говорили, что художникъ долженъ быть романтикомъ, а романтизмъ опредѣляли какъ прихоть своенравной поэзіи, «которая отменяетъ все обыкновенное, требуетъ новаго и небывалаго». Веневитиновъ же нападаетъ на такую безпричинную, самодовлѣющую литературу и говоритъ, что «для общества бесполезенъ

знаемъ одинъ изъ первоисточниковъ этого преобразованія:—превратное толкованіе творческаго процесса, другой—еще болѣе сильный,—боевой характеръ всей новой литературы и особенно публицистики.

Въ атмосферѣ шестидесятихъ годовъ трудно было сохранить идеальную послѣдовательность мысли, уравновѣщенную невозмутимую вѣрность какой-либо теоріи, если только она сама-по-себѣ не соответствовала кипучему настроенію молодого поколѣнія. До какой степени несовременными являлись мирныя созерцательныя и творческія добродѣтели, показываетъ примѣръ истинно-художественной и сильной натуры Писемскаго. Даже его шестидесятые годы превратили въ тенденціознѣйшаго публициста и внесли полный разгромъ въ эпическій строй его таланта. Чего же было ожидать отъ юной публицистики, воинственной по призванію, страстно отважной по темпераменту и глубоко убѣжденной на основаніи житейскаго опыта и принциповъ своей философіи, что внѣ общественныхъ и гражданскихъ интересовъ можетъ царить только «злосычная и безпутная пошлость», что мужчина безъ чувствъ гражданина—даже не мужчина, а только существо мужескаго пола и что, наконецъ, и «лучше не развиваться человѣку, нежели развиваться безъ вліянія мысли объ общественныхъ дѣлахъ, безъ всякихъ чувствъ, пробуждаемыхъ участіемъ въ нихъ?»¹⁾

Это общее правило. Время, съ своей стороны, нахлынуло на литературу нескончаемыми запросами жизни и науки. Они до такой степени сложны и значительны, что, въ сущности, эстетика среди нихъ дѣло совершенно второстепенное, и о ней даже можно бы и не говорить²⁾. Если и заходить рѣчь, то, конечно, не ради нея, а ради все тѣхъ же запросовъ, ради отношенія литературы къ нимъ.

Очевидно, искусство, волей-неволей, въ силу духа времени, утрачиваетъ самодовлѣющій интересъ и становится въ подчиненное положеніе къ дѣйствительности, т.-е. главный вопросъ о немъ

поэтъ, который наслаждается въ своемъ собственномъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слѣдовательно, уклоняется отъ цѣли всеобщаго совершенствованія». Въ другомъ мѣстѣ онъ еще опредѣленнѣе выражаетъ ту же идею: «Искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія, современной думы о значеніи и цѣли жизни, о нуждахъ челоѣчества, о вѣчныхъ истинахъ бытія».

Н. Денисюкъ.

1) Чернышевскій.—«Критич. статьи», 261—2.

2) *Соврем.* 1855, VI; «Критич. статьи», стр. 258.

сосредоточивается на его полезности для гражданского и научного развитія.

Къ этой цѣли и направится критика шестидесятихъ годовъ, пройдетъ свой путь съ свойственною ей быстротой, въ нѣсколько лѣтъ достигнетъ полюса не только относительно теоріи искусства для искусства, но даже раннихъ идей Чернышевскаго. И самъ учитель пойдетъ впереди.

Мы видѣли, въ одной изъ первыхъ статей Чернышевскій успѣлъ написать совершенно опредѣленное предисловіе къ своей эстетикѣ, заявить непримиримую вражду къ эстетикѣ идеаловъ. Но отъ этихъ заявленій еще далеко до послѣдняго *реального* момента критической эволюціи автора.

Въ 1855 году Чернышевскій начнетъ *Очерки гоголевскаго періода*: смыслъ ихъ въ популяризациі статей Бѣлинскаго. Эти статьи не были собраны въ отдѣльное изданіе современною публикой, можетъ-быть, полузабыты и теперь являются во главѣ новаго движенія общественной мысли, хотя автора ихъ пока еще нельзя называть *). Сужденія Бѣлинскаго и его полемика съ разнаго сорта публицистами и профессорами положены въ основу историческаго обзора критики. Естественно, очерки украшаются обширнѣйшими выдержками изъ статей Бѣлинскаго и множествомъ фактовъ, дѣлающихъ честь авторской начитанности. Чернышевскій оказывалъ русской публикѣ великую услугу, вводя ее въ историческій ходъ критической мысли. Правда, онъ это дѣлалъ путемъ отдѣльныхъ эпизодовъ, не проводилъ связующей нити между идеями и направленіями, оцѣнивалъ заслуги отдѣльныхъ критиковъ и мало обращалъ вниманія на взаимную зависимость ихъ воззрѣній. Только Бѣлинскій примкнулъ къ Надеждину и даже тѣснѣе, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ. Можно указать и другія неточности и пробѣлы: первая статья Бѣлинскаго не оцѣнена по достоинству, въ ней и въ его гегельянскихъ увлеченіяхъ не прослѣжены зачатки наступившаго вскорѣ новаго періода его критики ¹⁾. Но всѣ эти недостатки исчезаютъ предъ важностью всего дѣла. Западническая партія въ лицѣ Чернышевскаго выполнила задачу, съ которою тщетно носились славянофильскіе патріоты. Она, дѣйствительно, просвѣщала и поучала публику не декламаціями и пророчествами,

*) Имя Бѣлинскаго было запретнымъ потому же, почему и имя Чернышевскаго не произносилось въ печати до нашихъ дней.

Н. Д.

¹⁾ «Очерки гоголевскаго періода русской литературы». Спб. 1893, стр. 228, 269.

а фактами и исторіей. Эта задача такъ и останется лестною привилегіей «западниковъ», «прогрессистовъ», «либераловъ». Они дѣйствительно будутъ работать, не отступая предъ чернымъ трудомъ собиранія данныхъ и изученія документовъ. Въ теченіе какихъ-нибудь десяти лѣтъ они передадутъ публикѣ такую массу свѣдѣній, бросая въ чуткую среду молодыхъ читателей такое количество философскихъ идей и научныхъ выводовъ, что ихъ противникамъ придется или безнадежно опустить руки, или утѣшаться англійскимъ діалектомъ *Русскаго Въстника* и *Московскихъ Вѣдомостей*. И кто же виноватъ, если московскій Athenaeum предпочиталъ щеголять компиляціями Дружинина и туманнымъ сладкогласіемъ Анненкова *) въ то время, когда *Современникъ* давалъ превосходно написанныя статьи по всѣмъ животрепещущимъ наукамъ времени. И статьи отнюдь не партійныя, не полемическія. *Очерки изъ политической экономіи* Чернышевскаго, его тщательнѣйшая критика идей Милля, его монографіи по новой французской исторіи не утратили своего значенія до послѣдняго времени, и не мертвеннымъ, хотя и ученымъ диссертациямъ Соловьева, и не философскимъ экскурсамъ Юркевича было соревновать съ талантомъ одного изъ самыхъ блестящихъ публицистовъ своего времени,—не только въ Россіи.

Очерки заканчивались рѣшительнымъ заявленіемъ, что Бѣлинскій остается «лучшимъ и современнымъ выраженіемъ» русской критики. Авторъ это доказываетъ большою статьею о Пушкинѣ.

Она преисполнена почтительныхъ чувствъ къ поэту. Онъ «благороднѣйшій человѣкъ», онъ «навсегда останется великимъ поэтомъ», но и умъ его равнялся таланту, а по образованности даже теперь въ русскомъ обществѣ найдется немного людей, равныхъ Пушкину. Это видно изъ бѣглыхъ отрывочныхъ замѣчаній Пушкина по разнымъ вопросамъ литературы—о народности, о нѣкоторыхъ писателяхъ, ихъ глубокой обдуманности его поэтическихъ произведеній. Значеніе его въ исторіи русской образованности не меньше, чѣмъ въ исторіи русской поэзіи.

«Его произведенія могущественно дѣйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзіи въ массѣ русскаго общества; они умножили въ десять разъ

*) Авторъ статьи совершенно вѣрно указываетъ на неопредѣленность литературныхъ требованій тогдашняго виднаго критика П. В. Анненкова. Онъ умѣлъ сочетать въ своихъ статьяхъ симпатіи къ «чистому искусству» съ идейными требованіями. «Мысль убиваетъ искусство и женщину»,—сказалъ однажды Анненковъ въ своемъ письмѣ къ Огареву.

число людей, интересующихся литературою и через то дѣлающихся способными къ воспринятію высшаго нравственнаго развитія»¹⁾.

Чернышевскій будто предвосхищаетъ позднѣйшую войну своихъ послѣдователей съ Пушкинымъ и старается установить правильную точку зрѣнія на поэта,—заботливость въ высшей степени важная и для вождя шестидесятниковъ краснорѣчивая:

«Говоря о значеніи Пушкина въ исторіи развитія нашей литературы и общества, должно смотрѣть не на то, до какой степени выразились въ его произведеніяхъ различныя стремленія, встрѣчаемыя на другихъ ступеняхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе настоятельнѣйшую потребность и тогдашняго и даже нынѣшняго времени,—потребность литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. Въ этомъ отношеніи значеніе Пушкина неизмѣримо велико. Черезъ него разлилось литературное образованіе на десятки тысячъ людей, между тѣмъ какъ до него литературные интересы занимали немногихъ. Онъ первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго дѣла, тѣмъ какъ прежде она была, по удачному заглавію одного изъ старинныхъ журналовъ, *пріятнымъ и полезнымъ препровожденіемъ времени* для тѣснаго кружка дилетантовъ. Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ всей русской публики на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель. Вся возможность дальнѣйшаго развитія русской литературы была приготовлена и отчасти еще готовится Пушкинымъ»²⁾.

Эти мысли Чернышевскій не считаетъ своими. Онъ признаетъ невозможнымъ опредѣлить смыслъ и значеніе пушкинской поэзии лучше и полнѣе, чѣмъ было сдѣлано Бѣлинскимъ, и онъ съ тоской сравниваетъ современную критику съ прежнею. Да, авторитетъ Бѣлинскаго для нашего публициста священенъ, и Чернышевскій будетъ зорко оберегать отъ покушеній невѣждъ и тонкихъ политиковъ, обвиняющихъ Бѣлинскаго въ односторонней «дидактикѣ»³⁾.

Это будетъ продолжаться въ то время, когда защита Пушкина утратитъ для критика привлекательность и онъ даже съ особенной настойчивостью станетъ развивать мысль, высказанную также Бѣлинскимъ: Пушкинъ преимущественно художникъ, а не поэтъ-мыслитель. Раньше критикъ не налегалъ на вторую часть этого опредѣленія и краснорѣчиво изображалъ плодотворныя вліянія поэтическаго таланта Пушкина; теперь по поводу Гоголя онъ заявляетъ: недалеко уйдетъ—художникъ не мыслитель. Поэтому, Пушкинъ оказывается ужъ очень безразличнымъ наблюдателемъ. Онъ равнодушенъ, какъ поэтъ, и не знаетъ—негодованія или удивленія

1) «Критич. статьи», 2, 11, 26, 43.

2) *Ib.*, 65—6, 119.

3) «Критич. статьи», стр. 177.

заслуживаетъ изображаемый имъ быть? Новые писатели чужды этого равнодушія: они дѣлають выборъ среди явленій, попадающихъ имъ на глаза, а пушкинская наблюдательность просто зоркость глаза и памятьливость. И критикъ поспѣшитъ доказать, что даже Писемскій вовсе не оставляетъ своими разсказами примирительнаго отраднаго впечатлѣнія, какъ съ обычной проницательностью открылъ Дружининъ. Дальше, Пушкинъ страдаетъ еще болѣе важнымъ недостаткомъ. Всего два года назадъ онъ открывалъ критику множество поучительныхъ истинъ, теперь его прозаическія статьи поражаютъ соединеніемъ разнорѣчивыхъ мыслей. Наконецъ, рѣшительный приговоръ: Пушкинъ не могъ повліять благотворно на Гоголя. Онъ могъ въ разговорахъ объ искусствѣ ссылаться на глубокомысленнаго Катенина *), могъ обозвать Полевого пустымъ и вздорнымъ крикуномъ, могъ прочесть свое стихотвореніе: «Поэтъ и чернь». Все это не могло создать у Гоголя твердыхъ убѣжденій, сообщить ему широту общественнаго взгляда.

Это писалось въ *Современникѣ* въ 1857 году. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя въ томъ же журналѣ о томъ же предметѣ разсуждалъ Добролюбовъ. Онъ также говорилъ объ отсутствіи у Пушкина сер озныхъ, независимо развившихся убѣжденій и о недостаткѣ серіознаго образованія, но «пресловутую чернь» не считаетъ точнымъ выраженіемъ взглядовъ Пушкина на поэзію. Кромѣ того, Добролюбовъ увѣренъ, что Пушкинъ никогда не доходилъ до обскурантизма и даже поражалъ, когда могъ, обскурантизмъ другихъ. Въ заключеніе Добролюбовъ считаетъ Анненкова достойнымъ искренней благодарности за изданіе сочиненій «нашего великаго поэта»: это «истинная заслуга предъ русскою литературой и обществомъ» ¹⁾.

Критики не совсѣмъ единодушны, но они вполнѣ уподобляются другъ другу въ развитіи своихъ взглядовъ на Пушкина. Два года спустя Добролюбовъ говоритъ о Пушкинѣ въ тонѣ Базарова. По его словамъ, Пушкинъ воспѣвалъ только «прелесть роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ въ битву, грандіозность падающей лавины, благоуханіе словеснаго слоя», пролившагося на него съ какой-то «высоты духовной» и пр. и пр.». Пушкину почти

*) П. А. Катенинъ—небезызвѣстный писатель 30-хъ годовъ. Пушкинъ былъ съ нимъ очень друженъ и цѣнилъ его какъ критика.

Н. Д.

¹⁾ Ст. Чернышевскаго. «Соврем.» 1857, VIII. Добролюбова. 1853, I.

невѣдомо уваженіе къ челоѣческой природѣ, развѣ только «въ эпикурейскомъ смыслѣ» ¹⁾).

У третьяго вождя шестидесятниковъ—у Писарева—мы встрѣтимъ ту же эволюцію, и даже въ еще болѣе рѣзкой формѣ.

Фактъ въ высшей степени любопытный. Защищать Пушкина нѣтъ нужды; мы достаточно знакомы съ его художественными и общественными взглядами и имѣли возможность оцѣнить его отношенія къ Радищеву и Полевому. Что касается вообще несерьёзности и отсутствія убѣжденій, эту мысль развилъ еще горячій послѣдователь Бѣлинскаго и его современникъ, написавшій «Очеркъ исторіи русской поэзіи» по статьямъ критика. Книга эта много лѣтъ служила яблокомъ раздора нашихъ литературныхъ лагерей: эстетики ее поносили, шестидесятники—именно Добролюбовъ—восхваляли. Характеристика Пушкина здѣсь изображена рѣзко и опредѣленно, безъ всякихъ противорѣчій и недомолвокъ ²⁾.

Почему же колебались наши критики?

У автора «Очерка» Пушкинъ являлся великимъ поэтомъ и плохимъ общественнымъ мыслителемъ. Такова идея и Бѣлинскаго. Она тяготѣла надъ всѣми молодыми критиками и они, при всей страстности своихъ запросовъ къ гражданской поэзіи, не могли съ легкимъ сердцемъ покончить съ «любимымъ», «великимъ», «первымъ» поэтомъ. Это все ихъ эпитеты, но они шли не отъ сердца. Достаточно вспомнить безграничные восторги Григорьева предъ Пушкинымъ, чтобы отъ шестидесятниковъ ожидать другого отношенія къ поэту, не изъ протеста, конечно, критику *Москвитянина* и *Эпохи*, а по самому складу нравственного и практическаго міросозерцанія.

Было бы противоестественно, если бы философы, положительные до послѣднихъ выводовъ матеріализма, и публицисты-политики по принципу и страсти, оставили неприкосновенною славу Пушкина, весьма неудовлетворительнаго политика и еще менѣе—философа.

Настоящее естественное направленіе критики шестидесятыхъ годовъ обнаружилось одновременно съ отрицательными замѣчаніями Чернышевскаго насчетъ развитія и убѣжденій Пушкина. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* Чернышевскій еще могъ кое-какъ мириться съ разсужденіями о поэзіи и художественности, въ *Со-*

¹⁾ Сочиненія. III, 554.

²⁾ «Очерки исторіи», А. Милюкова. Спб. 1864, 3-е изд., стр. 209—214. Первое изданіе вышло въ 1847 году.

временникъ онъ съ первой же статьи напалъ на безличную, пусто-порожную критику тѣхъ же *Отечественныхъ Записокъ* и привелъ дѣйствительно поразительные образчики безыдейности и бездарности, царствовавшихъ въ критическомъ отдѣлѣ журнала Дудышкина и Краевского ¹⁾. Чернышевскій не могъ помириться съ такимъ самоубійствомъ критики, и въ каждой статьѣ позаботился высказать вполне опредѣленное, искреннее мнѣніе о предметѣ. Первыми жертвами оказались Бенедиктовъ, давно уничтоженный Бѣлинскимъ, но возстановляемый Дружининымъ, потомъ Авдѣевъ, карикатурное воплощеніе Лермонтова или даже Марлинскаго, тѣмъ не менѣе, любимецъ того же Дружинина и *Отечественныхъ Записокъ*, въ послѣдствіи смертельно пораженный Добролюбовымъ. Все это не особенно важно, гораздо любопытнѣе критика на комедію Островскаго: «Бѣдность не порокъ»

Она принадлежитъ 1854 году, но уже вполне обличаетъ новаге критику, даже съ большою долей нетерпимости и партійнаго увлеченія. Чернышевскій, конечно, не можетъ миновать удивительнаго гимна Григорьева въ честь Любима Торцова, и, надо думать, этотъ гимнъ особенно раздражилъ нашего критика.

Если Островскій приводитъ въ такое неистовое восхищеніе писателей *Москвитянина*, въ немъ непремѣнно долженъ таиться духъ москвобѣсія, т.-е. мракобѣсія, идеализація татарской старины, замоскворѣцкихъ добродѣтелей, вообще, всѣ прелести славянофильской вѣры. И первое впечатлѣніе, повидимому, подтверждаетъ догадку. Въ комедіи «Не въ свои саніи не садись» «ясно и рѣзко было сказано: *полуобразованность хуже невѣжества*, но не прибавлено, что лучше и той и другою—*истинная образованность*». За это послѣдуетъ разборъ новой комедіи безпощадный. Большинство сценъ окажутся ненужными, и цѣль автора будетъ истолкована именно какъ «апотеоза стариннаго быта» и вся пьеса признана не больше, какъ «сборникомъ народныхъ пѣсенъ и обычаевъ» ²⁾.

Добролюбовъ въ послѣдствіи въ томъ же *Современникѣ* возмѣститъ несправедливость своего учителя, но намъ у Чернышевскаго нужны не столько оцѣнки отдѣльныхъ литературныхъ явленій, сколько общій духъ его критической мысли. Онъ быстро становится воинственнымъ и исключительно публицистическимъ. Еще въ 1856 году онъ подробно и благосклонно разбираетъ художе-

¹⁾ Ст. «Объ искренности въ критикѣ». «Критич. статьи», 203, 204—7.

²⁾ Ib., стр. 269, 271—3, 277—8.

ственный талант гр. Толстого и восхищается особенно «силой нравственной чистоты» въ *поэзіи* автора «Дѣтства и Отрочества», говорить лирически о чистой юношеской душѣ, отзывчивой на все чистое и прекрасное и, расчувствовавшись окончательно, соглашается: «Не всякая поэтическая идея допускаетъ внесеніе общественныхъ вопросовъ въ произведеніе». И непосредственно мы слышимъ о «законѣ художественности!»¹⁾.

Вообще, удивительное счастье гр. Толстого. Вполнѣ понятно, почему иногородные подписчики воздвигали ему пьедесталь надъ всей современной литературой, но вотъ критикъ, только что совершившій походъ на Пушкина, какъ на чловѣка безъ общественныхъ идей, впадаетъ въ идиллическое созерцаніе юношеской души и даже художественности! Правда, пройдетъ четыре года и гр. Толстому жестоко достанется за его педагогическія умствованія. Разоблаченія Чернышевскаго насчетъ обычныхъ спутниковъ философіи графа, т.-е. непреодолимой наклонности всѣ вопросы разрубать однимъ взмахомъ руки, страсть къ фантастическимъ обобщеніямъ едва лишь усмотрѣнныхъ и вовсе непонятыхъ фактовъ, совершенная безпомощность въ области теоретическаго анализа идей, вывода заключеній и отыскиванія принциповъ, наконецъ неограниченная притязательность единоличнаго изобрѣтателя пороха съ высоты своихъ мнимыхъ открытій и скоропалительныхъ комически-незрѣлыхъ истинъ, взирать на другихъ, какъ на глупцовъ и невѣждъ,—всѣ эти разоблаченія философическаго генія гр. Толстого не утратили своей новизны и своего значенія до нашихъ дней. Еще любопытнѣе смертоносная критика, какой подвергъ Чернышевскій художественные вымыслы гр. Толстого съ педагогической цѣлью²⁾.

Все это будетъ какъ бы отплатой за «юношескіе» восторги предъ талантомъ гр. Толстого, но «художественность» все-таки была признана независимо отъ общественныхъ вопросовъ, и въ заключеніе статьи говорилось о «вкусѣ», которому только и доступны «истинная красота, истинная поэзія».

Очень краснорѣчиво, но на этомъ и закончилась чистая эстетика Чернышевскаго. Въ слѣдующемъ году Пушкину наносятся усиленные удары, а еще немного спустя, разборъ тургеневской повѣсти «Ася» уже выходитъ *размышленіями* и называется *Русскій чловѣкъ на rendez-vous*. Реальная критика, какъ впоследствии

¹⁾ «Критическія статьи», 281 etc.

²⁾ *Ib.*, 301 etc.

опредѣляль Добролюбовъ, устанавливается окончательно, т.-е. отношеніе къ художественному произведенію, какъ къ матеріалу для сужденій о дѣйствительности, какъ къ поводу и канвъ для общественной философіи и политики. Писаревъ поведеть эту мысль дальше и отождествитъ повѣсти и драмы просто съ обзорѣніями и хрониками *). У Чернышевскаго и Добролюбова нѣтъ этого «последняго слова» новой эстетики, но толчокъ данъ ими, и первый Чернышевскимъ.

Онъ воспользовался повѣстью Тургенева для убійственной характеристики «лучшихъ» русскихъ людей, написалъ сатиру на общество, создающее такую дрянь, и заклеилъ позоромъ всѣхъ Ромео, впадающихъ въ конфузъ и трусость при каждомъ рѣшительномъ моментѣ жизни. Автора нисколько не интересуеть любовный вопросъ, столь художественно разработанный въ повѣсти.

«Богъ съ ними, съ эротическими вопросами, не до нихъ читателю нашего времени, занятому вопросами объ административныхъ и судебныхъ улучшеніяхъ, о финансовыхъ преобразованіяхъ, объ освобожденіи крестьянъ».

И не герой собственно занимаетъ критика, а характеръ вообще русской интеллигенціи, и не поступокъ героя съ героиней, а неопытность и растерянность русскаго общества въ самыхъ насущныхъ жизненныхъ вопросахъ. Автора беспокоитъ мысль, какъ поступить оно въ только что наступившій великій историческій моментъ? Онъ жестоко боится за русскихъ лучшихъ людей, сумѣютъ ли они понять свое положеніе, свой долгъ и воспользоваться обстоятельствами?

«Противъ желанія нашего,—пишетъ онъ,—ослабѣваетъ въ насъ съ каждымъ днемъ надежда на проницательность и энергію людей, которыхъ мы упрашиваемъ понять важность настоящихъ обстоятельствъ и дѣйствовать сообразно здравому смыслу».

Онъ усиливается объяснить обществу смыслъ обстоятельствъ и преподать совѣты. Онъ обращается къ читателямъ искренне и открыто:

«Поймете ли вы требованіе времени, сумѣете ли воспользоваться тѣмъ положеніемъ, въ которое вы поставлены теперь,—вотъ въ чемъ теперь для васъ вопросъ о счастіи или несчастіи навѣки».

*) Писаревъ говоритъ, что художественная литература должна служить тѣмъ же цѣлямъ, что и пресса: она должна давать въ художественной формѣ извѣстія, которыя мы могли бы «пробѣгать», какъ «мы пробѣгаемъ отдѣлы иностранныхъ извѣстій въ газетѣ».

Слышится глубокое безпокойство автора въ этихъ словахъ, и намъ понятно, что онъ станетъ дѣлать. «Пусть, по крайней мѣрѣ, не говорятъ они, что не слышали благоразумныхъ совѣтовъ, что не было объясняемо ихъ положеніе!»—воскликаетъ онъ о своихъ читателяхъ, и, насколько хватить силъ и представится возможность, онъ не перестанетъ давать совѣты и представлять объясненія.

Въ этихъ задачахъ вся программа новой критики и ея перво-степенныхъ представителей. Со вступленіемъ Добролюбова въ *Современникъ*, журналъ сталъ настоящею общественно-просвѣтительною энциклопедіей своего времени, новымъ философскимъ словаремъ новыхъ энциклопедистовъ. И молодому сотруднику пути уже были проложены; литература въ его рукахъ обратится въ неисчерпаемый источникъ для совѣтовъ и объясненій, старому—останется продолжать свое любимое дѣло, выполнять свое истинное призваніе—учить публику необходимѣйшимъ наукамъ новаго вѣка—исторіи и политической экономіи.

Ив. Ивановъ.

60-е годы и Н. Г. Чернышевский *).

Въ нѣкоторыхъ пунктахъ Чернышевскій пошелъ не впередъ, а назадъ отъ Герцена; на примѣръ, такимъ шагомъ назадъ былъ его крайній номинализмъ; такимъ шагомъ назадъ была вообще вся философская система, положенная Чернышевскимъ въ основу своего міровоззрѣнія. Интересно отмѣтить, что «проклятые вопросы», мучившіе Чаадаева и Герцена, а впоследствии и семидесятниковъ, оставляли Чернышевскаго совершенно равнодушнымъ; они были не ко двору въ эпоху шестидесятыхъ годовъ. Одинъ только Лавровъ пробовалъ итти противъ общаго теченія, но зато и не пользовался ни малѣйшимъ вліяніемъ въ шестидесятыхъ годахъ. Телеологиченъ ли историческій процессъ? является ли онъ ео ipso прогрессомъ?—всѣ подобные вопросы мало интересовали дѣятелей той эпохи; рѣшеніе ихъ они считали настолько простымъ, что не стоило тратить времени даже на постановку такихъ вопросовъ. Нельзя сказать, чтобы Чернышевскій относился отрицательно къ необходимости философской обосновки cadaго міровоззрѣнія; въ началѣ шестидесятыхъ годовъ онъ былъ еще подъ вліяніемъ лѣваго гегельянства и сѣтовалъ на то, что «философскія стремленія теперь почти забыты нашею литературою и критикою», отъ чего и литература и критика «не выиграли ровно ничего, потерявъ очень много»... (*Очерки гогол. пер.; Совр.* 1856 г. № 9). Но въ дальнѣйшемъ онъ прошелъ отъ Гегеля черезъ Фейербаха къ Бюхнеру, къ отрицанію всей философіи, какъ «метафизики», и къ признанію данныхъ естествознанія за

...смыслъ глубочайшей науки

И смыслъ философіи всей.

Во второй части своего *Антропологическаго принципа въ философіи* онъ проводилъ теорію матеріалистическаго монизма, считая ощущеніе и мысль процессомъ челоѣческаго организма, раз-

*) *Ивановъ-Разумникъ*. «Исторія русской общественной мысли», т. II.

ложимымъ на фیزیологическіе, а затѣмъ и механическіе элементы. Неудивительно послѣ этого, что естественныя науки стали для него, а въ особенности въ послѣдствіи для Писарева послѣднею инстанціей для апелляціи; приговоры же естествознанія были уже безапелляціонны. Мы увидимъ, въ какой тупикъ завела такая точка зрѣнія «писаревщину» конца шестидесятыхъ годовъ.

Эпоха шестидесятыхъ годовъ была типично реалистическою эпохой, въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова, быть-можетъ, наиболѣе реалистическою во всей исторіи русской общественной мысли XIX вѣка; въ этомъ отношеніи она была непосредственнымъ продолженіемъ реалистическаго и раціоналистическаго теченія сороковыхъ годовъ, ярко сказавшагося въ дѣятельности Бѣлинскаго. Семидесятые годы также были реалистическими, но что касается раціонализма, то пальма первенства принадлежитъ, несомнѣнно, эпохѣ шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь шестидесятые годы протягиваютъ руку черезъ Бѣлинскаго къ двадцатымъ годамъ, къ идеологіи декабристовъ; мы имѣли случай отмѣтить типичный раціонализмъ Пестеля *). Въ шестидесятыхъ годахъ раціонализмъ этотъ ни въ чемъ не выразился такъ сильно, какъ въ области этики, въ которой царило ученіе утилитаризма.

Утилитаризмъ является типичнымъ этическимъ анти-индивидуализмомъ, безразлично, будетъ ли это утилитаризмъ индивидуальный или социальный. Индивидуальный утилитаризмъ принимаетъ за принципъ дѣятельности пользу лица, утилитаризмъ социальный—пользу большинства; но и то и другое одинаково анти-индивидуалистично съ точки зрѣнія основной нормы этики—

*) Греческое слово *монизмъ* означаетъ «ученіе о единствѣ». Это значитъ, что монизмъ, въ противоположность «дуализму» и «иллюрализму», стремится свести все разнообразіе міра къ его единой основѣ. Въ то время какъ, напримеръ, дуализмъ говоритъ о Богѣ и мірѣ, природѣ и духѣ, тѣлѣ и душѣ, какъ о вещахъ, существующихъ раздѣльно, монизмъ устраняетъ эти противоположенія и сводитъ все къ единому основному началу. Въ наше время монизмомъ, по преимуществу, называется міровоззрѣніе, основанное на естествознаніи, которое отрицаетъ всякое бытіе, лежащее по ту сторону нашего физическаго міра. Въ нашего міра не существуетъ никакого «трансцендентальнаго» бытія. Нашъ міръ—законченное цѣлое, единообразное во всѣхъ своихъ частяхъ, и живетъ онъ только по общимъ, внутренне ему присущимъ, законамъ. Ученіе это особенно подчеркиваетъ то обстоятельство, что человѣкъ не занимаетъ никакого исключительнаго положенія въ міровой системѣ, а подчиненъ тѣмъ же самымъ законамъ, что и любая козявка, дерево или животное, ибо онъ есть не что иное, какъ обыкновенное заурядное звено этого міроваго цѣлага.

самоцѣльности человѣка. Принципъ пользы большинства и норма самоцѣльности человѣка слишкомъ очевидно противоположны другъ другу, такъ что анти-индивидуалистичность первого принципа не требуетъ доказательствъ; что же касается принципа пользы лица, утилитаризма индивидуальнаго, то его анти-индивидуалистичность вскроется легко, если мы укажемъ, что утилитаризмъ имѣетъ здѣсь въ виду исключительно эгоистическую пользу: эгоизмъ есть отправная точка утилитаризма; а намъ уже неоднократно приходилось указывать, какъ мы это отмѣтили немного выше, что эгоизмъ есть этический анти-индивидуализмъ. Принципъ полезности, на которомъ основывается вся утилитаристическая мораль, лежитъ совершенно внѣ предѣловъ этики, какъ это ясно показала русская идеалистическая интеллигенція конца XIX вѣка; въ основѣ этики должна лежать идея не блага, а долга, не мое «я», а человѣческая личность. Высшей степенью ошибки было бы *отожествленіе соціологическаго принципа блага реальной личности съ этической нормой*; въ этомъ отождествленіи—вся ошибка шестидесятниковъ.

Шестидесятники, въ сущности, совершенно отрицали этику; они были фетишистами категоріи полезности. «Нравственность», «добро»—все это ненужныя слова, истинный смыслъ которыхъ раскрывается въ понятіи пользы. «Если есть какая-нибудь разни́ца между добромъ и пользою, она заключается развѣ лишь въ томъ, что понятіе добра очень сильнымъ образомъ выставляетъ черту постоянства прочности, плодотворности, изобилія хорошими, долговременными и многочисленными результатами, которая, впрочемъ, находится и въ понятіи пользы»,—заявляетъ Чернышевскій (*Антроп. принципъ въ философіи*); иными словами, между «добромъ» и «пользою» существуетъ только количественное, а не качественное различіе: очень большая польза есть добро... Такое отрицаніе этики, съ той или иной точки зрѣнія, дважды встрѣчалось въ исторіи русской общественной мысли, а именно—въ шестидесятыхъ и девяностыхъ годахъ XIX вѣка. «Нравственность», «добро», «долгъ»—все это пустыя слова, говорили шестидесятники: что вы тамъ толкуете объ этичности или анти-этичности того или иного поступка? Онъ *полезенъ* (для меня или для общества), и этимъ все сказано.—«Нравственно», «справедливо»—все это пустыя слова, повторили, какъ мы увидимъ, девятидесятники: что вы тамъ толкуете объ этичности или анти-этичности того или иного процесса? Онъ *необходимъ*, и этимъ все сказано. Иначе говоря, фетишизація категоріи полезности шестиде-

сятниками и фетишизація категоріи необходимости людьми девяностыхъ годовъ одинаково приводила къ полному отрицанію этики: утилитаризмъ шестидесятыхъ годовъ былъ ея субъективнымъ отрицаніемъ, фатализмъ девяностыхъ годовъ—отрицаніемъ объективнымъ. И въ томъ и въ другомъ случаѣ результаты были одинаковы: отрицаніе этики было только внѣшнею формой, такъ какъ оно немыслимо по существу. Согласно извѣстному анекдоту, нѣкто, зараженный скептицизмомъ, заявлялъ, что онъ не вѣритъ въ географію; но это отрицаніе географіи не помѣшало ему сдѣлать кругосвѣтное путешествіе. Подобно этому и пятидесятиники и шестидесятники «не вѣрили въ этику», что не мѣшало имъ—напримѣръ, Чернышевскому—высоко цѣнить «справедливость, священные права человѣческой личности»... (см. *Экон. дѣят. и законод.*). Чернышевскій иронизировалъ надъ экономическимъ либерализмомъ, который исходилъ изъ абсолютной экономической свободы отдѣльнаго лица, а приходилъ спасаться отъ этой свободы подъ сѣнь священныхъ правъ человѣческой личности: «Вотъ оно куда пришло!» Но онъ не замѣтилъ, что со своей теоріей утилитаризма онъ самъ попалъ въ совершенно такое же положеніе; не трудно было бы провести строгую параллель между утилитаризмомъ и системой *laissez faire* въ этомъ отношеніи. Всѣ эти Попуховы, Кирсановы, Рахметовы и вообще всѣ «положительные типы» изъ романа Чернышевскаго *Что дѣлать?* (въ которомъ проповѣдь теоріи утилитаризма занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ)—всѣ они не вѣрятъ въ географію и все-таки совершаютъ кругосвѣтныя путешествія: они отрицаютъ «долгъ» и руководствуются моралью долга, убѣждая себя при этомъ, что ихъ единственный критерій—польза, единственный двигатель—эгоизмъ... Это не мѣшаетъ Чернышевскому принимать принципъ Фейербаха—*homo homini deus*, между тѣмъ какъ принципъ этотъ, въ своемъ приложеніи къ этикѣ, есть одно изъ наиболѣе яркихъ выраженій нормы этического индивидуализма—человѣкъ цѣль, а не средство... Ошибка Чернышевскаго, а вмѣстѣ съ нимъ и всей эпохи шестидесятыхъ годовъ, заключается въ томъ, что социологическій принципъ блага реальной личности онъ смѣшивалъ съ этическимъ принципомъ моральной цѣнности дѣйствія, въ томъ, что *этическую цѣнность дѣйствія онъ измѣрялъ его соціальною пользою*.

Каковы бы ни были, однако, самопротиворѣчія Чернышевскаго, они не мѣшали ему быть убѣжденнымъ сторонникомъ теоріи эгоизма и утилитаристической морали. Первые звуки этой

морали мы слышали еще у Пнина, у декабристовъ (подъ вліяніемъ Бентама) *), наконецъ, даже у Герцена. «Могу ли я любить кого-нибудь не для себя? могу ли я любить, если это не доставляетъ *мнѣ*, именно *мнѣ*, удовольствія?»—спрашивалъ, какъ мы помнимъ, Герценъ, считая эгоизмъ «въ глаза бросающимся грунтомъ всего человѣческаго». Впослѣдствіи мы еще вернемся къ этой мысли, поскольку она является вѣрною (см. т. II, гл. VIII), а теперь напомнимъ только, что Герценъ, возставая противъ шаблоннаго противоположенія эгоизма и альтруизма, никогда не былъ приверженцемъ утилитаризма; мы видѣли въ его міровоззрѣніи яркій этический индивидуализмъ, гармонично соединенный съ не менѣе яркимъ индивидуализмомъ соціологическимъ. Чернышевскій же, проповѣдуя самый послѣдовательный утилитаризмъ (поскольку утилитаризмъ можетъ быть послѣдовательнымъ), неизбежно долженъ былъ прійти къ этическому анти-индивидуализму—и это несмотря на то, что выше человѣческой личности онъ не принималъ на земномъ шарѣ ничего! Здѣсь передъ нами то самое совмѣщеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ, которое мы видѣли въ пушкинскомъ Алеко, въ Лермонтовѣ, которое одинъ разъ было отмѣчено нами даже у Бѣлинскаго. Но тамъ это было только случайнымъ штрихомъ настроенія; у Чернышевскаго же впервые это совмѣщеніе стало одною изъ наиболѣе характерныхъ чертъ самого міровоззрѣнія. *Совмѣщеніе соціологическаго индивидуализма съ этическимъ анти-индивидуализмомъ*—такова характерная черта не только міровоззрѣнія Чернышевскаго, но и всѣхъ шестидесятихъ годовъ; это совмѣщеніе, невозможное по существу, возможное только при механическомъ смѣшеніи, а не при органическомъ соединеніи частей міровоззрѣнія,—это совмѣщеніе оказалось тѣмъ внутреннимъ противорѣчіемъ, которое погубило системы и теоріи шестидесятихъ годовъ, міровоззрѣнія и Чернышевскаго и Писарева. Когда Писаревъ довель воззрѣнія Чернышевскаго до ихъ логическаго конца, то передъ русскою интеллигенціей оказалось поле, покрытое мертвыми костями. И только Лаврову и Михайловскому удалось въ шестидесятихъ годахъ собрать эти «*membra disiecta*» міровоззрѣнія шестидесятихъ годовъ, соединить ихъ и вдохнуть въ нихъ «душу живу».

Добролюбовъ дѣйствовалъ одновременно съ Чернышевскимъ, но въ совершенно иной области: они размежевались между собою,

*) Письмо это приписывалось Чернышевскому.

едва только Добролюбовъ выступилъ въ *Современникъ*, какъ литературный критикъ. Въ этой области Чернышевскій сразу призналъ его превосходство, несмотря на то, что въ области литературной критики (въ широкомъ смыслѣ этого слова) и самъ онъ представлялъ изъ себя далеко не заурядную величину: достаточно вспомнить его *Очерки гоголевскаго періода*, его удивительно вѣрное опредѣленіе сути таланта Л. Толстого (въ 1856 г.), Писемскаго (въ 1858 г.), его характеристику «лишнихъ людей» и отношенія къ нимъ шестидесятниковъ (*Русскій человекъ на rendez-vous*, 1858 г.) и т. п. Но лишь только онъ почувствовалъ въ Добролюбовѣ громадную критическую силу, какъ тотчасъ же передалъ (1857 г.) весь критическій отдѣлъ *Современника* въ вѣдѣніе Добролюбова.

Когда мы называемъ Добролюбова литературнымъ критикомъ, то слово это надо понимать настолько же широко, какъ и при наименованіи критикомъ Бѣлинскаго, или романистомъ—Достоевскаго: это только внѣшняя форма. Добролюбовъ разрабатывалъ въ своихъ критическихъ статьяхъ всѣ насущные вопросы современной ему эпохи—о роли интеллигенціи и роли личности въ исторіи, о воспитаніи, о значеніи лишнихъ людей для эпохи официальнаго мѣщанства и шестидесятыхъ годовъ, о мѣщанствѣ и его значеніи и т. п.—большая часть чего была затронута Чернышевскимъ только мимоходомъ. Съ этой точки зрѣнія дѣятельность Чернышевскаго и Добролюбова представляется какъ бы взаимно дополнительною.

Что касается социальнo-экономическихъ взглядовъ Добролюбова, то они сложились подъ непосредственнымъ вліяніемъ Чернышевскаго; неудивительно поэтому, что вездѣ, гдѣ только Добролюбовъ касается экономическихъ и социальныхъ проблемъ, онъ повторяетъ и пересказываетъ только своими словами уже знакомыя намъ мысли Чернышевскаго. Чернышевскій отрицалъ это (см. его статью *Въ изъясненіе признательности*; *Современ.* 1862 г., № 2), но факты говорятъ противъ него. Такъ, напримѣръ, въ вопросѣ объ общинѣ Добролюбовъ только повторялъ мысли своего учителя—см., напр., II, 409—419 ¹⁾—противъ системы экономическаго либерализма протестовалъ почти его же словами (I, 474). Правда, встрѣчаются небольшія разнорѣчія, но они еще яснѣе показываютъ, что, пытаясь сказать въ этой области что-нибудь «свое», Добролюбовъ впадалъ въ противорѣчія и самъ съ собой

¹⁾ Цитаты по четырехтомному шестому изданію собр. соч. Добролюбова.

и со своимъ учителемъ: такъ, напимѣрь, осуждая систему экономическаго либерализма, Добролюбовъ почти въ то же самое время восхищается государственнымъ индивидуализмомъ въ Англіи (II, 245). Другое разнорѣчіе—одно изъ наиболѣе крупныхъ—отношеніе къ Герцену въ вопросѣ о «мѣщанствѣ» Европы. Мы видѣли, какъ сурово осудилъ Чернышевскій точку зрѣнія Герцена; Добролюбовъ же сначала сталъ на сторону «русскаго изгнанника». Когда извѣстный въ то время профессоръ политической экономіи и либеральный доктринеръ, Бабстъ, въ своихъ путевыхъ письмахъ «Отъ Москвы до Лейпцига» (1859 г.) насмѣшливо отнесся къ тѣмъ «широкимъ натурамъ», которыя отрицательно относятся къ «мѣщанству» Европы, то Добролюбовъ весьма недвусмысленно присоединился къ Герцену, хотя и понялъ терминъ «мѣщанство» въ довольно узкомъ смыслѣ (III, 174—6). Кстати будетъ замѣтить, что и Чернышевскій весьма неглубоко понялъ смыслъ «мѣщанства» въ устахъ у Герцена; онъ побѣдоносно (и отчасти совершенно правильно) противопоставилъ мѣщанству—соціализмъ, но ничѣмъ не могъ парировать мнѣніе Герцена о возможности «мѣщанскаго соціализма». Но послѣ того, какъ Чернышевскій сталъ неоднократно и рѣзко нападать на точку зрѣнія Герцена по этому вопросу, Добролюбовъ ни разу не возвысилъ голоса въ защиту своей точки зрѣнія; очевидно, онъ перешелъ на сторону Чернышевскаго.

Итакъ, въ этой сторонѣ міровоззрѣнія Добролюбова мы не встрѣтимъ ничего новаго. Самъ Добролюбовъ вполне прозрачно описываетъ свое развитіе, подъ видомъ развитія какого-то знакомаго, рассказывая, какъ онъ «изъ консервативной безответственности стремительно перескочилъ въ *opposition légale*», и какъ затѣмъ, бросивъ сухія и абстрактныя схемы, сдѣлалъ послѣдній шагъ: «Отъ отвлеченнаго закона справедливости я перешелъ къ болѣе *реальному требованію человеческого блага*; я всѣ свои сомнѣнія и умствованія привелъ, наконецъ, къ одной формулѣ: *человѣкъ и его счастье*» (III, 290—2; курсивъ нашъ). Переводя это съ эзоповскаго языка того времени, мы увидимъ во всемъ этомъ переходъ Добролюбова отъ либерализма къ соціализму, и именно къ тому его пункту, который лежалъ въ основаніи всего міровоззрѣнія Чернышевскаго: къ благу реальной личности, какъ къ главному критерию. Приматъ народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ также былъ усвоенъ Добролюбовымъ вслѣдъ за Чернышевскимъ, при чемъ у Добролюбова онъ принялъ *только нѣсколько* иную окраску, обратившись въ характерный

въ послѣдствіи для русскаго социализма примать соціальнаго надъ политическимъ. Въ 4-мъ номерѣ *Свистка* (1859 г.) Добролюбовъ помѣстилъ злую пародію на знаменитый «Ямбъ» Пушкина; онъ описываетъ въ немъ, какъ

Прогрессъ стопою благородной
Шель тихо торною стезей,

въ то время какъ голодный народъ требовалъ хлѣба и не хотѣлъ итти за Прогрессомъ:

«Что дать онъ намъ? Чему онъ служить?
Зачѣмъ мы съ нимъ теперь идемъ?
И нынче всякъ, какъ прежде, тужить,
И нынче съ голода мы мремъ»...
—«Молчи, безумная толпа!

—гнѣвно перебиваетъ толпу Прогрессъ:—

Ты любишь наѣдаться сыто,
Но къ высшей правдѣ ты слѣпа,
Покаместъ брюхо не набито!
Скажи какую хочешь рѣчь
Тебѣ съ парламентской трибуны:
Но хлѣбъ тебѣ колы нечѣмъ печь,
То ты презришь ея перуны
И не поймешь ея красоты!..»

Толпа иронически отвѣчаетъ на всю эту тираду:

«Насъ натошакъ не убѣждай,
Но обезпечь для насъ работу
И честно плату выдѣляй:
Оцѣнимъ мы твою заботу,—
Пойдемъ въ палаты засѣдать
И будемъ рѣчи вдохновенной
О благоденствіи вселенной
Свѣтло и радостно внимать!»

И вотъ заключительный аккордъ—отвѣтъ Прогресса:

«Подите прочь! Какое дѣло
Прогрессу мирному до васъ!
Жужжанье ваше надоѣло:
Смирите вашъ строптивый гласъ!
Прогрессъ—совсѣмъ не богадѣльня:
Онъ—служба будущимъ вѣкамъ;
Не остановится безцѣльно
Онъ для пособия бѣднякамъ»...

Какъ видимъ, въ этой ядовитой пародіи вполнѣ ясно сказались взгляды Добролюбова на націю и народъ, хотя и безъ такой тер-

минологии, при чемъ, однако, онъ перенесъ центръ тяжести съ противопоставленія социального экономическому (распредѣленія — производству) на встрѣчавшееся нами уже у Герцена противоположеніе социального и политическаго, при чемъ, однако, критерій въ обоихъ случаяхъ одинъ и тотъ же — благо реальной личности.

Если мы отмѣтимъ еще сочувственное отношеніе Добролюбова къ теоріи естественнаго права, какъ основѣ социализма, и его вполне недружелюбное отношеніе къ анархизму (III, 95—6; I, 474; III, 448 и сл.), то закончимъ этимъ знакомство съ общественными взглядами Добролюбова. Въ нихъ, какъ видимъ, мало оригинальнаго. Но тѣмъ подробнѣе надо познакомиться съ его пониманіемъ «личности». Принципъ блага реальной личности былъ у Добролюбова одинаковъ съ Чернышевскимъ; но пониманіе имъ роли и значенія личности было вполне «свое».

Пользуемся случаемъ кстати указать на отношеніе Добролюбова къ вопросу о роли интеллигенціи; онъ подробно остановился на этомъ вопросѣ въ статьѣ «Литературныя мелочи прошлаго года» (1859 г.), противопоставляя интеллигенцію «литературѣ», т.-е. дѣятелямъ литературы, и доказывая, главнымъ образомъ что литература не можетъ ни въ чемъ приписать себѣ инициативы (II, 397—48), а что всѣ жгучіе вопросы современности зародились въ обществѣ, въ интеллигенціи, а потомъ уже перешли на столбцы журналовъ. Это вполне согласно съ основной точкой зрѣнія Добролюбова; онъ хотѣлъ доказать, что не литература ведетъ за собой общество, то-есть не отдѣльныя личности — толпу, но общество рождаетъ въ себѣ вопросы, находящіе свою формулировку въ литературѣ: дождь падаетъ на землю не изъ небесныхъ резервуаровъ съ кранами, а накапливается изъ испареній той же земли.

Возвращаемся, однако, къ статьѣ Добролюбова о Станкевичѣ, въ которой затронутъ цѣлый рядъ глубоко важныхъ для того времени вопросовъ. Однимъ изъ такихъ вопросовъ былъ вопросъ о лишнихъ людяхъ, поставленный ребромъ еще Чернышевскимъ въ его статьѣ по поводу тургеневской «Аси» (*Русскій человекъ на rendez-vous; Антей* 1858 г., № 3). Въ этой статьѣ Чернышевскій ясно вскрылъ, что лишніе люди — жертвы эпохи официального мѣщанства, и призналъ даже, что они, по выраженію Бѣлинскаго, «благороднѣйшіе сосуды духа», загубленные средой. «Вы вините человека, — замѣчаетъ Чернышевскій: — посмотрите прежде, онъ ли въ этомъ виноватъ, за что вы его вините, или виноват

обстоятельства и привычки общества; всмотритесь хорошенько, быть-можетъ, тутъ вовсе не вина его, а только бѣда»...

Поэтому для Чернышевскаго лишніе люди—только «симптомъ эпидемической болѣзни, укоренившейся въ нашемъ обществѣ». Это не помѣшало, однако, Чернышевскому обрушиться на лишнихъ людей всей тяжестью своей критики и относиться къ нимъ чѣмъ дальше, тѣмъ безпощаднѣе и безпощаднѣе.

Интеллигенція семидесятыхъ годовъ вынесла лишнимъ людямъ оправдательный приговоръ. «Развѣ рудинскіе разговоры, зажигающіе сердца и будящіе мысль—не дѣло? Я больше спрошу: много ли найдется большихъ, выдающихся русскихъ людей, которымъ выпало на долю что-нибудь, кромѣ разговоровъ?»—спрашивалъ Михайловскій (въ 1874 г.). Именно такъ смотрѣли на себя и сами лишніе люди: «Неужто надо непремѣнно дѣлать дѣла, чтобы дѣлать дѣло?»—спрашивалъ четвертью вѣка раньше Чаадаевъ. Въ своей статьѣ о Станкевичѣ, написанной почти одновременно съ вышеупомянутой статьей Чернышевскаго, Добролюбовъ близко подходитъ къ такой точкѣ зрѣнія. Онъ усиленно отстаиваетъ право личности на свободу, а въ своемъ отношеніи къ лишнимъ людямъ признаетъ слово тоже дѣломъ; болѣе того, онъ рѣшительно возстаетъ противъ того направленнаго противъ лишнихъ людей и часто высказывавшагося въ то время взгляда, что человѣкъ есть прежде всего работникъ и что трудъ—его назначеніе. «Не такъ давно одинъ изъ нашихъ даровитѣйшихъ писателей высказалъ прямо этотъ взглядъ, сказавши, что цѣль жизни не есть наслажденіе, а, напротивъ, есть вѣчный трудъ, вѣчная жертва, что мы должны постоянно принуждать себя, противоудѣствуя своимъ желаніямъ, вслѣдствіе требованій нравственнаго долга». Рѣчь идетъ, очевидно, о Тургеневѣ и о заключительныхъ строкахъ его разсказа «Фаустъ» (1855 г.)¹; впрочемъ, тѣ же самыя мысли въ нѣсколько иной окраскѣ высказывали впослѣдствіи Базаровъ, а раньше—Чернышевскій: природа—не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней—работникъ.

Подводя общіе итоги всему сказанному про Добролюбова, мы можемъ теперь съ большей увѣренностью повторить то, что уже высказали разъ, наполовину въ видѣ предположенія: Добролю-

¹) Вотъ эти нѣсколько строкъ: «Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслажденіе... жизнь тяжелый трудъ. Отреченіе, отреченіе постоянное—вотъ ея тайный смыслъ, ея разгадка; не исполненіе любимыхъ мыслей и мечтаній, какъ бы онѣ возвышенны ни были,—исполненіе долга, вотъ о чемъ слѣдуетъ заботиться человѣку»...

бовъ находился подъ громаднымъ, подъ исключительнымъ вліяніемъ Чернышевскаго, какъ бы ни отрицалъ это послѣдній (иначе пришлось бы допустить обратное, что совершенно невозможно). Разумѣется, это вліяніе могло быть взаимнымъ, но не трудно видѣть, на чьей сторонѣ былъ перевѣсъ. Конечно, подвергаясь вліянію своего учителя, Добролюбовъ не повторялъ его мысли и слова— при своемъ большомъ талантѣ онъ не могъ играть роль эхо или роль Зайцева при Писаревѣ; онъ продолжалъ и развивалъ мысли, выработанныя имъ при общеніи съ такимъ могучимъ умомъ, какимъ былъ Чернышевскій. Провѣримъ это еще разъ на примѣрѣ отношенія ихъ обоихъ къ эстетикѣ; мы увидимъ еще разъ, какъ Добролюбовъ продолжалъ и развивалъ мнѣнія Чернышевскаго, автора *Эстетическихъ отношеній искусства къ дѣйствительности*.

Диссертация эта (1854 г.), какъ принято думать, была первой ласточкой утилитаризма въ искусствѣ, того утилитаризма, который достигъ въ послѣдствіи крайней степени своего развитія у Писарева, а еще болѣе въ писаревщинѣ. Самъ Писаревъ въ своей статьѣ «Разрушеніе эстетики» приписалъ честь (если въ этомъ есть честь) такого разрушенія автору *Эстетическихъ отношеній*. Все это требуетъ большихъ и большихъ оговорокъ. Начать съ того, что Чернышевскій никогда не думалъ разрушать эстетику и приносить всю ту область «прекраснаго», которой Писаревъ не признавалъ, и въ которой писаревцы видѣли только одно «irritatio spinalis». Дѣйствительнымъ разрушителемъ эстетики, а потому и глубочайшимъ анти-индивидуалистомъ, не понимавшимъ, какъ можетъ человѣческая личность испытывать эмоціи, непонятныя ему самому, былъ Писаревъ; Чернышевскій же только сдѣлалъ попытку перенесенія «прекраснаго» изъ области искусства въ жизнь, и въ этомъ отношеніи его индивидуализмъ не подлежитъ никакому сомнѣнію и нисколько не умаляется тѣми слѣдствіями, которыя были выведены изъ теоріи Чернышевскаго позднѣйшими шестидесятниками.

Къ искусству Чернышевскій, дѣйствительно, относится отрицательно, и притомъ по довольно неожиданной причинѣ: онъ его обвиняетъ въ сплошномъ «мѣщанствѣ», въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова, обвиняетъ его въ мертвенности, мелочности и подслащиваніи природы. Искусство, говоритъ Чернышевскій, наряжаетъ и умываетъ природу, мелочно отдѣлываетъ подробности; вообще, «произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и природѣ»... Пусть въ этомъ сказывается малое

знакомство и невѣрное пониманіе искусства во всей его полнотѣ Чернышевскимъ, но зато всюду сквозить глубокая и сильная любовь къ дѣйствительной жизни и болѣе того—къ человѣческой индивидуальности. Конечно, диссертация Чернышевскаго во многихъ мѣстахъ просто вполнѣ наивное, ученическое произведеніе, особенно тамъ, гдѣ онъ разсуждаетъ о несовершенствѣ скульптуры, живописи, музыки, въ сравненіи съ совершенствомъ природы и жизни; но дѣло не въ истинности такихъ взглядовъ Чернышевскаго—объ этомъ не можетъ въ настоящее время быть двухъ мнѣній—а въ его приниженіи того, что ему кажется мертвымъ, и возвеличеніи того, что ему кажется живымъ. Лучшимъ опредѣленіемъ прекраснаго Чернышевскій считаетъ слѣдующее: «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни». Исходя отсюда, Чернышевскій вполнѣ логично пришелъ къ выводу, что дерево, растущее въ лѣсу, прекраснѣе нарисованнаго; это было, конечно, отрицаніемъ искусства, но уже одно то, что Чернышевскій могъ находить прекраснымъ живое дерево, живого человѣка, показываетъ, что онъ неповиненъ въ разрушеніи эстетики, а его страстная любовь къ жизни приближаетъ его эстетическія воззрѣнія къ индивидуализму. Критерій поэзіи—жизнь; критерій поэтического типа—индивидуальность; поэзія стремится къ живой индивидуальности, но успѣваетъ только приблизиться къ ней, и «степень этого приближенія опредѣляется достоинство поэтического образа». Вся эта теорія—діаметральная противоположность той, которая была общепризнанною у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ; возражая гегельянской эстетикѣ на положеніе «прекрасное есть абсолютное», Чернышевскій замѣчаетъ: «Намъ, существамъ индивидуальнымъ, не могущимъ перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности».

Итакъ, ни о какомъ разрушеніи эстетики рѣчи быть не можетъ; можно говорить о переносѣ центра тяжести эстетики изъ искусства въ жизнь, а это совсѣмъ другое дѣло. Конечно, все это зиждется на недоразумѣніи, но это не мѣшаетъ всей теоріи имѣть ярко индивидуалистическую окраску, а самому Чернышевскому быть сторонникомъ эстетическаго индивидуализма (мы говоримъ о Чернышевскомъ начала шестидесятыхъ годовъ). Глубоко хара-

ктерно, поэтому, его отношеніе къ вопросу объ искусствѣ для искусства; разбирая его, Чернышевскій окончательно вскрываетъ всю глубину своего эстетическаго индивидуализма и высказываетъ истины, съ которыми совершенно не согласился бы любой шестидесятникъ болѣе поздняго времени,—и это не только въ своей диссертациі, но и въ другихъ своихъ произведеніяхъ того времени. Искусство для искусства, по мнѣнію Чернышевскаго, вещь небывалая и невозможная, такъ какъ сводится, въ сущности, исключительно къ искусству формы; если подразумѣвать подъ нимъ свободу поэтическаго творчества, то и тогда дѣло не мѣняется. Поэтъ можетъ, конечно, въ разгарѣ Sturm und Drang періода воспѣвать розы и любовь—онъ въ своемъ правѣ, но только его никто не будетъ слушать; гоненіе на лирику въ шестидесятыхъ годахъ достаточно показало это. Вопросъ о чистомъ искусствѣ состоитъ не въ томъ, «должна или не должна литература быть служительницею жизни»—двухъ отвѣтовъ на это, по мнѣнію Чернышевскаго, быть не можетъ,—а въ томъ, слѣдуетъ ли литературу ограничивать изящнымъ эпикуреизмомъ? Это, конечно, тоже односторонность, и Чернышевскій, въ рѣшеніи этого вопроса, становится на широкую точку зрѣнія, достойную его индивидуализма въ эстетикѣ: «Нѣтъ нужды на односторонность отвѣчать другою односторонностью,—говоритъ онъ,—за остракизмъ, которому защитники такъ-называемаго чистаго искусства хотѣли бы подвергнуть всѣ другія идеи и направленія литературы, кромѣ эпикурейскаго, нѣтъ нужды платить остракизмомъ, обращеннымъ противъ эпикурейской тенденціи»... (*Очерки гоголевск. періода; Сочр.* 1856 г., № 12). Пусть существуетъ и такое «чистое искусство», ибо «вольному воля, а поэтъ, по преимуществу, долженъ быть воленъ» (*Сочр.* 1857 г., № 3; Библиографія), но пусть жрецы такого искусства не удивляются полному пренебреженію со стороны своихъ современниковъ, интересы которыхъ, быть-можетъ, лежатъ въ совершенно иной плоскости, и которые жаждутъ боевой поэзіи Тиртея, а не сладкихъ строфъ Анакреона...

Надо отдать справедливость Чернышевскому: во всемъ этомъ онъ проявилъ большую долю терпимости и наиболѣе вѣрное отношеніе къ вопросу объ искусствѣ за все время шестидесятыхъ годовъ. Но вскорѣ—приблизительно около 1858—59 г.—онъ измѣнилъ свою позицію въ этомъ вопросѣ, такъ какъ утилитаризмъ, пріобрѣтшій къ тому времени въ немъ вѣрнаго адепта, оказалъ вліяніе на всѣ стороны міровоззрѣнія Чернышевскаго. Вліяніе утилитаризма не могло не отразиться на эстетическихъ воззрѣ-

нiяхъ Чернышевскаго; но такъ какъ къ тому времени онъ посвятилъ всѣ свои силы разработкѣ социальныхъ проблемъ, то сомнительная «честь» введенiя утилитаристическаго критерiя въ эстетику выпала на долю Добролюбова. Если *Эстетическiя отношенiя искусства къ дѣйствительности* подготовили почву для пришествiя утилитаризма въ область эстетики, то Добролюбовъ первый провелъ этотъ утилитаристическiй критерiй и тѣмъ самымъ явился первымъ представителемъ эстетическаго анти-индивидуализма въ шестидесятыхъ годахъ. Добролюбовъ категорически заявляетъ, что эстетическимъ критерiемъ долженъ быть принципъ полезности; онъ суживаетъ рамки искусства, заявляя, что такъ какъ искусство зависитъ отъ жизни, а не наоборотъ, то все не вытекающее «прямо и естественно» изъ жизни, является въ искусствѣ «уродливымъ и безсмысленнымъ» (I, 467—468). Вотъ опасная точка зрѣнiя, дающая большой просторъ произволу критика! Извольте, дѣйствительно, найти критерiй для того, чтобы рѣшить, что прямо и естественно вытекаетъ изъ жизни и что нѣтъ. Далѣе Добролюбовъ становится на совершенно невѣрную почву, доказывая сторонникамъ искусства для искусства, что превосходное изображенiе древеснаго листочка *менѣе важно*, чѣмъ превосходное изображенiе характера человѣка,—здѣсь налицо примѣненiе утилитарнаго критерiя къ эстетическимъ явленiямъ; и хотя это вполне понятно для эпохи шестидесятыхъ годовъ, но нельзя не замѣтить, что больше правды было на сторонѣ Чернышевскаго, находившаго, что настоящее яблоко *красивѣе* нарисованнаго, чѣмъ на сторонѣ Добролюбова, замѣчающаго, что настоящее яблоко *полезнѣе* нарисованнаго. Конечно, вторая точка зрѣнiя есть только дальнѣйшее развитiе первой, но это не мѣшаетъ первой болѣе приближаться къ истинѣ: по крайней мѣрѣ въ ней мы имѣемъ измѣренiе эстетическихъ явленiй эстетическимъ же критерiемъ, въ то время какъ вторая точка зрѣнiя измѣряетъ длину—пудами.

Ивановъ-Разумникъ.

Чернышевскій и Мальтусъ *).

I.

Обратимся теперь къ вопросу: чѣмъ обусловливается предложение рабочей силы? По отношенію къ этому вопросу отвѣтъ былъ, казалось, ясенъ: предложение обусловлено наличнымъ населеніемъ страны и его приростомъ. Въ первое время, когда капиталистическое производство только что устанавливалось, это соотношеніе между количествомъ предлагаемой рабочей силы и населеніемъ страны было настолько ясно, что почти каждый писатель, занимавшійся экономическими вопросами, не забывалъ упомянуть, что значительное населеніе составляетъ благо для государства. Естественно, что, въ силу подобныхъ взглядовъ, правительства всѣхъ европейскихъ государствъ въ XVI и XVII вѣкѣ заботятся объ увеличеніи населенія: заключеніе браковъ всячески поощряется, поощряется и увеличеніе плодovitости семьи: французскіе дворяне, имѣющіе болѣе 10 живыхъ дѣтей (не поступившихъ въ монастырь), получаютъ по 1000 и 2000 ливровъ въ годъ; Фридрихъ Великій (Прусскій) отменяетъ даже церковное наказаніе за прелюбодѣяніе, и т. д. Но къ концу XVIII в. Англія уже переходитъ къ другому состоянію: населеніе такъ размножилось, что появляется пауперизмъ, т. е. въ силу перенаселенія на рынкѣ является такая масса людей, предлагающихъ свой трудъ, что всѣ фабрики и заводы не въ силахъ вмѣстить въ себѣ этой массы рабочихъ, и потому въ сильной степени возрастаетъ число безработнаго голоднаго населенія. Естественно, что такое явленіе не могло пройти незамѣченнымъ въ обществѣ и литературѣ, и потому выступаютъ писатели, стремящіеся указать причины такой перенаселенности и бѣдности.

*) Проф. А. Скворцовъ. «Основанія политической экономіи». 1898 г.

Первый, занявшійся этимъ вопросомъ, былъ Годвинъ *), который въ своей книгѣ «О политической справедливости» указываетъ на противорѣчіе между колоссальнымъ ростомъ національнаго богатства Англіи и параллельнымъ возрастаніемъ пауперизма. Онъ приходитъ къ выводу, что восхваляемый школой Смита экономическій прогрессъ Англіи не только ничего не прибавилъ къ благосостоянію низшихъ классовъ населенія, но, наоборотъ, разрушилъ это благосостояніе. Богатства, по мнѣнію Годвина, достаточно на всѣхъ, а корень зла въ неправильности политическаго строя и въ отсутствіи учреждений, которыя гарантировали бы каждому его долю.

Отвѣтомъ на книгу Годвина былъ знаменитый трактатъ Мальтуса «Опытъ о принципѣ народонаселенія» (1798 г.). Это сочиненіе черезъ шесть лѣтъ вышло новымъ изданіемъ и вообще еще при жизни Мальтуса выдержало нѣсколько (5) изданій и было переведено на всѣ европейскіе языки ¹⁾.

¹⁾ Авторъ ошибается, — изданій было 6-ть: 1798, 1803, 1806, 1807, 1817 и 1826 гг.

Н. Д.

*) Въ исторіи политической экономіи англійскій публицистъ Вильямъ Годвинъ считается однимъ изъ родоначальниковъ современнаго социализма (род. въ 1756 г.). Въ вышедшемъ въ 1793 г. сочиненіи, «Исслѣдованіе о политической справедливости», Годвинъ изложилъ наиболѣе существенныя основы социалистическаго ученія. Онъ требуетъ для рабочаго установленія права на *полный продуктъ труда*. Производитель долженъ получить то, что онъ сработалъ, не дѣлясь съ капиталистомъ, какъ это дѣлается въ наше время. Годвинъ признаетъ также право всѣхъ, кто не въ силахъ работать, на общественное призрѣніе.

Во времена Адама Смита капиталъ имѣлъ еще миролюбивый видъ, чего нельзя сказать о немъ послѣ цѣлаго ряда изобрѣтеній, сдѣланныхъ во вторую половину XVIII вѣка. Робекъ изобрѣтаетъ новый способъ плавки желѣза; Харгривсъ изобрѣтаетъ прядильную машину; Уаттъ изобрѣтаетъ паровую машину высокаго давленія, а вслѣдъ за ними появляется прядильная машина Кромтона и ткацкій станокъ Каркрайта. Это даетъ толчокъ развитію промышленности и между хозяиномъ и рабочимъ вырывается почти непроходимую пропасть. Старая мастерская, въ которой хозяинъ и рабочій трудились бокъ-о-бокъ, исчезаетъ безвозвратно, и на ея мѣстѣ вырастаетъ фабрика, стоящая огромныхъ, по сравненію съ прежней мастерской, денегъ. Золото рѣкой полилось въ карманы фабрикантовъ, а рабочіе опустили до такой степени нужды, какой они не испытывали прежде никогда. На почвѣ участія къ рабочему классу и выросъ социализмъ, требовавшій болѣе правильнаго распредѣленія жизненныхъ благъ. Послѣ появленія книги Годвина его идеи были подхвачены другими писателями. Среди социалистовъ былъ и отецъ Мальтуса Даніэль Мальтусъ. Сынъ оказался консервативнѣе отца, и въ 1798 г. выпустилъ безъ

Причины пауперизма Мальтусъ видѣлъ не въ томъ или другомъ строѣ государства, а въ свойствѣ самой человѣческой природы. Человѣкъ, какъ и всякій животный или растительный организмъ, въ благопріятныхъ условіяхъ способенъ размножаться до безконечности, и размноженіе идетъ всегда въ геометрической прогрессіи. Продукты же питанія человѣка (т.-е. произведенія земли) не могутъ возрастать съ равною быстротой: въ самомъ благопріятномъ случаѣ ихъ возрастаніе можетъ происходить развѣ что въ ариѳметической прогрессіи. Вслѣдствіе этого, въ то время, когда населеніе учетверится, продуктивность земли возрастетъ только въ три раза, и окажется, слѣдовательно, недостатокъ въ продуктахъ земли; при дальнѣйшемъ же увеличеніи населенія дефицитъ продуктовъ растетъ, и постоянно образуется излишекъ людей, обреченныхъ на бѣдность или, вѣрнѣе, на смерть отъ недостатка пищи; природа сама устраняетъ этотъ излишекъ, жестоко убивая голодной смертью громадныя массы населенія.

«Человѣкъ, рожденный въ занятой уже міръ,—говоритъ Мальтусъ,—если семейство не въ состояніи прокормить его, а общество не нуждается въ его трудѣ, не имѣетъ ни малѣйшаго права на какую бы то ни было долю въ продовольствіи. Онъ лишній на землѣ. За великимъ столомъ природы для него не осталось мѣста; природа повелѣваетъ ему удалиться и въ большинствѣ случаевъ сама приводитъ въ исполненіе свой приговоръ».

Эта работа Мальтуса произвела сильную сенсацію въ Англіи: одни видѣли въ ней справедливую защиту современнаго строя, другіе—выраженіе жестокости по отношенію къ массѣ бѣдняковъ.

имени автора книгу, гдѣ доказывалъ, что бѣдность и нищета неустранимы тѣми средствами, которыя предлагаютъ ученики Годвина. Сочиненіе Мальтуса, конечно, съ восторгомъ было принято буржуазными элементами всѣхъ странъ и стало своего рода евангеліемъ для правителей и законодателей. Такимъ образомъ, полемическое сочиненіе Мальтуса, имѣющее всѣ признаки памфлета, превратилось въ рукахъ противниковъ новой морали въ неопровержимый догматъ. Успѣхъ памфлета побудилъ Мальтуса переработать его въ сочиненіе уже болѣе зрѣлое и продуманное. Онъ его озаглавилъ: «Опытъ о законѣ населенія или взглядъ на его дѣйствіе на счастье общества въ прошедшемъ и настоящемъ, а кромѣ того изученіе, насколько основательны наши ожиданія относительно устраненія или смягченія тѣхъ бѣдствій, которыя онъ производитъ». Идеи Мальтуса и раньше проповѣдывались людьми науки, но никому изъ нихъ не удалось изложить ихъ такъ занимательно и рельефно.

Имущимъ классамъ Англіи и такъ уже не нравился законъ о бѣдныхъ, заставлявшій ихъ уплачивать налогъ, шедшій на улучшеніе участи нуждающихся, а тутъ еще въ умы голодныхъ внесли новыя идеи «бредни» Годвина и ему подобныхъ экономистовъ.

Прежде чѣмъ разбирать подробно воззрѣнія Мальтуса, замѣтимъ, что, хотя мнѣнія его были выражены въ очень рѣзкой и даже жестокой формѣ и повлекли за собою еще большія крайности его послѣдователей, тѣмъ не менѣе онъ имѣлъ значительное основаніе указывать на условія размноженія населенія, какъ на корень того зла, которое вызвало появленіе его труда, т.-е. пауперизма, рѣзко проявившагося въ это время въ Англіи. Дѣло въ томъ, что ко времени выхода въ свѣтъ его книги, Англія пережила періодъ усиленнаго размноженія. Просматривая статистическія данныя той эпохи, мы находимъ поразительное увеличеніе процента прироста населенія. Дѣйствительно, приростъ населенія въ Англіи собственно исчислялся такъ (по Mulhall'ю):

Періодъ.	Населеніе тысячъ душъ.		Общій приростъ въ тысячахъ душъ.
	Въ началѣ	Въ концѣ п е р і о д а.	
1480—1580 г.	3700	4600	900
1580—1680 ».	4600	5532	932
1680—1780 ».	5532	9561	4029

Въ общемъ, слѣдовательно, весьма значительное увеличеніе процента прироста, который въ 1-й и 2-й періодъ не достигаетъ и $\frac{1}{4}\%$ въ годъ, а въ послѣднемъ почти $\frac{3}{4}\%$. Кромѣ того, быстрота возрастанія прироста въ слѣдующія десятилѣтія все продолжала повышаться, какъ показываетъ слѣдующая таблица:

Отъ 1751 по 1781	приростъ	6%
» 1781 » 1791	»	9%
» 1791 » 1801	»	11%
» 1801 » 1811	»	14%.

Іосифъ Тоунсендъ въ своемъ примѣрѣ-разсказѣ образно и наглядно рисуетъ и отстаиваетъ идею Мальтуса. Онъ говоритъ, что на одинъ островъ Великаго океана мореплаватели высадили козла и козу. «Эта счастливая пара, найдя богатая пастбища, безъ затрудненія исполняла первую заповѣдь—плодиться и множиться,—пока не населила весь этотъ маленькій островъ». Пока животныхъ было мало, они не знали нужды и жили припѣваючи, но когда размноженіе зашло за тѣ предѣлы, которые были имъ положены естественными условіями острова, они стали испытывать лишенія, нужду, а затѣмъ и бѣдствія. Морь, различныя эпидеміи и повальные болѣзни отъ времени до времени сильно уменьшали число обитателей острова. На первый взглядъ казалось, что эти страданія не несутъ съ собою ничего, кромѣ горя и отчаянія оставшимся въ живыхъ, но это только казалось глупымъ козамъ, а въ сущности здѣсь проявилась мудрость регулирующаго начала въ природѣ: послѣ мора и напрасной смерти большого количества козъ наступало снова благополучіе и довольство, ибо уменьшалось количество ѣдоковъ. «То, что могло бы по-

Фактъ бросался въ глаза, и перенаселеніе Англіи въ эту эпоху было очевидно, тогда какъ значеніе другихъ факторовъ, вызывающихъ искусственное перенаселеніе, тогда еще далеко не было такъ очевидно, какъ это сдѣлалось въ послѣдствіи.

II.

Теорія народонаселенія Мальтуса подвергалась неоднократно критикѣ съ весьма различныхъ точекъ зрѣнія; ее разбирали и со стороны естественно - исторической, и со стороны экономической, и со стороны статистической, т.-е. точности посылокъ, положенныхъ въ основу заключеній Мальтуса; но наиболѣе остроумную и основательную критику ея далъ Чернышевскій въ примѣчаніяхъ къ сочиненію Д.-С. Милля, а потому остановимся на его соображеніяхъ.

Законъ Мальтуса гласитъ, — говоритъ названный авторъ, — что населеніе имѣетъ способность размножаться съ быстротой, съ какою не можетъ возрастать земледѣльческій продуктъ. Этотъ выводъ подлинными его словами выражается такъ:

«Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ населеніе въ теченіе больше нежели полутора ста лѣтъ удвоивалось быстрѣе, чѣмъ въ каждыя 25 лѣтъ. Итакъ, мы можемъ принять за достовѣрное, что, когда населеніе не задерживается никакими препятствіями, оно удваивается въ каждыя 25 лѣтъ и возрастаетъ по геометрической прогрессіи».

казаться бѣдствіемъ, дѣлалось для нихъ источникомъ счастья». Очень часто англійскіе разбойники приставали къ острову, убивали козъ и, такимъ образомъ, сдѣлали себѣ изъ него продовольственный пунктъ. Это, конечно, тоже служило источникомъ общаго «благополучія» козъ, основаннаго на частномъ несчастіи, — но не такъ взглянули на дѣло хозяева острова, испанцы. Они рѣшили истребить источникъ питанія разбойниковъ, т.-е. козъ, и съ этой цѣлью на островъ были пушены собаки. Собаки стали немилосердно продовольствоваться на счетъ козъ и количество козъ сильно уменьшилось. Если бы всѣ козы были съѣдены, то и собакамъ пришлось бы переселиться въ лучший міръ, но природа и здѣсь не дремала и не бездѣйствовала: козы ушли въ недоступныя собакамъ горы и оттуда спускались отъ времени до времени. Ихъ ловили только тѣ собаки, которыя отличались наиболѣе быстрымъ бѣгомъ и ловкостью, а тѣ, которыя не могли приспособиться къ новымъ обстоятельствамъ, погибли. Такъ между козами и собаками установилось равновѣсіе. «Такимъ же образомъ — умозаключаетъ авторъ — количество продовольствія опредѣляетъ численность и въ человѣческомъ родѣ».

«Не такъ легко опредѣлить размѣръ возрастанія земледѣльческаго продукта,—говоритъ Мальтусъ.—Но мы навѣрное знаемъ, по крайней мѣрѣ, что этотъ размѣръ совершенно не таковъ, какъ размѣръ, по которому растеть населеніе. Человѣкъ живетъ въ ограниченномъ пространствѣ. Когда вся плодородная земля воздѣлана, возрастаніе продовольствія зависитъ отъ улучшенія уже воздѣлываемыхъ земель; это улучшеніе не можетъ имѣть постоянно возрастающаго успѣха; напротивъ, его успѣхи будутъ все менѣе и менѣе значительны. Мы, вѣроятно, превзойдемъ границы правдоподобія, если предположимъ, что при лучшемъ хозяйствѣ земледѣльческій продуктъ могъ бы удвоиться на нашемъ островѣ (Англія) въ первыя 25 лѣтъ; такое предположеніе, вѣроятно, покажется превышающимъ мѣру, допускаемую разумомъ. Рѣшительно невозможно надѣяться, чтобы продуктъ шелъ по той же прогрессіи въ слѣдующія 25 лѣтъ и чтобы въ концѣ второго періода нынѣшній продуктъ учетверился; это противно всѣмъ нашимъ понятіямъ о плодородіи земли. Для каждаго, сколько-нибудь знакомаго съ предметомъ, очевидно, что ежегодное приращеніе средняго продукта идетъ, правильно уменьшаясь. Теперь, чтобы сравнить возрастаніе населенія съ возрастаніемъ продукта, сдѣлаемъ предположеніе, которое при всей своей неточности, навѣрное, будетъ благопріятнѣе всѣхъ результатовъ опыта для земледѣльческаго продукта. Предположимъ, что ежегодное приращеніе продукта не будетъ уменьшаться, а постоянно будетъ одинаково, такъ что съ каждымъ двадцатипятилѣтнимъ періодомъ къ годичному продукту Великобританіи будетъ прибавляться количество, равное всему ея нынѣшнему продукту. Итакъ, мы можемъ сказать, что средства продовольствія при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ не могутъ возрастать быстрѣе, чѣмъ по арифметической прогрессіи».

«Неизбѣжное послѣдствіе этихъ двухъ законовъ возрастанія очевидно. Человѣческій родъ будетъ возрастать въ порядкѣ чиселъ: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, а продовольствіе станетъ возрастать въ порядкѣ чиселъ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9».

«Смыслъ закона,—говоритъ Чернышевскій,—таковъ: недостаточность пищевыхъ продуктовъ вызывается неравенствомъ производительности земельныхъ участковъ съ одной стороны, а съ другой—необходимостью, при ростѣ населенія, занимать все худшія земли, въ силу чего должна падать

Вотъ тотъ «естественный» порядокъ вещей, который установленъ высшею силой на нашей планетѣ и не можетъ быть измѣненъ руками человѣка. Собаки-капиталисты всегда будутъ душить и питаться мясомъ и трудомъ козь-рабочихъ.

Когда-то извѣстный римскій патрицій Мененій Агриппа былъ посланъ на Священную гору, чтобы уговорить возставшій противъ тираніи народъ вернуться въ Римъ. Онъ разсказалъ имъ извѣстную басню о членахъ тѣла и желудкѣ. Изъ басни явствовало, что каждый членъ тѣла несетъ свои обязанности, и если всѣ члены станутъ претендовать на одну и ту же роль, то организмъ умретъ. Народъ послушалъ хитраго разсказчика-парламентера и вернулся на съѣденіе собакамъ. Мальтусъ попытался сдѣлать то же и, пожалуй, не безъ нѣкотораго успѣха. Однако, неумолимое время и дѣйствительность заставили козъ и ихъ вожakovъ останcвиться на идеѣ: представляюгъ ли, дѣйствительно, собаки явленіе неизбѣжное и неустранимое? Нельзя ли безъ собакъ? Быть-мо-

производительность труда вновь прибывающаго населенія. Компенсаціе этого паденія продуктивности земли и, слѣдовательно, потребительнаго дефицита можетъ явиться только повышеніе техники земледѣлія, и весь вопросъ въ томъ, каковъ долженъ быть ростъ улучшенія этой техники для покрытія могущаго возникнуть дефицита, и возможенъ ли подобный ростъ?»

Чернышевскій, не отрицая самой правильности посылокъ Мальтуса (геометрической прогрессіи размноженія и паденія естественной производительности труда), находитъ, что корень ошибки вычисленій Мальтуса—что касается величины необходимыхъ улучшеній—лежитъ въ томъ, что онъ принимаетъ не постепенный, изъ года въ годъ, приростъ населенія, какъ онъ совершается въ дѣйствительности, и послѣдовательный ходъ ежегодныхъ улучшеній, а вычисляетъ то и другое по періодамъ.

Чернышевскій находитъ, что если принять, что процентъ земледѣльцевъ въ населеніи остается неизмѣннымъ, то изъ разсужденій Мальтуса нужно сдѣлать выводъ, что производительность труда прибылыхъ въ каждомъ новомъ періодѣ работниковъ понижается въ той же прогрессіи, въ какой возрастаетъ количество этихъ работниковъ.

«Напишемъ—говорить онъ—строки Мальтуса такъ:

Періоды:	1-й.	2-й.	3-й.	4-й.
Населеніе:	1;	$1+1=2$;	$2+2=4$;	$4+4=8$.
Продуктъ:	1;	$1+1=2$;	$2+1=3$;	$3+1=4$.

Мы видимъ, что одинъ новый работникъ, прибавившійся во второмъ періодѣ, увеличиваетъ земледѣльскій продуктъ на единицу; 2 работника, прибавившіеся въ третій періодъ, увеличиваютъ продуктъ тоже на единицу, т.-е. каждый изъ нихъ только на $\frac{1}{2}$; иначе говоря, производительность труда прибылыхъ работниковъ вдвое ниже производительности прежнихъ работниковъ; 4 работника въ 3-мъ періодѣ увеличили количество продукта также только на единицу, т.-е. одинъ рабочій увеличиваетъ на $\frac{1}{4}$, и т. д.; другими словами,—уменьшеніе производительности идетъ какъ разъ по той же прогрессіи, какъ увеличеніе населенія (1, 2, 4, 8...).

жетъ, козамъ и прійдется терпѣть всякія напасти, но, вѣдь, и при собакахъ эти напасти не меньше, при чемъ собаки своимъ аппетитомъ увеличиваютъ ихъ вдвойнѣ. Отсюда возникъ и разгорѣлся въ экономической литературѣ жаркій споръ между приверженцами одной и другой теоріи. Какъ видимъ, споръ тянулся очень долго, и Чернышевскому въ XIX вѣкѣ пришлось разрушать то, что было написано Мальтусомъ въ XVIII-мъ. До Чернышевскаго и Маркса «законъ» Мальтуса вызывалъ отрицательное къ себѣ отношеніе и еще Гегель указалъ на то обстоятельство, что въ нашемъ цивилизованномъ обществѣ по мѣрѣ роста богатства растетъ и бѣдность, но до работъ упомянутыхъ экономистовъ этотъ споръ не былъ поставленъ на правильную научную почву.

Н. Денисюкъ.

Если при этомъ условіи вычислить размѣръ улучшеній по періодамъ въ 25 лѣтъ, какъ дѣлаетъ Мальтусъ, то получимъ слѣдующій результатъ.

«Пусть количество населенія будетъ 1,000 чел. Пусть на хорошее продовольствіе человѣка нужно среднимъ числомъ 4 четверти пшеницы; всего 4,000 четв. Пусть взрослые мужчины-хлѣбопашцы составляютъ $\frac{1}{10}$ часть населенія, т.-е. пусть ихъ будетъ 100 человѣкъ. Пусть каждый изъ нихъ производитъ среднимъ числомъ 40 четвертей пшеницы; всего пшеницы будетъ произведено 4,000 четвертей. Черезъ 25 лѣтъ число населенія и работниковъ удвоилось. Производительная сила новыхъ работниковъ уменьшилась въ той же пропорціи, въ какой увеличилось число работниковъ, т.-е. вдвое. Итакъ, если первые 100 работниковъ производятъ по 40 четвертей, всего 4,000 четвертей, то новые 100 работниковъ производятъ только по 20 четвертей, всего 2,000 четвертей. Все количество хлѣба на 2,000 населенія будетъ 6,000 четвертей, т.-е. на каждого жителя будетъ приходиться вмѣсто прежнихъ четырехъ четвертей уже только 3 четв. Продовольствіе оказывается недостаточнымъ».

«Для предотвращенія этого дефицита съ его гибельными послѣдствіями нужно было бы произвести въ теченіе 25-лѣтія земледѣльческія улучшенія. Какой же размѣръ ихъ нуженъ?»

«Ясно, что земледѣліе должно улучшиться настолько, чтобы продуктъ съ 6,000 четвертей поднялся до 8,000 четвертей. Если прежнюю высоту земледѣлія мы обозначимъ черезъ Р, то требуемая высота будетъ: $6,000 : 8,000 = Р : X$; откуда мы получимъ $X = \frac{4}{3} Р$ ».

«Мы видимъ, что земледѣліе должно улучшиться въ теченіе 25-лѣтъ на третью часть ($33\frac{1}{3}\%$); настолько, что если бы оставалось только прежнее число 100 рабочихъ, то каждый изъ этихъ работниковъ производилъ бы не 40, а $53\frac{1}{3}$ четверти. Такой размѣръ улучшеній въ 25 лѣтъ дѣйствительно очень великъ, и очень можетъ быть, что онъ неудобноисполнимъ на практикѣ».

Далѣе Чернышевскій вычисляетъ ту же величину улучшеній, принимая во вниманіе послѣдовательный ростъ населенія годъ за годомъ, измѣняя свой примѣръ такимъ образомъ: населеніе 1-го января 1-го года было 1,000; число хлѣбопашцевъ-работниковъ въ немъ 100. «Для хорошаго продовольствія населенія нужна такая успѣшность хлѣбопашеннаго труда, чтобы каждый работникъ производилъ по 10 возовъ хлѣба», и «при такомъ изобиліи продукта населеніе возрастаетъ ежегодно на 3% (пропорція нѣсколько выше той, которая даетъ удвоеніе населенія въ 25 лѣтъ и принимается Мальтусомъ). Къ 1 января 2-го года населеніе будетъ 1030 человѣкъ, и, если пропорція хлѣбопашцевъ-работниковъ останется прежняя, ихъ будетъ 103 челов.», для 1030 чел. будетъ нужно 1030 возовъ хлѣба. Такъ какъ «Мальтусъ полагаетъ, что процентъ ослабленія производительности новаго труда равенъ проценту возрастанія его копк-

чества, или—при неизмѣнности пропорціи между числомъ хлѣбопашцевъ и числомъ населенія—равенъ проценту возрастанія населенія», то «производительность новаго труда относится къ производительности прежняго, какъ 100 къ 103, т.-е. $X : 10 = 100 : 103$, или $X = 9,7087\dots\dots$ » «Итакъ 3 прибылыхъ хлѣбопашца производятъ только $3 \times 9,7087 = 29,1261$ возовъ, вмѣсто 30, которые были бы нужны по прежнему размѣру, и во 2-й годъ для 1030 человекъ будетъ вмѣсто 1030 возовъ хлѣба только 1029,1261. Чтобы вмѣсто 1029,1261 возовъ жатва 2-го года дала 1030 возовъ, производительность труда прежнихъ работниковъ должна подняться настолько выше прежней своей величины 10», и именно— $X : 10 = 1030 : 1029,1261$. $X = 10,00849\dots$

«При ежегодномъ возрастаніи населенія по 3%, нуженъ годичный размѣръ усовершенствованія — 0,000849, т.-е. меньше чѣмъ на $\frac{1}{11}$ часть процента. Это возрастаніе составляетъ на пудъ нѣсколько больше $3\frac{1}{4}$ золотника, а на возъ хлѣба (25 п.)— $81\frac{1}{2}$ золотника». А этотъ процентъ ежегоднаго улучшенія дастъ улучшеніе въ 25 лѣтъ въ $2\frac{1}{7}\%$.

«Неужели,—говорить Чернышевскій — усовершенствованія въ земледѣліи не могутъ идти такъ, чтобы въ теченіе цѣлой четверти вѣка улучшить земледѣльческіе способы на $2\frac{1}{7}\%$ »

Чтобы еще яснѣе видѣть громадную разницу между улучшеніемъ земледѣльческой техники, требуемымъ по вычисленію Мальтуса, и тѣмъ, которое вычислено Чернышевскимъ, приведемъ таблицу:

Періоды по 25 лѣтъ.

1-й. 2-й. 3-й. 4-й. 5-й.

Высота земледѣлія, требуемая					
по вычисл. Мальтуса	1,00	1,333	1,777	2,3702	3,1602
по вычисл. Чернышевскаго . . .	1,00	1,0214	1,0434	1,0657	1,0886
т.-е. улучшенія, по вычисленію Мальтуса, превышаютъ размѣръ улучшеній, вычисленный Чернышевскимъ, въ	—	15	17	20	24 раза.

Показавъ, такимъ образомъ, ошибку разсужденій Мальтуса относительно необходимаго роста улучшеній техники, Чернышевскій переходитъ къ доказательству преувеличенности его понятія о быстротѣ роста населенія.

Періодъ удвоенія въ 25 лѣтъ взять Мальтусомъ изъ переписей населенія Соединенныхъ Штатовъ.¹ Приписывая все увеличеніе жителей Соединенныхъ Штатовъ естественному размноже-

нію, Мальтусъ забылъ совсѣмъ про иммиграцію, которая шла такъ сильно въ то время, и не сдѣлалъ поправки на искусственный приростъ населенія, вносимый переселенцами. Между тѣмъ, поправка эта крайне необходима, такъ какъ иммиграція не только повышаетъ абсолютное число жителей, но и % рождаемости. Большая или меньшая способность извѣстной группы людей къ размноженію зависитъ оттого, какую пропорцію въ этой группѣ составляютъ женщины, способныя по своимъ лѣтамъ становиться матерями, главнымъ образомъ отъ 15 до 40-лѣтняго возраста. Изъ тѣхъ немногихъ и отрывочныхъ данныхъ о выселеніяхъ въ Америку европейцевъ, какія имѣлись даже и во времена Мальтуса, оказывается, что женщины отъ 15 до 40 лѣтъ составляютъ гораздо большій процентъ среди переселенцевъ, чѣмъ среди постоянного населенія Соединенныхъ Штатовъ. Данныя, бывшія недостаточными во времена Мальтуса и даже Чернышевскаго, теперь полнѣе; такъ, вселеніе въ Америку съ 1851 по 1884 годъ составило, по М. Зерингу ¹⁾, 10.000.000 лицъ; возрастной составъ ихъ показанъ въ таблицѣ на ряду съ возрастнымъ составомъ населенія Германіи.

	Моложе 15 л. Отъ 15—40 л. Старше 40 л.		
Среди переселенцевъ	22,1%	68%	9,9%
Въ Германіи	35,6%	38,2%	26,2%

Такимъ образомъ, элементъ населенія, обусловливающий приростъ, среди переселяющихся въ Америку = 68%, т.-е. почти вдвое болѣе, чѣмъ въ странахъ, поставляющихъ туда переселенцевъ. Такой составъ населенія вліяетъ на способность переселенцевъ къ размноженію двоякимъ образомъ: съ одной стороны непосредственно, — увеличивая количество рождающихся въ группѣ, съ другой — посредственно, — тѣмъ, что, благодаря малому количеству нерабочаго населенія, дѣтей и стариковъ, является возможность большаго и болѣе быстрого развитія благосостоянія, что сейчасъ же не замедлитъ отразиться на процентѣ рождаемости, а еще болѣе на процентѣ смертности, увеличивая первый и уменьшая послѣдній, а, слѣдовательно, приростъ населенія будетъ значительно выше. Конечно, приведенныя цифры Зеринга не вполне доказательны, потому что даютъ всю массу населенія данной возрастной группы, тогда какъ рѣшающее значеніе имѣетъ именно женское населеніе. Но, хотя извѣстно,

¹⁾ Max Sering. Die landwirthschaftliche Concurrenz Nordamerikas. Leipzig. 1887.

что въ числѣ эмигрантовъ преобладаютъ мужчины, все же, очевидно, и женская группа наиболѣе плодovитого возраста представлена сильнѣе въ числѣ эмигрирующихъ, чѣмъ среди постоянного населенія страны.

Посмотримъ теперь, какой можно допустить максимумъ прироста населенія, и каковъ будетъ, слѣдовательно, минимальный періодъ удвоенія,—продолжаетъ Чернышевскій.—Очевидно, что годовой приростъ населенія получается изъ разности между числомъ рожденій и смертей въ этотъ періодъ. Какое же можетъ быть число рожденій въ среднемъ обществѣ? Періодъ плодovитости у женщинъ кавказскаго племени простирается приблизительно отъ 15 до 45 лѣтъ; процентъ этихъ женщинъ равняется примѣрно 20¹). Самое устройство организма полагаетъ между рожденіемъ дѣтей у женщинъ средній періодъ въ 2 года (девять мѣсяцевъ беременности, болѣе года кормленія грудью и т. д.). Значитъ число рожденій, по физическимъ условіямъ организма, не можетъ быть больше 10 на 100 (10%). Какъ бы ни былъ заботливъ уходъ за младенцами, все-таки значительное ихъ количество не можетъ быть спасено отъ смерти въ первые годы; при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ наименьшая смертность у дѣтей до 5 лѣтъ равняется, въ среднемъ, 20%, слѣдовательно, приростъ, при вышеизложенныхъ условіяхъ, будетъ равняться только 8%, смертность же взрослыхъ понизитъ его еще, и онъ будетъ менѣе 8%. Но едва ли можно допустить, чтобы каждая женщина произвела въ свою жизнь на свѣтъ 15 дѣтей; для этого надо допустить, что ея производительность остается постоянно въ продолженіе всего періода ея материнства, что очевидная нелѣпость, такъ какъ подъ конецъ жизни женщина истощается, а наше условіе требуетъ отъ нея такой же сипы, какъ и у 16-лѣтней матери; кромѣ того, въ это разсужденіе закрадывается еще и другая ошибка. При такомъ быстромъ ростѣ населенія (8%) пропорція взрослыхъ уменьшилась бы отъ многочисленности подрастающаго поколѣнія, и процентъ первыхъ былъ бы гораздо меньше 20. Напр., при періодѣ удвоенія въ 15 лѣтъ, число лицъ, имѣющихъ болѣе 15 лѣтъ, непременно должно быть менѣе 50% всего населенія, такъ какъ большая половина его

¹) По Mulhall'ю, женщинъ въ возрастѣ отъ 15—45 л. оказывается нѣсколько болѣе 20%; такъ: на 1000 въ Бельгіи приходится 220, во Франціи 223, въ Италіи 227, въ Англіи 230, въ Испаніи 240 и въ Швеціи 245.

будетъ состоятъ изъ дѣтей моложе 15-лѣтняго возраста¹⁾. Если будемъ считать среднюю продолжительность жизни въ 45 лѣтъ, что немного при условіяхъ полнаго благосостоянія,—то это значить, что изъ людей старше 15 лѣтъ цѣлая половина должна имѣть болѣе 45 лѣтъ. «Что же мы получаемъ?»

«Люди, имѣющіе болѣе 15 лѣтъ, составляютъ въ населеніи менѣе 50%
Изъ нихъ женщинъ $\frac{1}{2}$, т.-е. менѣе 25%

Изъ этихъ женщинъ болѣе 45 лѣтъ имѣетъ цѣлая половина, и остается женщинъ, имѣющихъ отъ 15 до 45 лѣтъ, менѣе $12\frac{1}{2}\%$.

Такимъ образомъ, женщины, по лѣтамъ способныя становиться матерями, составятъ въ населеніи такого общества менѣе $\frac{1}{8}$ населенія, и, слѣдовательно, процентъ рождаемости долженъ быть менѣе 6,25%. «Но,—говоритъ Чернышевскій,—положимъ и 6,25% рождающихся младенцевъ. Изъ нихъ при полнѣйшемъ благосостояніи умереть въ младенчествѣ $\frac{1}{5}$ часть (до 5 лѣтъ), т.-е. 1,25%; останется только 5% для размноженія людей и для пополненія убыли, производимой смертностью между людьми старше 5 лѣтъ». Но для того, чтобы періодъ удвоенія населенія имѣлъ 15 лѣтъ, нуженъ процентъ размноженія 4,73; итакъ, для покрытія убыли отъ смертности въ возрастѣ старше 5 лѣтъ остается $5 - 4,73 = 0,27\%$.

«Неужели—восклицаетъ Чернышевскій—возможно предполагать при какомъ-угодно благосостояніи такую малую пропорцію смертей въ населеніи старше 5 лѣтъ? Это значило бы, что для людей, пережившихъ первыя 5 лѣтъ дѣтства, средняя продолжительность жизни составляетъ 135 лѣтъ, т.-е. лишь немногіе изъ нихъ умираютъ ранѣе 100 лѣтъ и довольно многіе доживаютъ до 170. Иными словами—это значить, что предположить періодъ удвоенія въ 15 лѣтъ, значить предположить чистую нелѣпость. Устройство человѣческаго тѣла таково, что быстрота размноженія по 4,73% превышаетъ физическую возможность организма».

Попробуемъ изслѣдовать,—продолжаетъ Ч.,—какіе проценты размноженія и періоды удвоенія могутъ быть приняты за быстрѣйшіе, допускаемые физическою организаціей человѣка. При этомъ будемъ помнить найденныя нами свойства измѣненія въ составѣ населенія: 1) процентъ женщинъ, способныхъ по своимъ лѣтамъ рождать дѣтей, тѣмъ меньше, чѣмъ болѣе процентъ размноженія, и 2) процентъ рожденій, возможный въ об-

¹⁾ По извѣстному свойству геометрической прогрессіи, имѣющей знаменателемъ 2, что послѣдній членъ ея больше суммы всѣхъ предыдущихъ членовъ. Этотъ послѣдній членъ—число лицъ, еще не достигшихъ числа лѣтъ, соотвѣтствующаго цифрѣ лѣтъ періода удвоенія.

ществѣ, слабо размножающемся, становится немислимъ въ обществѣ, быстро размножающемся.

Чернышевскій принимаетъ, что цифра рождаемости «колеблется болѣею частью между 35 и 40 рожденій на 1,000 населенія» и только «въ отдѣльныхъ небольшихъ областяхъ, гдѣ... составъ населенія уклоняется отъ нормы», она поднимается «нѣсколько выше 40»; въ большихъ же странахъ достигается этой высоты только послѣ войнъ, «неестественно возвышающихъ пропорцію женщинъ» въ населеніи; до 45 доходить «при исключительныхъ обстоятельствахъ»; выше 45 показывается лишь... въ тѣхъ странахъ, статистическіе отчеты которыхъ не слишкомъ достовѣрны; «до 48 не достигаетъ ни одна цифра, сколько-нибудь заслуживающая вѣроятія; наконецъ, 50 рожденій на 1,000 населенія не показывается даже въ отчетахъ, не имѣющихъ претензій на точность».

Мы увидимъ потомъ, что современная статистика не вполне подтверждаетъ сказанное здѣсь Чернышевскимъ, но сперва изложимъ его разсужденія.

Основываясь на данныхъ Чедвина о смертности среди дѣтей англійскихъ землевладѣльцевъ, Чернышевскій принимаетъ, что минимальная смертность въ возрастѣ отъ 0 до 5 лѣтъ должна быть не менѣе 20%. Для взрослого же населенія, онъ, исходя изъ данныхъ французской статистики, вычисляетъ наименьшую смертность въ 1,2425%, а болѣе вѣроятную считаетъ смертность въ 1,4728%. На основаніи указанныхъ данныхъ онъ составляетъ слѣдующую таблицу:

% рож- деній.	% умирающ. до 5 л.	% умирающ. послѣ 5 лѣтъ.	% размноженія.		Періодъ удвоенія.	
			Наиболь- шій.	Вѣроятнѣй- шій.	Наимень- шій.	Вѣроятнѣй- шій.
5,0	1,00	отъ 1,2425	2,7575	2,5275	25,48	27,77
4,5	0,90		2,3575	2,1275	29,75	32,93
4,0	0,80	до 1,4725	1,9575	1,7275	35,75	40,47
3,5	0,70		1,5575	1,3275	44,85	52,56

Если же мы примемъ болѣе вѣроятный, по мнѣнію Чернышевскаго, процентъ смертности между дѣтьми до 5 л. въ 1% всего населенія, то при средней рождаемости въ Европѣ (3,5) и болѣе вѣроятной смертности взрослого населенія (старше 5 лѣтъ) (1,47), получимъ приростъ населенія только въ $1.03\% = 3,5\% - 1\% = 1,47\%$. При такомъ же приростѣ, *который однако будетъ болѣе вѣроятнымъ, удвоеніе населенія произойдетъ черезъ 66 лѣтъ*. Выводы Чернышевскаго таковы: во-первыхъ, «для періода

удвоенія въ 25 лѣтъ нужно число рожденій, значительно превышающее даже исключительные случаи особенной многочисленности рожденій. Во 2-хъ, изъ приведенныхъ цифръ видно, что при цифрѣ 40 рожденій на 1,000 человѣкъ населенія,—той цифрѣ, которая встрѣчается только въ обществахъ, гдѣ дѣйствительное число рожденій превышаетъ норму силъ женскаго организма,—періодъ удвоенія оказывается отъ 35,7 до 40,5 лѣтъ, и послѣдняя цифра основана на болѣе вѣроятной пропорціи нормальныхъ смертей». А если взять рождаемость и смертность еще болѣе близкія къ истиннымъ, то удвоеніе и вовсе уже отодвигается такъ далеко (на 96 лѣтъ), что за это время и самыя ничтожныя улучшенія въ технику земледѣлія будутъ въ состояніи поднять производительность настолько, что новыя поколѣнія не только не вымрутъ, какъ хочетъ доказать Мальтусъ, а такъ же, какъ и старые, могутъ смѣло сѣсть за «великій столъ природы».

Всѣ эти указанія Чернышевскаго имѣютъ, конечно, большое значеніе, особенно его выводы, относящіеся къ приросту населенія, и слѣдуетъ признать, что Мальтусъ, какъ и самъ онъ выражается, «найдя палку изогнутою въ одну сторону, слишкомъ перегнулъ ее въ другую сторону». Однако, и разсужденія Чернышевскаго нельзя признать безусловно правильными по слѣдующимъ соображеніямъ: 1) Онъ ставитъ вопросъ такимъ образомъ: для того чтобы произведеній земли было достаточно, необходимо возрастаніе *производительности труда* земледѣльческаго населенія, при томъ условіи къ тому же, что процентъ земледѣльцевъ въ общей массѣ населенія остается постояннымъ. Подобная постановка вопроса несетъ въ себѣ двѣ ошибки. Во-первыхъ, суть дѣла не въ поднятіи производительности труда земледѣльца, а въ увеличеніи производительности почвы, или, что то же, въ увеличеніи количества земледѣльческаго продукта, собираемаго съ единицы воздѣлываемой площади,—все равно, будетъ ли это увеличеніе сопровождаться повышеніемъ производительности труда земледѣльца или нѣтъ, т.-е. будетъ ли единица продукта имѣть цѣнность большаго или прежняго количества затраченной на нее трудовой энергіи. Заменяя терминъ «производительность почвы» несоотвѣтствующимъ ему терминомъ «производительность труда», Чернышевскій получаетъ, конечно, и несоотвѣтствующій выводъ.

Дѣйствительно, всѣ его формулы и вычисленія показываютъ, что, если только признать почву, которую воздѣлываютъ земле-

дѣльцы, способною повышать свою производительность въ известной степени отъ тѣхъ или другихъ приложенныхъ къ ней техническихъ улучшеній, то производительность труда земледѣльческаго населенія должна бы повыситься очень незначительно отъ введенія этой улучшенной техники, и все же продукта получится достаточно. Но этого Мальтусъ и не оспариваетъ. Онъ собственно говоритъ только, что производительность *почвы* не можетъ повышаться параллельно увеличенію населенія, а потому это положеніе его не устраняется разсужденіями Чернышевскаго; все равно и при условіяхъ, указанныхъ Чернышевскимъ, остается въ силѣ тотъ фактъ, что если съ данной площади получается теперь пища для 1.000.000 человѣкъ, то черезъ 25 лѣтъ, или вообще по удвоеніи населенія, съ той же самой площади долженъ быть полученъ продуктъ, достаточный для продовольствія 2.000.000 человѣкъ. Весь вопросъ именно и состоитъ въ томъ, возможно ли полученіе этого двойного количества продукта. А если это такъ, то и рѣшить его тѣмъ способомъ, которымъ пытается сдѣлать это Чернышевскій, совершенно невозможно. Чернышевскій, впрочемъ, не совсѣмъ обошелъ вопросъ о возможности повышенія производительности почвы. Такъ, онъ указываетъ, что по вычисленіямъ Гаснарена (известнаго, въ свое время, французскаго агронома) при плодоперемѣнномъ хозяйствѣ произведеніями 100 гектаровъ земли можетъ продовольствоваться 931 человѣкъ, и на этомъ основаніи вычисляетъ, что Англія (Соединенное королевство) могла бы прокормить своимъ хлѣбомъ 230 милліоновъ человѣкъ. Но такія вычисленія совершенно фантастичны и давно отвергнуты раціональною агрономіей.

Во 2-хъ, нѣкоторыя цифры Чернышевскаго должны быть исправлены въ смыслъ болѣе благопріятномъ для теоремы Мальтуса, и тогда вѣроятность слишкомъ быстрого роста удвоенія, роста, несоотвѣтствующаго прогрессу техники земледѣлія, становится болѣе правдоподобною. Такъ, удвоеніе населенія въ 25 лѣтъ требуетъ ежегоднаго прироста около 28 promille; но мы теперь знаемъ, что встрѣчается, хотя и не часто, рождаемость въ 45 promille (Венгрія) и даже болѣе, какъ, напр., въ Россіи 48,7 promille, равно какъ и имѣетъ мѣсто смертность въ 18,4 (Швеція). Слѣдовательно, предположивъ совпаденіе указаннаго maximum'a рожденій съ minimum'омъ смертности, получимъ приростъ населенія отъ 26,6 до 30,4 promille, т.-е. тотъ, при которомъ удвоеніе произойдетъ въ 25 лѣтъ или даже быстрѣе. Правда, по-

добное совпаденіе еще до сихъ поръ не наблюдапось, а скорѣе, обратно: въ странахъ съ наибольшею рождаемостью обыкновенно имѣеть мѣсто и наибольшая смертность. Однако, необходимость этого послѣдняго совпаденія и невозможность обратнаго отношенія не доказана, а потому нѣтъ основанія и отрицать вполне такое явленіе. Далѣе Чернышевскій, впрочемъ, указываетъ на существованіе возможности удпинить періодъ удвоенія населенія, именно, путемъ эмиграціи, которая, по его мнѣнію, можетъ доходить до $1\frac{1}{4}\%$ всего населенія въ годъ. Это заключеніе построено на нѣкоторыхъ случаяхъ, дѣйствительно имѣвшихъ мѣсто въ отдѣльныхъ, небольшихъ районахъ; но здѣсь онъ дѣлаеть ту же методологическую ошибку, за которую упрекаетъ Мальтуса, т.-е. изъ частнаго случая, бывшаго въ одномъ только мѣстѣ, при исключительныхъ условіяхъ, заключаетъ о возможности того же явленія на территоріи цѣлыхъ государствъ. Между тѣмъ, несмотря на огромныя облегченія въ передвиженіи эмигрантовъ, происшедшія со времени Чернышевскаго (1860 г.), количество эмигрирующихъ въ западной Европѣ все же никогда еще не переходило или, вѣрнѣе, не достигало 1 мил., т.-е. было менѣе 0,5% всего населенія ея (безъ Россіи).

Остается утѣшаться тѣмъ, что возможность выселенія все-таки пока еще существуетъ, а приростъ фактически не такъ великъ, какъ предполагалъ Мальтусъ, и, можетъ-быть, не безосновательно мнѣніе, что развитіе благосостоянія и распространеніе образованія въ массѣ поведетъ къ еще большему уменьшенію прироста, путемъ естественнаго, безъ всякихъ искусственныхъ мѣръ, сокращенія процента рожденій.

А. Скворцовъ.

Философскіе взгляды Чернышевскаго.

I.

Чернышевскій ни въ одномъ изъ своихъ сочиненій не высказываетъ прямо, кого онъ считаетъ своимъ учителемъ въ философіи. Дальше намековъ онъ не идетъ нигдѣ; но его намеки очень прозрачны. Вотъ, напримѣръ, въ своихъ *Полемическихъ Красотахъ* онъ говоритъ, что система его учителя составляетъ самое послѣднее звено въ ряду философскихъ системъ и вышла изъ Гегелевой системы, точно такъ, какъ система Гегеля вышла изъ Шеллинговой. «Вамъ, вѣроятно, хотѣлось бы знать, кто же такой этотъ учитель, о которомъ я говорю?—спрашиваетъ онъ, обращаясь къ своему противнику Дудышкину.—Чтобы облегчить вамъ поиски, я, пожалуй, скажу вамъ, что онъ не русскій, не французъ, не англичанинъ, не Бюхнеръ, не Максъ Штирнеръ, не Бруно Бауэръ, не Молешоттъ, не Фогтъ.—Кто же онъ такой?..» Нужно быть очень догадливымъ, чтобы не отвѣтить: Л ю д в и г ъ Ф е й е р б а х ъ. И дѣйствительно, въ философіи Чернышевскій былъ послѣдователемъ Фейербаха.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что философія Фейербаха развилась изъ философіи Гегеля, какъ эта послѣдняя развилась изъ философіи Шеллинга. Но Гегель былъ рѣшительнымъ и д е а л и с т о м ъ *), а Фейербахъ былъ не менѣе рѣшительнымъ п р о

*) Философскимъ терминомъ и д е а л и з м ъ называютъ ученіе совершенно противоположное матеріализму. Матеріалистъ судитъ о вещахъ на основаніи опыта и матеріальной дѣйствительной природы этихъ вещей, а идеалистъ прикладываетъ къ нимъ масштабъ своихъ идеаловъ. Ему нѣтъ дѣла до того, каковы вещи сами-по-себѣ; онъ рассматриваетъ ихъ съ субъективной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія, какими должны быть эти вещи по сравненіи ихъ съ тѣмъ совершеннымъ міромъ, который онъ нарисовалъ себѣ. Вотъ почему идеалиста никогда не удовлетворяетъ нашъ реальный міръ и онъ будетъ всегда стремиться къ тому прекрасному, отвлеченному міру, который отвѣчаетъ его представленію о прекрасномъ, въ который его

тивникомъ идеализма. А такъ какъ онъ въ то же время хорошо понималъ, въ чемъ заключается слабая сторона «критическаго» дуализма Канта*), то необходимо причислить его къ материалистамъ **). Нѣкоторые изъ новѣйшихъ неокантианцевъ находятъ, что материалистомъ онъ никогда не былъ. Но

уже перенесла фантазія и въ которомъ онъ умственно живетъ. Метафизическій идеализмъ, въ противоположность материализму, учитъ, что истинно-сущее заключается не въ мертвомъ веществѣ, не въ слѣпыхъ силахъ природы, а въ духовныхъ принципахъ, т.-е. идеяхъ. Идеи формируютъ внѣшній матеріальный видъ, а «вещественная природа—только форма, въ которой отчеканивается идеальное духовное содержаніе, подобно тому, какъ художественное произведеніе только средство для осуществленія художественной идеи». Идеализмъ, конечно, и въ другихъ пунктахъ противорѣчитъ материализму, ибо ставитъ все идеальное неизмѣримо выше чувственного, реальнаго. Наука и изслѣдованіе веществъ и силъ признается идеализмомъ низшею ступенью познанія природы, ибо это есть простая попытка проникновенія въ «планъ» и «цѣль» созданія. Начатый ученіемъ Платона идеализмъ былъ реставрированъ въ наше время Кантомъ, а затѣмъ Фихте, Шеллингомъ и, наконецъ, блестяще развился подъ перомъ Гегеля. Этотъ мыслитель перешелъ къ такъ-называемому абсолютному идеализму, говоря: «Мышленіе, понятіе, идея или скорѣе процессъ, имманентное происхожденіе понятія есть единство сущее и истинное. Природа—та же идея, въ формѣ инобытія».

Н. Денисюкъ.

*) Die Kantische Philosophie,—говоритъ онъ,—ist der Widerspruch von Subject und Object, Wesen und Existenz, Denken und Sein. Das Wesen fällt hier in den Verstand, die Existenz in die Sinne. Grundsätze, 22.

Послѣдній періодъ развитія философскихъ взглядовъ Канта называютъ «критическимъ». Здѣсь развилась его теорія дуализма.

Въ противоположность монизму, выводящему свое міропониманіе изъ единаго общаго начала, дуализмъ допускаетъ существованіе двухъ противоположныхъ другъ другу началъ. Такъ, напримѣръ, Зороастръ объясняетъ происхожденіе добра и зла, нравственныхъ поступковъ и безнравственныхъ. По его представленію, въ мірѣ существуетъ *доброе и злое начало*: первое есть причина всего хорошаго, а второе всего дурнаго. Дуализмъ Канта выражается въ самостоятельномъ существованіи тѣла и души и различіи чувствованій. Въ нашей душѣ живутъ два начала: безнравственное, склонное ко всему злему, и нравственное, духовное. Мы должны слушать разумный голосъ нашей доброй природы. Отсюда вытекаетъ у Канта необходимость аскетизма. Борьба съ отрицательной нашей природой представляетъ трудную и безконечную задачу. Отсюда Кантъ выводитъ безсмертіе души. Изъ конечнаго торжества добра надъ зломъ, осуществленія нравственнаго закона во внѣшнемъ мірѣ Кантъ выводитъ бытіе разумаго существа, т.-е. Бога.

Н. Денисюкъ.

**) Материалистическое ученіе рассматриваетъ матерію, какъ единственную и конечную основу всей дѣйствительности. Матерію это ученіе

это ошибочный взглядъ. Если читатель захочетъ убѣдиться въ этомъ, мы предложимъ ему простое, но очень дѣйствительное средство: пусть онъ прочитаетъ въ апрѣльской и майской книжкахъ *Современника* за 1860 г. надѣлавшую такъ много шума статью Чернышевскаго: *Антропологическій принципъ въ философіи*, и пусть онъ рѣшитъ,—можно ли хоть на минуту усомниться въ томъ, что въ ней излагается матеріалистическій взглядъ на природу и человѣка. Всякій не предубѣжденный читатель скажетъ: нѣтъ, въ этомъ совсѣмъ нельзя усомниться. А если это такъ, то нельзя не назвать матеріалистомъ и Фейербаха, изъ сочиненій котораго цѣликомъ заимствованъ взглядъ Чернышевскаго. Но въ такомъ случаѣ насъ спросятъ, можетъ-быть, почему же неокантіанцы отказываются признать Фейербаха матеріалистомъ? Мы, нимало не колеблясь, отвѣтимъ: просто и только потому, что гг. неокантіанцы имѣютъ ошибочное представленіе о матеріализмѣ.

Чернышевскій считалъ своего учителя матеріалистомъ и *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности* представляютъ собою интересную и единственную въ своемъ родѣ

считаетъ вѣчной и неразрушимой. Смерти въ природѣ не существуетъ, ибо одна форма матеріи сменяется другою. Человѣкъ превратился въ лопухъ, лопухъ превратился въ желудкѣ коровы въ молоко, молоко въ организмъ ученаго въ идею, явившуюся какъ результатъ работы мозга. Значитъ, по ученію матеріалистовъ, всѣ, даже душевныя явленія зависятъ отъ матеріи; въ одномъ случаѣ она видоизмѣняется, въ другомъ дѣйствуетъ. Душа есть «мозговой феноменъ», который гаснетъ съ разрушеніемъ матеріи, т.-е. мозга. Матеріалистическое ученіе приводитъ къ монизму, проповѣдующему единое начало, ибо матерія разсматривается, какъ это начало, внѣ котораго ничего не существуетъ. Матеріализмъ отрицаетъ міръ духовныхъ и сверхчувственныхъ явленій. Въ практическомъ смыслѣ матеріализмъ не признаетъ нравственныхъ и эстетическихъ цѣнностей, а только матеріальныя внѣшнія. Во всякомъ случаѣ онъ ихъ цѣнитъ несравненно выше духовныхъ.

«Сущность появленія вещей есть произведеніе различныхъ и разнообразныхъ случайныхъ или необходимыхъ комбинацій между собою и движеной матеріи» (Бюхнеръ).

«Вся вселенная есть вѣчная матерія, форма и движеніе; ничто существенно новое не можетъ ни возникнуть ни уничтожиться» (Чольбе).

«Матерія устрояетъ міръ посредствомъ взаимодействія своихъ атомовъ, безъ плана и безъ намѣренія» (Молешоттъ).

«Закономъ природы служатъ суровыя, непреклонныя силы, не знающія ни нравственности ни снисхожденія» (Фохтъ).

Н. Денисюкъ.

попытку построить эстетику на основѣ матеріалистической философіи Фейербаха. Чтобы правильно понять эту попытку, надо выяснитъ себѣ одну сторону Фейербаховой философіи.

По Фейербаху, предметъ въ его истинномъ смыслѣ дается, какъ мы знаемъ, лишь ощущеніемъ: «Чувственность или дѣйствительность тождественна съ истинной». Спекулятивная философія пренебрежительно относилась къ «чувственному», т.-е. къ свидѣтельству нашихъ органовъ чувствъ, полагая, что представленія о предметахъ, основанныя лишь на чувственномъ опытѣ, остаются несоотвѣтствующими дѣйствительной природѣ предметовъ и нуждаются въ провѣркѣ посредствомъ «чистаго» мышленія. Фейербахъ не могъ не возстать противъ такого отношенія къ «чувственному». Онъ доказывалъ, что если бы наши представленія о предметахъ основывались на нашемъ чувственномъ опытѣ, то они вполне соотвѣтствовали бы ихъ истинной природѣ. Но наша фантазія часто искажаетъ наши представленія, которыя поэтому стоятъ въ противорѣчій съ чувственнымъ опытомъ. Задача философіи и вообще науки заключается въ томъ, чтобы изгнать изъ нашихъ представленій и изъ основанныхъ на нихъ понятій фантастическій элементъ и привести ихъ въ согласіе съ чувственнымъ опытомъ. «Сначала люди видятъ вещи не такими, каковы онѣ на самомъ дѣлѣ, а такими, какими онѣ кажутся,—говорилъ онъ;—люди видятъ не вещи, а то, что они вообразили о нихъ, приписываютъ имъ свою собственную сущность, не различаютъ предмета отъ своего представленія о немъ». То же происходитъ и въ области мышленія. Люди охотнѣе занимаются отвлеченными понятіями, чѣмъ дѣйствительными предметами, а такъ какъ отвлеченныя понятія представляютъ собою тѣ же предметы въ переводѣ на языкъ мысли, то люди больше интересуются переводомъ, чѣмъ подлинникомъ. Только въ самое послѣднее время человѣчество начинаетъ возвращаться къ неискаженному, объективному созерцанію чувственного, т.-е. дѣйствительныхъ предметовъ ¹⁾. Возвращаясь къ такому созерцанію,—господствовавшему въ древней Греціи,—человѣчество, можно сказать, возвращается къ самому себѣ, потому что люди, занимающіеся лишь вымыслами и абстракціями, сами могутъ быть только фантастическими и абстрактными, а не

¹⁾ «Чувства говорятъ все,—замѣчаетъ Фейербахъ;—но, чтобы умѣть читать ихъ показанія, надо умѣть связывать эти показанія одно съ другимъ. Думать—значитъ умѣть связно читать евангеліе чувствъ».

дѣйствительными существами. Реальность человѣка зависитъ лишь отъ реальности того предмета, которымъ онъ занимается¹⁾).

Но если сущность человѣка—«чувственность», дѣйствительность, а не вымыселъ и не абстракція, то всякое превознесеніе вымысла и абстракціи надъ дѣйствительностью не только ошибочно, а прямо вредно. И если задача науки вообще заключается въ реабилитаціи дѣйствительности, то въ этой же реабилитаціи заключается и задача эстетики, какъ отдѣльной научной отрасли. Этотъ выводъ, неизбѣжно слѣдующій изъ философскаго ученія Фейербаха, цѣликомъ легъ въ основу всѣхъ разсужденій Чернышевскаго объ искусствѣ.

Эстетики-идеалисты говорили, что искусство имѣетъ своимъ источникомъ стремленіе человѣка освободить прекрасное, существующее въ дѣйствительности, отъ недостатковъ, мѣшающихъ ему быть вполне удовлетворительнымъ для человѣка. Чернышевскій же утверждаетъ, наоборотъ, что прекрасное въ дѣйствительности всегда выше прекраснаго въ искусствѣ. Для доказательства этой мысли онъ подробно разбираетъ всѣ «упреки, дѣлаемые прекрасному въ дѣйствительности» Фишеромъ, который былъ тогда едва ли не самымъ виднымъ представителемъ идеалистической эстетики въ Германіи. Упреки эти кажутся ему неосновательными. По его мнѣнію, прекрасное, какъ оно существуетъ въ живой дѣйствительности, или совсѣмъ не имѣетъ тѣхъ недостатковъ, которые хотятъ въ немъ видѣть идеалисты, или имѣетъ ихъ лишь въ слабой степени. Притомъ отъ нихъ совсѣмъ несвободны и произведенія искусства. Всѣ недостатки прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности, принимаютъ въ произведеніяхъ искусства гораздо большіе размѣры. Чернышевскій разсматриваетъ каждое искусство въ отдѣльности и старается показать, что ни одно изъ нихъ не можетъ соперничать съ живою дѣйствительностью по красотѣ своихъ созданій. Изъ невозможности такого соперничества онъ заключаетъ, что искусство и не могло имѣть своимъ источникомъ стремленіе освободить прекрасное отъ недостатковъ, будто бы свойственныхъ ему въ дѣйствительности и мѣшающихъ людямъ наслаждаться имъ. Искусство относится къ дѣйствительности такъ же, какъ гравюра относится къ картинѣ. Гравюра не можетъ быть лучше картины, но картина одна, а гравюра во множествѣ экземпляровъ расходится

¹⁾ «Grundsätze», § 43.

по всему свѣту и ею наслаждаются люди, которымъ, можетъ-быть, никогда не удастся увидѣть картину. Произведенія искусства представляютъ собою суррогатъ прекраснаго въ дѣйствительности; они знакомятъ съ прекраснымъ явленіемъ тѣхъ, которые его не видали; они возбуждаютъ и оживляютъ воспоминаніе о немъ у тѣхъ, которымъ удалось его видѣть.

Назначеніе искусства заключается въ воспроизведеніи прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности. Но мы уже знаемъ, что, по мнѣнію Чернышевскаго, сфера искусства гораздо шире сферы прекраснаго въ собственномъ смыслѣ этого слова. Выходить, стало-быть, что задача искусства заключается въ воспроизведеніи всѣхъ тѣхъ явленій дѣйствительной жизни, которыя почему-либо интересны для людей.

«Подъ дѣйствительной жизнью,—прибавляетъ Чернышевскій,—конечно, понимаются не только отношенія человѣка къ предметамъ и существамъ объективнаго міра, но и внутренняя жизнь; иногда человѣкъ живетъ мечтами—тогда мечты имѣютъ для него (до нѣкоторой степени и на нѣкоторое время) значеніе чего-то объективнаго; еще чаще человѣкъ живетъ въ мірѣ своего чувства; эти состоянія, если достигаютъ интересности, также воспроизводятся искусствомъ».

Это очень важное дополненіе, о которомъ намъ придется много говорить впослѣдствіи; поэтому мы просимъ читателя обратить на него большое вниманіе.

Многія произведенія искусства не только воспроизводятъ жизнь, а еще объясняютъ намъ ее, почему и служатъ для насъ учебникомъ жизни. По замѣчанію Чернышевскаго

«особенно слѣдуетъ сказать это о поэзіи, которая не въ силахъ объять всѣхъ подробностей, и потому, по необходимости выпуская изъ своихъ картинъ очень многія мелочи, сосредоточиваетъ наше вниманіе на немногихъ удержанныхъ чертахъ,—если удержаны, какъ и слѣдуетъ, черты существенныя, то этимъ самымъ для неопытнаго глаза облегчается обзоръ сущности предмета».

«Наконецъ, Чернышевскій приписываетъ искусству, —особенно поэзіи,—еще и третье значеніе: значеніе «приговора мысли о воспроизводимыхъ явленіяхъ». Если художникъ — человѣкъ мыслящій, то онъ не можетъ не судить о томъ, что онъ воспроизводитъ, и его сужденіе непремѣнно отразится на его произведеніи.—Намъ кажется, впрочемъ, что это третье значеніе искусства сливается со вторымъ: художникъ не можетъ произнести свой приговоръ надъ явленіями жизни, не сообщивъ въ то же время намъ, какъ онъ ихъ понимаетъ, т.-е. не объяснивъ ихъ намъ по-своему. Нечего и говорить, что если бы художникъ задался

цѣлью реабилитаціи дѣйствительности, то ему пришлось бы разъяснять истинный смыслъ жизни всякій разъ, когда онъ нашелъ бы, что люди забываютъ о немъ ради «грезъ воображенія». Излишне прибавлять также, что такому художнику всецѣло принадлежало бы сочувствіе Чернышевскаго.

Мы видимъ отсюда, что отрицательное отношеніе къ теоріи искусства для искусства было неразрывно связано со всею системою его философскихъ взглядовъ.

II.

Чтобы ближе ознакомить читателя съ аргументаціей нашего автора, мы подробно изложимъ здѣсь возраженія его противъ нѣкоторыхъ изъ «упрековъ», дѣлаемыхъ идеалистами прекрасному въ дѣйствительности.

Эстетики-идеалисты говорили: неодушевленная природа не заботится о красотѣ своихъ произведеній; поэтому они не могутъ быть такъ хороши, какъ созданіе художника, сознательно стремящагося осуществить свой идеаль красоты. Чернышевскій возражаетъ на это, что преднамѣренное произведеніе будетъ по своему достоинству выше непреднамѣреннаго только въ томъ случаѣ, когда силы производителей равны. Но силы человѣка гораздо слабѣе силъ природы; потому его созданія грубы, неловки и неуклюжи въ сравненіи съ произведеніями природы. Притомъ же красота непреднамѣренна только въ мертвой природѣ: животныя уже заботятся о своей внѣшности, нѣкоторыя изъ нихъ безпрестанно охорашиваются; въ человѣкѣ же красота очень рѣдко бываетъ непреднамѣренною: мало людей, которые не заботились бы о своей наружности. Нельзя сказать, что природа не стремится къ произведенію прекраснаго. Конечно, у нея нѣтъ никогда сознательныхъ стремленій, но, «понимая прекрасное, какъ полноту жизни, мы должны будемъ признать, что стремленіе къ жизни, проникающее всю природу, есть вмѣстѣ и стремленіе къ произведенію прекраснаго». Безсознательность этого стремленія не мѣшаетъ его реальности, какъ безсознательность стремленія къ симметріи нисколько не устраняетъ симметричности двухъ половинъ листа.

Прекрасное въ искусствѣ преднамѣренно. Правда, и здѣсь есть исключенія изъ общаго правила. Нерѣдко художникъ дѣйствуетъ безсознательно; тамъ же, гдѣ онъ руководствуется созна-

тельнымъ намѣреніемъ, онъ не всегда заботится только о красотѣ, имѣя, кромѣ стремленія къ ней, также и другія стремленія. Несомнѣнно, однако, что въ произведеніяхъ искусства преднамѣренности больше, чѣмъ въ созданіяхъ природы.

«Но, выигрывая преднамѣренностью съ одной стороны, искусство проигрываетъ тѣмъ же самымъ съ другой; дѣло въ томъ, что художникъ, задумывая прекрасное, очень часто задумываетъ вовсе не прекрасное: мало хотѣть прекраснаго, надобно умѣть постигать его въ его истинной красотѣ—а какъ часто художники заблуждаются въ своихъ понятіяхъ о красотѣ! Какъ часто обманываетъ ихъ даже художническій инстинктъ, не только рефлексивныя понятія, большею частью одностороннія! Всѣ недостатки индивидуальности неразлучны въ искусствѣ съ преднамѣренностью».

Говорятъ еще, что прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности. Чернышевскій несогласенъ и съ этимъ. По его словамъ, прекраснаго въ дѣйствительности вовсе не такъ мало, какъ утверждаютъ нѣмецкіе эстетики. Вотъ, напримѣръ, прекрасныхъ и величественныхъ пейзажей въ природѣ очень много, и есть страны, гдѣ они встрѣчаются на каждомъ шагу: таковы—Швейцарія, Италія, даже Финляндія, Крымъ, берега Днѣпра и Волги. Величественное въ жизни человѣка встрѣчается сравнительно рѣдко. Но всегда было много людей, вся жизнь которыхъ была непрерывнымъ рядомъ возвышенныхъ чувствъ и дѣлъ. Мы не можемъ также пожаловаться на рѣдкость прекрасныхъ минутъ нашей жизни, потому что отъ насъ самихъ зависитъ наполнить ее великимъ и прекраснымъ.

«Пуста и безцвѣтна бываетъ жизнь только у безцвѣтныхъ людей, которые толкуютъ о чувствахъ и потребностяхъ, на самомъ дѣлѣ не будучи способны имѣть никакихъ особенныхъ чувствъ и потребностей, кромѣ потребности рисоваться». Наконецъ, красота, собственно такъ-называемая женская красота, вовсе не рѣдкое явленіе; «людей съ прекраснымъ лицомъ нисколько не меньше, нежели людей добрыхъ, умныхъ и т. д.» И во всякомъ случаѣ прекрасное чаще встрѣчается въ дѣйствительности, чѣмъ въ искусствѣ. Въ жизни совершается множество истинно-драматическихъ событій, а истинно прекрасныхъ трагедій или драмъ очень мало: всего нѣсколько десятковъ во всей западно-европейской литературѣ; въ Россіи всего двѣ: «Борисъ Годуновъ» и «Сцены изъ рыцарскихъ временъ». Прекрасные пейзажи чаще встрѣчаются въ природѣ, нежели въ живописи.

Произведенія скульптуры, статуямъ, очень далеко до живыхъ лицъ.

«Обратилось въ какую-то аксіому,—говорить намъ авторъ,—что красота очертаній Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерскаго и т. д. гораздо выше, нежели красота живыхъ людей. Въ Петербургѣ нѣтъ ни Венеры Медицейской ни Аполлона Бельведерскаго, но есть произведенія Кановы; потому мы, жители Петербурга, можемъ имѣть смѣлость судить до нѣкоторой степени о красотѣ произведеній скульптуры. Мы должны сказать, что въ Петербургѣ нѣтъ ни одной статуи, которая по красотѣ очертаній лица не была бы гораздо ниже безчисленнаго множества живыхъ людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улицѣ, чтобы встрѣтить нѣсколько такихъ лицъ».

Чернышевскій думаетъ, что съ нимъ согласится въ этомъ случаѣ большинство людей, судящихъ самостоятельно. Однако, онъ не считаетъ собственнаго впечатлѣнія доказательствомъ. Онъ приводитъ другое—«болѣе твердое». Въ искусствѣ исполненіе всегда неизмѣримо ниже идеала, существующаго въ воображеніи художника. А идеалъ художника не можетъ быть выше тѣхъ людей, которыхъ онъ встрѣчалъ въ жизни: творческая фантазія только комбинируетъ тѣ впечатлѣнія, которыя производитъ на насъ дѣйствительность; «воображеніе только разнообразить и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить». Скажутъ, пожалуй, что, комбинируя впечатлѣнія, полученные изъ опыта, творческая фантазія художника можетъ соединить въ одномъ лицѣ черты, принадлежащія различнымъ лицамъ. Чернышевскій сомнѣвается и въ этомъ. Онъ говоритъ: «Сомнительно, во-первыхъ, нужно ли это; во-вторыхъ, въ состояніи ли воображеніе соединить эти части, когда онѣ дѣйствительно принадлежатъ разнымъ лицамъ». Эклетицизмъ нигдѣ не ведетъ ни къ чему хорошему и, заразившись имъ, художникъ обнаружилъ бы свое безвкусіе или свое неумѣніе найти дѣйствительно прекрасное лицо для модели.

Этому какъ-будто противорѣчатъ нѣкоторые общеизвѣстные факты изъ исторіи искусства. Кто не слыхалъ о жалобѣ Рафаэля на «неурожай» красавицъ въ Италіи? Чернышевскій не позабылъ о ней. Только онъ думалъ, что она вызвана была вовсе не недостаткомъ красавицъ въ этой странѣ. Дѣло въ томъ, что Рафаэль

«искалъ наилучшей красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна въ цѣломъ свѣтѣ,—говоритъ онъ,—и гдѣ же отыскать ее? Первостепеннаго въ своемъ родѣ всегда очень и очень мало, по очень простой причинѣ: если его соберется много, то мы опять раздѣлимъ его на классы и будемъ называть первостепеннымъ то, чего найдется два-три индивидуума; все остальное назовемъ второстепеннымъ. И вообще, надобно сказать, что мысль, будто бы прекрасное рѣдко встрѣчается въ дѣйствительности, основана на смѣше-

ниі понятія «вполнѣ» и «первое»: вполнѣ величественныхъ рѣкъ очень много,—первая изъ величественныхъ рѣкъ, конечно, одна; великихъ полководцевъ много,—первымъ полководцемъ въ мірѣ былъ кто-нибудь одинъ изъ нихъ».

Мечты воображенія всегда далеко уступаютъ своею красотой тому, что представляетъ собою дѣйствительность. Въ признаніи этого состоитъ, по мнѣнію Чернышевскаго, «одно изъ существеннѣйшихъ различій между устарѣвшимъ міросозерцаніемъ, подъ вліяніемъ котораго возникли трансцендентальныя системы науки, и нынѣшнимъ воззрѣніемъ на природу и жизнь».

III.

Эстетики-идеалисты считали такъ-называемое в о з в ы ш е н н о е «моментомъ» прекраснаго. Чернышевскій доказываетъ, что возвышенное не есть видоизмѣненіе прекраснаго, и что идеи возвышеннаго и прекраснаго совершенно различны между собою: между ними нѣтъ ни внутренней связи ни внутренней противоположности. Онъ даетъ свое собственное опредѣленіе возвышеннаго, обнимающее и объясняющее, какъ ему кажется, всѣ явленія, относящіяся къ этой области: «возвышеннымъ кажется человѣку то, что гораздо больше предметовъ или гораздо сильнѣе явленій, съ которыми сравнивается человѣкомъ».

Къ своему опредѣленію возвышеннаго Чернышевскій приходитъ путемъ слѣдующихъ разсужденій. «Господствующая эстетическая система» говоритъ, что возвышенное есть проявленіе абсолютнаго или перевѣсъ идеи надъ формой. Но эти два опредѣленія совершенно различны по своему смыслу, такъ какъ перевѣсъ идеи надъ формой производитъ не собственно понятіе возвышеннаго, а понятіе туманнаго, неопредѣленнаго и понятіе безобразнаго. Опредѣленіемъ собственно возвышеннаго остается, слѣдовательно, лишь то, согласно которому возвышенное есть проявленіе абсолютнаго. Но и оно не выдерживаетъ критики. Если мы захотимъ вдуматься въ то, что происходитъ въ насъ при созерцаніи возвышеннаго, то убѣдимся, что возвышеннымъ представляется намъ самый предметъ, а не вызываемое имъ настроеніе: величественно море, величественна такая-то гора, величественна такая-то личность. Конечно, созерцаніе возвышеннаго можетъ навести на различныя размышленія, усиливающія испытываемое нами впечатлѣніе; но созерцаемый нами предметъ остается возвышеннымъ совершенно независимо отъ того, являются или нѣтъ

такія мысли. «И потому, если бы даже согласиться, что созерцаніе возвышеннаго всегда ведетъ къ идеѣ безконечнаго, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно имѣть причину своего дѣйствія на насъ не въ ней, а въ чемъ-нибудь другомъ». Но на самомъ дѣлѣ, созерцаніе возвышеннаго далеко не всегда приводитъ насъ къ мысли о безконечномъ. Монбланъ и Казбекъ—величественныя горы, но никто не скажетъ, что онѣ безконечно велики; гроза—очень величественное явленіе, но между грозой и безконечностью нѣтъ ничего общаго; любовь или страсть можетъ быть чрезвычайно величественна, но и она не можетъ вызвать идею безконечнаго. Нѣкоторые предметы и явленія кажутся намъ возвышенными просто потому, что они больше другихъ.

«Монбланъ и Казбекъ величественныя горы, потому что гораздо огромнѣе дюжинныхъ горъ и пригорковъ, которые мы привыкли видѣть... Гладкая площадь моря гораздо обширнѣе площади прудовъ и маленькихъ озеръ, которые безпрестанно попадаютъ путешественникамъ; волны моря гораздо выше волнъ этихъ озеръ, потому буря на морѣ возвышенное явленіе, хотя бы никому не угрожала опасностью... Любовь гораздо сильнѣе нашихъ мелочныхъ расчетовъ и побужденій; гнѣвъ, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнѣе ихъ—потому страсть возвышенное явленіе... Гораздо больше, гораздо сильнѣе—вотъ отличительная черта возвышеннаго».

Приступая къ критикѣ господствующихъ опредѣленій возвышеннаго, Чернышевскій сожалеетъ о томъ, что онъ не можетъ въ своей диссертациі показатъ настоящее значеніе абсолютнаго въ области метафизическихъ понятій. Онъ не безъ причины сожалеетъ объ этомъ. Показать значеніе абсолютнаго—значило бы для него опровергнуть абсолютный идеализмъ въ его основаніи, а опровергнувъ основу абсолютнаго идеализма, поставивъ читателя на свою собственную матеріалистическую точку зрѣнія, онъ уже безъ труда заставилъ бы его признать несостоятельность идеалистическихъ опредѣленій возвышеннаго, а также и другихъ эстетическихъ понятій. Мы доскажемъ то, чего не досказалъ нашъ авторъ.

Абсолютный идеализмъ считаетъ сущностью всего мірового процесса абсолютную идею. Эстетики школы Гегеля апеллировали къ абсолютной идеѣ, какъ къ послѣдней инстанціи, отъ которой зависятъ всѣ (т.-е. и эстетическія) понятія и въ которой разрѣшаются всѣ смущающія насъ противорѣчія¹⁾. Фейербахъ

¹⁾ См. эстетику Фишера (особенно т. I, стр. 47 и слѣдующія) или самого Гегеля.

показалъ, какъ мы уже знаемъ, что абсолютная идея есть процессъ мышленія, разсматриваемый, какъ сущность мірового процесса. Онъ развѣнчалъ абсолютную идею. Но вмѣстѣ съ могучею царицей падали и всѣ ея многочисленные вассалы. Всѣ отдѣльныя идеи и понятія, получавшія свой высшій смыслъ отъ абсолютной идеи, оказывались какъ бы лишенными содержанія и потому нуждались въ коренномъ пересмотрѣ. Возьмемъ хоть понятіе возвышеннаго. Пока абсолютная идея считалась основой всего сущаго, эстетики-идеалисты никого не удивляли, говоря: возвышенное есть проявленіе абсолютнаго. Но когда абсолютное оказалось сущностью нашего собственнаго мыслительнаго процесса, это опредѣленіе утратило всякій смыслъ. Гроза есть возвышенное явленіе природы; но какъ же можетъ проявляться въ ней наше собственное мышленіе? Ясно, стало-быть, что понятіе возвышеннаго необходимо перестроить заново. Сознаніе этой необходимости и сказалось въ попыткѣ Чернышевскаго найти новое опредѣленіе для этого понятія.

То же и съ понятіемъ трагическаго.

Трагическое составляетъ важнѣйшее видоизмѣненіе возвышеннаго. Разойдясь съ идеалистами въ понятіи этого послѣдняго, Чернышевскій, конечно, долженъ былъ разойтись съ ними и во взглядѣ на трагическое. Чтобъ уяснить себѣ, чѣмъ именно вызвано было здѣсь его разногласіе съ идеалистами, надо вспомнить нѣкоторые историческіе взгляды Гегеля. По Гегелю, Сократъ былъ представителемъ новаго принципа въ общественной и умственной жизни Аѳинъ; въ этомъ—его слава и его историческая заслуга. Но, выступивъ представителемъ новаго принципа, Сократъ пришелъ въ столкновеніе съ существовавшими въ Аѳинахъ законами. Онъ нарушилъ ихъ и погибъ жертвой этого нарушенія. И такова вообще судьба историческихъ героевъ: смѣлые новаторы, они нарушаютъ установившійся законный порядокъ; въ этомъ смыслъ они преступны. Установленный законный порядокъ вещей наказываетъ ихъ гибелью. Но ихъ гибелью искупается то, что было преступнаго въ ихъ дѣятельности, и представляемые ими принципы торжествуютъ послѣ ихъ смерти. Такой взглядъ на историческую дѣятельность героевъ заключаетъ въ себѣ два существенно различныхъ элемента. Первый элементъ состоитъ въ указаніи очень часто повторяющагося въ исторіи факта столкновенія новаторовъ съ установившимся законнымъ порядкомъ. Второй заключается въ стремленіи оправдать тоже нерѣдко повторяющійся фактъ гибели новаторовъ. Эти два элемента

соотвѣтствуютъ двойственному характеру абсолютнаго идеализма. Въ качествѣ діалектической системы философіи, абсолютный идеализмъ разсматривалъ явленія въ ихъ развитіи, въ ихъ возникновеніи и уничтоженіи. Процессъ развитія историческихъ явленій совершается посредствомъ человѣческой дѣятельности. Борьба стараго съ новымъ есть борьба людей противоположныхъ направленій. Эта борьба стоитъ подчасъ очень многихъ невинныхъ жертвъ. Таковъ неоспоримый историческій фактъ. Гегель указываетъ его и выясняетъ его неизбѣжность. Но идеализмъ Гегеля есть не только діалектическая система,—онъ хочетъ быть также системой абсолютной истины. Онъ обѣщаетъ ввести насъ въ міръ абсолютнаго. А въ міръ абсолютнаго нѣтъ несправедливости. Поэтому абсолютный идеализмъ Гегеля увѣряетъ, что, собственно говоря, безвинно люди никогда не гибнутъ; что такъ какъ ихъ поступки—поступки индивидовъ—по необходимости носятъ на себѣ печать ограниченности, то, будучи справедливыми съ одной стороны, они несправедливы съ другой. И вотъ эта-то ихъ несправедливость и является причиною ихъ гибели. Такимъ образомъ, съ «абсолютной идеи», со «всемирнаго духа» снимается всякая отвѣтственность за страданія, которыми сопровождается поступательное движеніе человѣчества. Разсматриваемая, такимъ образомъ, исторія становится своего рода т е о д и ц е е й.

Основанное на философіи Гегеля ученіе о трагическомъ станетъ вполне понятно читателямъ, если мы скажемъ, что, согласно этому ученію, судьба Сократа есть одинъ изъ высочайшихъ примѣровъ трагическаго. Аѳинскій мудрецъ своей гибелью искупилъ неизбѣжную односторонность своего собственнаго дѣла. Его гибель была необходимою искупительною жертвой. Безъ такой жертвы осталось бы неудовлетвореннымъ наше нравственное чувство. Согласитесь, что очень странно это нравственное чувство, требующее гибели всѣхъ тѣхъ, которые энергичнѣе и успѣшнѣе другихъ борются противъ общественнаго застоя! Такого чувства не можетъ быть у непредубѣжденнаго человѣка. Оно было придумано, «конструировано» философами. Это, разумѣется, не укрылось отъ Чернышевскаго, совершенно справедливо говорившаго, что мысль—видѣть виновнаго въ каждомъ погибающемъ—*натянута я и жестокая мысль*. Она выросла, по его словамъ, изъ древнегреческой идеи судьбы. Но «всякій образованный человѣкъ понимаетъ, какъ смѣшно смотрѣть на міръ тѣми глазами, какими смотрѣли греки геродотовскихъ

время; всякій нынѣ очень хорошо понимаетъ, что въ страданіи и гибели великихъ людей нѣтъ ничего необходимаго; что не всякій гибнущій человѣкъ гибнетъ за свои преступленія; что не всякій преступникъ погибаетъ; что не всякое преступленіе называется судомъ общественнаго мнѣнія и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждаетъ въ насъ идею необходимости и что вовсе не въ идеѣ необходимости основаніе дѣйствія его на человѣка и сущность его».

Какъ же понимаетъ трагическое самъ Чернышевскій?

Послѣ всего сказаннаго, намъ нетрудно уже предвидѣть, какой взглядъ на трагическое найдемъ мы въ *Эстетическихъ отношеніяхъ*. Чернышевскій говоритъ:

«Трагическое есть страданіе или гибель человѣка—этого совершенно достаточно, чтобы исполнить насъ ужасомъ и состраданіемъ, хотя бы въ этомъ страданіи, въ этой гибели и не проявлялась никакая «безконечно-могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость—причина страданія и гибели человѣка—все равно, страданіе и гибель ужасны. Намъ говорятъ: «чисто случайная гибель—нелѣпость въ трагедіи»; въ трагедіяхъ, писанныхъ авторами, можетъ-быть, а въ дѣйствительной жизни—нѣтъ. Въ поэзіи авторъ считаетъ необходимою обязанностью «выводить развязку изъ самой завязки»; въ жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь можетъ быть совершенно случайною, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбетъ, необходимо вытекающая изъ ихъ положенія и дѣлъ. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погибъ совершенно случайно въ битвѣ подъ Люценомъ, на пути торжества и побѣды?»

Въ концѣ концовъ Чернышевскій опредѣляетъ трагическое, какъ ужасное въ человѣческой жизни. Онъ думаетъ, что это наиболѣе полное опредѣленіе трагическаго. «Правда,—прибавляетъ онъ,—что большая часть произведеній искусства даетъ право прибавить: «Ужасное, постигающее человѣка, болѣе или менѣе неизбежно»; но, во-первыхъ, сомнительно, до какой степени справедливо поступаетъ искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежнымъ, когда въ самой дѣйствительности оно бываетъ, большею частью, вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторыхъ, кажется, что очень часто только по привычкѣ доискиваться во всякомъ произведеніи искусства «необходимаго сцѣпленія обстоятельствъ», «необходимаго развитія дѣйствія изъ сущности самаго дѣйствія», мы находимъ, съ грѣхомъ пополамъ, «необходимость въ ходѣ событій» и тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ, напримѣръ, въ большей части трагедій Шекспира». Итакъ, трагическимъ называется ужасное въ жизни человѣка и было бы ошибкой считать это ужасное результатомъ

«необходимаго хода событій». Такова мысль Чернышевскаго. Справедлива ли она? Прежде чѣмъ отвѣтить на этотъ вопросъ, полезно спросить себя: почему же думаетъ нашъ авторъ, что необходимость отсутствуетъ въ большей части «трагедій» Шекспира? И о какой необходимости можно говорить здѣсь? Очевидно, только о психологической необходимости. Что понимаемъ мы подъ этими словами? То, что мысли, чувства и дѣйствія даннаго лица,—въ нашемъ случаѣ даннаго героя драмы,—съ необходимостью вытекаютъ изъ его характера и его положенія. Но можно ли сказать, что въ драмахъ Шекспира отсутствуетъ эта необходимость? Совсѣмъ нѣтъ! Совсѣмъ напротивъ! Она составляетъ главную отличительную черту драматическихъ произведеній Шекспира. Какъ же понимать слова Чернышевскаго? Повидимому, ихъ можно понять только въ томъ смыслѣ, что онъ отказывается признать неизбѣжнымъ, необходимымъ все то зло и всѣ тѣ человѣческія страданія, которыя находятъ свое выраженіе у Шекспира. Общественная точка зрѣнія Чернышевскаго была точка зрѣнія, такъ-сказать, у с л о в н а г о о п т и м и з м а. Онъ считалъ, что люди будутъ очень счастливы, если они надлежащимъ образомъ организуютъ свои общественныя отношенія. Это—вполнѣ понятный, очень почтенный и,—при наличности извѣстныхъ психологическихъ условий,—совершенно неизбѣжный оптимизмъ. Но собственно къ вопросу о трагическомъ онъ не имѣетъ прямого отношенія. Шекспиру пришлось изображать не то, что могло бы быть, а то, что было; онъ бралъ психологическую природу человѣка не въ томъ ея видѣ, который она приметъ въ будущемъ, а въ томъ, какой былъ извѣстенъ ему на основаніи его наблюденій надъ людьми ему современными. И эта психологическая природа современныхъ ему людей представляла собою не случайное, а необходимое явленіе. Да и что такое случайность, если не необходимость, ускользящая отъ нашего пониманія? Конечно, мы не можемъ представлять себѣ необходимость въ видѣ греческаго рока. Но вѣдь ее можно представить себѣ совсѣмъ иначе. Въ наше время врядъ ли кто станетъ приписывать, напримѣръ, гибель Гракховъ волѣ «рока», силѣ «судьбы» и т. д. Всякій или почти всякій согласится съ тѣмъ, что она была подготовлена ходомъ развитія римской общественной жизни. Но если этотъ ходъ развитія былъ необходимъ, то ясно, что и знаменитые народные трибуны погибли въ силу «необходимаго сцѣпленія обстоятельствъ». Это вовсе не значить,

что мы должны равнодушно относиться къ гибели такихъ людей. Мы можемъ отъ всей души желать имъ побѣды. Но это не мѣшаетъ намъ понимать, что ихъ побѣда возможна при наличности такихъ-то и такихъ-то общественныхъ условій и невозможна при отсутствіи этихъ условій. Вообще противоположеніе желательнаго необходимому не выдерживаетъ критики и представляетъ собою лишь частный случай того дуализма,—осужденнаго, между прочимъ, и Фейербахомъ, учителемъ Чернышевскаго,—того дуализма, который разрываетъ связь между субъектомъ и объектомъ. Всякая монистическая философія,—а философія Чернышевскаго не безъ основанія объявляла себя таковою,—обязана стремиться къ тому, чтобы объяснить желательное необходимымъ, понять возникновеніе данныхъ желаній у даннаго общественнаго чловека, какъ законообразный, и потому необходимый, процессъ. Чернышевскій,—да и самъ Фейербахъ,—признавалъ за своею философіей эту обязанность, поскольку указанная нами задача представлялась ему въ своей общей отвлеченной формулировкѣ. Но ни Фейербахъ ни Чернышевскій не понимали, что эта задача неизбежно встаетъ передъ каждымъ изъ тѣхъ, которые хотятъ понять челоѳеческую исторію вообще и исторію идеологіи въ частности. Этимъ и объясняется неудовлетворительность изложеннаго въ диссертациі Чернышевскаго взгляда на трагическое. Гегель, разсматривавшій судьбу Сократа, какъ драматическій эпизодъ изъ исторіи внутренняго развитія аѳинскаго общества, глубже понималъ трагическое, нежели Чернышевскій, которому судьба эта, повидимому, представлялась просто-напросто ужасною случайностью. Чернышевскій только тогда сравнился бы съ Гегелемъ въ пониманіи трагическаго, если бъ онъ, подобно великому нѣмецкому идеалисту, сталъ на точку зрѣнія развитія, которая, къ сожалѣнію, почти вполнѣ отсутствуетъ въ его диссертациі. Слабая сторона взгляда Гегеля на судьбу того же Сократа заключается въ стремленіи убѣдить насъ въ томъ, что гибель аѳинскаго мудреца была необходима для примиренія кого-то съ чѣмъ-то и для удовлетворенія требованій высшей справедливости, которыя будто бы были отчасти нарушены Сократомъ. Но это стремленіе Гегеля не имѣетъ ничего общаго съ его діалектикой. Оно было внушено тѣмъ метафизическимъ элементомъ, который былъ свойственъ его философіи и который придавалъ ей столь замѣтный отпечатокъ консерватизма. Задача Фейербаха и

его учениковъ, критиковавшихъ философію Гегеля, заключалась въ безпощадной борьбѣ съ этимъ метафизическимъ элементомъ, устраненіе котораго должно было сдѣлать ее а л г е б р о й п р о г р е с с а. Послѣдовательно держась точки зрѣнія развитія, Чернышевскій сумѣлъ бы съ одной стороны понять трагическое положеніе Сократа, какъ результатъ перелома во внутренней жизни Аѳинъ, а съ другой—не только обнаружить слабую сторону предложенной Гегелемъ теоріи трагическаго, — представленіе о гибели героя, какъ о необходимомъ условіи уже извѣстнаго намъ «примиренія»,—но и показать, откуда собственно она явилась, т.-е., иначе сказать, примѣнить орудіе діалектики къ разсмотрѣнію самой философіи Гегеля. Но ни самъ Чернышевскій ни его учитель Фейербахъ не въ состояніи были сдѣлать это. Діалектическая критика гегелевской философіи была дана лишь Марксомъ и Энгельсомъ.

Въ ученіи о комическомъ нашъ авторъ мало разошелся съ «господствующей эстетической системой». Это произошло по той простой причинѣ, что съ принятаго идеалистами опредѣленія: «Комическое есть перевѣсъ образа надъ идеей», онъ могъ безъ большихъ діалектическихъ усилій стереть всякій слѣдъ идеализма. Онъ говоритъ, что комическое есть «внутренняя пустота и ничтожность, имѣющія притязаніе на содержаніе и реальное значеніе». И онъ прибавляетъ, что эстетика-идеалисты слишкомъ суживали понятіе комическаго, противопоставляя его лишь понятію возвышеннаго: «Комическое мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному».

IV.

Произведеніе искусства по своей красотѣ гораздо ниже созданія природы. Искусство выросло вовсе не изъ стремленія людей устранить недостатки прекраснаго, какъ оно существуетъ въ дѣйствительности. Чернышевскій твердо убѣжденъ въ этомъ. Но если мы допустимъ, что онъ правъ, то у насъ неизбежно возникнетъ вопросъ: откуда же взялась у людей мысль о превосходствѣ произведеній искусства надъ созданіями природы? Чернышевскій предвидитъ этотъ неизбежный вопросъ и старается на него отвѣтить.

Человѣкъ, вообще, склоненъ цѣнить трудность дѣла и рѣдкость вещи. Такъ, напримѣръ, мы, русскіе, нисколько не удивляемся тому, что французы хорошо говорятъ по-французски: имъ это ничего не стоитъ. Но мы готовы удивляться иностранцу, хорошо говорящему на этомъ языкѣ. Въ сущности, иностранецъ навѣрное никогда не сравняется въ этомъ отношеніи съ французами; но мы очень охотно простимъ ему недостатки его французской рѣчи и даже вовсе ихъ не замѣтимъ. Мы не безпристрастные судьи въ этомъ случаѣ. Насъ подкупаетъ сознаніе превзойденной иностранцемъ трудности. То же мы видимъ и въ отношеніяхъ эстетики къ созданіямъ природы и искусства: малѣйшій, истинный или мнимый, недостатокъ произведенія природы—и эстетика толкуетъ объ этомъ недостаткѣ, шокируется имъ, готова забывать о всѣхъ достоинствахъ, о всѣхъ красотахъ: стоитъ ли цѣнить ихъ, въ самомъ дѣлѣ, когда онѣ явились безъ всякаго усилія! Тотъ же самый недостатокъ въ произведеніи искусства во сто разъ больше, грубѣе и окруженъ еще сотнями другихъ недостатковъ—и мы не видимъ всего этого, а если видимъ, то прощаемъ и восклицаемъ: «И на солнцѣ есть пятна!» Чернышевскій находитъ, что мы очень хорошо поступаемъ, цѣня трудность дѣла. Но онъ требуетъ справедливости. «Не должно забывать и существеннаго, внутренняго достоинства, которое независимо отъ трудности; мы дѣлаемся рѣшительно несправедливыми, когда трудность исполненія предпочитаемъ достоинству исполненія». Чтобы доказать, какъ высоко цѣнится трудность исполненія и какъ много теряетъ въ глазахъ человѣка то, что дѣлается само собой, Чернышевскій указываетъ на дагерротипные портреты: «Въ числѣ ихъ найдется много не только вѣрныхъ, но и передающихъ въ совершенствѣ выраженіе лица,—цѣнимъ ли мы ихъ? Странно даже услышать апологію дагерротипныхъ портретовъ».

Другимъ источникомъ нашего пристрастія къ произведеніямъ искусства служить то обстоятельство, что они представляютъ собой дѣло рукъ человѣка. Они свидѣтельствуютъ о человѣческихъ способностяхъ, и потому мы дорожимъ ими.

«Всѣ народы, кромѣ французовъ, очень хорошо видятъ, что между Корнелемъ или Расиномъ и Шекспиромъ неизмѣримое разстояніе; но французы до сихъ поръ еще сравниваютъ ихъ;—трудно дойти до сознанія: «наше не совсѣмъ хорошо»;—между нами найдется очень много людей, готовыхъ утверждать, что Пушкинъ всемірный поэтъ; есть даже люди, думающіе, что онъ выше Байрона: такъ высоко человѣкъ ставитъ свое. Какъ отдѣльный народъ преувеличиваетъ достоинство своихъ поэтовъ, такъ человѣкъ вообще преувеличиваетъ достоинство поэзіи вообще».

Третья причина предпочтительной нашей любви къ и с к у с т в у заключается въ томъ, что оно льститъ нашимъ искусственнымъ вкусамъ. Мы понимаемъ теперь, какъ искусственны были нравы, привычки и весь образъ мыслей людей XVII вѣка; мы теперь ближе къ природѣ, мы лучше понимаемъ и цѣнимъ ее, но все еще очень далеки отъ нея и все еще больны искусственностью. У насъ искусственно все, начиная съ нашей одежды и кончая нашими кушаньями, которыя приправляются всевозможными примѣсями, совершенно измѣняющими естественный вкусъ пищи. Произведенія искусства льстятъ нашей любви къ искусственности и именно потому мы предпочитаемъ ихъ созданіямъ природы.

Первыя двѣ причины нашего пристрастія къ произведеніямъ искусства заслуживаютъ, по словамъ Чернышевскаго, уваженія, потому что онѣ естественны: «Какъ человѣку не уважать человѣческаго труда, какъ человѣку не любить человѣка, не дорожить произведеніями, свидѣтельствующими объ умѣ и силѣ человѣка?» Но что касается третьей причины, то онъ относится къ ней съ порицаніемъ, возмущаясь тѣмъ, что произведенія искусства льстятъ нашимъ мелочнымъ требованіямъ, происходящимъ отъ любви къ искусственности. Чернышевскій не хочетъ останавливаться на вопросѣ о томъ, до какой степени мы еще любимъ до сихъ поръ «умывать» природу; по его словамъ, это завлекло бы его въ слишкомъ длинныя разсужденія о томъ, что такое «грязное», и до какой степени оно допустимо въ произведеніяхъ искусства.

«Но до сихъ поръ въ произведеніяхъ искусства господствуетъ мелочная оцѣнка подробностей, которой цѣль не приведеніе подробностей въ гармонію съ духомъ цѣлаго, а только то, чтобы сдѣлать каждую изъ нихъ въ отдѣльности интереснѣе или красивѣе, почти всегда во вредъ общему впечатлѣнію произведенія, его правдоподобію и естественности; господствуетъ мелочная погоня за эффектностью отдѣльныхъ словъ, отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ эпизодовъ, расцвѣчиваніе не совсѣмъ натуральными, но рѣзкими красками лицъ и событій. Произведеніе искусства мелочнѣе того, что мы видимъ въ жизни и въ природѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ эффектнѣе—какъ же не утвердиться мнѣнію, что оно прекраснѣе дѣйствительной природы и жизни, въ которыхъ такъ мало искусственности, которымъ чуждо стремленіе заинтересовать?»

Искусственно-развитой человѣкъ имѣетъ много искусственныхъ, мелочныхъ и часто искажившихся до фантастичности требованій, которыя правильнѣе назвать прихотями. Угождать прихотямъ человѣка вовсе не значитъ удовлетворить его потреб-

ностямъ, между которыми первое мѣсто занимаетъ его потребность къ истинѣ.

Чернышевскій указываетъ еще нѣсколько другихъ причинъ предпочтенія, отдаваемого искусству передъ дѣйствительностью. Мы не станемъ перечислять ихъ здѣсь и ограничимся тѣмъ замѣчаніемъ, что всѣ онѣ, по его мнѣнію, только объясняютъ, а не оправдываютъ это предпочтеніе. Не соглашаясь съ тѣмъ, чтобы искусство стояло выше дѣйствительности, Чернышевскій, естественно, не могъ согласиться и съ господствовавшимъ въ его время идеалистическимъ взглядомъ на то, изъ какихъ потребностей возникаетъ оно, въ чемъ состоитъ его назначеніе. Идеалисты говорили: человѣкъ имѣетъ непреодолимое стремленіе къ прекрасному, но не находитъ истинно прекраснаго въ объективной дѣйствительности; не осуществляемая объективной дѣйствительностью идея прекраснаго осуществляется произведеніями искусства. Чернышевскій возражаетъ на это, что если подъ прекраснымъ понимать полное согласіе идеи и формы, то изъ стремленія къ прекрасному надо выводить не искусство въ частности, а всю вообще дѣятельность человѣка, основное начало которой—полное осуществленіе извѣстной мысли. «Стремленіе къ единству идеи и образа—формальное начало всякой техники, стремленіе къ сознанію и усовершенствованію всякаго произведенія или издѣлія». Чернышевскій утверждаетъ, что подъ прекраснымъ должно понимать то, въ чемъ человѣкъ видитъ жизнь. Отсюда онъ дѣлаетъ тотъ очевидный для него выводъ, что изъ стремленія къ прекрасному происходитъ радостная любовь ко всему живому и что это стремленіе въ высочайшей степени удовлетворяется живою дѣйствительностью.

«Если бы произведенія искусства возникали вслѣдствіе нашего стремленія къ совершенству и пренебреженія всѣмъ несовершеннымъ, человѣкъ долженъ былъ бы давно покинуть, какъ бесплодное усиліе, всякое стремленіе къ искусству, потому что въ произведеніяхъ искусства нѣтъ совершенства; кто недоволенъ дѣйствительною красотой, тотъ еще меньше можетъ удовлетвориться красотой, создаваемою искусствомъ».

Не соглашаясь съ идеалистическимъ объясненіемъ значенія искусства, Чернышевскій находитъ однако, что въ немъ есть намеки на правильное истолкованіе дѣла.

Идеалисты правы, говоря, что человѣкъ не удовлетворяется прекраснымъ въ дѣйствительности, но они ошибаются при указаніи тѣхъ причинъ, вслѣдствіе которыхъ происходитъ его не-

удовлетворенность. Чернышевскій понимаетъ этотъ вопросъ со-
всѣмъ иначе.

Когда мы любуемся моремъ, то намъ въ голову не приходитъ
желаніе чѣмъ-нибудь дополнить или исправить представляе-
мую имъ картину. «Но не всѣ люди живутъ близъ моря; многимъ
не удастся ни разу въ жизни взглянуть на него; а имъ хотѣлось бы
полюбоваться на море—и для нихъ являются картины, изобра-
жающія море». Цѣль большей части произведеній искусства
заключается въ томъ, чтобы дать возможность познакомиться
съ дѣйствительностью тѣмъ людямъ, которые почему-либо не
могли познакомиться съ ней на самомъ дѣлѣ. Искусство воспро-
изводитъ природу и жизнь такъ же, какъ гравюра воспроизво-
дитъ картину.

«Гравюра не думаетъ быть лучше картины, она гораздо хуже ея въ
художественномъ отношеніи; такъ и произведеніе искусства никогда не до-
стигаетъ красоты или величія дѣйствительности; но картина одна, ея мо-
гутъ любоваться только люди, пришедшіе въ галерею, которую она укра-
шаетъ; гравюра расходится въ сотняхъ экземпляровъ по всему свѣту, ка-
ждый можетъ любоваться ею, когда ему угодно, не выходя изъ своей комнаты,
не вставая съ своего дивана, не скидая своего халата; такъ и предметъ пре-
краснаго въ дѣйствительности доступенъ не всякому и не всегда; воспро-
изведенный (слабо, грубо, блѣдно, это правда, но все-таки воспроизведен-
ный) искусствомъ, онъ доступенъ всякому и всегда».

Чернышевскій спѣшитъ замѣтить, однако, что словами—ис-
кусство есть воспроизведеніе дѣйствительности—опредѣляется
только формальное начало искусства. Для опредѣленія же су-
щественнаго содержанія искусства онъ напоминаетъ о томъ, что
оно далеко не ограничивается областью прекраснаго. Искусство
обнимаетъ собою все то, что «въ дѣйствительности (въ природѣ
и въ жизни) интересуется человѣка, не какъ ученаго, а просто
какъ человѣка». Прекрасное, трагическое, комическое пред-
ставляютъ собою лишь три наиболѣе опредѣленныхъ элемента
изъ множества тѣхъ элементовъ, отъ которыхъ зависитъ интересъ
человѣческой жизни. Но почему же прекрасное считается един-
ственнымъ содержаніемъ искусства? Только вслѣдствіе смѣше-
нія прекраснаго, какъ предмета искусства, съ прекрасною фор-
мой, составляющею необходимую принадлежность всякаго про-
изведенія искусства. Прекрасная форма получается благодаря
взаимному соотвѣтствію, единству идеи и образа. Но эта формаль-
ная красота не составляетъ, по мнѣнію Чернышевскаго, такой
особенности, которая отличала бы произведенія искусства отъ
другихъ отраслей человѣческой дѣятельности. «Дѣйствованіе

человѣка всегда имѣеть цѣль, которая составляетъ сущность дѣла; по мѣрѣ соответствія нашего дѣла съ цѣлью, которую мы хотѣли осуществить имъ, цѣнится достоинство самаго дѣла; по мѣрѣ совершенства выполненія оцѣнивается всякое человѣческое произведеніе. Это общій законъ и для ремесла, и для промышленности, и для научной дѣятельности и т. д.; онъ примѣняется и къ произведеніямъ искусства». Смыслъ словъ: гармонія идеи и образа,—сводится къ той простой мысли, что всякое дѣло должно быть выполнено.

Выше мы сказали, что, кромѣ воспроизведенія жизни, искусство имѣеть, по мнѣнію Чернышевскаго, еще и другое значеніе: объясненіе этой жизни. Человѣкъ, интересуясь явленіями жизни, не можетъ не судить о нихъ такъ или иначе. Поэтому и художникъ не можетъ отказаться отъ произнесенія своего приговора надъ тѣми явленіями, которыя онъ изображаетъ. Въ этомъ состоитъ другое назначеніе искусства, благодаря которому «искусство становится въ число нравственныхъ двигателей человѣка». Чѣмъ сознательнѣе относится художникъ къ изображаемымъ имъ явленіямъ, тѣмъ болѣе онъ становится мыслителемъ и тѣмъ болѣе его произведенія, оставаясь въ области искусства, приобрѣтають научное значеніе.

Резюмируя все имъ сказанное по этому поводу, Чернышевскій даетъ слѣдующую окончательную формулировку своего взгляда на искусство:

«Существенное значеніе искусства—воспроизведеніе всего, что интересно для человѣка въ жизни; очень часто, особенно въ произведеніяхъ поэзіи, выступаетъ также на первый планъ объясненіе жизни, приговоръ о явленіяхъ ея».

V.

Насколько правъ нашъ знаменитый авторъ? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы рассмотримъ сначала его опредѣленіе прекраснаго. Прекрасное есть жизнь, говоритъ онъ,—и, основываясь на этомъ опредѣленіи, онъ старается объяснить, почему мы любимъ, напримѣръ, цвѣтушую растительность. «Въ растеніяхъ, говоритъ онъ, намъ нравится свѣжесть цвѣта и роскошь, богатство формы, обнаруживающія богатую силами, свѣжую жизнь. Увядающее растеніе не хорошо; растеніе, въ которомъ мало жизненныхъ соковъ, не хорошо». Это очень остроумно сказано и въ

извѣстныхъ предѣлахъ совершенно правильно. Но вотъ въ чемъ затрудненіе. Извѣстно, что первобытныя племена, напимѣръ, бушмены, австралійцы и другіе «дикари», стоящіе на одинаковой съ ними ступени развитія, никогда не украшаютъ себя цвѣтами, хотя живутъ въ мѣстностяхъ, очень богатыхъ ими. Современная этнологія твердо установила тотъ фактъ, что указанныя племена заимствуютъ мотивы своей орнаментики исключительно изъ животнаго міра. Выходить, стало-быть, что эти дикари совсѣмъ не интересуются растеніями и что къ ихъ психологіи совершенно непримѣнимы только что приведенныя нами остроумныя соображенія Чернышевскаго. Спрашивается, почему же непримѣнимы? На это можно отвѣтить, что они (дикари) еще не имѣютъ вкусовъ, свойственныхъ нормально развитому человѣку. Но это не отвѣтъ, а отговорка. Въ чемъ заключается тотъ критерій, съ помощью котораго мы опредѣляемъ, какіе вкусы людей нормальны и какіе ненормальны? Чернышевскій сказалъ бы, вѣроятно, что этого критерія надо искать въ природѣ человѣка. Но природа человѣка сама измѣняется вмѣстѣ съ ходомъ культурнаго развитія: природа первобытнаго охотника совсѣмъ не то, что природа парижанина XVII вѣка, а природа парижанина XVII вѣка имѣла такія существенныя особенности, которыхъ мы тщетно стали бы искать въ природѣ современныхъ намъ нѣмцевъ и т. д. Да и это еще не все. Въ каждое данное время природа людей одного класса общества во многомъ не похожа на природу людей другого класса. Какъ же тутъ быть? Гдѣ же искать выхода? Поищемъ его сначала въ разбираемой нами диссертациі.

Чернышевскій говоритъ:

«Хорошая жизнь, жизнь, какъ она должна быть, у простаго народа состоитъ въ томъ, чтобы сытно ѣсть, жить въ хорошей избѣ, спать вдоволь; но вмѣстѣ съ этимъ у поселянина въ понятіи «жизнь» всегда заключается понятіе о работѣ: жить безъ работы нельзя; да и скучно было бы. Слѣдствіемъ жизни въ довольствѣ, при большой работѣ, не доходящей, однако, до изнуренія силъ, у молодого поселянина или сельской дѣвушки будетъ чрезвычайно свѣжій цвѣтъ лица и румянецъ во всю щеку—первое условіе красоты по простонароднымъ понятіямъ. Работая много, поэтому будучи крѣпко сложена, сельская дѣвушка при сытной пищѣ будетъ довольно плотна,—это также необходимое условіе красавицы сельской; свѣтская, «полувоздушная красавица» кажется поселянину рѣшительно «невзрачной», даже производить на него непріятное впечатлѣніе, потому что онъ привыкъ считать «худобу» слѣдствіемъ болѣзненности или «горькой доли». Но работа не даетъ разжирѣть: если сельская дѣвушка толста, это родъ болѣзненности, знакъ «рыхлаго» сложения, и народъ считаетъ большую полноту недостаткомъ; у сельской красавицы въ народныхъ пѣсняхъ не найдется ни одного

признака красоты, который не был бы выраженіемъ цвѣтущаго здоровья и равновѣсія силъ въ организмѣ, всегдашняго слѣдствія жизни въ довольствѣ при постоянной и нешуточной, но не чрезмѣрной работѣ. Совершенно другое дѣло свѣтская красавица: уже нѣсколько поколѣній предки ея жили, не работая руками. При бездѣйственномъ образѣ жизни, крови льется въ конечности мало; съ каждымъ новымъ поколѣніемъ мускулы рукъ и ногъ слабѣютъ, кости дѣлаются тоньше; необходимымъ слѣдствіемъ всего этого должны быть маленькія ручки и ножки; онѣ признакъ такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высшихъ классовъ общества—жизни безъ физической работы; если у свѣтской женщины большія руки и ноги, это признакъ или того, что она дурно сложена, или того, что она не изъ старинной, «хорошей» фамиліи... Здоровье, правда, никогда не можетъ потерять своей цѣны въ глазахъ человѣка, потому что и въ довольствѣ и въ роскоши плохо жить безъ здоровья,—вслѣдствіе того румянецъ на щекахъ и цвѣтущая здоровьемъ свѣжесть продолжаютъ быть привлекательными и для свѣтскихъ людей; но болѣзненность, слабость, вялость, томность также имѣютъ въ глазахъ ихъ достоинство красоты, какъ скоро кажутся слѣдствіемъ роскошно-бездѣйственнаго образа жизни. Блѣдность, томность, болѣзненность имѣютъ еще другое значеніе для свѣтскихъ людей; если поселянинъ ищетъ отдыха, спокойствія, то люди образованнаго общества, у которыхъ матеріальной нужды и физической усталости не бываетъ, но которымъ зато часто бываетъ скучно отъ бездѣлія и отсутствія матеріальныхъ заботъ, ищутъ «сильныхъ ощущеній, волненій, страстей», которыми придается цвѣтъ, разнообразіе, увлекательность свѣтской жизни, безъ того монотонной и скучной. А отъ сильныхъ ощущеній, отъ пылкихъ страстей человѣкъ скоро изнашивается: какъ же не очаровываться томностью, блѣдностью красавицы, если томность и блѣдность ея служатъ признакомъ, что она много жила?»

Что же выходитъ? Выходитъ, что искусство воспроизводить жизнь, а жизнь, «хорошая жизнь, жизнь, какъ она должна быть», у различныхъ классовъ различна.

Почему же различна? Только что приведенная нами длинная выписка не оставляетъ никакого сомнѣнія на этотъ счетъ: она различна, потому что различно экономическое положеніе этихъ классовъ; Чернышевскій очень хорошо разъяснилъ это. Стало-быть, мы имѣемъ право сказать, что представленія людей о жизни, а потому ихъ понятіе о красотѣ мѣняются въ связи съ ходомъ экономическаго развитія общества. Но если это такъ, то, спрашивается, правъ ли былъ Чернышевскій, когда такъ рѣшительно оспаривалъ эстетиковъ-идеалистовъ, утверждавшихъ, что прекрасное, встрѣчающееся въ дѣйствительности, оставляетъ человека неудовлетвореннымъ, и что въ этой неудовлетворенности надо искать причины, которая побуждаетъ его заниматься художественнымъ творчествомъ. Чернышевскій возражалъ имъ, что прекрасное въ дѣйствительности превосходитъ прекрасное въ

искусствѣ. Въ извѣстномъ смыслѣ это—неоспоримая истина, но только въ извѣстномъ смыслѣ. Искусство воспроизводитъ жизнь, это такъ. Но мы видѣли, что, согласно Чернышевскому, представление о жизни, «о хорошей жизни, о жизни, какъ она должна быть», неодинаково у людей, принадлежащихъ къ различнымъ классамъ общества. Какъ же будетъ относиться человѣкъ низшаго общественнаго класса къ той жизни, которую ведетъ высшій классъ, и къ тому искусству, которое воспроизводитъ эту жизнь высшаго класса? Надо думать, что онъ,—если только въ немъ уже начала работать мысль, соответствующая его собственному классовому положенію,—отнесется и къ этой жизни и къ этому искусству отрицательно. Если онъ имѣетъ какое-нибудь отношеніе къ художественному творчеству, то онъ захочетъ реформировать господствующія понятія объ искусствѣ,—а господствуютъ, обыкновенно, до поры до времени понятія высшаго класса,—онъ станетъ «творить» на свой особый новый ладъ. Тогда и окажется, что его художественное творчество обязано своимъ происхожденіемъ тому обстоятельству, что его не удовлетворяло прекрасное, встрѣчаемое имъ въ дѣйствительности. Можно, конечно, сказать, что его собственное творчество будетъ лишь воспроизводить ту жизнь, у дѣйствительность, которая хороша по понятіямъ его собственного класса. Но вѣдь господствуетъ не эта жизнь и не эта дѣйствительность, а та жизнь и та дѣйствительность, которыя созданы высшимъ классомъ, и которыя отражаются въ господствующей школѣ искусства. Значитъ, если правъ Чернышевскій, то не совсѣмъ неправа и оспариваемая имъ идеалистическая школа. Возьмемъ примѣръ. Во французскомъ обществѣ временъ Людовика XV господствовали извѣстныя понятія о жизни, какъ она должна быть, нашедшія свое выраженіе въ различныхъ отрасляхъ художественной дѣятельности. Эти понятія были понятіями клонившейся къ упадку аристократіи. Ихъ не раздѣляли духовные представители средняго сословія, стремившагося къ своей эмансипаціи; напротивъ, эти представители подвергали ихъ рѣзкой, беспощадной критикѣ. И когда эти представители сами взяли за художественную дѣятельность, когда они создали свои художественныя школы, то они сдѣлали это потому, что ихъ не удовлетворяло прекрасное, встрѣчавшееся въ той дѣйствительности, которую создать; представлялъ и защищалъ высшій классъ. Стало-быть, тутъ дѣло происходило, несомнѣнно, такъ, какъ его изображали въ своихъ теоріяхъ эстетики-идеалисты. Мало того, даже художники, принадлежавшіе къ этому же

высшему классу, могли не удовлетворяться прекраснымъ, встрѣчаемымъ ими въ дѣйствительности, потому что жизнь не стоитъ на одномъ мѣстѣ, потому что она развивается и потому что ея развитіе вызываетъ несоотвѣтствіе между тѣмъ, что есть, и тѣмъ, что, по мнѣнію людей, должно быть. Значить, въ этомъ отношеніи идеалисты-эстетики вообще не ошибались. Ошибка ихъ состояла совсѣмъ въ другомъ. Для нихъ прекрасное было выраженіемъ абсолютной идеи, развитіе которой, по ихъ понятіямъ, лежало въ основѣ всего мірового, а, слѣдовательно, и всего общественнаго процесса. Когда Фейербахъ возсталъ противъ идеализма, онъ былъ совершенно правъ. Точно такъ же, когда его ученикъ Чернышевскій возсталъ противъ идеалистическаго ученія объ искусствѣ, онъ совсѣмъ не ошибался. Онъ говорилъ совершенную правду, когда утверждалъ, что прекрасное есть жизнь, «какъ она должна быть», и что искусство, вообще, занимается воспроизведеніемъ «хорошей жизни». Его ошибка заключалась лишь въ томъ, что онъ недостаточно выяснилъ себѣ, какимъ образомъ развиваются въ исторіи человѣческія представленія о «жизни». «Воззрѣніе на искусство,—говорилъ онъ,—нами принимаемое, проистекаетъ изъ воззрѣній, принимаемыхъ новѣйшими нѣмецкими эстетиками, и возникаетъ изъ нихъ черезъ діалектическій процессъ, направленіе котораго опредѣляется общими идеями современной науки». Это такъ. Но эстетическіе взгляды Чернышевскаго были только зародышемъ того правильнаго воззрѣнія на искусство, которое, усвоивъ и усовершенствовавъ діалектическій методъ старой философіи, въ то же время отрицаетъ ея метафизическую основу и апеллируетъ къ конкретній общественной жизни, а не къ отвлеченной абсолютной идеѣ. Чернышевскій не сумѣлъ утвердиться на діалектической точкѣ зрѣнія; поэтому въ его собственныя представленія о жизни и объ искусствѣ проникъ очень значительный элементъ метафизики. Онъ раздѣлялъ человѣческія потребности на естественныя и искусственныя; сообразно съ этимъ и «жизнь» представлялась ему частью нормальной,—поскольку она соотвѣтствовала естественнымъ потребностямъ,—а частью, и притомъ большею частью, ненормальной,—поскольку ея складъ обуславливался искусственными потребностями человѣка. Пользуясь такимъ критеріемъ, не трудно было прійти къ тому выводу, что жизнь всѣхъ высшихъ классовъ общества ненормальна. А отсюда было рукой подать до того вывода, что искусство, выражавшее въ различныхъ эпохи эту ненормальную жизнь, было ложнымъ искусствомъ. Но

общество раздѣлилось на классы уже въ то отдаленное время, когда оно стало выходить изъ состоянія дикости. Стало-быть, Чернышевскому нужно было признать ошибочной, ненормальной всю историческую жизнь человѣчества и объявить болѣе или менѣе ложными всѣ тѣ представленія о жизни, которыя въ теченіе этого длиннаго времени возникали на этой ненормальной почвѣ. Такой взглядъ на исторію и на развитіе человѣческихъ понятій могъ быть, и дѣйствительно бывалъ, могучимъ орудіемъ борьбы въ эпохи общественныхъ перемѣнъ, въ эпохи «трицатилѣтія». И неудивительно, что за него крѣпко держались наши просвѣтители 60-хъ годовъ. Но онъ не могъ послужить орудіемъ научнаго объясненія историческаго процесса. По этому самому онъ не могъ лечь въ основу научной эстетики, о которой мечтали нѣкогда Бѣлинскій и которая не осуждается, — это вообще не дѣло «теоретическаго разума», — а обьясняется. Чернышевскій правильно называлъ искусство воспроизведеніемъ жизни». Но именно потому, что искусство воспроизводитъ «жизнь», научная эстетика, — вѣрнѣе сказать, правильное ученіе объ искусствѣ—могло лишь тогда встать на твердую почву, когда возникло правильное ученіе о «жизни». Философія Фейербаха заключала въ себѣ только нѣкоторые намеки на такое ученіе. Поэтому и основанное на ней ученіе объ искусствѣ лишено было твердой научной основы.

Таковы тѣ общія замѣчанія, которыя мы хотѣли сдѣлать объ эстетической теоріи Чернышевскаго. Что касается частныхъ, то мы отмѣтимъ здѣсь только вотъ что.

Въ русской литературѣ не разъ возмущались тѣмъ, приведеннымъ нами выше, сравненіемъ, согласно которому искусство относится къ жизни, какъ гравюра къ картинѣ, и которое Чернышевскій сдѣлалъ для поясненія той своей мысли, что люди дорожатъ созданіями въ искусствѣ не потому, что прекрасное въ дѣйствительности не удовлетворяетъ ихъ, а потому, что они не имѣютъ къ нему доступа по той или другой причинѣ. Но эта мысль далеко не такъ неосновательна, какъ это думаютъ критики Чернышевскаго. Въ живописи можно указать множество такихъ созданій искусства, цѣль которыхъ заключается въ томъ, чтобы дать людямъ возможность насладиться хотя бы только снмкомъ съ привлекательной для нихъ дѣйствительности. Чернышевскій указывалъ на картины, изображающія морскіе виды. И онъ былъ въ значительной степени правъ. Многія такія картины обязаны были своимъ существованіемъ тому, что люди, напримѣръ, гол-

ландцы, любили море и хотѣли наслаждаться его видами даже тогда, когда оно было далеко отъ нихъ. Нѣчто подобное мы видимъ и въ Швейцаріи. Швейцарцы любятъ свои горы, но и они не имѣютъ возможности постоянно наслаждаться настоящими альпійскими видами: огромное большинство населенія той страны живетъ въ долинахъ и въ предгоріяхъ; поэтому тамъ существуетъ много живописцевъ,—Люгардонъ и другіе,—воспроизводящихъ эти виды. Ни публикѣ ни самимъ живописцамъ при этомъ и въ голову не приходитъ, что эти произведенія искусства прекраснѣе дѣйствительности. Но они н а п о м и н а ю т ъ о ней, и этого достаточно для того, чтобы они нравились, для того, чтобы ими дорожили. Мы видимъ, стало-быть, неоспоримые факты, ясно говорящіе въ пользу Чернышевскаго. Но есть другіе факты, говорящіе противъ него, и на нихъ стоитъ остановиться.

Знаменитый французскій живописецъ-романтикъ Делякруа замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ, что картины не менѣе знаменитаго Давида представляютъ собою своеобразную смѣсь реализма съ идеализмомъ¹⁾. Это совершенно вѣрно и,—что для насъ здѣсь всегдѣ важнѣе,—это вѣрно не только по отношенію къ Давиду. Это вѣрно вообще по отношенію къ искусству, выражающему собою стремленія новыхъ общественныхъ слоевъ, стремящихся къ своему освобожденію. Жизнь господствующаго класса представляется новому, восходящему и недовольному классу ненормальной, достойной осужденія. А потому и приемы художниковъ, воспроизводящихъ эту жизнь, не удовлетворяютъ его, кажутся ему и с к у с с т в е н н ы м и. Новый классъ выдвигаетъ своихъ художниковъ, которые, въ борьбѣ со старой школой, апеллируютъ къ жизни, выступаютъ, какъ реалисты. Но жизнь, къ которой они апеллируютъ, есть «хорошая жизнь, какъ она должна быть»... согласно понятіямъ новаго класса. А эта жизнь еще не совсѣмъ сложилась: вѣдь новый классъ только еще стремится къ своему освобожденію; она въ значительной степени сама остается еще и д е а л о м ъ. Поэтому и искусство, созданное представителями новаго класса, будетъ представлять собою «своеобразную смѣсь реализма съ идеализмомъ». А объ искусствѣ, представляющемъ собою такую смѣсь, нельзя сказать, что оно стремится къ воспроизведенію прекраснаго, существующаго въ дѣйствительности. Нѣтъ, художники такого рода не удовлетворяются и не

1) См. Journal d'Eugène Delacroix, Paris 1893, t. III, p. 382.

могутъ удовлетворяться дѣйствительностью; имъ, какъ и всему представляемому ими классу, хочется частью *п е р е д ѣ л а т ь*, а частью *д о п о л н и т ь* ее сообразно своему идеалу. По отношенію къ т а к и м ь художникамъ и къ т а к о м у искусству мысль Чернышевскаго была ошибочна. Но замѣчательно, что само русское искусство времени Чернышевскаго представляло собою своеобразную, очень привлекательную смѣсь реализма съ идеализмомъ. Это обстоятельство объясняетъ намъ, почему, въ примѣненіи къ этому искусству, теорія Чернышевскаго, требовавшая строгаго реализма, оказывалась *с л и ш к о м ь у з к о ю*.

Но Чернышевскій самъ былъ сыномъ,—и еще какимъ сыномъ!—своего времени. Онъ самъ не только не чуждался передовыхъ идеаловъ своего времени, но былъ ихъ преданнѣйшимъ и сильнѣйшимъ защитникомъ. Поэтому его теорія, защищая строгій *р е а л и з м ь*, все-таки отводила мѣсто и *и д е а л и з м у*. Чернышевскій говоритъ, что искусство не только воспроизводитъ жизнь, но также истолковываетъ ее, служить ей учебникомъ. Самъ онъ интересовался искусствомъ, главнымъ образомъ, какъ учебникомъ жизни, и въ своихъ критическихъ статьяхъ онъ задавался цѣлью помогать художникамъ въ истолкованіи жизненныхъ явленій. Такъ же поступалъ его литературный послѣдователь Добролюбовъ: достаточно вспомнить его знаменитую и поистинѣ превосходную статью: «Когда же придетъ настоящій день», написанную по поводу повѣсти Тургенева «Наканунъ». Въ этой статьѣ Добролюбовъ говоритъ:

«Писатель-художникъ, не заботясь ни о какихъ общихъ заключеніяхъ относительно состоянія общественной мысли и нравственности, всегда умѣетъ, однакоже, уловить ихъ существеннѣйшія черты, ярко освѣтить и прямо поставить ихъ предъ глазами людей размышляющихъ. Вотъ почему и полагаемъ мы, что какъ скоро въ писатель-художникъ признается талантъ, т.-е. умѣніе чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія, произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообразны тѣ образы, которые имъ созданы».

Сообразно съ этимъ Добролюбовъ ставилъ главною задачей литературной критики «разъясненіе тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя вызвали извѣстное художественное произведеніе». Такимъ образомъ, эстетическая теорія Чернышевскаго и Добролюбова сама была своеобразной смѣсью реализма съ идеализмомъ. *Разъясняя жизненные явленія*, она не довольствовалась конста-

тированіемъ того, что есть, а указывала также—и даже главнымъ образомъ—то, что должно быть. Она отрицала существующую дѣйствительность и въ этомъ смыслѣ служила выраженіемъ тогдашняго «отрицательнаго» направленія. Но она не сумѣла «развить идею отрицанія», какъ выразился когда-то о самомъ себѣ Бѣлинскій; она не сумѣла поставить эту идею въ связь съ объективнымъ ходомъ развитія русской общественной жизни,—короче, она не сумѣла дать ей соціологическую основу. Въ этомъ заключался главный ея недостатокъ. Но оставаясь на точкѣ зрѣнія Фейербаха, нельзя было ни устранить, ни даже замѣтить этотъ недостатокъ. Онъ становится замѣтнымъ только съ точки зрѣнія ученія Маркса.

Мѣсто не позволяетъ намъ критиковать отдѣльныя положенія Чернышевскаго. Поэтому мы ограничимся еще однимъ только замѣчаніемъ. Чернышевскій рѣшительно отвергалъ идеалистическое опредѣленіе возвышеннаго, какъ выраженія идеи безконечнаго. Онъ былъ правъ, потому что подъ идеей безконечнаго идеалисты понимали абсолютную идею, для которой не было мѣста въ ученіи Фейербаха-Чернышевскаго. Но онъ ошибался, говоря, что хотя содержаніе возвышеннаго и можетъ наводить насъ на различныя мысли, усиливающія то впечатлѣніе, которое мы отъ него получаемъ, но что самъ-по-себѣ предметъ, производящій такое впечатлѣніе, остается возвышеннымъ независимо отъ этихъ мыслей. Отсюда логически слѣдуетъ тотъ выводъ, что возвышенное существуетъ само-по-себѣ, независимо отъ нашихъ о немъ мыслей. По мнѣнію Чернышевскаго, возвышеннымъ намъ представляется самый предметъ, а не вызываемое имъ настроеніе. Но его опровергаютъ имъ самимъ приводимые примѣры. Онъ говоритъ, что Монбланъ и Казбекъ величественныя горы, но никто не скажетъ, что онѣ безконечно велики. Это такъ; но никто не скажетъ также, что онѣ величественны сами-по-себѣ, независимо отъ производимаго ими на насъ впечатлѣнія. То же приходится сказать и о прекрасномъ. По Чернышевскому выходитъ съ одной стороны, что прекрасное въ дѣйствительности прекрасно само-по-себѣ; но съ другой стороны, онъ самъ же объясняетъ, что прекраснымъ намъ кажется только то, что соответствуетъ нашему понятію о «хорошей жизни», о «жизни какъ она должна быть». Стало-быть, предметы прекрасны не сами-по-себѣ.

Эти ошибки нашего автора объясняются, кратко говоря, уже указаннымъ нами отсутствіемъ у него діалектическаго взгляда на вещи. Онъ не умѣлъ найти истинную связь между объектомъ

и субъектомъ, объяснить ходъ идей ходомъ вещей. Поэтому онъ по необходимости пришелъ къ противорѣчію съ самимъ собой и, вопреки всему духу своей философіи, придавъ объективное значеніе нѣкоторымъ идеямъ. Но и эта ошибка могла быть замѣчена только тогда, когда философія Фейербаха, лежащая въ основѣ эстетической теоріи Чернышевскаго, стала уже «превзойденной ступенью». А для своей эпохи диссертация нашего автора все-таки была въ высшей степени серьезнымъ и замѣчательнымъ произведеніемъ.

Бельтовъ (Г. Плехановъ).

Н. Г. Чернышевскій *).

I.

О первой изъ значительныхъ работъ Ч.¹⁾ — *Эстетическихъ отношеніяхъ искусства къ дѣйствительности*—до сихъ поръ держится мнѣніе, что она является основой и первымъ проявленіемъ того «разрушенія эстетики», которое достигло апогея въ статьяхъ Писарева, Зайцева и друг. Это мнѣніе не имѣетъ никакого основанія. Трактатъ Ч. уже по тому одному нельзя причислить къ «разрушенію эстетики», что онъ все время заботится объ «истинной» красотѣ, которую, правильно или нѣтъ, это уже другой вопросъ,—усматриваетъ, главнымъ образомъ, въ природѣ, а не въ искусствѣ. Для Ч. поэзія и искусство—не вздоръ: онъ только ставитъ имъ задачей отражать жизнь, а не «фантастическіе полеты». На позднѣйшаго читателя диссертация, несомнѣнно, производитъ странное впечатлѣніе, но не тѣмъ, что она якобы стремится упразднить искусство, а тѣмъ, что она задается совершенно бесплодными вопросами: что выше въ эстетическомъ отношеніи—искусство или дѣйствительность, и гдѣ чаще встрѣчается истинная красота—въ произведеніяхъ искусства или въ живой природѣ. Здѣсь сравнивается несравнимое: искусство есть нѣчто вполнѣ самобытное, главную роль въ немъ играетъ *отношеніе художника къ воспроизводимому*. Полемическая постановка вопроса въ диссертации была реакціей противъ односторонности нѣмецкихъ эстетиковъ 40-хъ гг., съ ихъ пренебрежительнымъ отношеніемъ къ дѣйствительности и съ ихъ утвержденіемъ, что идеаль красоты—абстрактный. Проникающее же диссертацию исканіе идейнаго искусства были только возвращеніемъ къ традиціямъ Бѣлинскаго, который уже съ 1841—42 гг. отрицательно относился къ «искусству для искусства» и тоже

*) Энциклопедическій Словарь Брокгауза и Эфрона, томъ XXXVIII.

¹⁾ Чернышевскій.

считалъ искусство одною изъ «нравственныхъ дѣятельностей человѣка». Лучшимъ комментариемъ къ всякимъ эстетическимъ теоріямъ всегда служить практическое примѣненіе ихъ къ конкретнымъ литературнымъ явленіямъ. Чѣмъ же является Ч. въ своей критической дѣятельности? Прежде всего—восторженнымъ апологетомъ Лессинга. О Лессинговскомъ *Лаокоонѣ* *)—этомъ эстетическомъ кодексѣ, которымъ всегда старались побивать нашихъ «разрушителей эстетики», Ч. говоритъ, что «со времени Аристотеля никто не понималъ сущности поэзіи такъ вѣрно и глубоко, какъ Лессингъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, особенно увлекаетъ Ч. боевой характеръ дѣятельности Лессинга, его борьба со старыми литературными традиціями, рѣзкость его полемики и вообще безпощадность, съ которою онъ очищалъ авгіевы стойла современной ему нѣмецкой литературы. Въ высшей степени важны для уясненія литературно-эстетическихъ взглядовъ Ч. и статьи его о Пушкинѣ въ тотъ же годъ, когда появилась диссертация. Отношеніе Ч. къ Пушкину—прямо восторженное. «Творенія Пушкина, создавшія новую русскую литературу, образовавшія новую русскую поэзію, по глубокому убѣжденію критика, будутъ жить вѣчно». «Не будучи по преимуществу ни мыслителемъ ни ученымъ, Пушкинъ былъ человѣкъ необыкновеннаго ума и человѣкъ чрезвычайно образованный; не только за тридцать лѣтъ, но и нынѣ въ нашемъ обществѣ не много найдется людей, равныхъ Пушкину по образованности». «Художническій геній Пушкина такъ великъ и прекрасенъ, что, хотя эпоха безусловнаго удовлетворенія чистою формой для насъ миновала, мы доселѣ не можемъ не увлекаться дивною, художественною красотой его созданій. Онъ—истинный отецъ нашей поэзіи». Пушкинъ «не былъ поэтомъ какого-

*) Знаменитая группа «Лаокоона», представляющая смерть этого жреца Аполлона въ Троѣ и его сыновей, сдѣлана родосскими ваятелями: Агассандромъ, Полидоромъ и Аэинодоромъ. Она считается знаменитѣйшимъ художественнымъ произведеніемъ древности, дошедшимъ до насъ. Время изваянія группы долго служило предметомъ спора. Теперь склоняются къ мнѣнію Велькера, который, вмѣстѣ съ Брюнъ, относитъ группу ко временамъ діадочовъ, т.-е. временамъ, слѣдовавшимъ тотчасъ же за царствованіемъ Александра Македонскаго. Знаменитое произведеніе вдохновило Лессинга, и онъ написалъ сочиненіе о немъ. Сочиненіе озаглавлено: «Лаокоонъ или о предѣлахъ искусства и поэзіи» (Берлинъ, 1763 г.). Произведеніе Лессинга стало классическимъ и оказало большое вліяніе на представленіе о задачахъ и природѣ искусства.

нибудь опредѣленнаго воззрѣнія на жизнь, какъ Байронъ, не былъ даже поэтомъ мысли вообще, какъ, напр., Гете и Шиллеръ. Художественная форма «Фауста», «Валленштейна» или «Чайльдъ-Гарольда» возникла для того, чтобы въ ней выразилось глубокое воззрѣніе на жизнь; въ произведеніяхъ Пушкина мы не найдемъ этого. У него художественность составляетъ не одну оболочку, а зерно и оболочку вмѣстѣ». Для характеристики отношенія Ч. къ поэзіи очень важна также небольшая статья его о Щербинѣ (1857 г.). Будь сколько-нибудь вѣрна литературная легенда о Ч., какъ о «разрушителѣ эстетики», Щербина, этотъ типичный представитель «чистой красоты», весь ушедшій въ древнюю Элладу и созерцаніе ея природы и искусства,—всего менѣе могъ бы разсчитывать на его доброе расположеніе. Въ дѣйствительности, однако, Ч., заявляя, что ему «античная манера» Щербины «несимпатична», тѣмъ не менѣе привѣтствуетъ встрѣченное поэтомъ одобреніе: «Если фантазія поэта, вслѣдствіе субъективныхъ условій развитія, была переполнена античными образами, отъ избытка сердца должны были говорить уста, и г. Щербина правъ передъ своимъ талантомъ». Вообще «автономія—верховный законъ искусства», а *верховный законъ поэзіи—храни свободу своего таланта, поэтъ*. Разбирая «ямбы» Щербины, въ которыхъ «мысль благородна, жива, современна», критикъ недоволенъ ими, потому что въ нихъ «мысль не воплощается въ поэтическомъ образѣ; она остается холодною сентенціей, она внѣ области поэзіи». Стремленіе Розенгейма и Бенедиктова примкнуть къ духу времени и воспѣвать «прогрессъ» не возбудило въ Ч., какъ и въ Добролюбовѣ ни малѣйшаго сочувствія. Ревнителемъ художественныхъ критеріевъ Ч. остается и въ своихъ разборахъ произведеній нашихъ романистовъ и драматурговъ. Онъ, напр., очень строго отнесся къ комедіи Островскаго «Бѣдность не порокъ» (1854), хотя вообще высоко ставилъ «прекрасное дарованіе» Островскаго. Признавая, что «ложныя, по основной мысли произведенія бываютъ слабы даже и въ чисто-художественномъ отношеніи», критикъ выдвигаетъ на первый планъ «пренебреженіе автора къ требованіямъ искусства». Къ числу лучшихъ критическихъ статей Ч. принадлежитъ небольшая замѣтка (1856) о «Дѣтствѣ и отрочествѣ» и «Военныхъ разсказахъ» Льва Толстого. Толстой принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ писателей, которые сразу получили всеобщее признаніе и вѣрную оцѣнку; но только одинъ Ч. подмѣтилъ въ первыхъ же произведеніяхъ Толстого необыкновенную «чистоту нрав-

ственного чувства». Весьма характерна для опредѣленія общей фizioноміи критической дѣятельности Ч. его статья о Щедринѣ: онъ намѣренно уклоняется отъ обсужденія общественно-политическихъ вопросовъ, на которые наводятъ «Губернскіе очерки», сосредоточиваетъ все свое вниманіе на «чисто-психологической сторонѣ типовъ, представляемыхъ Щедринымъ», стараясь показать, что сами-по-себѣ, по своей натурѣ, герои Щедрина—вовсе не нравственные уроды: они стали нравственно-неприглядными людьми, потому что въ окружающей средѣ никакихъ примѣровъ истинной нравственности не видѣли. Извѣстная статья Ч. *Русскій человекъ на rendez-vous*, посвященная тургеневской «Асѣ» всецѣло относится къ тѣмъ статьямъ «по поводу», гдѣ о самомъ произведеніи почти ничего не говорится, и все вниманіе сосредоточено на общественныхъ выводахъ, связанныхъ съ произведеніемъ. Главнымъ создателемъ этого рода публицистической критики въ нашей литературѣ является Добролюбовъ въ своихъ статьяхъ объ Островскомъ, Гончаровѣ и Тургеневѣ; но если принять во вниманіе, что названныя статьи Добролюбова относятся къ 1859 и 1860 гг., а статья Ч.—къ 1858 г., то къ числу создателей публицистической критики надо будетъ отнести и Ч. Но, какъ уже было отмѣчено въ статьѣ о Добролюбовѣ, публицистическая критика ничего общаго не имѣетъ съ ложно приписываемымъ ей требованіемъ *публицистическаго* искусства. И Ч. и Добролюбовъ требуютъ отъ художественнаго произведенія только одного—правды, а затѣмъ этой правдой пользуются для выводовъ общественнаго значенія. Статья объ «Асѣ» посвящена выясненію того, что при отсутствіи у насъ общественной жизни, только и могутъ выработаться такія дряблыя натуры, какъ герой тургеневской повѣсти. Лучшею иллюстраціей къ тому, что, прилагая къ литературнымъ произведеніямъ публицистическій методъ изслѣдованія ихъ содержанія, Ч. вовсе не требуетъ тенденціознаго изображенія дѣйствительности, можетъ служить одна изъ послѣднихъ (конецъ 1861 г.) критическихъ статей его, посвященная рассказамъ Николая Успенскаго. Казалось бы, рассказы Николая Успенскаго, въ весьма непривлекательномъ видѣ рисующіе народъ, должны были бы возбудить непріятное чувство въ такомъ пламенномъ демократѣ, какъ Ч. На самомъ дѣлѣ, Ч. горячо привѣтствуетъ Успенскаго именно за то, что онъ «пишетъ о народѣ правду безъ всякихъ прикрасъ». Онъ не видитъ никакого основанія «утаивать передъ самимъ собою истину ради мужицкаго

званія» и протестуетъ противъ «прѣсной лживости, усиливающейся идеализировать мужиковъ». Въ критическихъ статьяхъ Ч. много прекрасныхъ страницъ, въ которыхъ оказался и блестящій литературный талантъ его и большой умъ. Но въ общемъ ни критика ни эстетика не были его призваніемъ. Въ *Полемическихъ красотахъ* (1861 г.) Ч. самъ сообщаетъ, что съ тѣхъ поръ, какъ онъ въ началѣ 1858 г. отдался изученію экономическихъ вопросовъ, онъ совершенно отсталъ отъ текущей журналистики и не читалъ даже *Русскій Вѣстникъ* (въ то время на ряду съ *Современникомъ* главный журналъ нашъ). Литература въ непосредственномъ смыслѣ слова не захватывала Ч. всецѣло. Этимъ объясняется то, что примыкающія къ критическимъ статьямъ Ч. историко-литературныя изслѣдованія его гораздо интереснѣе и цѣннѣе. Говоря объ *исторіи* литературы, Чернышевскій имѣетъ возможность говорить объ общественныхъ настроеніяхъ, о схемахъ общественной жизни, о философскихъ системахъ, объ историческихъ перспективахъ—и тутъ онъ у себя дома. Въ ряду историко-литературныхъ изслѣдованій Чернышевскаго, первенствующее мѣсто занимаютъ *Очерки гоголевскаго періода*. Это—поистинѣ прекрасная книга, которая съ пользою и наслажденіемъ читается и теперь. По отношенію къ разработкѣ и уясненію хода исторіи новѣйшей русской литературы, *Очерки* занимаютъ то же положеніе, какъ статьи Бѣлинскаго—по отношенію къ исторіи нашей литературы XVIII-го и первой трети XIX в. Когда Ч. приступалъ къ своей задачѣ—дать очеркъ развитія литературныхъ понятій, завершившихся дѣятельностью Бѣлинскаго,—это былъ еще вчерашній день и никому еще не приходило на умъ систематизировать такія свѣжія событія. Тѣмъ труднѣе была задача Чернышевскаго, которому приходилось прокладывать первыя просѣки и ставить путеводныя вѣхи. Главною цѣлью его было возстановить и укрѣпить исчезавшую память о Бѣлинскомъ, статьи котораго были погребены въ старыхъ журналахъ. Предварительно Чернышевскому приходилось возсоздавать рядъ литературныхъ портретовъ тѣмъ же путемъ утомительнаго изученія старыхъ журналовъ. Еще по отношенію къ Полевому и Сенковскому Чернышевскому оказали извѣстную помощь статьи Бѣлинскаго объ этихъ писателяхъ; но литературный обликъ Надеждина всецѣло созданъ Чернышевскимъ. Еще менѣе, конечно, имѣлъ Чернышевскій въ своемъ распоряженіи матеріаловъ для возсозданія духовнаго облика Бѣлинскаго, если не считать устныхъ разсказовъ Анненкова.

Дѣятельность Бѣлинскаго разработана у Чернышевскаго нѣсколько односторонне: взять по преимуществу Бѣлинскій послѣдняго періода, когда онъ требовалъ, чтобы искусство отзывалось на запросы жизни. Эпизодъ консервативнаго прославленія «разумной дѣйствительности» затронуть мимоходомъ; эпоха чисто эстетическихъ требованій отъ искусства разработана съ меньшею детальностью. Въ общемъ, однако, Чернышевскій далъ широкую и захватывающую картину умственнаго движенія, выразителемъ котораго былъ Бѣлинскій.

II.

Чернышевскій-публицистъ, во всемъ блескъ этого своего настоящаго призванія сказался, главнымъ образомъ, въ своей политико-экономической дѣятельности. Ниже данъ очеркъ экономическихъ идей Чернышевскаго и опредѣлено ихъ значеніе въ исторіи критики современнаго экономического строя; здѣсь же для характеристики Чернышевскаго, какъ *журналиста*, необходимо отмѣтить, что если онъ проявилъ въ области экономики замѣчательную силу чисто *научнаго* анализа, то это произошло какъ-то само-собою, въ силу свойствъ его крупнаго широко обобщающаго и тонко расчленяющаго ума и искренняго въ своемъ желаніи помочь бѣдствующимъ сердца. Источникъ экономическихъ работъ Чернышевскаго—не въ научныхъ стремленіяхъ, а въ чисто публицистическихъ, т. е. въ желаніи освѣтить опредѣленнымъ образомъ текущую злобу дня. Журнальныя замѣтки, политическія обозрѣнія, статьи философскія, экономическія, политическія—все это имѣетъ одну цѣль: дискредитировать буржуазный строй, буржуазное міросозерцаніе буржуазныхъ общественныхъ и политическихъ дѣятелей. Ему было чуждо то умиленіе, которое охватывало людей старшаго литературнаго поколѣнія—«постепеновцевъ» 40-хъ годовъ—при видѣ искренняго стремленія къ серьезнымъ реформамъ. Онъ не могъ удовлетвориться тѣмъ, какъ ему казалось, минимумомъ гражданскихъ правъ, который давали готовившіяся реформы: крестьянская и судебная. Отсюда насмѣшливое отношеніе къ русскому «прогрессу», повергшее въ недоумѣніе даже Герцена; отсюда вышучиваніе корифеевъ западно-европейскаго либерализма—Тьера, Гизо, Токвиля, Жюль-Симона и др. Для Чернышевскаго, горячаго поклонника Луи-Блана, это были люди, такъ или иначе прикосновенные къ политикѣ Луи-Филиппа и къ іюньскимъ днямъ 1848 г. Даже въ окруженномъ ореоломъ «освобо-

Критич. дигер. о Н. Г. Чернышевскомъ. Вып. I.

не долженъ подражать Якову Гримму, потому что, «вѣдь, то Яковъ Гриммъ, онъ каковъ бы тамъ ни былъ, а все-таки чело-вѣкъ очень большого ума» и т. д. Но въ этой рѣзкости нѣтъ и тѣни того личнаго элемента, того личнаго раздраженія и лич-ныхъ дрязгъ, которыми дискредитируется литературный споръ. Что касается безцеремонности, то если отнестись къ дѣлу исклю-чительно съ формальной точки зрѣнія, ея тоже не мало въ *По-лемическихъ Красотахъ*. Чернышевскій, напримѣръ, прямо за-являлъ, что онъ не только не читалъ Юркевича, но и читать не станетъ, потому что заранѣе увѣренъ, что это нѣчто въ родѣ тѣхъ ученическихъ «задачъ», которыя даютъ семинаристамъ философ-скаго класса для упражненія и которыя онъ самъ во множествѣ писалъ, когда учился въ саратовской семинаріи. Не въ «безцере-монности», однако, лежала психологическая причина этого много нашумѣвшаго эпизода изъ литературной исторіи 60-хъ годовъ. Чернышевскій умѣлъ относиться съ полнымъ уваженіемъ къ про-тивникамъ. Такъ, съ славянофилами онъ полемизировалъ совер-шенно сдержанно не только въ статьяхъ 1856—58 гг.; въ годъ появленія *Полемическихъ Красотъ* онъ отнесся съ полнымъ уваженіемъ къ «Времени» Достоевскаго и Аполлона Григорьева. Да и въ *Полемическихъ Красотахъ* есть множество личныхъ комплиментовъ по адресу тѣхъ самыхъ журналистовъ и ученыхъ, съ идеями которыхъ онъ полемизировалъ—Каткова, Альбертини, Буслаева, Дудышкина. Все дѣло въ томъ, что идеи *Антропо-логическаго принципа* казались Чернышевскому до такой сте-пени незыблемыми и вѣрными на своемъ постаментѣ точнаго зна-нія, что возраженія, которыя шли изъ духовной академіи, ему казались ребяческими, и онъ вполне искренно предлагалъ Юрке-вичу нѣсколько хорошихъ книгъ для пріобщенія его «къ по-слѣднему звену философіи». Чернышевскій былъ глубоко увѣ-ренъ, что только недомысліе и незнакомство съ выводами новой свободной европейской мысли, изложенными въ *Антрополо-гическомъ принципѣ*, могутъ удерживать людей въ лагерь «схо-ластики» и «метафизики». Въ этой глубокой увѣренности Чер-нышевскаго и сила и слабость какъ самого Чернышевскаго, такъ и того движенія, которое происходило подъ его вліяніемъ: сила, потому что создавалось не просто уже «направленіе», а своего рода новая религія, воодушевлявшая на борьбу съ вра-ждебными ей понятіями; слабость, потому что война съ «отвле-ченностью» и «метафизикой» вела къ другой крайности—къ очень уже элементарной ясности, лишенной глубины и вдумчи-

вости. Для послѣдователя Чернышевскаго нѣтъ трудныхъ проблемъ, ни философскихъ ни нравственныхъ, нѣтъ, слѣдовательно, той жгучей борьбы сомнѣній, въ горнилѣ которой закаляли свой духъ всѣ великіе искатели истины.

Оптимистическая вѣра, что все на свѣтѣ «очень легко» устраивается при добромъ желаніи, составляетъ основу наполовину утопическаго романа *Что дѣлать?* (1862—63), который явился заключительнымъ аккордомъ литературной дѣятельности Чернышевскаго. Въ чисто-художественномъ отношеніи романъ такъ слабъ, что съ этой стороны говорить о немъ сколько-нибудь серьезно не приходится. Самъ авторъ, въ одной изъ бесѣдъ своихъ съ «проницательнымъ читателемъ», прямо заявляетъ: «У меня нѣтъ ни тѣни художественнаго таланта». Если, впрочемъ, сравнить *Что дѣлать?* съ другими социальными утопіями, то романъ Чернышевскаго не совсѣмъ лишенъ и литературныхъ достоинствъ. Онъ читается безъ скуки, а изображенію матери героини нельзя отказать въ извѣстной рельефности. Самое неудачное—это утомительныя бесѣды съ «проницательнымъ читателемъ», который третируется en canaille («Чья это грубая образаина?» или «Прилизанная фигура въ зеркалѣ?» и т. п.).

III.

Какъ экономистъ, Чернышевскій занимаетъ выдающееся мѣсто въ русской литературѣ. Принадлежа по своимъ воззрѣніямъ къ школѣ такъ-называемыхъ социалистовъ-утопистовъ, онъ подвергъ остроумной критикѣ основныя положенія господствовавшей въ его время «манчестерской» школы политической экономіи, оставаясь всегда самостоятельнымъ, оригинальнымъ мыслителемъ *). Пользуясь крайне несовершеннымъ «гипотетическимъ» методомъ, онъ, тѣмъ не менѣе, пришелъ къ открытіямъ, которыми предвосхитилъ многіе выводы творцовъ научнаго социализма, опубликовавшихъ свои главные труды въ то время, когда литературная дѣятельность Чернышевскаго уже прекратилась. Блестящая критика принципа раздѣленія труда, такъ-называемаго закона Мальтуса, значеніе наемнаго труда и соперничества въ современномъ производствѣ, вліяніе техническаго прогресса на по-

*) Манчестерская экономическая теорія получила свое названіе отъ города Манчестера, въ которомъ въ 30—40 гг. XIX столѣтія возникла извѣстная хлѣбная лига, подъ руководствомъ Р. Кобдена и Дж. Брайса. Лига боролась противъ хлѣбныхъ законовъ и явилась носительницей либерально-эко-

положеніе рабочаго класса напоминаютъ лучшія страницы «Капитала» (К. Маркса), вышедшаго въ свѣтъ на 6 лѣтъ позже *Очерковъ изъ политической экономіи* Чернышевскаго ¹⁾.

Не даромъ авторитетнѣйшій представитель научнаго социализма, котораго никакъ уже нельзя обвинять въ склонности расчюхать незаслуженныя похвалы, отозвался о Чернышевскомъ, какъ о «великомъ русскомъ ученомъ и критикѣ, мастерски освѣтившемъ банкротство буржуазной экономіи» (предисл. къ 2 изданію I тома «Капитала»). Свои экономическія воззрѣнія Чернышевскій изложилъ въ рядѣ статей, помѣщенныхъ въ *Современникъ* съ 1857 по 1862 гг., но, главнымъ образомъ, въ *Примѣчаніяхъ* къ первой книгѣ русскаго перевода «Основаній политической экономіи» Милля и въ *Очеркахъ изъ политической экономіи*, представляющихъ собою критическое изложеніе остальныхъ книгъ Милля (*Современникъ* 1860—61 гг.). Тѣ исключительныя публицистическія цѣли, которыя преслѣдовалъ Чернышевскій, приступая къ изданію перевода Милля со своими дополненіями, были достигнуты имъ вполне: чрезвычайно ясное изложеніе предмета, необыкновенно удачныя примѣры, разсѣяныя въ изобиліи блестящія остроумія и сарказма, умѣніе предста-

номическихъ идей. Ея представители требовали отъбны хлѣбныхъ пошлинъ ради интересовъ низшихъ классовъ. Манчестерцы стояли за свободу торговли и вообще экономическую свободу. И Брайсъ и Кобденъ искренно сочувствовали рабочему классу, но ихъ идея о невмѣшательствѣ въ экономическія отношенія не вѣрна. «По моему мнѣнію,—говорилъ Р. Кобденъ въ 1836 г. въ своей рѣчи избирателямъ,—все дѣло въ томъ, чтобы рабочіе уразумѣли, въ чемъ состоитъ ихъ интересъ, и не давались въ обманъ,—чтобы они научились полагаться только на самихъ себя и не рассчитывали на защиту закона, которая никогда не можетъ принести имъ пользы». Казалось, что въ лицѣ лиги народныя массы приобрѣли своихъ друзей, но это только казалось. Когда вскорѣ въ парламентѣ возникъ вопросъ о фабричномъ законодательствѣ, о необходимости вмѣшательства, со стороны государства, въ отношенія фабриканта и рабочаго, то либералы-манчестерцы, заводчики и фабриканты, горячо возстали противъ этого. Они выдвинули все ту же идею экономической свободы, при которой рабочій и фабрикантъ вольны въ своихъ дѣйствіяхъ и договорѣ. Пусть каждый работаетъ и нанимаетъ рабочихъ, какъ онъ найдетъ для себя болѣе выгоднымъ. Противники-манчестерцы указываютъ на то обстоятельство, что это будетъ только кажущаяся свобода, а въ дѣйствительности произойдетъ полное закабаленіе рабочаго, ибо хозяинъ экономически несравненно сильнѣе рабочаго и всегда поэтому сумѣетъ заставить его принять тѣ условія работы, которыя онъ пожелаетъ.

Н. Денисюкъ.

¹⁾ Раннія произведенія К. Маркса и Родбертуса не были извѣстны Чернышевскому, какъ и большинству экономистовъ того времени.

влять въ удобопонятной формѣ самая запутанная экономическія проблемы, горячая любовь къ народу—все это создало *Очеркамъ* очень большую популярность и сдѣлало ихъ надолго настольною книгой русской интеллигенціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, за ними слѣдуетъ признать и огромное научное значеніе. Подобно тому, какъ въ «Капиталѣ» Марксъ даетъ научное обоснованіе социализму, исходя изъ законовъ развитія капиталистической формы производства, такъ и Чернышевскій стремится обосновать свой социалистическій идеалъ, исходя изъ основныхъ принциповъ классической экономіи. По мнѣнію Чернышевскаго, въ теоріи Смитовой школы есть элементы совершенно справедливые. Классическая экономія вполнѣ убѣдительно доказала, что человѣкъ работаетъ съ полной успѣшностью только тогда, когда онъ пользуется всѣми плодами своего труда, и что принципъ сочетанія труда и характеръ улучшенныхъ производительныхъ процессовъ требуетъ производительной единицы очень значительнаго размѣра, заключающей въ себѣ много разнородныхъ производствъ. Чѣмъ обширнѣе размѣры производства,—говоритъ Чернышевскій въ одной изъ своихъ критическихъ статей (*Современникъ* 1857, № 5, *Замѣтки о торговлѣ*),—тѣмъ дешевле стоимость произведеній; поэтому большіе капиталисты подавляютъ мелкихъ, которые становятся наемными рабочими, а соперничествомъ между послѣдними все болѣе и болѣе пожирается заработная плата. Съ одной стороны, являются тысячи богачей, съ другой—милліоны бѣдняковъ. По роковому закону безграничнаго соперничества, богатство первыхъ должно все возрастать, сосредоточиваясь все въ меньшемъ и меньшемъ числѣ рукъ, а положеніе бѣдняковъ должно становиться все тяжелѣе и тяжелѣе. Необходимо должна возникнуть идея о «союзномъ пользованіи и производствѣ». Такимъ образомъ, Чернышевскій проникъ въ самую глубь капиталистическаго строя, понявъ, что основная характеристическая черта его заключается въ производствѣ при помощи наемнаго труда и что развитіе его выражается въ концентраціи производства и экспропріаціи производителя. Общій ходъ аргументаціи Чернышевскаго сводится къ слѣдующему. Продуктъ возникаетъ изъ сочетанія трехъ основныхъ элементовъ: матеріала, силъ природы и труда. Трудъ—единственный элементъ производства, лежащій въ организмѣ самого человѣка; поэтому съ человѣческой точки зрѣнія весь продуктъ обязанъ своимъ возникновеніемъ труду; стало-быть, весь онъ долженъ составить принадлежность того самаго организма, трудомъ кото-

раго созданъ. Съ субъективной стороны, трудъ есть функція извѣстныхъ органовъ человѣка и, какъ всякая функція, приноситъ наслажденіе тому органу, которымъ совершается. Если трудъ въ настоящее время является бременемъ для рабочаго, то это происходитъ «въ противность его натурѣ» отъ вліянія обстановки труда, которая вездѣ чрезвычайно неблагопріятна. Трудъ, обращенный на производство предметовъ, пригодныхъ для поддержанія новаго производства, выгоденъ для общества, потому что онъ увеличиваетъ благосостояніе общества; трудъ убыточенъ, если онъ производитъ продукты, непригодные для веденія производства. Въ свою очередь, продукты выгоднаго труда (развитія физически, умственно или нравственныя силы человѣка, хорошій общественный порядокъ, орудія производства, матеріалы производства, предметы, пригодные на потребленіе работниковъ) должны обращаться на производительное потребленіе. Достигаютъ ли они такого назначенія,—это зависитъ отъ разныхъ условій и обстоятельствъ, изъ которыхъ важнѣйшимъ и наиболѣе постояннымъ бываютъ общественныя учрежденія (законы). Та часть продуктовъ годового труда, которая дѣйствительно идетъ на потребленіе производительное, называется капиталомъ. Слѣдовательно, капиталъ составляетъ только видоизмѣненіе труда и не имѣетъ ни малѣйшей независимости отъ труда, который одинъ и создаетъ и сохраняетъ его. Всякая претензія приписывать капиталу не только преобладаніе, но хотя бы какую-нибудь самостоятельность, должна считаться уклоненіемъ отъ нормальнаго политическаго порядка. Школа Смита полагаетъ что капиталъ образуется «сбереженіемъ»*), между тѣмъ какъ, въ сущности, гораздо сильнѣе сбереженія тутъ дѣйствуетъ производительное потребленіе. Страна поддерживаетъ и увеличиваетъ свое благосостояніе только постояннымъ продолженіемъ и развитіемъ выгоднаго труда. Увеличить производство страны, служащее основаніемъ ея благосостоянію, можно слѣдующими способами: усовершенствованіемъ производительныхъ процессовъ; сокращеніемъ непроизводительнаго потребленія и перенесеніемъ рабочихъ силъ отъ убыточнаго труда къ выгодному; доставленіемъ работнику возможности обращать на домашнія издѣлія тѣ небольшіе остатки времени, которые остаются у него свобод-

*) Т.-е., что капиталистъ образуетъ свой капиталъ бережливостью, умеренностью въ расходахъ на свою жизнь и тратахъ на свою семью, словомъ—въ обрѣзываніи своихъ потребностей.

ными отъ занятія кореннымъ его промысломъ; возбужденіемъ большей энергіи въ трудѣ, пропорціональной достоинствамъ общественныхъ учреждений и размѣру доли продукта, поступающей въ руки работника. Переходя къ вопросу о сотрудничествѣ и не довольствуясь изложеніемъ Милля, игнорирующего тѣ именно стороны труда, которыя касаются «производящаго работника», Чернышевскій даетъ блестящій анализъ вліянія раздѣленія труда на рабочаго въ фізіологическомъ и экономическомъ отношеніяхъ и приходитъ къ выводу, что высокое раздѣленіе труда при нынѣшнемъ порядкѣ производства, когда каждый работникъ вѣчно остается при одной и той же частицѣ дѣла, ведетъ къ порчѣ организма у огромнаго большинства работниковъ, находящихся при процессахъ усовершенствованнаго производства; за исключеніемъ немногихъ работниковъ, вся остальная масса должна подвергаться сокращенію рабочей платы, соразмѣрно совершенствованію производительныхъ операцій. Въ то же время раздѣленіе труда необходимо для возростанія производства, т.-е. для человѣческаго благосостоянія. Какъ выйти изъ этого затрудненія? Дѣло въ томъ, что раздѣленіе труда само-по-себѣ нисколько не противорѣчитъ требованіямъ гігіены, и если оно въ настоящее время губительно дѣйствуетъ на здоровье рабочихъ, то въ этомъ виновата неблагопріятная обстановка, въ которой осуществляется раздѣленіе труда. Самый принципъ раздѣленія занятій носитъ въ себѣ тенденцію къ сочетанію разнообразныхъ занятій въ дѣятельности одного работника: онъ ведетъ къ этому, упрощая операціи до того, что исчезаютъ всѣ невыгоды и потери, которыми задерживается сочетание разныхъ занятій въ кругѣ работъ одного лица при недостаточномъ развитіи раздѣленія занятій; ни одна изъ выгодъ, ни одна изъ невыгодъ нераздѣльности занятій не возвращается по очерднымъ переходамъ одного работника отъ одной изъ упрощенныхъ операцій усовершенствованнаго производства къ другой. Если бы была принята форма производства, допускающая поочередный переходъ отъ одного занятія къ другому, то «сбереженіе и укрѣпленіе здоровья въ работникѣ, производимое разнообразіемъ занятій, составило бы громаднѣйшій выигрышъ для производства... Работникъ могъ бы переходить по временамъ года отъ земледѣльческаго труда къ фабричному, и наоборотъ». Когда производство совершенствуется до того, что требуетъ веденія въ широкомъ размѣрѣ, для него становится недостаточнымъ одно то условіе, чтобы работникъ былъ свободенъ. Хозяину становится

невозможнымъ одному усмотрѣть за постоянно возрастающимъ числомъ работниковъ, за подробностями дѣла, принимающаго громадную величину. Выгодою дѣла требуется другая форма труда, болѣе заботливая, болѣе добросовѣстная. Нужно, чтобы каждый работникъ имѣлъ побужденіе къ добросовѣстному труду не въ постороннемъ надзорѣ, а въ собственномъ своемъ расчетѣ; нужно, чтобы вознагражденіе за трудъ заключалось въ самомъ продуктѣ труда, а не въ какой-нибудь платѣ. Это примѣнимо одинаково какъ къ земледѣлію, такъ и фабричной промышленности. Регуляторомъ производства является, по теоріи Смитовой школы, соперничество. Чернышевскій утверждаетъ, что принципъ соперничества не можетъ считаться всеобщимъ принципомъ экономической дѣятельности. Принципъ этотъ, который, въ сущности, представляетъ только одну изъ формъ экономического расчета, сталъ господствовать лишь съ недавняго времени, но и при существующемъ экономическомъ строѣ можно установить правило: гдѣ покупателемъ является коммерческій человѣкъ, тамъ условія сдѣлки опредѣляются соперничествомъ; гдѣ покупщикомъ бываетъ потребитель, тамъ условія сдѣлки, вообще, подчиняются обычаю. Поэтому, «смѣшно слышать толки рутинныхъ политико-экономовъ о необходимости и неизбѣжности соперничества». Помимо этого, соперничество «далеко не представляетъ удобствъ, требуемыхъ теоріей науки». «Коренной недостатокъ соперничества тотъ, что нормою расчета оно беретъ не сущность дѣла, а внѣшнюю принадлежность его (не стоимость, а цѣну)». Вслѣдствіе этого происходитъ «шаткая связь выручки съ успѣшностью дѣла», что является «прямымъ отвлеченіемъ человека отъ охоты къ улучшеніямъ». Изъ этого недостатка вытекаетъ и другой: «Человѣкъ выигрываетъ при соперничествѣ не только отъ успѣшности своей работы, но и отъ неуспѣшности работы другихъ». Производитель трудится въ потемкахъ, на удачу, не зная ни того, сколько товара нужно потребителямъ, ни того, сколько товара работаетъ другими производителями. Вслѣдствіе этого производство идетъ шатко, потребление колеблется между безразличной расточительностью (когда товара заготовлено слишкомъ много и цѣна его падаетъ) и недостаточностью снабженія; происходятъ кризисы. Для устраненія этихъ недостатковъ соперничество должно быть замѣнено «высшей формой экономического расчета. Если бы производители работали на себя, они соображали бы не случайную принадлежность продукта—цѣну (потому что главная масса продуктовъ вовсе

и не пошла бы на рынок), а коренные элементы дѣла: мы располагаемъ извѣстнымъ количествомъ рабочаго времени и рабочихъ силъ; въ какой пропорціи выгоднѣе всего для насъ распредѣлить эти силы, это время между разными производителями на удовлетвореніе разныхъ своихъ надобностей?» Осуществленіе этой формы экономическаго расчета, требуемой теоріею, мыслимо лишь при наличности «точного счета общественныхъ силъ и потребностей», а для этого, въ свою очередь, требуется «измѣненіе формъ производства»: точный счетъ общественныхъ силъ и потребностей возможенъ только тогда, когда каждому потребителю извѣстна точная стоимость потребляемаго продукта, а для этого необходимо, чтобы потребитель продукта былъ и его хозяиномъ-производителемъ; съ другой стороны, успѣшность труда требуетъ сотрудничества многихъ производителей. Стало-быть, «требуется соединеніе множества людей, въ которомъ каждый участникъ по труду былъ бы соучастникомъ въ правѣ хозяйства». Анализъ земельной ренты, прибыли и заработной платы, сдѣланный Миллемъ, согласно теоріи классической школы, Чернышевскій считаетъ, въ общемъ, удовлетворительнымъ, но онъ идетъ гораздо дальше Милля въ своихъ выводахъ и приходитъ къ рѣзкой критикѣ самаго принципа «трехчленнаго распредѣленія продукта». Принимая теорію фонда рабочей платы, Ч. находитъ, что величина рабочей платы можетъ быть удовлетворительна лишь при отсутствіи наемнаго труда. Тенденція рабочей платы къ паденію вытекаетъ, по мнѣнію Чернышевскаго, изъ трехъ причинъ, которыя кроются въ самыхъ свойствахъ существующаго экономическаго устройства. Первая причина: «Число людей, занимающихся не земледѣльческими отраслями промышленности или ничѣмъ не занимающихся, растетъ слишкомъ быстро сравнительно съ числомъ землепашцевъ». Вторая причина: «Слишкомъ многія изъ земледѣльческихъ улучшеній, нужныхъ для благосостоянія націи, не представляютъ достаточной выгоды капиталисту». Этими двумя причинами объясняется недостаточность земледѣльческаго продукта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и недостаточность рабочей платы, въ которой главную статью составляетъ продовольствіе. Поэтому Мальтусъ, приписывающій нищету рабочаго класса закону природы, вытекающему изъ несоотвѣтствія между возрастаніемъ производительности земли и размноженіемъ населенія, глубоко ошибается. Допуская, что населеніе, какъ утверждаетъ Мальтусъ, удваивается въ 25 лѣтъ, т.-е. возрастаетъ ежегодно на 3%, Чернышевскій доказываетъ математическими вы-

кладками, что при такомъ возрастаніи населенія нуженъ годичный размѣръ усовершенствованія земледѣльческаго производства всего лишь на $\frac{1}{11}\%$ или на $2\frac{1}{7}\%$ въ 25 лѣтъ, что вполне достижимо и прини́мъшнемъ состояніи земледѣльской техники. Но люди, по самому устройству организма, едва ли могли бы размножаться съ быстротой болѣе 2% въ годъ, по періодамъ удвоенія менѣе чѣмъ въ 35 лѣтъ. Процентъ рожденій, необходимый для такой быстроты размноженія, изнурителенъ для организма женщины и, по мѣрѣ улучшения общественныхъ отношеній и домашняго быта, долженъ уменьшаться безъ малѣйшаго стѣсненія органическихъ влеченій человѣка. Третья причина, ведущая къ паденію рабочей платы, вытекаетъ изъ закона обратной пропорціональности величины прибыли къ размѣру заработной платы: прибыль «стремится поглотить весь фондъ рабочей платы и останавливается въ такомъ стремленіи лишь матеріальной невозможностью для заработка существовать иначе, какъ при извѣстной величинѣ рабочей платы». Рента, въ свою очередь, «играетъ относительно прибыли и рабочей платы точно такую же роль, какую прибыль играетъ относительно рабочей платы: рента захватываетъ все больше и больше изъ части продукта, остающейся на прибыль, и рабочую плату» *).

Какое же вліяніе оказываетъ низкая рабочая плата на производство? Теорія говоритъ, что успѣшность труда зависитъ отъ качества работника; но хорошія качества обусловливаются у человѣка благосостояніемъ; слѣдовательно, при трехчленномъ дѣленіи работникъ не можетъ быть хорошъ. Теорія далѣе говоритъ, что прибыль должна служить возбужденіемъ къ дѣятель-

*) При современныхъ формахъ хозяйственной жизни продуктъ труда дѣлится между тремя классами: землевладѣльцемъ, капиталистомъ, т.-е. фабрикантомъ, и рабочимъ, ибо земли, на которыхъ строятся фабрики и которыя даютъ фабрикѣ сырье, принадлежатъ землевладѣльцу, самая фабрика, машины и пр. принадлежатъ фабриканту, а изготовленіе продукта является результатомъ производительнаго труда рабочихъ.

Такъ какъ все это, т.-е. и фабричныя зданія, и сырые продукты, и фабрики, и машины возникаютъ благодаря труду, при посредствѣ труда и только одного труда, то социалисты останавливаются на той мысли, что и продуктъ полностью долженъ принадлежать тѣмъ, кто его производитъ, т.-е. рабочимъ. То дѣленіе его на три части, которое происходитъ въ нашъ капиталистическій вѣкъ, неправильно, вредно и несправедливо. Чернышевскій, какъ социалистъ, тоже отвергаетъ форму трехчленнаго раздѣленія продукта.

ности и бережливости, «при трехчленномъ же дѣленіи прибыль постоянно развивается до степени излишества, повергающей человѣчество въ праздность и мотовство». Такимъ образомъ, общественный интересъ требуетъ устраненія самого принципа трехчленнаго дѣленія продукта. Каково же наивыгоднѣйшее распредѣленіе продуктовъ? Оно состоитъ въ томъ, чтобы «пропорція цѣнностей, принадлежащихъ каждому члену общества, какъ можно ближе соотвѣтствовала средней цифрѣ, даваемой отношеніемъ между суммою цѣнностей, находящихся въ данномъ обществѣ, и числомъ членовъ, его составляющихъ». Это можетъ быть достигнуто только при устраненіи наемнаго труда (*Современникъ*, т. LXXIX, ст. «Капиталь и трудъ»). Мѣновая цѣнность товаровъ, количество которыхъ можетъ быть увеличиваемо по произволу, опредѣляется уравненіемъ снабженія и спроса, совершающимся посредствомъ элемента, называемаго стоимостью производства. Эта стоимость слагается изъ мѣновой цѣнности труда, употребленнаго на предметъ, и прибыли на этотъ трудъ. Такова господствующая теорія. Но, замѣчаетъ Чернышевскій, цѣнность имѣетъ только товаръ, трудъ же не можетъ быть товаромъ, такъ какъ онъ составляетъ нераздѣльное цѣлое съ самой человѣческой личностью, которая не можетъ быть предметомъ купли и продажи. Слѣдовательно, въ опредѣленіи стоимости производства слово «цѣнность» (труда) должно быть отброшено; останется только коренное понятіе о количествѣ труда. Такимъ образомъ, при томъ экономическомъ строѣ, когда трудъ не выносился бы на рынокъ, стоимость производства опредѣлялась бы прямо количествомъ труда, необходимаго на производство продукта. Понятіе мѣновой цѣнности превратилось бы въ понятіе внутренней цѣнности. Это дало бы возможность опредѣлить, въ какой пропорціи должны быть распредѣлены производительныя силы по разнымъ занятіямъ, для наилучшаго удовлетворенія надобностей человѣка. Производство опредѣлялось бы прямо потребностями общества, при чемъ нетрудно было бы различать въ экономической жизни нужное отъ ненужнаго, убыточное отъ выгоднаго. Это не значить, что обмѣна совсѣмъ бы не было: «теорія требуетъ, чтобы въ каждой группѣ производителей главная масса продуктовъ производилась на внутреннее потребленіе самой этой группы; а если затѣмъ нѣкоторая часть продукта обмѣнивается, это ничему не мѣшаетъ, напротивъ, можетъ быть очень полезно». Товары обмѣнивались бы по внутренней цѣнности. Ошибка экономистовъ, по мнѣнію Чернышевскаго, состоитъ

въ томъ, что они отдѣляютъ мѣновую цѣнность отъ внутренней, не будучи въ состояніи представить себѣ систему быта, которая была бы выше трехчленнаго дѣленія продукта. Они избѣгли бы этой ошибки, если бы обратились мыслью отъ частнаго хозяйства отдѣльныхъ лицъ къ національному хозяйству. «Для цѣлой націи потребители и производители одно и то же; рабочая плата, прибыль и рента сливаются въ одно цѣлое, въ продуктъ національнаго труда... Только односторонняя и узкая привычка забывать о національной или общечеловѣческой точкѣ зрѣнія, по увлеченію ходомъ дѣлъ въ частномъ хозяйствѣ, могла заставить господствующую теорію ограничиться поверхностнымъ понятіемъ о стоимости труда и производства для нанимателя-капиталиста».

Изъ изложеннаго не трудно догадаться, съ какими идеями долженъ былъ выступить Чернышевскій въ вопросѣ объ освобожденіи крестьянъ. Какъ сторонникъ принадлежности орудій труда, онъ долженъ былъ высказаться за надѣленіе крестьянъ землею; какъ сторонникъ общественной формы производства, онъ не могъ не настаивать на сохраненіи общиннаго землевладѣнія. И дѣйствительно, въ рядѣ замѣчательныхъ по остроумію и убѣдительности статей, составившихъ эпоху въ русской литературѣ по крестьянскому вопросу и послужившихъ краеугольнымъ камнемъ для всего послѣдующаго развитія взглядовъ на общинное землевладѣніе, онъ настаиваетъ на той мысли, что тамъ, гдѣ существуетъ общинное владѣніе землею, эта форма должна быть сохранена во что бы то ни стало; тамъ же, гдѣ существуетъ личное владѣніе, слѣдуетъ стараться путемъ разъясненій и примѣровъ побудить населеніе перейти къ этой формѣ землевладѣнія. Сохраненіе земельной общины есть единственное средство спасти русскихъ крестьянъ отъ обращенія въ пролетаріевъ. Основываясь на фактахъ аграрной исторіи Англіи и Франціи, онъ предвидитъ, что черезъ 20—30 лѣтъ, вслѣдствіе роста населенія и развитія торговли и промышленности, потребуется усиленіе производительности земли посредствомъ вложенія въ нее крупныхъ капиталовъ. Силою вещей къ земледѣлію будутъ привлечены капиталисты и у насъ водворится система фермерства. Мелкіе собственники не въ состояніи будутъ выдержать конкуренцію съ крупными фермерами и вынуждены будутъ продавать свои участки, обратившись въ наемныхъ работниковъ. «И вотъ тогда общественное владѣніе спасетъ крестьянъ: соединяясь въ товарищества, они найдутъ у самихъ себя нужныя средства для расширенія хозяйства и нужный размѣръ полей». Въ отношеніи

сельско-хозяйственныхъ улучшеній общинному владѣнію должно отдать безспорное преимущество передъ мелкой собственностью и фермерствомъ: мелкій собственникъ совсѣмъ не можетъ вводить у себя дорого стоящихъ улучшеній; фермеръ же по истеченіи срока своего контракта теряетъ всю сумму произведенныхъ имъ улучшеній, тогда какъ общинникъ при передѣлѣ можетъ потерять только часть ихъ; при общинномъ владѣніи можно, притомъ, установить принципъ вознагражденія за произведенныя улучшенія. Философскія предубѣжденія противъ общины тоже не выдерживаютъ критики: эта форма землевладѣнія есть та третья стадія, наступленіе которой представляется необходимымъ, въ силу логическаго развитія аграрныхъ отношеній согласно Гегелевской тріадѣ*). Для достиженія этой третьей стадіи нѣтъ, однако, надобности непременно испытать вторую (частная собственность): отсталый народъ, пользуясь опытомъ и наукою передовыхъ, можетъ подняться съ низшей степени развитія прямо на высшую; среднія степени достигаютъ въ этомъ случаѣ только теоретическаго бытія. Существующая форма общиннаго владѣнія (съ индивидуальнымъ производствомъ) должна будетъ со временемъ замѣниться высшею формой—коллективнымъ производствомъ: первая предотвращаетъ пролетаріатъ, вторая, кромѣ того, содѣйствуетъ и улучшенію производства. На какихъ же условіяхъ должно состояться надѣленіе крестьянъ землею при освобожденіи? Если стоять на строго юридической почвѣ, то помѣщикъ не въ правѣ требовать выкупа за землю: цѣнность имѣнія съ барщиннымъ трудомъ опредѣляется исключительно той частью его, которая находится въ личномъ пользованіи помѣщика; слѣдовательно, съ переходомъ къ крестьянамъ земли, находящейся въ ихъ пользованіи, цѣнность помѣстья нисколько не уменьшается. Что касается оброчныхъ имѣній, то тамъ оброкъ вообще вытекалъ изъ нарушенія законныхъ основаній крѣпостного права. Во всякомъ случаѣ, при исчисленіи выкупной суммы необходимо держаться умѣренныхъ цифръ: обязательства, лежащія на землѣ, должны быть не очень велики сравнительно съ доходомъ отъ нея. Принимая во вниманіе, что личный трудъ крестьянина не подлежитъ выкупу и что за основаніе расчета слѣдуетъ взять не весь доходъ, получаемый помѣщикомъ отъ помѣстья, а только ту часть, которую онъ теряетъ вслѣдствіе освобожденія, Чернышевскій приходитъ къ заключенію, что въ среднемъ вы-

*) См. стран. 177.

купъ не долженъ превышать 49 руб. 5 коп. на душу или 532 милліона рублей для всей Россіи. Съ такою суммой справиться не трудно: она составляетъ не болѣе $\frac{1}{5}$ части годичнаго дохода, доставляемаго русскимъ сельско-хозяйственнымъ производствомъ. Выкупъ долженъ быть произведенъ немедленно: повышение цѣнъ на землю, пониженіе заработной платы, соперничество болѣе крупныхъ покупателей, ослабленіе сознанія о неизбѣжной принадлежности земли крестьянамъ—все это можетъ потомъ затруднить выкупъ. Изъ всѣхъ возможныхъ способовъ выкупа Чернышевскій находилъ наиболѣе справедливымъ принятіе государствомъ всѣхъ расходовъ на себя, потому что отъ освобожденія крестьянъ съ землею выиграетъ вся нація.

Л. С. З.

Чернышевскій и Мальтусъ*).

I.

Возраженія, дѣлаемая Чернышевскимъ Мальтусу, относятся почти исключительно къ первой главѣ первой книги *Опыта*. Онъ занимается преимущественно Мальтусовыми прогрессіями, при чемъ начинается съ ариѳметической прогрессіи возрастанія земледѣльческаго продукта.

Мальтусъ считалъ очень смѣлымъ то предположеніе, что общій продуктъ англійскаго земледѣлія могъ быть удвоенъ въ 25 лѣтъ. «Это наивность, вызывающая улыбку у людей, читавшихъ нынѣшнія агрономическія книги», замѣчаетъ Чернышевскій. Основываясь на расчетѣ Гаспарена (въ его «Cours d'Agriculture»), онъ утверждаетъ, что «при порядочномъ устройствѣ плодоперемѣнной системы произведеніями 100 гектаровъ продовольствуются 931 человекъ», а такъ какъ въ Великобританіи и Ирландіи (по Кольбу) находится до $61\frac{1}{2}$ милліоновъ акровъ, т.-е. около 25 милліоновъ гектаровъ земли, годной для воздѣлыванія, то «Великобританія съ Ирландіей, при порядочномъ устройствѣ плодоперемѣннаго хозяйства, могли бы продовольствовать 230 милліоновъ населенія», т.-е. увеличить нынѣшній земледѣльческій продуктъ (расчетъ Чернышевскаго относится къ 1860 году) въ 9 разъ¹⁾.

«Достаточно ли 25 лѣтъ для введенія хорошаго плодоперемѣннаго хозяйства въ землѣ, которая имѣетъ уже, вообще, хозяйство гораздо лучше, чѣмъ простое трехпольное,—представляемъ разсудить каждому. Итакъ, изъ нынѣшнихъ агрономическихъ книгъ видно, что если бы Англія захотѣла и встрѣтила надобность увеличить свой земледѣльческій продуктъ въ теченіе 25 лѣтъ не въ 2 раза, а въ 5 или даже въ 9 разъ, это было бы вовсе

*) *Бельтовъ*. «За двадцать лѣтъ». 1905 г.

1) Въ 1860 г. все населеніе Великобританіи съ Ирландіей простиралось, тоже по Кольбу, до 29 милліоновъ человекъ. Чернышевскій полагаетъ, что изъ нихъ домашними земледѣльческими продуктами содержалось не болѣе 25 милліоновъ.

нетрудно при нынѣшнемъ состояніи сельскохозяйственныхъ знаній. Не въ правѣ ли мы сказать, что слишкомъ наивны были мысли, подѣ влияніемъ которыхъ Мальтусъ воображалъ, что дѣлаетъ крайнюю уступку, предполагая возможность удвоенія земледѣльческаго продукта въ 25 лѣтъ?»¹⁾

Такимъ образомъ, очень распространенное убѣжденіе въ томъ, что земледѣльческому продукту трудно возрастать со всей быстротой, съ какой могли бы размножаться люди, кажется Чернышевскому лишеннымъ всякаго серіознаго основанія. Экономисты, вслѣдъ за Мальтусомъ толкующіе объ уменьшеніи производительности земледѣльческаго труда, даже и не подумали о томъ, что имъ не мѣшало бы провѣрить свой взглядъ съ помощью статистики. Вотъ почему объ этомъ предметѣ до сихъ поръ разсуждаютъ наобумъ, «какъ разсуждалъ Мальтусъ». Однако, самъ Чернышевскій признаетъ, что «если способъ воздѣлыванія земли остается прежній, то съ приращеніемъ населенія производительность пахотныхъ земель будетъ становиться въ средней пропорціи все меньше и меньше оттого, что нивы расширяются на земли все худшаго и худшаго качества»²⁾. Дѣло лишь въ томъ, что Мальтусъ слишкомъ уже преувеличилъ значеніе этого фактора въ культурной исторіи челоѣчества. Чернышевскій утверждаетъ, что какъ бы ни былъ кратокъ періодъ удвоенія населенія, легко было бы избѣжать недостатка продовольствія даже при очень незначительныхъ улучшеніяхъ въ способахъ воздѣлыванія земель. И онъ приводитъ въ доказательство своего мнѣнія длинный рядъ ариѣметическихъ выкладокъ. Въ виду важности вопроса, мы должны изложить взглядъ Чернышевскаго по возможности его собственными словами.

Въ основѣ этого взгляда лежитъ анализъ Мальтусовыхъ прогрессій:

Размноженіе людей 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Увеличеніе продукта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

«Ясно, по какому отношенію возникаютъ члены второй строки изъ членовъ первой,—говоритъ Чернышевскій:—возрастающія въ геометрической прогрессіи прибавки къ числу работниковъ даютъ каждая одинаковую прибавку къ продукту. Напримѣръ, 1 новый работникъ, прибавившійся во второмъ періодѣ, увеличиваетъ своей работою продуктъ на 1; 2 работника, прибавившіеся въ третьемъ періодѣ, увеличиваютъ продуктъ также только на 1; 4 новые работника четвертаго періода и 8 новыхъ работниковъ 5 періода, и т. д., увеличиваютъ продуктъ также на 1. Очевидно, что производительность труда новыхъ работниковъ, прибавляющихся въ

¹⁾ Соч., т. III, стр. 102.

²⁾ Тамъ же, стр. 191—192.

каждомъ новомъ періодѣ, уменьшается въ той же прогрессіи, въ какой возрастаетъ количество этихъ прибавляющихся работниковъ... Иначе говоря, Мальтусова теорема предполагаетъ, что процентъ размноженія работниковъ служить процентомъ уменьшенія производительной силы труда прибывающихъ работниковъ».

Исходя изъ этого, Чернышевскій дѣлаетъ слѣдующій расчетъ.

«Положимъ, что число населенія 1 января 1 года было 1,000, а что работники-хлѣбопашцы этого населенія произвели извѣстное количество хлѣба, достаточное для хорошаго продовольствія всѣхъ 1,000 человѣкъ, то-есть годовыхъ порцій, которыя назовемъ хотя, напримѣръ, возами. Итакъ, на хорошее продовольствіе въ годъ надобно, по нашему условію, возъ хлѣба на каждаго человѣка. Положимъ, что число хлѣбопашцевъ-работниковъ въ этомъ населеніи было 100 человѣкъ. По условію видно, что для хорошаго продовольствія населенію нужна такая успѣшность хлѣбопашеннаго труда, чтобы каждый работникъ производилъ по 10 возовъ хлѣба».

«Положимъ, что при такомъ изобиліи продовольствія населеніе возрастаетъ ежегодно на 3% (пропорція нѣсколько выше той, какая даетъ удвоеніе населенія въ 25 лѣтъ и принимается Мальтусомъ). Тогда къ 1 января 2 года населеніе будетъ 1,030 человѣкъ, и если пропорція хлѣбопашцевъ-работниковъ остается прежняя, ихъ будетъ 103 человѣка. Если для 1,000 человѣкъ нужно было 1,000 возовъ хлѣба, для 1,030 человѣкъ будетъ нужно 1,030 возовъ».

«Если бы успѣшность труда прибылыхъ работниковъ не была меньше, чѣмъ прежнихъ, трудъ прибылыхъ 3 работниковъ произвелъ бы 30 возовъ хлѣба, количество, нужное для достаточнаго продовольствія 30 прибылыхъ человѣкъ населенія, и во 2-й годъ было бы для 1,030 человѣкъ 1,030 возовъ хлѣба. Но по Мальтусовой теоремѣ производительность труда прибылыхъ работниковъ будетъ меньше, чѣмъ производительность труда прежнихъ; Мальтусъ полагаетъ, что процентъ ослабленія производительности новаго труда равенъ проценту возрастанія его количества, или, при неизмѣнности пропорціи между числомъ хлѣбопашцевъ и числомъ населенія, равенъ проценту возрастанія населенія. Итакъ, производительность новаго труда относится къ производительности прежняго, какъ 100 къ 103. По этой пропорціи, какое количество хлѣба произведетъ прибылой работникъ, если прежній производилъ 10 возовъ?

$$x : 10 = 100 : 103.$$

Изъ этого получаемъ: $x = 9,7087...$

Итакъ, 3 прибылые хлѣбопашца произведутъ $3 \times 9,7087 = 29,1261$ возовъ, вмѣсто 30 возовъ, которые были бы нужны по прежнему размѣру, и на второй годъ для 1,030 человѣкъ будетъ вмѣсто 1,030 возовъ хлѣба только 1,029,1261 возовъ.

Чтобы вмѣсто 1,029,1261 возовъ жатва 2-го года дала 1,030 возовъ, производительность труда прежнихъ работниковъ должна въ этомъ году подняться на столько выше прежней своей величины 10, на сколько требуемый сборъ, 1,030, выше сбора 1,029,1261 получаемого безъ усовершенствованій.

$$x : 10 = 1,030 : 1,029,1261.$$

Изъ этого мы получаемъ: $x = 10,00849...$

Въ самомъ дѣлѣ, тогда мы будемъ имѣть:

100 прежнихъ работниковъ произвести по 10,00849 возовъ каждый = 1000,849 возовъ.

3 новые работника, трудъ которыхъ менѣе производительенъ по прежней пропорціи 100 : 103, произвести каждый по:

$$10,00849 \times 100 : 103 = 9,717 \text{ возовъ.}$$

А всѣ трое вмѣстѣ $3 \times 9,717 = 29,151$ возовъ.

Сумма производства 2 года будетъ $1000,849 + 29,151 = 1030$ возовъ.

Итакъ, великъ ли нуженъ размѣръ усовершенствованія или въ устройствѣ орудій, или въ способѣ пользованія ими, или въ качествахъ удобренія, или въ способѣ пользованія имъ, или въ качествахъ посѣва,—великъ ли нуженъ размѣръ усовершенствованія, чтобы недочета не оказалось, чтобы пропорція продовольствія не уменьшалась при возрастаніи населенія?

При ежегодномъ возрастаніи населенія по 3%, т.е. при возрастаніи быстрѣйшемъ, нежели принимаетъ Мальтусъ¹⁾, нуженъ годичный размѣръ усовершенствованія = 0,000849, то-есть менѣе, чѣмъ на одиннадцатую часть процента. Что же это такое, 849 десяти тысячныхъ частей процента? Огромно ли это возрастаніе? Оно вотъ каково: въ пудѣ оно составляетъ нѣсколько больше $3\frac{1}{4}$ золотниковъ (3,2602 золотника); въ возу хлѣба, имѣющемъ 25 пудовъ, оно составляетъ $81\frac{1}{2}$ золотникъ...

Что жъ это за страшная прибавка? стоитъ ли пугаться ея? Неужели усовершенствованія въ земледѣліи не могутъ итти такъ быстро (быстро!), чтобы въ теченіе цѣлой четверти вѣка улучшить земледѣльческіе способы на $2\frac{1}{4}\%$? Увеличеніе на $2\frac{1}{4}\%$ процента въ цѣлыя 25 лѣтъ—да, вѣдь, это почти совершенная неподвижность!

Да, почти совершенная неподвижность. Безъ всякаго сомнѣнія, съ самаго конца среднихъ вѣковъ не было въ европейской исторіи ни одного такого двадцатипятилѣтія, въ которомъ земледѣліе не совершенствовалось бы по пропорціи, болѣе быстрой. Много въ этой исторіи было эпохъ почти совершеннаго застоя общественныхъ улучшеній, но самые безотрадные, самые гнусные изъ этихъ періодовъ все-таки двигали земледѣліе впередъ быстрѣе, чѣмъ требовалось бы для уравниванія дефицита въ земледѣльческомъ продуктѣ, для сохраненія земледѣльческому труду всей прежней производительности, при процентѣ размноженія людей, по которому число ихъ удвоилось бы каждая 25 лѣтъ».

Далѣе Чернышевскій даетъ общую формулу размноженія, по которой опредѣлялся бы потребный размѣръ улучшеній для различныхъ періодовъ удвоенія. Мы не станемъ приводить ее. Замѣтимъ только, что съ ея помощью онъ приходитъ къ самымъ поразительнымъ выводамъ. Оказывается, напримѣръ, что,

¹⁾ При ежегодномъ возрастаніи въ 3%, черезъ 25 лѣтъ 10,000 человѣкъ населенія возрастаютъ до 20,938 человѣкъ; для того, чтобы число населенія удвоилось въ 25 лѣтъ, нужно принять ежегодную величину возрастанія только въ 2,81138...%.

²⁾ 1,000,849... въ 25-ой степени даетъ 1,021,443.

при 12-лѣтнемъ періодѣ удвоенія населенія, высота, до которой улучшенія должны поднять земледѣліе въ теченіе цѣлаго вѣка, равняется лишь 1,36958, принимая первоначальную высоту за единицу.

«Напримѣръ: если въ 1860 г. земледѣлецъ, обрабатывающій четыре десятины, собираетъ съ нихъ 10 четвертей хлѣба, то въ теченіе слѣдующаго вѣка надо произвести улучшенія, которыя давали бы возможность въ 1960 г. также одному земледѣльцу собрать съ этихъ 4 десятинъ около $13\frac{3}{4}$ четвертей хлѣба. При такой пропорціи улучшеній люди до 1960 г. не будутъ чувствовать недостатка въ продовольствіи, размножаясь съ быстротою, удваивающею число ихъ въ каждыя 12 лѣтъ. Конечно, при такой быстротѣ размноженія, постепенно будетъ являться на 4 десятинахъ, вмѣсто одного хлѣбопашца, 2 работника, потомъ 3, 4, и т. д. 10, 11, 12 работниковъ и т. д.; прибавка каждаго новаго работника на этихъ 4 десятинахъ будетъ увеличивать продуктъ ихъ въ пропорціи, нѣсколько меньшей того, на сколько увеличилось количество труда отъ прибавки этого работника къ прежнимъ. Но все-таки, при такомъ ходѣ земледѣльческихъ улучшеній, который равняется 37% за цѣлое столѣтіе, постоянно будетъ собираться съ этихъ 4 десятинъ, количество продукта, дающее въ общей сложности попрежнему 10 четвертей на каждаго изъ обрабатывающихъ эти 4 десятины землепашцевъ».

Повторяемъ, выводы эти до такой степени поразительны, что читатель отказывается вѣрить своимъ глазамъ. Онъ невольно возвращается назадъ, провѣряя доводы автора. Но доводы кажутся неотразимыми, умозаключенія, повидимому, совершенно логично вытекаютъ изъ посылокъ. Читатель сдаётся и проникается непоколебимымъ убѣжденіемъ въ томъ, что Чернышевскій окончательно опровергъ Мальтуса, подойдя къ вопросу съ такой стороны, съ какой къ нему не подходилъ никто изъ прежнихъ изслѣдователей. Это убѣжденіе очень распространено въ Россіи, гдѣ опроверженіе Мальтуса считается едва ли не самой важной и ужъ во всякомъ случаѣ самой безспорной изъ ученыхъ заслугъ нашего знаменитаго писателя.

Посмотримъ, насколько правиленъ такой взглядъ.

Замѣтимъ, прежде всего, вотъ что: если бы ариѳметическія выкладки Чернышевскаго были совершенно правильны, то даже и въ этомъ случаѣ было бы еще сомнительно, опровергають ли онѣ Мальтуса, или, точнѣе, того Мальтуса, съ которымъ мы имѣемъ дѣло въ первой главѣ первой книги *Опыта*. Чернышевскій слишкомъ произвольно истолковываетъ ариѳметическую прогрессію Мальтуса. По его истолкованію выходитъ, что она выражаетъ собою лишь пониженіе производительности земе-

дѣльческаго труда, неизбежно являющееся въ томъ случаѣ, когда не происходитъ улучшеній въ земледѣліи.

«Весь вопросъ именно въ томъ и состоитъ, какой размѣръ улучшеній необходимъ для уравновѣшенія недочета въ продуктѣ, происходящаго отъ меньшей производительности труда прибылыхъ работниковъ по сравненію съ прежними. Обыкновенно предполагается, что если размноженіе людей будетъ происходить со всей возможной быстротой, то для этого уравновѣшенія потребуется размѣръ улучшеній слишкомъ громадный»¹⁾.

Выкладки Чернышевскаго показываютъ противное. Но на чемъ же основываетъ онъ свое истолкованіе арифметической прогрессіи? Онъ говоритъ, что такъ «мы прочли у Милля, очень вѣрно передающаго мысли Мальтуса»²⁾. Но это еще недостаточное ручательство. Обратимся лучше къ самому Мальтусу, т.-е. собственно къ тому Мальтусу, съ которымъ мы имѣемъ дѣло въ первой главѣ первой книги *Опыта*, гдѣ идетъ рѣчь о прогрессіяхъ, и съ которымъ спорить Чернышевскій, повидимому и не подозрѣвающій существованія другого Мальтуса, Мальтуса-автора *Основъ политической экономіи* *).

«Въ Англіи и Шотландіи много занимались улучшеніемъ земледѣлія,—читаемъ мы въ «Опытѣ»,—но и въ этихъ странахъ много есть еще невоздѣланныхъ земель. Разсмотримъ, до какой степени можетъ быть увеличено плодородіе этого острова при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, какія только можно себѣ представить (курсивъ нашъ). Если мы предположимъ, что при возможно хорошемъ правленіи и при самомъ сильномъ поощреніи земледѣлія (курсивъ нашъ) произведенія почвы могутъ удвоиться на

¹⁾ Соч. Черн., т. III, стр. 205—206.

²⁾ Тамъ же, стр. 205.

*) Въ примѣчаніи къ статьѣ проф. Скворцова (стр. 237), мы разобрали взгляды Мальтуса, поскольку они были выражены имъ въ его «Опытѣ о народонаселеніи» и т. д. Но вслѣдъ за этимъ своимъ трудомъ онъ, окрыленный успѣхомъ первой книги, принялся за вторую, которую и назвалъ «Основами политической экономіи». Въ этомъ трудѣ онъ снова ставитъ вопросъ о «рабочихъ-козахъ» и тоже, конечно, рѣшаетъ его съ точки зрѣнія выгодъ капитала. Онъ говоритъ, что если рабочихъ въ странѣ меньше, чѣмъ это необходимо для промышленности, то страна должна страдать отъ такого недостатка. Словомъ, количество рабочихъ должно соответствовать требованіямъ капитала. Если ихъ расплодилось больше, чѣмъ нужно хозяевамъ, это влечетъ налогъ въ пользу бѣдныхъ, который приходится уплачивать богатымъ людямъ, а если ихъ мало и рабочихъ рукъ нехватаетъ, то хозяевамъ приходится платить рабочимъ дороже за ихъ трудъ. Словомъ, нормально только то, что выгодно капиталу, а то, что идетъ въ разрѣзъ съ его интересами, разоряетъ страну и вызываетъ бѣдствія. Это Мальтусъ называетъ «закономъ природы или, что то же, Божьимъ закономъ».

этомъ островѣ въ первыя двадцать пять лѣтъ, то, вѣроятно, мы перейдемъ за предѣлы возможнаго; такое предположеніе скорѣе превыситъ мѣру возростанія количества произведеній, на какое мы могли бы благоразумно разсчитывать. Въ слѣдующія двадцать пять лѣтъ рѣшительно нельзя надѣяться, чтобы производительность земли возрасла по этому же закону, и чтобы по истеченіи этого второго періода плодородіе учетверилось; допустить это—значило бы перевернуть вверхъ дномъ всѣ наши понятія о производительности земли. Улучшеніе бесплодныхъ участковъ (курсивъ нашъ) требуетъ много труда и времени. Для человѣка, сколько-нибудь знакомаго съ этимъ предметомъ, не подлежитъ сомнѣнію, что по мѣрѣ расширенія обработки, ежегодное приращеніе средняго производства постоянно уменьшается, съ нѣкотораго рода правильностью... Вообразимъ, что ежегодное приращеніе средняго производства не уменьшается, а остается то же, такъ что въ каждый двадцатипятилѣтній періодъ годовому производству Великобританіи присоединяется количество произведеній, равное такому же годовому доходу. Вѣроятно, никакое горячее воображеніе не рѣшится сдѣлать болѣе широкаго предположенія, ибо и этого довольно, чтобы въ нѣсколько столѣтій обратить всю почву острова въ одинъ роскошный садъ. Примѣнимъ это предположеніе ко всей землѣ и т. д. ¹⁾).

Мы не станемъ теперь возвращаться къ вопросу о томъ, насколько ошибается Мальтусъ. Намъ нужно одно: выяснить, что собственно хочетъ онъ сказать въ приведенныхъ строкахъ. А на этотъ счетъ врядъ ли возможно сомнѣніе. Человѣкъ говоритъ о «самомъ сильномъ поощреніи земледѣлія»: о самыхъ благопріятныхъ для него условіяхъ, «какія только можно себя представить»; объ «улучшеніи бесплодныхъ участковъ»; объ обращеніи всей почвы острова (а затѣмъ и всего земного шара) «въ одинъ роскошный садъ»,—и при всемъ этомъ онъ не принимаетъ въ соображеніе усовершенствованій въ способахъ обработки земли; при всемъ томъ онъ предполагаетъ, что земледѣльческіе приемы останутся неизмѣнными въ теченіе тѣхъ «нѣсколькихъ столѣтій», о которыхъ у него идетъ рѣчь? Нѣтъ, правъ или неправъ Мальтусъ, но въ данномъ случаѣ мысль его ясна: онъ хочетъ сказать, что земледѣльческій продуктъ будетъ увеличиваться лишь въ ариѳметической прогрессіи, несмотря на всѣ тѣ улучшенія, на которыя можетъ разсчитывать благоразумный человѣкъ. При построеніи своей прогрессіи онъ принимаетъ (т.-е. лучше сказать, дѣлаетъ видъ, что принимаетъ) въ соображеніе вліяніе будущихъ улучшеній въ земледѣліи. Слѣдовательно, всѣ вычисленія Чернышевскаго оказываются излишними. Какъ бы они ни были пра-

¹⁾ «Опытъ», кн. I, гл. 1, стр. 100—101.

вильны, они не могут опровергнуть Мальтусовой теоремы по той простой причинѣ, что они основываются на неправильномъ истолкованіи этой теоремы.

Но главное дѣло въ томъ, что сами они не совсѣмъ правильны. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вдуматься въ ихъ основное положеніе. Сопоставляя прогрессіи Мальтуса, Чернышевскій находитъ, что «процентъ размноженія работниковъ служить процентомъ уменьшенія производительной силы труда прибывающихъ работниковъ». Такъ ли это? Къ сожалѣнію, совсѣмъ не такъ.

Для удобства выпишемъ снова анализированныя Чернышевскимъ прогрессіи:

Умноженіе людей 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. . . .

Увеличеніе продукта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. . . .

Какъ великъ здѣсь «процентъ размноженія работниковъ или,—что то же¹⁾—процентъ возрастанія общей цифры населенія»? Мы рѣшительно не знаемъ этого, объ этомъ нѣтъ и рѣчи. «Процентъ размноженія работниковъ» зависитъ отъ величины періода удвоенія населенія. При 25-лѣтнемъ періодѣ удвоенія этотъ процентъ будетъ совсѣмъ не тотъ, что при 15-лѣтнемъ, при 35-лѣтнемъ и т. д. Мальтусъ даетъ общую формулу, подъ которую должны подходить, по его мнѣнію, всѣ частные случаи. Если уже говорить о процентѣ увеличенія числа работниковъ, то мы должны выразиться такъ: въ концѣ каждаго послѣдующаго періода число работниковъ увеличивается на 100 процентовъ, увеличеніе же продукта слѣдуетъ совсѣмъ другому закону: въ концѣ второго періода онъ увеличивается на 100 процентовъ, въ концѣ 3-го на 50, въ концѣ 4-го на $33\frac{1}{3}$, въ концѣ 5-го на 25, въ концѣ 6-го на 20 и т. д. Значить ли это, что процентъ увеличенія числа работниковъ «служить процентомъ уменьшенія производительной силы труда работниковъ»? Далеко нѣтъ. Процентъ увеличенія числа работниковъ остается неизмѣннымъ, между тѣмъ какъ процентъ уменьшенія производительной силы прибывшихъ работниковъ постоянно и очень быстро возрастаетъ. Отсюда слѣдуетъ одно изъ двухъ: или Чернышевскій ошибается, или онъ неточно выражаетъ свою мысль. Мы сейчасъ увидимъ, какое изъ этихъ двухъ предположеній соотвѣтствуетъ дѣйствительности. «Одинъ новый работникъ, прибавившійся во вто-

¹⁾ «То же» потому, что Чернышевскій предполагаетъ неизмѣннымъ отношеніе числа работниковъ-земледѣльцевъ къ общей цифрѣ населенія.

ромъ періодѣ, увеличиваетъ своею работою продуктъ на 1; два работника, прибавившіеся въ третьемъ періодѣ, увеличиваютъ продуктъ также на 1; 4 новые работника четвертаго періода и 8 новыхъ работниковъ пятаго періода и т. д. увеличиваютъ продуктъ также на 1». Таково то явленіе, которое нашъ авторъ хочетъ выразить въ одной общей формулѣ. Нужно это или не нужно—вопросъ другой, но разъ мы хотимъ найти такую формулу, приходится выразиться такъ: во сколько разъ число прибылыхъ работниковъ каждаго даннаго періода больше числа работниковъ, прибывшихъ во второмъ періодѣ, во столько разъ производительность ихъ труда меньше производительности труда прибылыхъ работниковъ втораго періода. Вотъ и все. Что же слѣдуетъ отсюда? Слѣдуетъ уже извѣстный намъ выводъ: процентъ увеличенія числа прибылыхъ работниковъ остается неизмѣннымъ, процентъ же уменьшенія ихъ производительной силы быстро растетъ. А это значить, что отождествлять эти два процента нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Ну, а что произойдетъ, если мы все-таки отождествимъ ихъ, вопреки очевидности? Сообразить это очень нетрудно.

Процентъ размноженія не измѣняется, процентъ уменьшенія производительности труда быстро увеличивается. Отождествить эти два процента—значить предположить, что производительность труда уменьшается далеко не такъ быстро, какъ это явствуетъ изъ разсматриваемыхъ нами прогрессій. Это будетъ совершенно произвольное предположеніе, кореннымъ образомъ измѣняющее условія задачи. Можетъ-быть, предположеніе это и болѣе согласно съ фактами дѣйствительности, но во всякомъ случаѣ, принимая его, нельзя утверждать, что мы остаемся вѣрны смыслу Мальтусовой теоремы и что «мы изложили ходъ вывода изъ Мальтусовыхъ прогрессій съ такою точностью, съ какою никогда не излагалъ его ни самъ Мальтусъ, ни никто изъ его послѣдователей»¹⁾. Мы изложили бы лишь ходъ вывода изъ условій, произвольно принятыхъ нами самими.

Уменьшеніе земледѣльческаго продукта опредѣляется уменьшеніемъ производительности труда прибылыхъ работниковъ²⁾. Предположивъ, что производительность труда уменьшается

1) Чернышевскій, тамъ же, стр. 208.

2) То-есть такъ происходитъ дѣло у насъ на бумагѣ; какъ происходитъ оно на практикѣ, это вопросъ другой, насъ здѣсь не касающійся.

медленнѣе, чѣмъ это явствуется изъ смысла прогрессіи, мы тѣмъ самымъ предполагаемъ, что и продуктъ уменьшается медленнѣе, чѣмъ это показываетъ Мальтусова ариѳметическая прогрессія. Значить, и «дефицитъ въ земледѣльческомъ продуктѣ» будетъ меньше, чѣмъ говоритъ прогрессія, а въ такомъ случаѣ и размѣръ улучшеній, необходимыхъ для устраненія этого дефицита, окажется далеко не такъ великъ, какъ можно было думать, сопоставляя геометрическую прогрессію съ ариѳметическою. Слѣдовательно, намъ остается только вычислить этотъ размѣръ, принимая различные «проценты размноженія работниковъ» (иначе сказать, различные періоды удвоенія населенія), чтобы противопоставить затѣмъ результаты нашего «правильнаго счета» результатамъ «фальшиваго счета» Мальтуса. Въ сущности, подобное противопоставленіе доказывало бы лишь ту старую истину, что, исходя изъ неодинаковыхъ посылокъ, люди получаютъ неодинаковые выводы. Но мы, незамѣтно для себя, измѣнивъ условія задачи, будемъ думать, что мы опровергли Мальтуса, строго держась прямого смысла его собственной «теоремы».

Но и это еще не все. Мало того, что Чернышевскій считаетъ неизмѣннымъ быстро увеличивающійся процентъ уменьшенія производительности труда, т.-е., иначе сказать, принимаетъ перемѣнную величину за постоянную, — сама эта мнимо-постоянная величина оказывается у него несравненно меньшею, чѣмъ она должна быть по смыслу Мальтусовой теоремы. Процентъ размноженія людей по самымъ преувеличеннымъ расчетамъ не можетъ превышать 7 (при 12-лѣтнемъ періодѣ удвоенія населенія онъ нѣсколько меньше шести). По смыслу же Мальтусовой теоремы производительность труда уже въ третьемъ періодѣ уменьшается на 50 процентовъ. (Это знаетъ и Чернышевскій: «новый работникъ во второмъ періодѣ увеличиваетъ продуктъ на 1; 2 работника, прибавившіеся въ третьемъ періодѣ, увеличиваютъ продуктъ также только на 1».) Согласитесь, что это большая разница, и что ея совершенно достаточно для объясненія тѣхъ поразительныхъ выводовъ, къ которымъ пришелъ Чернышевскій. Повторяемъ, мы говоримъ не о томъ, соотвѣтствуютъ или не соотвѣтствуютъ его предположенія экономической дѣйствительности (объ этомъ онъ и самъ ничего не говорилъ); мы утверждаемъ только, что они совершенно противорѣчатъ смыслу Мальтусовой теоремы (а онъ думалъ, что они совершенно вѣрны ему, и такъ же думали

всѣ тѣ, которые считали доводы Чернышевскаго неопровержимыми).

Если процентъ возрастанія числа работниковъ (а слѣдовательно и всего населенія) равенъ проценту уменьшенія производительности труда прибылыхъ работниковъ, то нѣтъ ничего легче, какъ опредѣлить размѣры необходимыхъ улучшеній. Положимъ, что населеніе удваивается каждыя 12 лѣтъ. Процентъ размноженія равняется въ этомъ случаѣ: 5,94631. Сообразно съ этимъ и производительность труда прибылыхъ работниковъ будетъ правильно уменьшаться на 5,94631 процента. Далѣе, уже самое несложное вычисленіе даетъ намъ искомый процентъ улучшеній. По вышеуказаннымъ причинамъ онъ будетъ очень незначителенъ. А между тѣмъ мы, повидимому, сдѣлали своимъ противникамъ самую крайнюю уступку: 12-лѣтній періодъ удвоенія населенія совсѣмъ уже невѣроятенъ. Но дѣло въ томъ, что какъ ни великъ при этомъ процентъ размноженія,—а слѣдовательно и ослабленія производительности труда,—эта послѣдняя все-таки падаетъ медленнѣе, чѣмъ она должна была бы падать при дѣйствительно «правильномъ счетѣ». Чернышевскій считаетъ, что при 12-лѣтнемъ періодѣ удвоенія высота, до которой должно подняться земледѣліе въ теченіе столѣтія, не превышаетъ 1,36958 процента. Мы не станемъ провѣрять, вѣрно ли сдѣланъ его расчетъ. Допустимъ, что вполне вѣрно. Но не забудемъ, что по его предположенію, процентъ уменьшенія производительности труда равняется лишь 5,94631 (т.-е. проценту размноженія). А то ли выйдетъ при дѣйствительно «вѣрномъ счетѣ?» Уже въ теченіе 96 лѣтъ населеніе увеличивается въ 16 разъ. Посмотримъ, какъ велика будетъ производительность труда прибылыхъ работниковъ черезъ 48 лѣтъ, или въ 4-мъ періодѣ. Во сколько разъ число прибылыхъ работниковъ каждаго даннаго періода больше числа работниковъ, прибывшихъ во второмъ періодѣ, во столько разъ производительность ихъ труда меньше производительности труда прибылыхъ работниковъ второго періода. Число работниковъ, прибывшихъ въ 4-мъ періодѣ, вчетверо больше числа прибылыхъ работниковъ второго періода. Слѣдовательно, производительность труда прибылыхъ работниковъ 4-го періода вчетверо меньше, чѣмъ производительность труда работниковъ, прибывшихъ во второмъ. Въ пятомъ періодѣ оно будетъ въ восемь

разъ меньше. Согласитесь, что это очень далеко отъ неизмѣннаго процента, который принять Чернышевскимъ (5,94631) и который казался результатомъ крайне преувеличеннаго предположенія (удвоенія населенія въ 12 лѣтъ).

— Но неужели Чернышевскій дѣйствительно разсуждаетъ вышеизложеннымъ образомъ? Да помилуйте, чего же вы хотите, вѣдь онъ самъ заявляетъ это, приступая къ своимъ вычисленіямъ: «Мальтусъ полагаетъ, что процентъ ослабленія производительности новаго труда равенъ проценту возрастанія его количества, или... проценту возрастанія населенія»¹⁾. А можетъ-быть, онъ все-таки отклонился отъ своего принципа?

Да, отклонился; вы сейчасъ увидите, въ какую сторону.

Въ первомъ, происходящемъ, такъ-сказать, на глазахъ у читателя, примѣрномъ расчетѣ Чернышевскаго процентъ размноженія принимается равнымъ 3. Сообразно съ этимъ и процентъ уменьшенія производительности труда долженъ быть также равенъ 3. Число землепашцевъ равняется 100, а произвести каждый изъ нихъ по 10 возовъ хлѣба. Расчетъ ведется по-годно. Спрашивается, сколько хлѣба произведетъ каждый прибылой работникъ 2-го года? По смыслу нашихъ условій онъ долженъ произвести 9,7 воза. У Чернышевскаго онъ производитъ 9,7087, т. е. нѣсколько больше. Откуда эта разница? А вотъ откуда. Мы разсчитываемъ такъ: каждый работникъ производилъ прежде по 10 возовъ; производительность труда прибылыхъ работниковъ на 3 процента меньше. Три процента отъ десяти равняется 0,3. Вычтя эту дробь изъ 10, мы получаемъ 9,7—цифра, которою и выражается производительность труда каждаго новаго работника 2-го года.—Чернышевскій разсуждаетъ иначе. Прежде было 100 работниковъ, теперь стало 103. «Итакъ, производительность новаго труда относится къ производительности прежняго, какъ 100 къ 103... изъ этого мы получимъ: $X=9,7087$ »²⁾ Правильно ли это разсужденіе, согласно ли оно съ условіями задачи? Когда мы говоримъ, что процентъ уменьшенія производительности труда равенъ проценту размноженія, мы хотимъ сказать, что на сколько процентовъ увеличится населеніе, на столько процентовъ уменьшится производительность труда. А когда мы говоримъ, что производительность труда однихъ работниковъ относится къ производительности труда

¹⁾ Тамъ же, стр. 208.

²⁾ Тамъ же, стр. 208—209.

другихъ, какъ такое-то число къ такому-то, мы опредѣляемъ, во сколько разъ одна производительность больше другой. На сколько 2 меньше 3, на столько же 3 меньше 4. Можно ли выразить это такой пропорціей: $2 : 3 = 3 : 4$? Ясно, что нѣтъ, потому что двѣ трети не равны тремъ четвертямъ. Иное дѣло а р и ѳ м е т и ч е с к а я пропорція, иное дѣло пропорція г е о м е т р и ч е с к а я. Чернышевскій сначала говоритъ, что онъ будетъ держаться первой (на сколько процентовъ населеніе второго года больше населенія перваго года, на столько процентовъ производительность труда прибылыхъ работниковъ меньше и т. д.), а потомъ неожиданно переходитъ ко второй. Какъ вліяетъ это на ходъ его вычисленій? Уменьшеніе производительности труда оказывается еще болѣе слабымъ, чѣмъ было оно при разобраннымъ выше ошибочномъ предположеніи относительно равенства двухъ извѣстныхъ читателю процентовъ. Это видно уже изъ вышеприведенныхъ цифръ. И чѣмъ больше процентъ размноженія, тѣмъ замѣтнѣе дѣйствіе этой ошибки¹⁾. Другими словами: чѣмъ больше та уступка, которую дѣлаетъ Чернышевскій своимъ противникамъ, тѣмъ болѣе помогаетъ ему его вторая ошибка ослабить логическое слѣдствіе этой уступки, хотя, разумѣется, дѣйствіе второй ошибки несравненно слабѣе дѣйствія первой.

Еще одно замѣчаніе. Допустимъ, что указанныхъ ошибокъ не существуетъ; допустимъ, что по смыслу Мальтусовой «теоремы» процентъ уменьшенія производительности труда равенъ проценту размноженія, и вернемся къ примѣрному расчету Чернышевскаго. Въ первомъ году у насъ было 100 работниковъ, во второмъ ихъ оказывается уже 103. Производительность труда прибылыхъ работниковъ на 3 процента меньше прежней производительности. Иначе, повидимому, и быть не можетъ. Но это только повидимому. Какъ распредѣляются прибылые работники по земельнымъ участкамъ? Это, конечно, зависитъ отъ обстоятельствъ. Прежде каждый работникъ воздѣлывалъ 4 десятины, а каждые два работника воздѣлывали участокъ въ 8 десятинъ. Новые работники распредѣлились, положимъ, такъ, что на трехъ 8-деся-

1) Чернышевскій въ своемъ расчетѣ не разъ смѣшиваетъ понятіе «во сколько» съ понятіемъ «на сколько». Такъ, напримѣръ, онъ говоритъ: производительность труда въ этомъ году должна подняться на столько выше прежней своей величины, на сколько требуемый сборъ... и такъ далѣе, и вслѣдъ затѣмъ строить г е о м е т р и ч е с к у ю пропорцію (тамъ же, стр. 209).

тинныхъ участкахъ теперь работаетъ ужъ по три, а не по два человѣка, какъ это было прежде. На этихъ участкахъ «размноженіе» работниковъ будетъ равно 50 процентамъ. Слѣдовательно, производительная сила ихъ уменьшится на половину. Каждый изъ нихъ произведетъ только 5 возовъ хлѣба, а не 9,7, какъ предполагалось раньше. Сообразно съ этимъ увеличится дефицитъ въ земледѣльческомъ продуктѣ, а, слѣдовательно, и размѣръ необходимыхъ улучшеній. Но въ такомъ случаѣ выводы, къ которымъ пришелъ Чернышевскій въ своихъ вычисленіяхъ, потеряли бы всякую убѣдительность, если бы даже и были основательны.

Смѣшно было бы ставить въ вину экономисту случайную ошибку, закрывшуюся въ его примѣрный, пояснительный расчетъ. Отъ подобныхъ ошибокъ, происходящихъ отъ недосмотра, не застрахованы и гениальнѣйшіе специалисты-математики. Но когда къ подобнымъ выкладкамъ сводится весь «методъ» экономиста (а къ нимъ именно и сводится «гипотетическій» или «математическій» методъ Чернышевскаго), тогда дѣло принимаетъ другой оборотъ. Тогда остается одно изъ двухъ: или жалѣть о томъ, что экономистъ невнимательно примѣняетъ свой методъ (потому что его математическіе ошибки вліяютъ на его выводы, которые не только поясняются съ помощью примѣрныхъ выкладокъ, а цѣликомъ вытекаютъ изъ нихъ), или посовѣтовать ему держаться другого, болѣе научнаго и потому болѣе плодотворнаго метода.

II.

Взглядъ Чернышевскаго на «размноженіе людей» уже гораздо свободнѣе отъ ошибокъ, хотя и онъ, конечно, совсѣмъ не чуждъ общаго недостатка всѣхъ социально-политическихъ взглядовъ знаменитаго просвѣтителя: крайней отвлеченности. Въ сущности весь вопросъ сводится Чернышевскимъ къ фізіологической возможности болѣе или менѣе быстрого размноженія человѣческаго рода.

«О чемъ собственно идетъ дѣло?—спрашиваетъ онъ.—О такомъ ли числѣ рожденій, къ достиженію котораго можетъ быть принужденъ человѣческій организмъ внѣшнимъ насиліемъ, или о такомъ числѣ рожденій, которое было бы естественнымъ послѣдствіемъ отстраненія всякихъ задержекъ размноженія со стороны нужды? Извѣстно, что всякое живое существо, въ томъ числѣ и человѣкъ, можетъ быть принуждаемо насиліемъ къ дѣятельности, превышающей нормальную его силу... Организмъ женщины можетъ

быть принуждаемъ къ рожденію количества дѣтей, превышающаго ея силы; но... это не будетъ благопріятно быстротѣ размноженія. Изнуренная мать будетъ рождать младенцевъ, лишенныхъ способности жить. Притомъ же подобное положеніе женщины возможно лишь при грубости нравовъ, т.-е. при невѣжествѣ, т.-е. при дурномъ положеніи общества, неблагопріятномъ размноженію. Мы, конечно, ищемъ не того, какое число дѣтей можетъ родиться въ условіяхъ, неблагопріятныхъ размноженію,—мы хотимъ знать, какой процентъ рожденій можетъ быть въ обществѣ при существованіи всѣхъ благопріятнѣйшихъ для размноженія условій» ¹⁾.

Бѣдность и грубость нравовъ имѣютъ свойство увеличивать число рожденій, доводить ихъ цифру до величины, которой они не достигли бы при благосостояніи и смягченныхъ нравахъ. Въ большинствѣ европейскихъ странъ число рожденій колеблется (вѣрнѣе сказать, колебалось, потому что Чернышевскій писалъ болѣе 40 лѣтъ тому назадъ) между 35 и 40 рожденій на 1,000; до 45 оно доходитъ лишь въ рѣдкихъ и исключительныхъ случаяхъ, выше 45 оказывается лишь въ тѣхъ странахъ, статистическіе отчеты которыхъ не достовѣрны, и, наконецъ, до 48 не достигаетъ ни одна цифра, сколько-нибудь заслуживающая довѣрія ²⁾. Чернышевскій считаетъ 40 рожденій на 1,000 человекъ «за самую высшую цифру, какая только допускается устройствомъ человѣческаго организма безъ насильственнаго изнуренія физическихъ силъ женщинъ въ населеніи неразмножающемся; въ населеніи, размножающемся быстро, цифра эта будетъ меньше» (такъ какъ меньше будетъ относительное число взрослыхъ людей въ общемъ составѣ населенія). Съ улучшеніемъ положенія женщины число рожденій опустится ниже 40 на 1,000. Процентъ размноженія получается вычитаніемъ числа умирающихъ изъ числа рождающихся. Вѣроятное число рожденій намъ извѣстно; какова же вѣроятная смертность? По мнѣнію Чернышевскаго, «наименьшая смертность между новорожденными, при всевозможномъ благосостояніи въ нынѣшнемъ обществѣ, простирается до 20 на 1,000, а наименьшая смертность между людьми, имѣющими болѣе 5 лѣтъ, по всей вѣроятности, не меньше 1,47 (1,4724) процента и ни въ какомъ случаѣ не меньше 1,24 (1,2425) процента» ³⁾.

¹⁾ Т. III, стр. 227—228.

²⁾ Цифры заимствуются Чернышевскимъ изъ «*Elements de statistique humaine*» Гильяра.

³⁾ Т. III, стр. 236. Цифры эти Чернышевскій получаетъ такимъ образомъ. Исслѣдованія англійскаго статистика Чедвика показываютъ, что изъ дѣтей англійскихъ землевладѣльцевъ въ первыя 5 лѣтъ умираетъ 20 процентовъ. Эту смертность Чернышевскій считаетъ наименьшею, какая только

На основаніи этихъ крайнихъ предѣловъ наибольшаго числа рожденій и наименьшаго числа смертей «въ обществѣ, въ которомъ бѣдность не была бы причиною ни одной смерти и не оставляла бы ни одного рожденія», Чернышевскій находитъ, что «періоды удвоенія въ 15 или 12 лѣтъ—чистая химера, происшедшая только отъ забвенія о дѣйствительно-возможномъ наибольшемъ числѣ рожденій, и что даже періодъ удвоенія едва ли меньше, а по всей вѣроятности больше 35 лѣтъ». Но это при нынѣшнихъ обычаяхъ, поднимающихъ процентъ рожденій выше естественной нормы.

«Смягченіе нравовъ ведетъ къ удлиненію періода удвоенія, и мы не имѣемъ предѣла, о которомъ можно было бы сказать, что при извѣстномъ смягченіи нравовъ онъ не окажется все еще слишкомъ коротокъ; напротивъ, есть основаніе думать, что, при устраненіи излишней грубости семейныхъ отношеній дѣйствіемъ распространяющагося просвѣщенія, размноженіе прекратится и число населенія станетъ увеличиваться лишь вслѣдствіе общественной необходимости въ томъ, а когда надобности въ томъ не будетъ, не будетъ и размноженія. Человѣческій организмъ устроенъ такъ, что можно сомнѣваться въ томъ, свойственно ли ему даже поддерживать существующее число населенія, если онъ не возбуждается тяготѣніемъ общественнаго мнѣнія, т.-е. расчетомъ пользы»¹⁾.

Мальтусъ считалъ возможными очень короткіе періоды удвоенія: поэтому онъ, съ своей точки зрѣнія, имѣлъ право говорить, что выселеніе не поможетъ бѣдѣ, происходящей отъ излишняго

возможна по самому устройству человѣческаго организма, такъ какъ англійскіе землевладѣльцы, не терпя никакихъ матеріальныхъ лишеній, слазятся въ то же время заботливостью и рациональностью въ физическомъ воспитаніи своихъ дѣтей. Что касается наименьшей смертности между людьми старше 5 лѣтъ, она опредѣляется нѣсколько болѣе сложнымъ пріемомъ. Во Франціи, по Гильяру, изъ 1.000 дѣтей, не достигшихъ пятилѣтняго возраста, умирало 274. Такъ какъ нормальная смертность равняется 200, то 74 смерти оказываются слѣдствіемъ нужды. Нельзя думать, чтобы пропорція лишніхъ смертей была больше этой цифры между умершими старше 5 лѣтъ. Чернышевскій полагаетъ, напротивъ, что она будетъ вдвое меньше, что «на одну лишнюю смерть выше пяти лѣтъ приходится двѣ лишніе смерти между младенцами». Но на всякій случай онъ дѣлаетъ двойной расчетъ, опредѣляя относительное число лишніхъ смертей какъ въ томъ предположеніи, что между взрослыми ихъ меньше, чѣмъ между дѣтьми, такъ и въ томъ, что взрослый организмъ вдвое лучше дѣтскаго сопротивляется убійственному вліянію лишеній. Расчетъ ведется имъ на основаніи статистическихъ данныхъ о смертности во Франціи. Найдя число лишніхъ смертей, Чернышевскій безъ труда получаетъ процентъ нормальной смертности.

¹⁾ Т. III, стр. 243.

размноженія: при 20-лѣтнемъ періодѣ удвоенія процентъ размноженія равняется 3,6; если при такомъ размноженіи будетъ эмигрировать ежегодно 1,5 процента населенія, то все-таки останется ежегодное приращеніе въ 2,1 процента, при чемъ населеніе удвоится въ 33 года. Совершенно иное дѣло, когда періоды удвоенія,—какъ это мы видѣли изъ предыдущаго, оказываются, по свойствамъ человѣческаго организма, гораздо болѣе длинными, чѣмъ думалъ Мальтусъ. Тогда эмиграція должна быть признана могучимъ средствомъ борьбы съ перенаселеніемъ. Благодаря ей, періоды удвоенія населенія, остающагося въ странѣ, могутъ быть удлинены до цифръ, на первый взглядъ кажущихся совершенно невѣроятными. По обыкновенію, Чернышевскій поясняетъ свою мысль примѣрнымъ расчетомъ, и,—какъ нерѣдко случается у него,—расчетъ не совсѣмъ точенъ ¹⁾).

Впрочемъ, въ данномъ случаѣ это не важно. Чернышевскій самъ не придаетъ значенія полученнымъ имъ цифрамъ, «явно смѣющимся надъ нами и своею огромностью, превышающею всякій расчетъ экономическихъ вѣроятностей, и своею нелѣпою претензіей на точность». Цифры эти убѣждаютъ не частностями, а общимъ своимъ смысломъ.

«Онѣ говорятъ намъ: не бойтесь; кто хочетъ запугать васъ, противъ того выставьте вы насъ,—опровергнуть насъ нельзя; но мы построены на нынѣшнихъ вашихъ обычаяхъ и понятіяхъ,—неужели вы думаете мѣрить далекое будущее вашими обычаями, понятіями, средствами производства? Неужели вы полагаете, что ваши праправнуки будутъ такими же, какъ вы? Не бойтесь, они будутъ умнѣе васъ. Думайте о томъ, какъ вамъ устроить вашу жизнь, а заботу о судьбѣ праправнуковъ оставьте праправнукамъ»... ²⁾

Нужно ли входить въ подробный разборъ доводовъ Чернышевскаго? Мы считаемъ это излишнимъ. Мы только повторимъ сдѣланное выше замѣчаніе насчетъ того, что взглядъ его на размноженіе людей имѣетъ, какъ и всѣ его социально-политическіе

¹⁾ Такъ, Чернышевскій находитъ, что эмиграція, доходящая до 1,5 процента населенія въ обществѣ, число гражданъ котораго удваивалось прежде черезъ 52,6 года, удлинитъ періодъ удвоенія до 894,8 лѣтъ. Между тѣмъ, изъ его же таблицы видно, что первоначальный процентъ размноженія въ такомъ обществѣ равнялся бы лишь 1,3275. При эмиграціи, процентъ которой превышаетъ первоначальный процентъ размноженія, въ населеніи явится убыль, а потому оно никогда не удвоится, если не измѣнится положеніе дѣлъ.

²⁾ Т. III, стр. 240—242.

взгляды, крайне отвлеченный характеръ. Какъ должно было отражаться это обстоятельство на его изслѣдованіи, понятно само собою. Оно дѣлало его мало убѣдительнымъ. Тамъ, гдѣ надо было бы внимательнѣе всмотрѣться въ окружающую дѣйствительность, Чернышевскій довольствовался формальной правильностью своихъ силлогизмовъ. Но формальная правильность силлогизма еще не ручается за вѣрность вывода. Все зависитъ отъ посылокъ. Посылки же Чернышевскаго строились обыкновенно на нѣсколькихъ цифрахъ, часто очень остроумно истолкованныхъ, но далеко не исчерпывавшихъ всего разнообразія разсматриваемыхъ явленій. Поэтому и возраженія его Мальтусу могутъ считаться скорѣе образчикомъ полемической находчивости (не чуждой, какъ мы видѣли, нѣкоторой доли опрометчивости), чѣмъ научнаго разсмотрѣнія предмета. Вотъ, на примѣръ, окончательный выводъ Чернышевскаго не подлежитъ сомнѣнію: не законы природы, а взаимныя отношенія людей, общественныя отношенія причиняютъ бѣдность рабочаго класса; но когда рѣчь заходитъ о точномъ указаніи тѣхъ сторонъ современныхъ общественныхъ отношеній, которыя причиняютъ такъ-называемое перенаселеніе, разсужденія нашего автора дѣлаются довольно сбивчивыми.

Съ увеличеніемъ населенія производительность труда, прилагаемаго къ землѣ, падаетъ. Для избѣжанія дефицита въ земледѣльческомъ продуктѣ требуются улучшенія въ способахъ обработки земли. Чернышевскій старался доказать, что процентъ необходимыхъ улучшеній очень не великъ, и что съ этой стороны человечеству опасаться нечего. Но въ своихъ вычисленіяхъ онъ принималъ неизмѣннымъ отношеніе земледѣльцевъ къ общему составу населенія. Съ измѣненіемъ этого отношенія, съ уменьшеніемъ «пропорціи земледѣльцевъ»—процентъ улучшеній, необходимыхъ для покрытія дефицита, быстро возвышается. А это значитъ, что людямъ все труднѣе и труднѣе становится бороться съ дефицитомъ. Дѣло доходитъ, наконецъ, до того, что улучшенія уже не покрываютъ дефицита. Именно это мы и видимъ въ исторіи всѣхъ прогрессирующихъ странъ. По мѣрѣ развитія цивилизаціи городское и вообще неземледѣльческое населеніе увеличивается на счетъ сельскаго, земледѣльческаго. Отъ земледѣлія отнимается больше рукъ, чѣмъ это допускается успѣхами земледѣльческаго искусства. Отсюда — недостатокъ продовольствія, который, несомнѣнно, существуетъ въ современныхъ цивилизованныхъ обществахъ.

«Мальтусъ былъ правъ, говоря, что съ размноженіемъ населенія является непобѣдимый никакими земледѣльческими улучшеніями дефицитъ земледѣльческаго продукта, дефицитъ, производящій нищету съ ея послѣдствіями. Мальтусъ ошибся только тѣмъ, что остановился на одновременности этихъ двухъ явленій и голословно назвалъ одно изъ нихъ причиною другого, между тѣмъ какъ связь между ними только связь одновременности, а не причинности, и происходятъ они не одно изъ другого, а каждый имѣетъ свою особенную причину».

Если бы мы имѣли дѣло съ рабовладѣльцемъ, ведущимъ натуральное хозяйство, то, разумѣется, обнаружившійся у него недостатокъ хлѣба могъ бы найти совершенно удовлетворительное объясненіе въ несоразмѣрномъ уменьшеніи «пропорціи земледѣльцевъ». Но и тогда надобно было бы все-таки спросить себя—точно ли недостаетъ хлѣба у хозяина? Можетъ-быть, онъ ссылается на недостатокъ хлѣба единственно затѣмъ, чтобы оправдать свою жадность, не позволяющую ему кормить рабовъ досыта. Въ капиталистическомъ же хозяйствѣ всѣ явленія несравненно болѣе сложны, и, именно благодаря своей сложности, они очень плохо объясняются отвлеченными соображеніями того или другого рода. Тутъ намъ припоминается Рикардо, котораго Чернышевскій такъ горячо защищалъ отъ нападковъ Кери. Попросимъ Рикардо объяснить намъ, что произойдетъ въ случаѣ недостатка хлѣба, вызываемаго уменьшеніемъ «пропорціи земледѣльцевъ».

Если хлѣба мало по той причинѣ, что слишкомъ мало число рукъ, занимающихся его производствомъ,—отвѣтитъ намъ Рикардо,—то цѣна хлѣба поднимется, и это привлечетъ къ земледѣлію новые капиталы, то-есть, слѣдовательно, и новыя рабочія руки; «пропорція земледѣльцевъ» будетъ увеличиваться до тѣхъ поръ, пока не приметъ надлежащихъ размѣровъ, опредѣляемыхъ спросомъ на хлѣбъ. Въ земледѣліи, какъ и вездѣ, «пропорція» работниковъ зависитъ не отъ чего иного, какъ именно отъ спроса на ихъ издѣлія. Я подробно объяснилъ это въ своей *Политической экономіи*. Впрочемъ, это хорошо знали раньше меня и никогда не оспаривали послѣ.

Къ тому же,—прибавить, пожалуй, Рикардо,—очень ошибаются тѣ, которые считаютъ, что количество хлѣба, производимаго въ странѣ, должно увеличиваться по мѣрѣ увеличенія производительности земледѣльческаго труда, т.-е. другими словами, по мѣрѣ возрастанія процента улучшеній, совершающихся въ земледѣльческой technikѣ. Въ дѣйствительности вполнѣ возможно обратное явленіе: количество производимаго хлѣба

будетъ уменьшаться по мѣрѣ увеличенія производительности труда. Въ данной странѣ, имѣющей данную «пропорцію земледѣльцевъ», произошло «улучшеніе земледѣльческихъ способовъ», позволяющее уменьшить на половину число рукъ, требующихся для обработки каждой десятины. Половина рукъ остается безъ работы. Не имѣя работы, онѣ не имѣютъ возможности покупать хлѣбъ. Слѣдовательно, потребление хлѣба сокращается и сокращается благодаря именно «улучшенію земледѣльческихъ способовъ»; сокращеніе же потребления хлѣба ведетъ къ новому сокращенію производства. Если дефицитъ въ земледѣльческомъ продуктѣ опредѣлять числомъ голодныхъ желудковъ, существующихъ въ данной странѣ, то и выйдетъ, что дефицитъ растетъ вмѣстѣ съ ростомъ производительности труда.

Это прекрасно зналъ и Мальтусъ. «Небольшая ферма въ Керри¹⁾ способна, можетъ-быть, прокормить большую семью, имѣющую нѣсколько взрослыхъ работниковъ. Но работа на фермѣ требуетъ очень немногихъ рукъ; женщины исполняютъ большую часть этой работы. Работа, выпадающая на долю мужчинъ, такъ невелика, что не составитъ въ общемъ счетѣ и одного дня въ недѣлю²⁾». На маленькой фермѣ слѣдствіемъ этого является, по Мальтусу, праздность мужчинъ; но онъ понималъ, что на большихъ капиталистическихъ фермахъ дѣло происходитъ иначе: излишнія руки изгоняются. Именно по этому-то поводу онъ и замѣчаетъ, что «способность прокормить работниковъ можетъ существовать въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ желаніе сдѣлать это».

Конечно, можно сказать, что улучшение земледѣлія дастъ возможность начать или усилить вывозъ хлѣба за границу, а вывозъ хлѣба за границу позволить удержать при землѣ прежнее число работниковъ. Но, во-первыхъ, это возраженіе сводилось бы къ старой пѣснѣ о томъ, что введеніе машинъ не ухудшаетъ положенія работниковъ. Чернышевскій не сталъ бы пѣть эту пѣсню. А кромѣ того, если бы при землѣ и осталось прежнее количество рукъ, то вѣдь потребление хлѣба сравнительно съ производствомъ его все-таки сократилось бы весьма значительно. Можетъ-быть и нельзя было бы

¹⁾ То-есть ферма, обрабатываемая самими арендаторами, а не капиталистическая ферма.

²⁾ «Principes», t. II, p. 95.

вывозить хлѣбъ за границу, если бы мы рѣшились кормить досыта всѣхъ тѣхъ, которые живутъ у насъ въпроголодь. Но въдь у этихъ людей нѣтъ денегъ, ихъ потребности не имѣютъ ничего общаго съ «дѣйствительнымъ» спросомъ на хлѣбъ. А въ буржуазномъ обществѣ только этотъ спросъ и принимается въ соображеніе.

Изъ Россіи при обыкновенномъ урожаѣ вывозится много хлѣба за границу; до абсолютнаго «дефицита въ земледѣльческомъ продуктѣ» при такихъ условіяхъ очень далеко. Но это не мѣшаетъ голодать русскимъ крестьянамъ, не мѣшаетъ существованію относительнаго дефицита.

Итакъ, въ вопросѣ о современной нищетѣ съ ея послѣдствіями «пропорція земледѣльцевъ» ровно ничего не объясняетъ. Сама эта пропорція опредѣляется спросомъ на хлѣбъ. Спросъ опредѣляется распредѣленіемъ покупательной силы. Распредѣленіе покупательной силы зависитъ, во-первыхъ, отъ отношенія между заработной платой и прибавочной стоимостью, а во-вторыхъ,—отъ того, какъ раздѣляется прибавочная стоимость между различными слоями эксплуататоровъ и непроеизводительныхъ работниковъ. Наконецъ, отношеніе между заработной платой и прибавочной стоимостью, по мѣрѣ увеличенія производительности труда, все болѣе и болѣе измѣняется въ ущербъ работникамъ, а не въ пользу ихъ, какъ этого можно было бы ожидать на основаніи разсужденій Чернышевскаго.

Ссылка на «пропорцію земледѣльцевъ» такъ же мало убѣдительно, какъ и извѣстная читателю мысль Чернышевскаго о причинахъ сравнительно медленнаго усовершенствованія земледѣлія: отъ недостатка хлѣба страдаютъ только бѣдняки; современная же наука въ большинствѣ случаевъ направляетъ свои изслѣдованія лишь сообразно нуждамъ высшихъ классовъ. Читатель знаетъ, до какой степени плохо выражаетъ эта отвлеченная мысль дѣйствительный смыслъ конкретнаго явленія.

Посмотримъ теперь, какая связь существуетъ между нищетой и «отношеніемъ основнаго капитала къ прибыли».

«Земледѣльческое улучшеніе, подобно всякому другому техническому улучшенію, состоитъ, главнымъ образомъ, въ увеличеніи основнаго капитала. Мы видѣли у Милля, что основной капиталъ... обыкновенно возрастаетъ не иначе, какъ обращеніемъ въ капиталъ прибыли и ренты. Но прибыль и рента, когда отдѣляются фактически отъ рабочей платы, обращаются въ капиталъ не иначе, какъ въ тѣхъ случаяхъ, если процентъ дохода представляетъ достаточную привлекательность для человѣка, желающаго жить не рабочею платою, а доходомъ съ капитала. Величина процента, дающая

такую привлекательность обращенію прибыли и ренты въ капиталъ, различна въ разныхъ странахъ; но не бывало никогда примѣровъ, чтобы она спускалась ниже 20/0,—обыкновенно она стоитъ гораздо выше даже въ самыхъ передовыхъ странахъ. Между тѣмъ, для націи была бы выгодна затрата капитала на земледѣльческія улучшенія для покрытія дефицита въ продуктъ, хотя бы доходъ составлялъ несравненно меньшую, въ нѣсколько десятковъ разъ меньшую пропорцію къ затраченному капиталу. Такимъ образомъ, очень часто можетъ представляться для націи надобность въ земледѣльческихъ улучшеніяхъ, которыя давали бы на затраченный капиталъ гораздо меньше дохода, чѣмъ сколько нужно для того, чтобы затрата стала привлекательна по причинѣ дохода отъ нея для людей, живущихъ рентою или прибылью, а не рабочею платою. Въ такихъ случаяхъ рента и прибыль не обращаются въ капиталъ, а потребляются непроизводительнымъ образомъ, и остаются произведенными тѣ земледѣльческія улучшенія, какія были бы нужны для предотвращенія дефицита въ земледѣльческомъ продуктѣ»¹⁾.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что когда между обществомъ и его производительными силами стоитъ капиталистъ, пользованіе этими силами никогда не можетъ дойти до такихъ размѣровъ, до какихъ дошло бы оно, если бы капиталиста не было. Это зналъ, какъ мы видѣли, самъ Мальтусъ. Но—странное дѣло!—консерваторъ Мальтусъ высказывалъ по этому поводу мысли, во всякомъ случаѣ болѣе соотвѣтствующія дѣйствительности, чѣмъ реформаторъ Чернышевскій. У Чернышевскаго выходитъ, что капиталистическій строй можетъ оказаться препятствіемъ для распространенія земледѣлія на новые участки только въ томъ случаѣ, когда производительность труда на этихъ участкахъ будетъ значительно ниже, чѣмъ на старыхъ; притомъ же Чернышевскій говоритъ только о земледѣльческомъ трудѣ. Мальтусъ ставитъ вопросъ шире и отвѣчаетъ на него правильнѣе. По мнѣнію Мальтуса, уже извѣстному читателю, каковы бы ни были производительныя силы,—въ земледѣліи и другихъ отрасляхъ производства,—онѣ употребляются въ дѣло лишь тогда, когда капиталистъ надѣется получить достаточную прибыль²⁾. Это огромная разница. Во время переполненія рынковъ капиталисты сокращаютъ производство, потому что оно не окупило бы даже сдѣланныхъ на него затратъ. Периодическое переполненіе рынковъ принимаетъ тѣмъ болѣе внушительные размѣры, чѣмъ болѣе развиваются производительныя силы. Слѣдовательно,

¹⁾ Чернышевскій, Т. III, стр. 274.

²⁾ «Principes», t. II, p. 121. Подлинныя слова Мальтуса приведены нами во второй главѣ.

чѣмъ болѣе развиваются эти силы, тѣмъ болѣе серьезнымъ препятствіемъ является капиталистическій строй для ихъ примѣненія. Это выводъ, какъ разъ обратный выводу Чернышевскаго.

Обратите вниманіе на примѣръ, съ помощью котораго нашъ авторъ доказываетъ справедливость своей мысли.

Общество имѣетъ 10.000 человѣкъ населенія или 2.000 семействъ съ 2.000 мужчинъ. Половина этихъ послѣднихъ обрабатываетъ землю; остальные частью занимаются другими отраслями производительнаго труда, частью предаются труду непроизводительному, а частью посвящаютъ свое время эксплуатаціи ближняго (землевладѣльцы и капиталисты). На продовольствіе нужно по 4 четверти на человѣка, а 1.000 земледѣльцевъ производить 40.000 четвертей, по 40 чет. каждый. Рента и прибыль составляютъ четвертую часть продукта, т.-е. 10.000 четвертей. Остальные 30.000 четвертей составляютъ рабочую плату, по 30 четвертей на работника ¹⁾. Такъ обстоитъ дѣло въ первомъ году. Въ слѣдующемъ году, благодаря размноженію населенія, въ земледѣльческомъ продуктѣ оказывается недочетъ, доходящій до 16 четвертей, т.-е. выходитъ, что недостаетъ продовольствія для 4 человѣкъ. Необходимы улучшенія. Необходимы—съ точки зрѣнія людей, нуждающихся въ продовольствіи, но не съ точки зрѣнія капиталистовъ. У тѣхъ свои расчеты. Съ ихъ точки зрѣнія «дѣло зависитъ оттого, какое количество труда нужно для производства улучшеній, дающихъ въ продуктѣ увеличеніе на 16 четвертей». Положимъ, что для покрытія недочета надо осушить небольшой участокъ. Для этого потребуется годичный трудъ 2 работниковъ. На ихъ наемъ надо затратить 60 четвертей (30 на каждого, согласно вышеприведенному предположенію). Слѣдовательно, затрата капитала равняется 60 четвертямъ. Обращеніе ихъ въ основной капиталъ даетъ 16 четвертей дохода. «Нѣтъ ни одного разсудительнаго землевладѣльца или капиталиста въ Европѣ, который съ радостью не сдѣлалъ бы такого улучшенія. Если бы нужны были только такія улучшенія, не существовало бы нищеты въ Европѣ» (курсивъ нашъ). Но возможенъ иной случай. Возможно, что для осушенія участка потребуется прорыть большой каналъ, который поглотитъ годичный

¹⁾ «Для простоты гипотезы оставимъ въ сторонѣ всѣ другія отрасли производства и всѣ другіе элементы рабочей платы, кромѣ земледѣлія и хлѣба», замѣчаетъ Чернышевскій.

трудъ 200 человѣкъ. На ихъ наемъ потребуется 6.000 четвертей. Осушенный участокъ будетъ приносить ежегодно по 16 четвертей. Это составитъ немного больше одной четвертой части процента. «Каково бы ни было расположеніе націи къ бережливости, до какой бы высокой степени ни доходило дѣятельное стремленіе къ накопленію, никогда не можетъ оно усилиться до того, чтобы прибыль въ одну четвертую часть процента стала казаться привлекательною для разсудительнаго человѣка». Значить, улучшенія не будутъ сдѣланы. А между тѣмъ, ихъ навѣрно сдѣлали бы, если бы общество само распоряжалось употребленіемъ въ дѣло своихъ производительныхъ силъ. Для него вопросъ о покритіи дефицита есть вопросъ жизни и смерти.

Въ этомъ примѣрѣ очень много всякаго рода экономическихъ неточностей. Мы не хотимъ останавливаться на нихъ. Читатель замѣтитъ ихъ и безъ нашей помощи, а если не замѣтитъ,—бѣда невелика: неточности эти только лишній разъ показали бы несостоятельность «гипотетическаго» метода Чернышевскаго, а она и безъ того очевидна¹⁾. Мы просимъ читателя обратить вниманіе лишь на слѣдующее обстоятельство. Въ разбираемомъ примѣрѣ каждый земледѣлецъ производитъ первоначально 40 четвертей хлѣба. Осушенный участокъ приноситъ только 16. Авторъ не говоритъ, сколько труда понадобится для его обработки (обработка совершенно упускается изъ вида). Но, принимая во вниманіе, что участокъ занимаетъ 4 десятины, надо думать, что для его воздѣлыванія понадобится количество труда, по крайней мѣрѣ, равное полугодичному труду одного работника. Но положимъ даже, что каждый работникъ въ состояніи отработать 16 десятинъ, и что, слѣдовательно, на обработку участка необходимо затратить лишь трехмѣсячный трудъ одного

¹⁾ На всякій случай, вотъ одна изъ неточностей: по предположенію Чернышевскаго, подлежащій улучшенію участокъ занимаетъ 4 десятины. Одна десятина будетъ, поэтому, въ среднемъ приносить 4 четверти. Осушенный участокъ не станетъ же давать жатву безъ обработки. Чтобы воздѣлать его, понадобится, положимъ, годичный трудъ одного человѣка. Часть продукта этого труда пойдетъ работнику въ видѣ заработной платы, другая составитъ прибавочную стоимость. Спрашивается, какъ велика будетъ она? Она будетъ равна тому, что останется отъ продукта за вычетомъ рабочей платы. Рабочая плата, по предположенію Чернышевскаго, доходитъ до 30 четвертей. Значить, на прибавочную стоимость останется минусъ 14 четвертей. Но отрицательная прибавочная стоимость не даетъ возможности уплатить хотя бы одну четвертую часть процента на затраченный прежде основной капиталъ.

человѣка. Все-таки, производительность труда на этомъ участкѣ значительно ниже, чѣмъ на старыхъ участкахъ: тамъ трехмѣсяч ный трудъ работника производить 10 четвертей. Это, во-первыхъ, доказываетъ, что именно только въ случаѣ пониженія производительности труда капиталистическій строй могъ, по мнѣнію Чернышевскаго, оказаться препятствіемъ для употребленія въ дѣло производительныхъ силъ. Во-вторыхъ, это проливаетъ новый свѣтъ на математическое опроверженіе Мальтуса.

Въ своемъ примѣрѣ Чернышевскій указываетъ, какое число жителей имѣетъ его воображаемое общество и даже говоритъ, какъ великъ процентъ размноженія его населенія. Въ этомъ, повидимому, нѣтъ никакой надобности. Чтобы доказать свою мысль, онъ могъ бы ограничиться указаніемъ того, до какой степени упадетъ производительность труда на новомъ участкѣ. Но ему нужно было опредѣлить «процентъ улучшеній», необходимыхъ для покрытія дефицита, обнаружившагося въ второмъ году. По Мальтусовой теоремѣ, этотъ процентъ оказывается равнымъ 0,0385 или, — какъ предполагаетъ Чернышевскій «для легкости счета», — 0,04. Читатель знаетъ, что нельзя опредѣлить этотъ процентъ, не опредѣливъ предварительно того, какъ понизится производительность земледѣльческаго труда. Мальтусова теорема именно и помогаетъ Чернышевскому найти эту неизвѣстную величину: процентъ ослабленія производительности труда новыхъ работниковъ равенъ проценту размноженія, то-есть 2. Относительно этого можно предположить одно изъ двухъ: 1) это вѣрно, 2) это невѣрно. Чернышевскій сказалъ бы, конечно, что это совершенно вѣрно. Положимъ, что онъ правъ. Что же выходитъ? Процентъ необходимыхъ улучшеній очень невеликъ. Цифра, его выражающая, «явно смѣется надъ нами» своею ничтожностью; она говоритъ намъ: «не бойтесь, — кто хочетъ запугать васъ, противъ того выставте вы меня, опровергнуть меня нельзя». Мы вѣримъ цифрѣ, у насъ исчезаютъ всякія опасенія на счетъ будущаго. Но когда рѣчь заходитъ объ исполненіи ничтожнѣйшихъ по своимъ размѣрамъ улучшеній, оказывается, что мы, по извѣстному нѣмецкому выраженію, считали безъ хозяина. Оказывается, что въ дѣлѣ исполненія этихъ улучшеній возможны очень различныя «случаи». Возможно, что потребуется затратить огромный трудъ для полученія сравнительно ничтожнаго «дохода». Значить, величина процента необходимыхъ улучшеній еще ровно ни за что не ручается. Даже

въ «гипотетической» дѣйствительности Чернышевскаго эта ничтожная величина можетъ уживаться съ огромнѣйшими практическими затрудненіями, съ чрезвычайно большимъ пониженіемъ производительности труда на участкѣ, который долженъ покрыть нашъ дефицитъ. Извольте, послѣ этого, вѣрить на с м ѣ ш л и в о й ц и ф р ѣ!

III.

Въ виду всего сказаннаго надо ожидать, что истинная причина кризисовъ должна быта оставаться непонятною для Чернышевскаго*). Такъ оно и есть въ дѣйствительности. А между тѣмъ, вопросъ о кризисахъ тѣсно связанъ съ вопросомъ о народонаселеніи.

Какъ объяснить кризисы, эти «экономическія землетрясенія, ломающія фирмы, разрушающія фабрики, оставляющія безъ куска хлѣба тысячи бывшихъ богачей и милліоны работниковъ»?

*) Кризисы принадлежать къ куріозно-печальнымъ явленіямъ современной хозяйственной жизни. Кризисъ выражается въ томъ, что равновѣсіе въ спросѣ и предложеніи нарушается. На рынкѣ оказывается больше товаровъ, чѣмъ покупателей. Въ то время какъ амбары и склады капиталистовъ ломятся отъ хлѣба и другого вида товаровъ, народныя массы, представляющія собою численно главный контингентъ покупателей, могутъ голодать и нуждаться, но, не имѣя покупательныхъ средствъ, понизять спросъ, а капиталисты, благодаря этому, станутъ лицомъ къ лицу съ кризисомъ и всѣми его послѣдствіями. Скопленіе на рынкѣ товаровъ, не находящихъ сбыта, сильно уронитъ цѣны; выработка ихъ станетъ убыточной; фабрики и заводы начнутъ сокращать производство; часть ихъ вовсе обанкротится и закроется; торговцы станутъ терпѣть большіе убытки; часть рабочихъ останется безъ заработка; вмѣстѣ съ прекращеніемъ работъ на закрывшихся и сократившихъ производство фабрикахъ кредитъ упадетъ, а также и биржевыя цѣнности; должники не будутъ имѣть возможности аккуратно выполнять свои долговыя обязательства; вкладчики начнутъ усиленно брать свои деньги изъ банковъ. Такова картина кризиса. Онъ всегда глубоко поражаетъ всѣ отрасли хозяйственной жизни и является самымъ серьезнымъ народнымъ бѣдствіемъ.

Споръ о причинѣ кризисовъ и до сихъ поръ ожесточенно ведется въ экономической литературѣ. Разногласіе заключается въ томъ, что одни экономисты придаютъ наибольшее значеніе процессу производства, т.-е. тому обстоятельству, что при современныхъ формахъ хозяйственной жизни, съ ея свободною конкуренціей, производство ничѣмъ *не регулируется* и потому не приводится къ *соотвѣтствію съ спросомъ*; другіе кризисъ выводятъ изъ *существующихъ формъ распределенія*, при которыхъ капиталистъ обездоливаетъ рабочія массы и лишаетъ ихъ покупательныхъ средствъ, удерживая въ своихъ рукахъ національнаго богатства; третьи экономисты склонны причину кризисовъ видѣть въ обмѣнѣ.

Н. Денисюкъ.

Чернышевскій приводитъ краткое извлеченіе изъ отдѣла, посвященнаго кризисамъ у Милля. Изъ этого извлеченія явствуется, что причина кризисовъ лежитъ въ «закупкахъ на спекуляцію» или просто въ спекуляціи. Соображенія Милля кажутся Чернышевскому достаточными для опроверженія того взгляда, по которому кризисы причиняются излишнимъ выпускомъ кредитныхъ бумагъ. «Связь коммерческихъ кризисовъ съ кредитными бумагами въ существѣ дѣла только та, что быстрый ходъ закупокъ въ огромномъ размѣрѣ возможенъ, конечно, только при высокомъ развитіи экономической жизни, основанной на обмѣнѣ, а при такомъ развитіи экономической жизни непременно существуетъ и высокое развитіе кредита, а въ числѣ другихъ его формъ—и высокое развитіе такъ-называемыхъ кредитныхъ бумагъ»¹⁾. Но отсюда еще не слѣдуетъ, что взглядъ Милля правиленъ. «Дѣло въ томъ, что Милль останавливается только на одной коммерческой сторонѣ процесса, не считая нужнымъ упомянуть о его вліяніи на производство и потребление»²⁾. Съ кризисами «связанъ вопросъ о такъ-называемомъ излишкѣ снабженія». Милль лѣзетъ изъ кожи вонъ, чтобы показать, вопреки Мальтусу, Чомерсу и Сисмонди, невозможность подобнаго излишка. По его словамъ, «заслуга истиннаго разъясненія этого чрезвычайно важнаго дѣла болѣе всего принадлежить двумъ знаменитымъ людямъ: на континентѣ проникательному Ж. Б. Сэю, а въ Англіи—Джемсу Миллю»³⁾).

«Все, что говоритъ Милль,—чистая правда,—замѣчаетъ Чернышевскій.—Но неужели такіе люди, какъ Сисмонди и Мальтусъ, не умѣли понимать того, что называется коммерческимъ кризисомъ? Они дошли до мысли рѣшительно ошибочной, и когда, для отвращенія бѣдствій коммерческихъ кризисовъ, они упрашиваютъ богачей увеличивать непроеводительное потребленіе, они доходятъ до нелѣпости, изумляющей своею колоссальностью. Неужели они могли бы избавиться отъ своего страннаго заблужденія такимъ простымъ соображеніемъ, какъ мысль о происхожденіи коммерческаго кризиса изъ чрезырнхъ спекулятивныхъ закупокъ? Но вѣдь это соображеніе навѣрное было имъ очень хорошо знакомо. Какъ же могли удержаться въ такихъ головахъ такіе нелѣпости, какія опровергаются Миллемъ?»

Мальтусъ, Чомерсъ и Сисмонди просто смотрѣли на вопросъ не съ той стороны, съ какой смотреть Милль. Истинный ходъ явленія, называемаго кризисомъ, таковъ.

¹⁾ Сочиненія Н. Чернышевскаго, т. IV, стр. 289—290.

²⁾ Тамъ же, стр. 296.

³⁾ Джемсъ Милль—отецъ знаменитаго экономиста Джона-Стьюарта Милля.

«Въ первой половинѣ дѣла, когда цѣны растутъ, производители, надѣясь на чрезвычайно выгодный и легкій сбытъ, усиливаютъ свою дѣятельность точно такимъ же необычайнымъ образомъ, какъ усиливаются закупки. Въ два-три мѣсяца фабрики изготовляютъ столько товаровъ, сколько изготовляется при обыкновенномъ ходѣ дѣлъ въ полгода. Но вѣдь сбытъ усиливается возрастаніемъ только спекулятивныхъ закупокъ, а не самого потребления; оно, напротивъ, быть-можетъ, даже уменьшается по чрезмѣрной дороговизнѣ. Что же бываетъ съ производствомъ, когда цѣны начинаютъ падать?—Въ предшествующій періодъ заготовлено товаровъ въ три мѣсяца на полгода; ясно, что производство должно было бы остановиться на три мѣсяца, чтобы запасы уменьшены были до обыкновеннаго размѣра обыкновеннымъ потребленіемъ. Но потребление въ эпоху кризиса, несмотря на упадокъ цѣнъ, бываетъ меньше обыкновеннаго, потому что у всѣхъ разстроены денежные дѣла. Отъ этого чрезмѣрные запасы еще дольше остаются непотребленными. А пока они не потреблены, не уменьшились до обыкновеннаго размѣра,—новое производство не находитъ себѣ сбыта. Такимъ образомъ, съ коммерческимъ кризисомъ всегда бываетъ соединенъ промышленный, во время котораго ослабѣваетъ производство, по излишеству сдѣланныхъ запасовъ и недостатку сбыта. Вотъ этою стороною дѣла и были смущены Мальтусъ, Чомерсъ и Сисмонди.—Милль совершенно правъ, доказывая противъ нихъ, что производство не можетъ превышать потребностей человѣка ¹⁾, что капиталъ... не можетъ возрастать слишкомъ быстро, что съ какою быстротою ни возрасталъ бы онъ, всегда можно было бы желать еще быстрѣйшаго возрастанія, потому что всегда нашлось бы ему нужное занятіе и т. д.,—все это совершенная правда, и въ словахъ Мальтуса, Чомерса, Сисмонди находится противорѣчіе съ неопровержимыми принципами экономической теоріи. Но это противорѣчіе произошло только оттого, что Сисмонди и Мальтусъ остановились на половинѣ пути, не доискались до коренныхъ фактовъ, порождающихъ въ самой дѣйствительности противорѣчіе съ экономической теоріею»...

Въ концѣ концовъ Чернышевскій находитъ, что

«производство, которое никогда не можетъ превышать размѣръ человѣческихъ потребностей, можетъ по временамъ превышать обычный уровень потребления, и неминуемымъ слѣдствіемъ такого чрезмѣрнаго усилія, вызываемаго не развитіемъ потребления, а только спекуляціею, бываетъ временный упадокъ производства, остановка работъ. Корень этого бѣдствія заключается въ отдѣленіи покупательной силы отъ производства и потребления, то-есть не меньше, не больше, какъ то, что называется у насъ торговлею въ отдѣльности отъ занятій, чисто производительныхъ ²⁾».

Чтобы доказать несостоятельность Мальтусовой теоріи народонаселенія, слѣдовало прежде всего указать на то, что по Мальтусу буржуазное общество одновременно страдаетъ и отъ

¹⁾ Надо замѣтить, что Милль вовсе не думалъ доказывать это. Онъ доказывалъ, что производство не можетъ превышать потребностей т о в а р о в л а д ѣ л ь ц е в ѣ ; а это не одно и то же.

²⁾ Тамъ же, стр. 289—298.

перепроизводства и отъ перенаселенія. Подобное опроверженіе было бы, какъ выражаются математики, н е о б х о д и м ы м ъ и д о с т а т о ч н ы м ъ. Чернышевскій предпочелъ бороться другимъ оружіемъ, достоинство котораго намъ уже извѣстно. Ему и въ голову не приходитъ, что «вопросъ объ излишкѣ снабженія» можетъ служить для «разъясненія смысла Мальтусовой теоріи». Онъ склоненъ даже хвалить Мальтуса, который, хотя и остановился на половинѣ пути въ вопросѣ объ «излишкѣ снабженія», но все-таки выбралъ вѣрную дорогу для его рѣшенія. Самое же рѣшеніе вопроса выражается немногими словами: корень бѣдствія въ торговлѣ. Здѣсь мы имѣемъ интересный образчикъ отношенія социалиста-утописта ко взглядамъ буржуазнаго политико-эконома «п е р е д о в о й» школы. Корень зла въ спекуляціи, говоритъ Д.-С. Милль.—Вы вполне правы, замѣчаетъ социалистъ-утопистъ. Но вы не дѣлаете надлежащаго вывода изъ вашихъ собственныхъ посылокъ. Я иду дальше васъ, я не боюсь поставить точку надъ і. Корень зла не въ спекуляціи, а въ томъ, отъ чего получаетъ происхождение сама спекуляція, т.-е. въ торговлѣ.

Буржуазные экономисты, вообще говоря, совершенно правы. Они лишь робки и непоследовательны.

Корень бѣдствія въ торговлѣ. Безъ торговли немислимо товарное производство. Слѣдовательно, корень бѣдствія уходитъ еще глубже, онъ неразрывно связывается съ товарнымъ производствомъ. Но товарное производство долго существовало, не причиняя кризисовъ. Значитъ, не товарное производство причиняетъ кризисы, а опять нѣчто другое, можетъ-быть, и связанное съ этимъ производствомъ, но обнаруживающееся лишь на очень высокой стадіи его развитія. Указаніе на истинную причину кризисовъ заключается уже въ собственныхъ словахъ Чернышевскаго.

Спекуляція даетъ такой толчокъ производству, что въ два три мѣсяца готовится количество товаровъ, достаточное для попугодового потребленія. Въ дѣйствительности, производство можетъ еще дальше оставить за собою потребленіе, чѣмъ думалъ Чернышевскій. Вотъ теперь и спрашивается, всегда ли существовала при товарномъ производствѣ возможность подобнаго явленія? Извѣстно, что не всегда, что она создана лишь развитіемъ новѣйшей крупной промышленности, увеличившей производительныя силы общества до небывалыхъ размѣровъ. Слѣдовательно, «корень бѣдствія» заключается въ крупной промыш-

шленности, въ слишкомъ значительномъ развитіи производительныхъ силъ? Очевидно — да. Но также очевидно, что высокое развитіе производительныхъ силъ зломъ быть не можетъ. Утверждать это—значило бы говорить сущую безсмыслицу. Выходить, что надо обратить вниманіе на тѣ условія, при которыхъ примѣняются теперь къ дѣлу высоко-развитыя производительныя силы. Мы знаемъ уже, что между обществомъ и его производительными силами стоитъ капиталистъ, прекращающій свою «работу» всякій разъ, когда она не сулитъ ему необходимыхъ и достаточныхъ барышей. А надежда на барыши исчезаетъ всякій разъ, когда рынки переполняются товарами. А рынки тѣмъ чаще и тѣмъ больше переполняются товарами, чѣмъ больше развиты производительныя силы. Капиталистъ попадаетъ въ нелѣпое, противорѣчивое положеніе: съ одной стороны, конкуренція заставляетъ его примѣнять возможно болѣе совершенные способы производства, а съ другой стороны примѣненіе этихъ способовъ грозитъ переполненіемъ рынковъ, кризисомъ, потерей барышей, разореніемъ. Это противорѣчіе показываетъ, что производительныя силы переросли капиталистическія отношенія производства. Устраненіе этихъ отношеній является важнѣйшимъ «очереднымъ вопросомъ» переживаемаго нами историческаго момента. Когда капиталистическія отношенія производства уступятъ мѣсто новымъ, не-капиталистическимъ отношеніямъ, тогда высоко-развитыя силы перестанутъ причинять «экономическія землетрясенія», онѣ будутъ покорными рабами людей, источникомъ непрерывнаго роста общественнаго богатства.

Противорѣчіе современныхъ производительныхъ силъ съ современными отношеніями производства есть противорѣчіе, собственное современной экономической дѣйствительности. Чернышевскій ищетъ «корня бѣдствія» въ противорѣчии дѣйствительности съ «неопровержимыми принципами экономической теоріи». Это весьма характерно для его отвлеченной точки зрѣнія. Стоя на этой точкѣ зрѣнія, легко можно было открыть множество противорѣчій фактовъ съ «теоріей», дѣйствительности съ требованіями разсудка. Но противорѣчіе дѣйствительности съ «теоріей», т.-е. со взглядами людей, само является продуктомъ исторической діалектики общественной жизни. Надо открыть законы этой діалектики, для того чтобы имѣть возможность не только осудить дѣйствительность, но также указать историческія усло-

в і я ея возникновенія въ прошломъ и ея исчезновенія въ будущемъ. Къ сожалѣнію, именно это-то и невозможно было для человѣка, смотрѣвшаго на общественную жизнь съ отвлеченной точки зрѣнія. Въ качествѣ теоретика, такой человѣкъ могъ только ловить дѣйствительность на противорѣчіяхъ съ теоріей; въ качествѣ практическаго дѣятеля, стремящагося устранить ненавистную ему дѣйствительность, онъ могъ возлагать свои упованія исключительно только на убѣдительность теоріи, которая, рано или поздно, покажетъ же людямъ всю гнусность и нелѣпость дѣйствительности.

А этого было недостаточно. Самая убѣдительная теорія становится истерическою силой только тогда, когда ея логика подкрѣпляется объективною логикой общественной жизни.

Бельтовъ (Г. Плехановъ).

«О Лессингѣ», Чернышевскаго *).

Тѣ, кому нѣмецкій языкъ недоступенъ, съ пользою и удовольствіемъ прочтутъ статьи г. Чернышевскаго о Лессингѣ, которыя начались въ октябрьской книжкѣ *Современника* прошедшаго года и окончены въ іюньской книжкѣ этого журнала за нынѣшній годъ. Всѣхъ статей—семь.

Имѣя въ виду разсмотрѣть литературную дѣятельность Лессинга не въ отдѣльности отъ другихъ сторонъ жизни, не какъ чисто-художественную дѣятельность, а въ связи съ общею исторіей нѣмецкаго народа, какъ силу, властвовавшую надъ умами, нравами и жизненными стремленіями, г. Чернышевскій представляетъ сначала очень любопытную картину нѣмецкаго общества въ половинѣ XVIII вѣка. Потомъ, онъ изображаетъ то жалкое состояніе, въ которомъ засталъ Лессингъ нѣмецкую литературу. Этими двумя главами онъ весьма искусно подготавливаетъ почву, на которой самымъ лучшимъ образомъ должна отгнѣться геніальная личность Лессинга. Изложеніе г. Чернышевскаго отличается легкостью и занимательностью; факты выбраны очень удачно; рассказъ пересыпанъ множествомъ отступленій, сближеній съ русскою литературой и размышленій самого автора, которыя возвышаютъ живость статьи и даже могутъ назваться небезполезными для извѣстнаго круга читателей, неприготовленныхъ къ самостоятельному обсужденію историческихъ фактовъ основательнымъ образомъ. Но если г. Чернышевскій писалъ статью свою, именно, для такихъ читателей, то справедливость заставляетъ насъ сказать, что онъ не всегда былъ довольно остороженъ въ выраженіи своихъ оригинальныхъ мнѣній. Такъ, на примѣръ, въ шестой статьѣ своей о Лессингѣ (*Современникъ* 1857 г., № IV), онъ позволилъ себѣ высказать вотъ какое сужденіе:

*) «Спб. Вѣдом.» 1857 г., № 142.

«При настоящемъ состояніи общества.... истинный поэтъ не долженъ бы писать для театра; пусть люди второстепенные, пусть таланты, которые способны только къ аранжировкѣ, передѣлываютъ его рассказы для сценическихъ представленій. Изъ «Ламермурской невѣсты» *трагедію сдѣлать такъ же легко, какъ и либретто!* Превращеніе романовъ въ драматическія пьесы(II) могло бы быть предоставлено тѣмъ же людямъ, которые превращаютъ романъ въ либретто»(III).

Подобныя опрометчивыя сужденія весьма легко могутъ ввести въ заблужденіе легковѣрныхъ людей, которые не получили предварительно истинныхъ понятій объ искусствѣ. Конечно, читатель просвѣщенный съ перваго взгляда пойметъ, что эта выходка есть не что иное, какъ усиліе молодой критики сказать что-нибудь новое, во что бы то ни стало; это притязаніе видно уже и изъ того, что, готовясь произнести эту ново-открытую истину, г. Чернышевскій предупреждаетъ, что онъ говоритъ здѣсь съ читателемъ, который судить о вещахъ такъ, какъ *понимаетъ ихъ самъ*, а не съ устарѣлыми теоріями.

Просвѣщенный читатель знаетъ, что сюжетъ, удобный для драматической обработки, въ самомъ себѣ уже носить существенное различіе отъ сюжета, требующаго формъ романа, и что поэтому-то всякія «превращенія» романовъ въ драмы и драмъ въ романы и выходили до сихъ поръ весьма неудачными; слѣдовательно, просвѣщенный читатель только улыбнется надъ новымъ открытіемъ г. Чернышевскаго. Но, вѣдь, г. Чернышевскій пишетъ для тѣхъ читателей, которые не могутъ даже Лессинга читать въ подлинникѣ: вѣдь, они, пожалуй, могутъ увлечься его догматическимъ тономъ и въ самомъ дѣлѣ подумаютъ, что Шекспиръ просто дѣлалъ трагедіи изъ рассказовъ, и что такія же трагедіи могъ бы дѣлать и всякій либреттистъ. Вотъ до чего можетъ иногда человѣкъ доходить собственнымъ умомъ...

Далѣе, если г. Чернышевскій счелъ нужнымъ пересказывать нашей публикѣ по-русски тѣ біографическія подробности о Лессингѣ, которыя онъ нашелъ на нѣмецкомъ языкѣ у Данцеля и въ рассказѣ брата Лессинга, Карла,—то ему непременно слѣдовало бы пересказать также и содержаніе тѣхъ сочиненій самого Лессинга, на которыхъ зиждется произведенная имъ реформа. Сочиненія Лессинга у насъ вовсе не такъ распространены, какъ бы они того стоили. Нечего и говорить о незнающихъ нѣмецкаго языка; но и изъ знающихъ этотъ языкъ, много ли у насъ найдется молодыхъ людей, которые бы прочитали хоть «Драматургію» Лессинга, это сочиненіе, нераздѣльно соединенное

ин

въ его именѣ?.. Поэтому г. Чернышевскій сдѣлалъ бы очень полезное дѣло, если бы присоединилъ къ біографіи Лессинга изложеніе его сочиненій. Въ особенности же нужно было бы имѣть намъ на русскомъ языкѣ «Драматургію» Лессинга, если не въ полномъ переводѣ, то, по крайней мѣрѣ, въ подробномъ изложеніи. Кажется, г. Чернышевскій хочетъ подарить насъ этимъ трудомъ. По крайней мѣрѣ, въ продолженіе своей статьи онъ нѣсколько разъ—какъ скоро дѣло доходило до того или другого изъ сочиненій Лессинга—высказывалъ обѣщаніе изложить его «послѣ», «въ особой главѣ», «въ отдѣльномъ эскизѣ». Съ нетерпѣніемъ ждемъ этихъ «главъ» и «эскизовъ», надѣясь, что г. Чернышевскій сдержитъ свое прекрасное обѣщаніе. Мы даже позволимъ себѣ отъ имени публики сказать, что встрѣтимъ это исполненіе съ великою радостью.

Stanford University Libraries

3 6105 124 447 066



PG3321

C62664

v.1

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

